



**Дружба
народов**

8/2022



В номере:

Область познания

«Здесь нет времени и нет времён года... Здесь не нужны ни часы, ни календари... Иной мир, не знающий ни боли ухода, ни скорби прощания. Возраст твой — тайна, и число лет твоих не открыто никому, ибо некому спросить в пустыне о том, что помнит она, где её сердце, где её память. Всяк спешит уйти из неё к благословенным волнам океана, но воды его горьки...» Сюжетная рамка романа Дмитрия ИСАКЖАНОВА «Проскинитарий» — возвращение его главного героя из Арабских Эмиратов в Россию, домой. И это перелет сквозь океан времени, в котором островами возникают воспоминания о детстве и взрослении, люди (прежде всего — самые близкие: мать, поиски неизвестного ему отца в себе, истончающаяся в разлуках любовь жены, маленький сын), всё, что он «видел, всё, что он слышал, всё, что вдыхал лёгкими и впитывал через кожу».

«Собственной жизни важней»

Тема родины, её истории и судьбы — лейтмотив лирической подборки Игоря МАЛЫШЕВА: «Ничто не заставит меня молчать,/ Ничто не заставит меня заплакать,/ Только твоя, моя родина,/ Снегириная память». Эту же тему, будто откликаясь, подхватывает Вера КАЛМЫКОВА в поэтическом цикле «1937 год»: «О, как бы потомкам судьбу угадать,/ чтоб петь и плясать, а не плакать...» Игорь КУНИЦЫН размышляет о «личной вечности», а стихи Дмитрия РУМЯНЦЕВА — о любви, о проблеме нравственного выбора: «мы один на один выбираем человечью годину свою».

«А кругом полыхали пожары...»

«В глухом месте, на расстоянии сорока километров от ближайшей железной дороги, среди лесов и болот, на высоком пригорке приютилось село, которое все мы называли Кузьминкой. Посредине возвышалась деревянная церковка, и полукругом около неё — деревянные домики, крытые дранкой. Здесь разместился церковный причт: молодой священник с женой, вдова умершего священника, диакон со своим многочисленным семейством, дьячок с женой и детьми, просвирня и за оврагом — школа...» Так начинаются воспоминания Лидии Петровны ЧИСТЯКОВОЙ, дочери того самого умершего священника — «Мне посчастливилось...». Предреволюционные молодые годы, провинциальный быт, непростые отношения с мужем, учёба на курсах в Москве, рождение дочери, голодные годы Гражданской войны, работа в подмосковной колонии для беспризорных... XX век, просто жизнь.

Плодотворное одиночество

«Разговор о поэзии, когда его ведет поэт — это стихи, лишь случайным образом записанные прозой. Даже когда в этот разговор вкрапливаются автобиографические, политические, филологические и прочие мотивы. В этой области есть свои вершины — например, «О поэзии» Мандельштама и «Азбука чтения» Паунда. Нельзя сказать, что последние лет десять-пятнадцать книг поэтов о поэзии было мало. Можно вспомнить сборники Григория Кружкова, Алексея Пурина, Юрия Казарина, Олега Юрьева...» В основе очередного «Литературного барометра» Евгения АБДУЛЛАЕВА — книги эссеистики Виталия Кальпиди, Максима Амелина и Андрея Таврова. «Усилился ли интерес к таким сборникам в последнее время? Похоже, что нет. А жаль. Поэзия сегодня переживает драматичную трансформацию, и рефлексия о поэзии нужна как никогда.»

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.06.2022.
Подписано в печать 27.07.2022.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 2730/22. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА
Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА
Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Денис
ГУЦКО
Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
Вячеслав
ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Дмитрий РУМЯНЦЕВ. На дне развоплощённых дней. <i>Стихи</i>	3
Дмитрий ИСАКЖАНОВ. Проскинитарий. <i>Роман</i>	8
Вера КАЛМЫКОВА. Собственной жизни важней. <i>Стихи</i>	87
Денис БАННИКОВ. Штучка. <i>Рассказ</i>	90
Игорь КУНИЦЫН. Личная вечность. <i>Стихи</i>	124
Дмитрий ЩЕДРИВЫЙ. Кружок экзистенциального воя. <i>Рассказ</i>	127
Георгий ПАНКРАТОВ. Кризис первого курса. <i>Петербургские студенческие рассказы</i>	145
Анна АРНАУТОВА. Земля. <i>Рассказ</i>	154
Игорь МАЛЫШЕВ. Порядок и вселенский кавардак. <i>Стихи</i>	160
Александр МОЦАР. Два рассказа на тему	163
Владимир ГУГА. В пяти шагах от дома. <i>Рассказы</i>	172
Арам ПАЧЯН. Потому что он меня ждёт. <i>С армянского. Перевод Л.Меликсетян</i> ..	182
Лидия ГРИГОРЬЕВА. Термитник. <i>Роман в штрихах. Книга третья</i>	193
Александр КЛИМОВ-ЮЖИН. Вспоминая лето. <i>Стихи</i>	202

XX ВЕК. ПРОСТО ЖИЗНЬ

Лидия ЧИСТЯКОВА. «Мне посчастливилось...».	
Публикация и вступительная заметка Леонида Дунаевского	205

ПУБЛИЦИСТИКА

Алексей БУРОВ, Геннадий ПРАШКЕВИЧ. О собеседниках.	
Два письма на одну тему	233

КРИТИКА

Сборный пункт. Заочный «круглый стол». В этом номере — размышления Алексея АЛЁХИНА, Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА, Шамиля ИДИАТУЛЛИНА, Алёны КАРИМОВОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Анны КОЗЛОВОЙ, Алексея САЛЬНИКОВА, Дарьи СЕЛЮКОВОЙ, Юрия СЕРЕБРЯНСКОГО, Глеба ШУЛЬПЯКОВА, Ростислава ЯРЦЕВА	241
---	-----

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Александр МЕЛИХОВ. Защита Попова (В.Попов. «Любовь эпохи ковида»)	254
Александр КЛИМОВ-ЮЖИН. Изобретение паруса (Г.Нерпина. «Остролист») ...	257
Елена СЕВРЮГИНА. В ожидании крупной добычи (А.Евсюков. «Двенадцать сторон света»)	260

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Фрагменты речи поэта	263
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Берегите ваши лица	267
--	-----

НАША ВКЛЕЙКА

Галерея Татьяны Назаренко (художники Т.Назаренко, А.Салахова)

Дмитрий Румянцев

На дне развоплощённых дней

предчувствие

жизни осталось на два алтына,
здесь, подле смерти — на два обола.
ветер отбытия смёл рутину
смуты душевной, тоску, крамолу.
что же послужит мне провожатым
к берегу вечно весеннего пира? —
крупная (д)рожь на полях несжатых?
в клетке зверинца глаза тапира?
время окончилось. жду секунду,
чтобы сменить на крылатость — кокон.
я и во храме лелеять буду
скрытность дверей и открытость окон
в новое чудо, что рой, летящий
к райскому улью,
прощай, несчастье! —
солнце и мёд! — а минор сквозящий
так и окончится, не начавшись...
с вечною свадьбою, новобрачный!

одной девушке

срифмуй нас, Господи, срифмуй!
сведи на шумный перекрёсток.
пусть станем рифмой перекрёстной,
ты ж над прудом на воду дуй!
мы так внезапно обожглись,
в густой толпе друг дружку видя,
что на весах животных видов
качнулась гирькой наша жизнь.

Румянцев Дмитрий Анатольевич — поэт. Родился в Омске в 1974 году. Окончил философский факультет Омского педуниверситета по специальности «Культурология». Автор книг стихов «Сравнительное жизнеописание» (Омск, 2011), «Нобелевский тупик» (Омск, 2011), «Страдающее животное» (Омск, 2013). Постоянный автор «Дружбы народов». Живёт в Омске.

И даже папоротник цвёл
в лесу, где молча мы бродили
(не выбирая или-или,
там сосны встали, как костёл).
венозный кипяток судеб
плеснул на наковальню сердца
в одной из северных венений,
где голубям крошили хлеб
минерва, марс, венера, феб...
и наша страсть в устах младенца
цвела вздохом.

* * *

ну, давай, ну, давай не накручивай,
уходя на погодное дно,
эта жизнь — это самое лучшее,
что нам было дано!
ничего, что и трудно, и боязно
надприродного счастья просить:
в небе — ясно, на облаке — боинги
и кольцо восхитительных птиц.
я гляжу, и как хочется часто мне
опрокинуть глаза в небеса!
и жуки, и стрекозы, и ласточки —
это очи Отца!
и в анютины глазки, и в бабочек
Он глядит, а глядит — на тебя.
так давай же мы Бога отпразднуем,
что нас любит, любя!

пик ненастья

я отвернулся — и тебя не стало: ни влаги глаз... ни ливней сентября.
а раньше выжег я каким металлом на коже, что на сердце у себя,
листву волос, осеннюю тревогу, звезду в зрачках и то, как вздёрнут нос
под сводами бровей? но слава Богу, что мне тебя неволить не пришлось!
и ты ушла. дождь звякал по карнизам. чертил цветы и бездну рисовал.
а ветер был пастозен и неистов. и по аллеям листья рассовал.
краплёный мир. дешёвые приманки! — я от него когда-то отвернусь.
и с дамой пик шарахну прямо в дамки, когда у дамы бубен схлынет грусть.
хороший день. удачная погода. по паркам бесприютных городов
тасуй судьбу, счастливая колода, пока на белом свете есть
любовь!

* * *

ах, почто мы ещё не в раю? но в аду, и нельзя на попятный!
мы свободой и мужеством платим за высокую душу свою.
и уже оступиться нельзя, отступить или час проваландать,
если снова твердят нам о главном горлопаны и мира князя,
а глубокая совесть молчит, но нельзя, чтобы совесть смолчала,
или в самое пекло — с начала, иль сперва — на погибель, на щит,
а потом — на коня, и адью! — в облака занебесного (к)рая:
мы один на один выбираем человечью годину свою...
все моря — твоему кораблю!..

крымский прохожий

ручеек копошился в овраге, точно как за отрогом прибой,
прикурил он от мака во мраке и тихонько пошёл за собой.
оказалось: душою собаки он бежит и бежит за судьбой...
ветер стих, на горах в Карадаге лунный свет занимался игрой,
и, как будто Евангелие от Марка, заповедной легла предо мной
тайна Слова, Прохожий инакий говорил обо мне не со мной!
дай мне, Господи, свет и покой! будь со мною и паки, и паки!

фото

нам так фотографии потрафили, как неизменно-близким людям:
на чёрно-белой фотографии мы всё ещё друг друга любим.
на дне сентябрьского вторника под переклички иволг-своден
мы, как курортные любовники, ещё друг с друга глаз не сводим.
а бархатный сезон кончается, а жизнь летит дугой хайвея,
и от надежды до отчаянья — одна плакучая аллея,
где ивы громоздят печальные на небеса витые ветви,
и эта карточка случайная так греет дух, что мы — бессмертны.

летом

бежит вода в разохшийся цветник
по многократно перевитым шлангам
гул облачной фаланги, что фанданго
под сонным солнцем сохнет колосник
...а в чаще — плёс, и там поёт родник
о южном зное в северной стране
глазастых вертолётах, стрекозах
сне жизни и её метаморфозах
речных стремнинах, стонущей стерне
о брёвнах барж на бережной волне
а бежин луг лютует и цветёт
и бабочки садятся на запястья
всё так, что если есть на свете счастье
то этих дней всегда наперечёт
их лето дарит снова и ещё...

* * *

оставь на счастье свой автограф
(татуировкой на руке)
я — полустёртый злой петроглиф
в гудящем омском тупике
в душе твоих ночных историй
и истерии в душевой
и если я чего-то стою
то будь со мной
вот я, кудлатый чёрный мамонт,
влачусь по камню на стене
ищу момент свой стих оставить
в твоей вполне
стране, галактике, вселенной
на дне развоплощённых дней
в судьбе обыденной и бренной
как на войне
где можно стать героем тоже
в стихии смельчаков. в чреде
стихов и снов всеильных дождей
весной в венеции дождей

мальчик

полит сияющий газон
полит асфальт и солнце слепит
и ходит мальчик аронзон
один на свете
он входит в райские сады
в веселье бабочек глазастых
он пьёт стихи и дарит счастья
плоды
а на лугу полно стрекоз
шалых очкарок-книголюбок
они его читают, любят
в апофеоз
грозы
...и молнии заряд
разит, чтоб угодить поэту
попасть в октавы и сонеты
в нескучный сад
он сочинит всех-всех на свете
и станет рад

* * *

лети-лети мотылёк
волной житейского горя
ты словно бы якорёк
на дно фонарного моря
судьбою схожий с душой
(ещё успеешь ожечься)
чтоб стихотворной строкой
на тротуары улечься
неси ночную пылицу
демисезонного платья
тебе на небе к лицу
объятье вроде распятия
лети сначала к концу
недолгим летом проспекта
тебе знакома, иус
твоя бессмертная секта
лети залогом, лети
обетованного рая
мою тоску освети
о радость тихо сгорая
неси святую зарю
на крыльях сонной печали
я тоже, милый, умру
и *там* тебя повстречаю
я тоже, малый, крылат
и тоже знал или-или
я также бился об ад
чтоб в свет меня допустили
и среди многих, кто зван
ты тот, кто умер и избран,
лети, сусанин иван
веди на смерть ради жизни

осенний

вот и кончилась сказка, андерсен:
и на завтра уже сентябрь
понимаешь? — и хлынет — андестенд? —
вечный царственный *dance macabre*
и простолудинный, и княжеский
закружит перелётный лист
и уже не достанет ханжества
бурю чествовать, нигилист!
и уже не достанет пороху
осиянную жизнь палить
будут клёны осенним ворохом
призывать выживать, любить
эти смутные деревенские
нижнеомские вечера
а потом очных ставок, следствия
и признаний придёт пора
словно в кроне одной закованы
и бандиты, и опера
и вороны — птицы-раскольники
с недо(с)казанной пробой пера

Дмитрий Исакжанов

Проскинитарий

Роман*

Лабиринт

I. НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ

«Поверь, поверь... — убеждают его голоса, поют ему ласково. — Раскисла земля, и стоял снег. Ветер холодный, закрученный, как ракушка, царапает лоб; опавшие листья поднялись, восстали из срама...» «Нет! — отвечает он голосам. — Нет! Доколе сам не увижу своими глазами, доколе руки мои не коснутся рекового, — не поверю ничему!» И поджимает губы. И замуривает глаза. И отворачивается в сторону, где стоит дом его юности.

Ооооо!.. Ууууу!.. Аааа... Опростились луга, бурые стебли дрожат и мнутся. Голые ветви... Взгляни, взгляни, — дом почернел и обвис под слегами! Сад разорён, но рад, рад...

— Terminal two, right? Sir, terminal two? Right?

— А? — Заяц чувствует, как Алекс толкает его локтем в бок, и открывает глаза. Задремал. Нет, вылетать в такую рань — это просто издевательство.

— Терминал какой, спрашивают. Второй?

— Ээээ... Да. Да-да. Yes. Right.

Мохнад — водитель фирмы, маленький курчавый индус в джинсовой бейсболке козырьком назад, удовлетворённо кивает и отворачивается. Тянется к приёмнику и тремя пальцами, сложенными в щепоть, втягивает почти утёкшую музыку за кончик обратно в салон. Остановившийся было автомобиль опять набирает ход, а кондиционер выплёскивает из себя новую порцию сырого холода.

«Мохнад — вонюдьж и волосад... — думает Заяц отрешённо. — Мохнад любитель виноград... У них там, небось, всё не так, у них...» Но что «всё» и у кого «у них», Заяц не додумывает — мысли его сейчас неповоротливы и тяжелы, и собирать, ворочать их неподъёмные глыбы у него нет никакого желания. Он хочет спать, он взволнован

Исакжанов Дмитрий Константинович — прозаик, поэт. Родился в Омске в 1970 году. Образование высшее юридическое. Автор книги стихов «Проверка зрения» (2007) и книг прозы «Доля ангелов» (2016), «Толкование прошлого» (2021). Печатался в журналах «Арион», «Знамя», «Новая Юность» и др. Живёт в Подольске.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* Журнальный вариант

предстоящим полётом — как всякий, видящий чудесное повсюду, — он рад скорому возвращению домой, и он устал. Тревогу его, старательно подавляемую, выдаёт лишь лёгкая рассеянность ума и, может быть, немножко, — физического тела: он находит себя то здесь, в автомобиле, то уже в салоне самолёта, то ещё на вилле, то, наконец-то, там, на пороге дома. Пытаясь усмирить разбушевавшуюся действительность, подобно тому, как умиряли когда-то морские волны, выливая в них масло, Заяц представляет, как хорошо ему спится в своей постели под тонкой простынёй, под жужжание кондиционера.

Детский лепет дикторов, вещающих где-то за проливом, под баньянами и бананами, мяуканье певец, треньканье ситаров умягчают колючие огни фонарей, стелются по велюрам салона. «Ситары, сатиры...» Перед глазами Зайца заросшие ворсом карлики пощипывают нежные струны.

Скоро мельтешение пальм и рекламных щитов снова замедляется: подъехали к аэропорту. Незнакомые деревья в театральном освещении рамп, скрытых в траве, кажутся ещё страннее, чем они есть на самом деле. Теперь их можно разглядеть подробно: стволов почти не видно, а тончайшие, невероятной длины, изломанные в каждой пяди ветви, сбившись в колтуны, густо свисают до самого песка, смыкаются с ним, стелются, подгибаются внутрь. Они похожи на пепельного цвета водоросли.

«Надо же, какие... Похожи на обрывки рыбацких сетей... — чётко, словно суфлёр, артикулируя, говорит себе Заяц. — У нас в Мусафе таких нет...» Совершенная фразировка, чёткость звуков и полнота окончаний — это тоже способ собраться, сконцентрироваться в магической неопределённости ночи.

Недавно из таких же вот сетей на Саадияте, когда покидали Лувр, перед самым капотом вырвалась на дорогу и скрылась за опорами виадука стайка антилоп: пять-семь сухих мускулистых тел цвета охры. Тех самых, которые «даби». В жёстком ртутном свете, падавшем сверху и сбоку, он почти ничего не успел рассмотреть, хотя ещё долго и старательно оборачивался. Таращился даже тогда, когда дорога, сделав поворот, отбросила место события далеко в сторону.

Вспомнив об антилопах, Заяц говорит себе: «Надо бы рассказать дома Женечке и Варваре, как я видел антилоп». И, чтобы не забыть, тянется рукой к полу, — взять в сумке с ноутбуком блокнотик и ручку, записать. Он знает, что это будет не одно и то же: событие и воспоминание о нём. Наложённые друг на друга, они придадут случившемуся новый смысл: недвижимый бег в сторону залива, видимый сквозь дымчатую глубину проходящего времени, но достоверность здесь не играет большой роли.

Блокнот Заяц нашупал, а ручку никак не мог отыскать — затерялась где-то в складках. «Ладно, — говорит он себе, — запишу позже. Всё равно сейчас писать неудобно. Да и некогда уже».

Странные деревья остались позади. Впереди — залитое светом огромное двухъярусное здание, амфитеатром огибающее автостоянку и неожиданно заканчивающееся справа и слева чем-то напоминающим трансформаторные будки. Прижавшись к обочине, машина останавливается прямо напротив огромных раздвижных дверей с надписью серебром Terminal two. Мохнад опять обращается к пассажирам, лицом своим являя равнодействующую дружелюбия: взор его, равноудалённый от обоих, упирается в середину спинки заднего сиденья, туда, где из-под порвавшейся обивки высовывается крохотный кусочек грязно-жёлтого поролон.

— Finish! Goodbye!

— Спасибо-спасибо! Goodbye-goodbye! — Алекс ухитряется на прощанье взмахнуть рукой водителю и как-то почти сразу нырнуть в разверзшийся багажник за своим скарбом. Следом, неловко оттолкнувшись, вываливается в горячий и вязкий, как воды Залива, ночной воздух Заяц.

Хлопают дверцы, бухает крышка багажника, машина уезжает. Заяц с Алексом бодро направляются ко входу. Колёсики чемоданов весело выстукивают на стыках плитки музыку возвращения: «Домой! Та-там, та-там, та-там!» Сонливость, кажется, прошла бесследно, Заяц ликует: «Домой, домой!» Всё в себе нравится ему сейчас: и новая, прибережённая специально для таких целей футболка, и намытые добела кроссовки, и ещё ломкие, час назад снятые с верёвки джинсы, пахнущие морским канатом и парусами. Руки Зайца подрагивают, голова немного кружится, но это ерунда! Через шесть часов он будет дома!

Заяц глубоко вздыхает.

Невидимый водяной пар, горячий и плотный, пеленает тела, препятствует движению. Приносимый ветром с Залива, он насыщает воздух запахом соли, запахом гниющих морских растений и животных, запахом песка. С другого берега доносятся ароматы специй. Путешественники плывут сквозь волны чёрного перца и даммара, сквозь корицу и ладан. Гул самолётов едва пробивается сквозь их маслянистую тяжесть, но он настойчив, он неизбежен, он слышен им: он похож на гул безбрежной беспокойной дали. Постепенно отрешённость, свойственная всякому, кто готовится покинуть привычные края, охватывает путешественников, магнетизирует их обещанием вечного движения. Пока-пока, благословенная земля, та крайняя точка бытия, которой только можно достигнуть!

Подмышки через двадцать шагов у обоих уже вспотели, Заяц чувствует, как узковатые трусы режут в паху, а у Алекса видно, что рубашка на спине намочена, обозначив два тёмных крыла лопаток.

Огромные стеклянные ворота бесшумно расскальзываются и, чуть помедлив, смыкаются позади вошедших. Заяц и Алекс замирают сразу за порогом, оглядываясь: зал непривычно пуст.

— Уф! — сказал довольный Алекс. — Повезло! Народу мало. Даже регистрация ещё не началась, — он оглядывает стойки. — Ладно, пойдём, что ли, присядем пока.

Прямо напротив входа, у дальней стены пустуют ряды кресел. Еле возит по полу тихой шваброй маленький филиппинец. Вот, кстати, и табло. Тааак... Алекс ищет взглядом заветную строчку.

— Чота нету нашего рейса. Вот, только какой-то на четыре двадцать, в Шереметьево.

— Наверное, ещё не обновили после полуночи, — откликается Заяц. — Нужно подождать. Вон и стойки ещё все закрыты.

Алекс хмыкает:

— Ну, пойдём, что ли, бросим кости.

И оба направляются к креслам.

Сев, Алекс долго и обстоятельно возится, сливаясь с мебелью, поправляя чемодан, меняя местами коробки и сумки, укладывая и перекладывая в ногах рюкзак. Затем оглядывается кругом и, снова привстав, достаёт из рюкзака пакет с бутербродами. Заяц сидит рядом, в ногах у него та самая сумка с блокнотиком, поодаль — чемодан. Кроме истории с антилопами, записывать оказалось больше нечего — Заяц ещё раз

добросовестно проверил свою память, — точно, нечего. Всё остальное было записано или сразу, или почти сразу. Благо, что свободного времени оказалось даже более чем достаточно...

Подперев голову рукой, он прикрывает глаза. Справа раздаётся мерное хлопанье и чавканье, словно в корыте в мыльной серой воде полощут исподнее — Алекс занялся перекусом. Закончив с последним бутербродом, Алекс пихает Зайца локтем и искоса взглядывает на него:

— А ты что, ничего не взял с собой?

Заяц, не меняя позы, пожимает плечами. В животе урчит — зря он, конечно, подумал, что ночью ему не захочется есть.

— Да... Забыл.

— На, держи! — Алекс достаёт из рюкзака яблоко.

Заяц рассеянно берёт и, повертев, подносит к пылающим щекам. «Спасибо». Тёплое, даже горячее. Пахнет... яблоком. Снова безумно хочется спать. Даже сильнее, чем есть. Нет, всё-таки не спать ночью — убийственно. Противно человеческой природе.

— Не ссы, артистократ. Я помыл, — подмигивает Алекс Зайцу, видя заминку.

Заяц невольно улыбается: его забавляет способность Алекса безбожно проверять слова и поговорки. Воображение Зайца с готовностью рисует ему все эти выверты, так что ему даже кажется, что он сам невольно соучаствует в их создании. Например, Алекс произносит: «Скрепя сердцем», — и Заяц, явственно слыша этот сухой песчаный скрип, утверждает его существование в мире. «До белого колена», — говорит Алекс, и Заяц, буквально видя это калёное, светящееся от жара сочленение, находит ему место в ряду других таких же аномалий и патологий, созданных ранее. «Пошла плясать губерния», — сообщает Алекс, и вот уже под тяжёлый мерный топ ходят ходуном, шатаются верстовые столбы — Заяц видит их явственно, словно воочию.

Какая тишина! Алекс, вытянувшись, полулежит в кресле, закрыв глаза. Заяц убирает яблоко в сумку, кладёт голову на подставленную под скулу руку и тоже закрывает глаза. В этой заминке, случайной и временной, ему чудится некая её необходимость, происходящая из самой внутренней природы путешествия, исходящая из смысла расставания с чем бы то ни было, потребность помедлить с поднятой уже для шага ногой, на сходнях. Как странно: ни объявлений дикторов, ни прибывающих пассажиров. Даже филиппинец ушёл, бесшумно катя перед собой тележку с вёдрами и швабрами. Кажется, Заяц успевает даже задремать, во всяком случае, ему кажется, что внутренний покой его, такой неустойчивый, с таким трудом отысканный, опять тихонько тронулся с места и куда-то медленно поплыл, обнажая клубящееся на дне, поднимающееся, приближающееся...

От толчка Заяц едва не подпрыгивает, — это Алекс, склонившись, тормозит и тревожно шепчет:

— Слышь, чего-то народу так и нет ни хрена! А самолёт через час. Ты ничего не перепутал?

С трудом выбираясь из беспокойного хаоса, всё ещё застывшего ему понимание, Заяц машинально переспрашивает:

— Я? — трёт лоб. Сверху-вниз, осторожно. Не трёт даже, а поводит по нему, словно кончиками пальцев пытается считать что-то с его поверхности. — Э... Да вроде нет. Ну-ка, давай посмотрим, что там пишут. — Он лезет в боковой карман чемодана, достаёт распечатку билетов: терминал три.

— Три! — Алекс взвизгивает. — Ну ты, гля, даёшь, начальник! Три! А я-то думаю...

Зайцу становится очень-очень жарко. Подхватив багаж, незадачливые путешественники устремляются по переходу налево. Третий терминал не так уж и далеко, но до него нужно ещё добежать, а там, наверняка, у стоек очередь, а времени остаётся в обрез!

Перед глазами Зайца мельтешат антилопы, меркнет пространство, ему тяжело. Сердце трепещет под рёбрами, и сейчас особенно чувствуется, какое маленькое оно, какое оно слабое. Тело Зайца ещё упрямо продвигается вперёд, но уже ноет и ощутимо теряет напор, словно с каждым шагом оно развоплощается, поддавшись панике, словно становится оно дымом, что податливее здешнего воздуха, которого сейчас так не хватает ему.

Ну, ещё чуть-чуть!

Лестницы, переходы, эскалаторы, снова лестницы — всё время вверх. Долгий прямой коридор, полутёмный, пустой, своей безлюдностью внушающий ложные надежды, вдруг некстати начинает ломаться, путаться, пускать обманные побеги, ветвясь, и заполняться людьми. Куда бежать? Заяц и Алекс едва не пришли уже в отчаяние, когда голос диктора раздался откуда-то сверху. Невнятный и глухой, он был им маяком и провозвестником. Бегуны замерли: чуждые слова скакали, наталкиваясь на самих себя и себя же перекрывая, дробились, рассыпались осколками. «Что там?! Что это он, кажется, про Москву?!» — Алекс, задрвав голову к невидимому репродуктору, с отчаянием вопрошает небеса.

— Нет, это про Маскат. Вылет задерживается.

— Ну, тогда поднажали! — Алекс с облегчением выдыхает, будто задержка рейса в Маскат автоматически гарантирует успех с рейсом в Москву. И Заяц послушно поднажимает. Сейчас он собран и целеустремлён, сонливость и тревога окончательно оставили, затерявшись, иссякнув среди мраморных извивов, меж сочленений и секций.

Топот, пот, задорное тараканье чемоданных колёсиков на стыках плит. Группка местных школьников. Разорванный хоровод индусов: замерли, словно вспоминают что-то коллективное. Мамаши с младенцами, растянувшиеся шеренгой от края до края. Степенные, как ожившие статуи, арабы. Приходится протискиваться, проталкиваться, тормозить, ускоряться, и вдруг — толпа китайцев: ни проехать, ни проскочить! Заяц и Алекс оббегают их по широкой дуге. Огромный матерчатый чемодан бьёт Зайца по коленям. Хорошо, что у него он только один, сумка не в счёт. Сзади тяжело сопит Алекс — у него барахла целая гора: путём тайных сношений с секретаршей он заполучил два багажных места. Вот на пути возникает змейка, выведенная по вновь абсолютно пустому залу из столбиков и бархатных шнуров, прикрепленных к золочёным наверху, и с разбегу опаздывающие влетают в её устье и вырываются, наконец, на финишную прямую: вот они, вожаки стойки регистрации!

У стоек народу немного, и работа идёт споро. У Зайца перевес. Пять килограммов. Лиловый лоснящийся сотрудник в малиновой униформе неумолим: «No, sir. Too heavy. Something needs to be removed». Заяц в отчаянии. Обливаясь потом, он лихорадочно соображает: что, что убрать? Там и так, кроме подарков Варе и Женечке, ничего, считай, и нету. Вот только... Но нет. Заветный мешочек он не оставит ни за что. Брахиоподы, бивальвы, великолепно сохранившаяся, размером с куриное яйцо,

криноидея — его гордость и украшение коллекции, правда, без стебля... Горсть похожих на окаменевшие шампиньоны цистоидей. Нет-нет, ни за что!

Вздохнув, Заяц выставляет на мраморный пол, рядом с урной, две здоровенные пластиковые бутылки с манговым и гуавовым соком: «В следующий раз привезу, — утешает он себя. — Всё равно ведь не сразу...»

Две бутылки — это три килограмма. Точнее, три литра. А по весу, значит, наверняка даже больше трёх кило. Заяц искательно заглядывает в глаза лилового: Is it o'kaу? Служитель воздушного океана каменеет, пытаясь сообразить, что говорит ему этот нелепый человек, шуруется и, догадавшись, кивает головой: О'кау. Заяц облегчённо закрывает крышку и дёргает вечно заедающую молнию: нужно торопиться!

За стойками снова змейка, турникеты, механические глаза которых то снисходительно принимают, то в упор отказываются видеть паспорта — после трёх-четырёх попыток и сугубых молений один такой пропускает Зайца: стеклянные ворота распахиваются. За воротами возвышаются над столами невозмутимые таможенники. Ах, эти интеллигенции¹... «Что им течение бранных дней...» — несмотря на спешку, Заяц успевает иронизировать. «Встаньте сюда, смотрите туда». Заяц с излишним усердием, с чрезмерной чёткостью движений встаёт, смотрит. На всякий случай задерживает дыхание: мало ли что.

— Проходите.

Проходит.

За таможей чистилище: люди расхристанные, босые, поддерживают сползающие с бёдер брюки, боязливо подступая к сканерам. Всовывают туда, в разверстые пасти, свои чемоданы и баулы, погружаясь по пояс сами, распрямляются и взглядывают вслед уходящему. И торопливо бегут на ту сторону: ловить дозволенное и одеваться. Всего в нескольких шагах от мясницких стальных столов вдоль стен — магазины дыоти-фри: толкут, мнут ротозеев в мишурных своих отводах, в тесных каморках, в альковках и закутках. Искушают, соблазняют, склоняют. Заманивают, уводя от цели, замедляют движение.

Блеск золотой фольги, ароматы, сосуды прельстительных форм — о, эта кимберлитовая трубка, начинённая сокровищами! Соблазны хрома и хрусталя, римский цирк с кофе и гамбургерами, с сувенирами на память: верблюды и башни. Кошмарный, сновидческий ад. Толкотня, волны жара поверх голов: «Куда теперь?!» Вавилон, сущий Вавилон, зиккурат, обращённый к центру земли! Дантов ад, и на самом дне его мечутся два беглеца.

Алекс за время марш-броска научился извиняться почти без акцента, Заяц научился не разжимать губ: обойдутся. Вот и ротонда. Чёрт, где эти спуски?! Им нужно ещё ниже. Ага, вот один!

Нет, это не кимберлитовая трубка, это... это просто...

Так, теперь важно найти нужный луч — ах, все лучи спутались в клубок, все гейты превратились в капканы! Заяц и Алекс тычутся, ощупывают, взглядываются и отбегают назад. Вот, как во сне, свернули наугад и сразу попали в нужное место. Подгоняемые вдохновением, бегут они по лучу — отвороты, залы, зальцы, едальни, снова соблазны, туалеты, сулящие прохладный беломраморный покой... Нет нужного гейта! Здесь должен быть выход, единственный правильный выход, и его нужно отыскать во что бы то ни стало, иначе не вырваться отсюда, не убежать!

¹ Интеллигенции — разновидность ангелов, приводящих в движение небесные сферы.

Прислушиваясь к встревоженным голосам, льющимся с неба, призывающим их, подгоняющим, Алекс и Заяц бегут, а лабиринт, огромный, сумрачный лабиринт всё ветвится, всё запутывает беглецов в своих побегах, хватает, водит кругами, усложняется на ходу, выпрастывая из небытия суставы, растёт, растёт...

И так разбежался Заяц, так разогнался, что летит со своим грохочущим чемоданом, уже не чувствуя ни усталости, ни страха, словно выскочил он из своего страха и летит свободной птицею, летит, как в детстве, — не остановить!

Чуть не проскочили мимо. Пустой уже столик и свободный выход на улицу. Из последних сил устремляются к автобусу за распахнутыми дверями: Стой, стой!..

Притормаживая и даже будто бы разочарованные немного.

II. МЕХАНИЧЕСКАЯ РЫБА

Пригибаясь — не по причине роста, но как бы благоговей, — Заяц в череде других медленно продвигается внутрь самолёта всё дальше, всё глубже. Металлическое чрево чуть подрагивает под стопами шествующих. Искусственный, мёртвый холод окутывает Зайцево тело, Зайцевы уши наполняют чарующие перезвоны колоколыцев, тягучие всплески арф, струнные стоны — кажется, что это звучит само пространство, возбуждаясь идеей скорого чудесного путешествия.

Подобная музыка звучала и в машине, привёзшей их в аэропорт, и такая же всегда плыла над кажущимся прохладным, по контрасту с уже прогревающимся воздухом, песком, над кристально чистой, чуть зеленоватой покойной водой Аль-Батина — близкого бесплатного пляжа.

Каждые выходные Заяц и Алекс ездили купаться. Вставали рано, особенно летом, — в шесть, в полшестого, — чтобы успеть приехать, пока жар не достиг высшей точки накала и пока автомобили других отдыхающих не заняли все свободные места на стоянках. Приезжали, долго плавали туда и сюда вдоль всего пляжа, затем выходили и ложились на песок. Песок был белёсым из-за мириадом разбавлявших его крохотных, размером со спичечную головку, раковин. Впрочем, встречались обломки и покрупнее — с пивную крышку и даже чуть ли не с ладонь. Им казалось, что они лежат на строительной площадке, загаженной окурками, извёсткой и гипсолитом.

Обсохнув, Заяц отправлялся гулять вдоль линии соединения воды и суши. Линии беспокойной, то залезающей своими широкими горячими языками далеко на песок, то столь же далеко отступающей, равнодушно обнажающей грязноватую, с крошками ила подоплёку бессловесной таинственной жизни Залива: крохотных рачков-отшельников, крабов, водяных червей. Сначала Заяц шёл в одну сторону пляжа, собирая для сына ракушки поцелее, покрупнее, поцветастее, затем, разгрузившись, — в другую. Изредка попадались голубые и коричневые тела медуз размером с суповую тарелку: мёртвые, уже не жалящие. Иногда — морские звёзды.

Постепенно пляж заполнялся. В основном здесь бывали индусы, филиппинцы и приехавшие из других бедных стран арабы. Прямо на песке расстилались ковры и покрывала, выставлялось невероятное количество снеди. Долгое время, не обращая внимания на приготовленное, взрослые занимались своими делами: мужчины бегали, плавали, играли в мяч или же, прикрыв глаза, медитировали, женщины, вытянув ноги, сидели наполовину в воде, невозмутимо глядя вдаль, а дети у самой кромки рыли канавки и строили замки, внимательно наблюдая, как случайные волны уничтожают

и разравнивают результаты их трудов, и тут же, без перерыва, принимались строить заново, будто урок их на сегодня был ещё не закончен и нужно было трудиться, пока не позовут обедать или собираться домой. Общий уровень воды стоял то высоко, урезая пляжное пространство чуть не наполовину и заставляя отдыхающих тесниться, то, отступив, обнажал дно так, что до буйков можно было идти пешком, не замочив лица. Заяц аккуратно обходил отдыхающих, украдкой разглядывал женщин, даже здесь одетых в чёрные свои балахоны, размышлял о цикличности и Луне.

А солнце поднималось всё выше и жгло всё сильнее, выпаривая на коже и в остатках волос на голове мелкую едкую соль.

Заяц возвращался, нагруженный сверкающей влажными красками добычей, и принимался разбирать её, усевшись возле сложенной в кучку одежды. Раковины на глазах мутнели, высыхая, водяной пар, незримый, но несомненный, поднимался над ладонью, будто над маленьким подвижным жертвенником. Большая часть найденного выбрасывалась здесь же, кое-что Заяц выбрасывал потом, на вилле, остальное в целлофановых пакетиках вёз домой и там, спустя некоторое время, сын или Варвара уже сами относили на помойку скоро становившееся окончательно ненужным, умерев второй и последней смертью.

Подобная утру, тоже ещё прохладному и прозрачному, с едва заметными всплесками музыка, источаемая скрытыми где-то динамиками, плыла над головами отдыхающих, над водою, над островами, медленно поднималась к небу, растворяясь в его всепреемлющей глубине лёгким дыханием земли. Казалось, что это звучит само утро, сам пляж: пустые и полупустые ещё стоянки, маленькие домики технических служб, общественные душевые, ресторанчики и разделяющие всё на сегменты, едва друг с другом сообщающиеся, зелёные изгороди из пальм, магнолий, мангра и бугенвиллей.

Когда же солнце приближалось к зениту и становилось совершенно нестерпимым, собирались домой. Тщательно, с протяжкой отряхивали песок — песчинки, покрытые нефтяными парафинами, липли к коже и никак не хотели осыпаться, — натягивали бриджи, футболки, сбрасывали с себя последних мелких кусачих муравьёв и отправлялись на стоянку. Заяц, не пользовавшийся солнечными очками, едва ли не ощупью брёл в коридорах, образуемых кустарником.

По дороге домой в машине звучала всё та же музыка, всё так же чуть слышно позвякивали кимвалы, посвистывали свирели, тренькали цитры.

С самых первых дней пребывания в этих краях Зайцу казалось, что музыка здесь звучит всюду. Музыка, рождаемая не приёмниками, приходящими в возбуждение от раздражения радиоволнами, но творимая словно бы покоем и тишиной, а может, даже и метафизическим смыслом этих мест: отъединённостью их от всего мира пустыней и океаном, замедленным течением времени и почти абсолютной неизменностью всего.

О, эта музыка! Нескончаемая, однообразная и тихая, лишь пять раз в сутки возвышаемая до отчётливо слышимой повсюду страстной молитвы — ненадолго, впрочем, как и всякий вопль, — и вновь угасающая едва ли не до полной тишины, местами прорывающаяся из-под завесы скрытого в мир материальный, как, например, на Аль-Батине или в магазинах Яса. Музыка, звучащая внутри и вне. Звуки её, подобно ветвям камнеломки, пробиваются сквозь любые стены и преграды — от них не спрячешься, будто долгий-долгий взрыв, они разламывают стены в щебень, оплетают душу, цепко держат её неземной своей, неброской таинственной красотой. Слушая

и поневоле вслушиваясь в эти звуки с утра до вечера, Заяц насыщался ими до тошноты, до отупения и, отравленный, валился, когда наступала ночь, в своей комнате на кровать лицом вверх, исторгая в продолжительных и мучительных спазмах всё впитанное за день, словно это был яд, и русла смеженных век его наполнялись горьковато-солёной влагой, то медленно иссыхавшей, то поспешно размазываемой по дряблым щекам, то попусту проливавшейся, когда он поворачивался набок. И если он неожиданно просыпался ночью, то тоже слышал их, даже ещё отчётливее, ещё громче.

Музыка очаровывала и завораживала, брала в плен и не отпускала. Она язвила и жгла, навевала сон и сна лишала, проникала на самое дно души и опьяняла надеждой всё сильнее, всё беспощаднее, ибо здесь, в своём одиночестве, он был беззащитен, и ему некуда, не за кого было спрятаться от неё. Наряду с испепеляющим жаром и ослепительным светом, утяжелённым специями воздухом и частыми обжигающими песком ветрами, она проникала в него глубоко, глубоко-глубоко, настолько глубоко, что он сам поражался своим пределам, о которых и не подозревал, и настолько глубоко, что слово «глубина» даже полностью утрачивало свой смысл, как теряется он от многократного повторения в слове, и, в гипнотическом трансе обнаруживая эту пугающую запутанную глубину, заставляла цепенеть не то от ужаса, не то от удивления, действуя в той глубине подобно огню алхимической печи, побуждала его душу к метаморфозам. И метаморфозы эти были неожиданны: они пугали внешней обманчивой новизной и наводили на мысль о вечном круговращении мира. Музыка будто подготавливала его к чему-то. В легкомысленной футболке и шортах, в сандалиях на босу ногу, он теперь казался себе ребёнком, потерявшимся посреди вечного лета.

А музыка тем временем стала прорастать человеческой речью, обнаруживая новую, скрытую до поры сущность: в дроблении музыкальных фраз появились несомненные признаки мелодекламации с паузами, ударениями, повышением и понижением тона. Затем в плещущих волнах струн и колокольцев обкатанными камешками стали проскакивать словно бы отдельные слоги, а слоги, соединяясь то хаотически, то как бы в некий порядок, образовывали некие ритмические узоры лепета, заставляя Зайца обмирать от неожиданно открывающегося смысла там, где его и в помине не было.

Музыкальная эволюция продолжалась, и вот уже нечто, похожее на полностью оформленные слова и даже фразы, заставляло всё его существо невольного свидетеля трепетать, вспыхивать и угасать, замирать на месте столпником, застигнутым непрозрачным ещё озарением.

И ещё одним удивительным свойством обладала эта музыка: она была столь тесно связана с местами, её породившими, что вне их, будучи оторванной от родной почвы и не укреплённая хотя бы в памяти слушающего её, она умирала: на записях, привозимых Зайцем домой в телефоне, призывы муэдзинов звучали хоть и красиво, но ни Варвару, ни Женечку не трогали, безжизненная красота их была последним всполохом света на чешуе глубоководной рыбы, поднятой на поверхность.

Сейчас же эта музыка, вясь и ветвясь, тянулась к Зайцу, цеплялась, искала в душе его лазейки и укромные места, чтобы спрятаться в них, прорасти и, поднявшись, оплести его всего, вместе с ним дотянуться туда, до новых широт. Она не хотела отпускать его, но тщетны были её старания — отрешённый ото всего, покрытый с ног до головы подразумеваемой голубой небесной глазурью, он был неподвластен музыке.

Остановившись на секунду, Заяц оглядывается: Алекса не видно — он где-то там, в хвосте идущих. Заяц пожимает плечами и идёт дальше. Как всё-таки хорошо, что они сидят не вместе! — Алекс Зайца раздражает своей суетой, своей плебейской пронырливостью. Близоруко шурясь на таблички с номерами — да это настоящий кит! как же он не похож на тот самолёт, на котором он когда-то, давным-давно, «летал»! — Заяц замирает, плавно покачиваясь на носках. Он похож на заморожённую змею.

«Не то!» — повернувшись, Заяц идёт между кресел дальше. Наконец, отыскав своё место, Заяц протискивается к окну. Соседи его — китаец (или японец? кто их разберёт) и женщина. Движения Зайца легки, словно здесь, на некоторой высоте от земли, уже ощутимо ослабла сила гравитации. Заяц садится, сумку с ноутбуком прислоняет к стенке, но, вспомнив, что хотел дописать кое-что, пришедшее в голову во время гонки по лабиринту, ставит сумку себе на колени и вынимает блокнот. Покосившись — не наблюдают ли за ним, — он записывает: *«Похожие на больших собак¹, они были молниеносны и исчезающе малы — как всякое чудо».*

Подумав, Заяц продолжает с новой строки: *«Сумерки в моей комнате пахнут полынью. Это огромные массы воздуха, пришедшего из Индии и двинувшиеся на запад, повернув в обратный путь, летят из Аравийской пустыни в сторону Персидского залива, увлекая за собой миллионы невидимых песчинок, а с ними и этот горький запах одиночества. Этот запах всюду. Им пахнут и сумерки, и ночи, им пахнут утра. Все постели во всех гостиницах напитаны им, и сама атмосфера этих гостиниц настояща на нём, как вино. Он неизбежен, как воспоминания, от него кружится голова, и первый же глоток его на рассвете лишает сил. Он окружает тело как одежда, и наполняет душу как музыка. От него невозможно скрыться, его невозможно заглушить ни даммаром, ни маслом дерева уд. Ветер, приносящий его, скрипит на зубах и превращает сны в одну нескончаемую мольбу: "Отпусти меня! Дай задохнуться в безвоздушном пространстве, позволь окончить путь, где будет угодно случаю!" Его невозможно стряхнуть с себя и невозможно смыть, он жалит и язвит ладони как соль, но, поднося руки к лицу, как бы для такбира, ты не видишь на них ничего, ибо это — одиночество, а одиночество незримо и подобно ностальгии: памяти о том, чего нет и никогда не было. Лишь иногда, выходя из вод отступившего от самого себя океана, ты чувствуешь краткое облегчение, но только затем, чтобы тут же с удвоенной силой снова ощутить уколы и жжение.*

Призыв муэдзина пять раз в сутки зовёт здесь каждого обратиться к Богу, я же говорю с Тобой каждый час и каждую секунду, но где Ты, Господи?»

Заяц покрывает листы тайными знаками, повествуя о том, что он видел, где он был и что с ним происходило, никому не ведомым языком, чтобы больше никто-никто, никогда-никогда, даже если он снова сам захочет...

Ослабли огни и закрылись все двери. Засипела потихоньку вентиляция и искусственный холод перестал клубиться. Умолкла музыка. Стюардессы прошмыгнули последний раз по проходу рыжеватой стайкой и расселись, чуткие, по своим дежурным местам. Ручки сложили накрест, ножки составили вместе. На лицах, гипсово схватывающихся напряжением, остатки улыбки пробиваются ещё то там, то здесь: у губ, в уголках глаз. Признаки жизни. Должностные инструкции не оставляют им времени на страх и волнение. На предчувствие чуда — может быть. Пилоты притушили огни. В дымчатой янтарной мгле тают фигурки. Крохотные лакированные копытца

¹ Но собак в Эмиратах нет, это исключительно не имеющее никаких оснований сравнение. Оно опирается на воспоминания пришельца из иных краёв о других временах.

поблёскивают. Заяц убирает ручку и блокнот в сумку: «Сейчас уже», — говорит он себе с волнением. За столько лет полёты не стали для него обыденностью.

Заметив, как изменилось давление в салоне, Заяц осторожно тянет носом, прислушиваясь: не заложило ли уши? Всё ли в порядке в его несчастной голове?¹

Он чувствует, что к ушам как будто прижимают невидимые ладони. Звуки глоснут. «Это компрессия, — говорит он себе, — нагнетание воздуха в салон, чтобы люди в глубине воздушного океана могли дышать так же свободно, как и на привычной им поверхности земли».

«Но в глубине ли океана или же на его поверхности?» — отвлекаясь от внутреннего трепета, Заяц незамедлительно предаётся схоластике, поскольку чувствует, что возбуждён чрезмерно. Отвергая лихорадочность, он старается мыслить последовательно и широко — этот обманчивый ход помогает насладиться каждым мгновением назревающего волшебства, не вступая с явлением в прямой контакт, а как бы наблюдая его из бенуара. «Если здесь, на земле, давление воздуха максимально, — говорит он себе чётко и размеренно, словно объясняя урок, — то, следовательно, дно воздушного океана здесь. А там, — он представляет себе лазурную синеву неба и даже чуть приподнимает голову к округлым сводам, — там его поверхность. Но если, взлетая, мы углубляемся в небо, то, значит, глубина всё же там, а поверхность здесь, а то, что на поверхности этой давление оказывается максимальным, то таков лишь уклад воздушного океана: строение его обратно океану водному, подобно зеркальному его отображению, и это следует просто принять как факт...» Заяц снова шмыгает — потихоньку, так, чтобы не подумали, что он болен (а то ещё не дай бог выведут из самолёта), — нет, насморка, кажется, нет.

Когда он летел сюда первый раз, слегка простывший, то таким вот избыточным давлением немногие его сопли загнало в евстахиевы трубы, и на следующий же день случился отит. Весь тогда ещё, слава богу, краткий срок командировки он промучился от страха осложнений, от сознания, что в глазах коллег выглядит идиотом со своим самолечением — ибо лекарства здесь дороги. Выздоровел он лишь за несколько дней до того, как пришла пора возвращаться домой, — чем это было, как не насмешкой судьбы!

Заяц косится в окошко: там, в полумгле лётного поля, будто в сцене из волшебного спектакля, теснятся удивительные, лоснящиеся тела механических рыб, подобных той, в которой сидит сейчас он. Туши побольше, туши поменьше. Разной окраски. Обточенные свирепыми воздушными потоками, облизанные невидимыми жгучими волнами. Иные оживлены внутренним светом — ряды окошек на боках подобны обозначениям нервных волокон в анатомическом атласе, иные облиты светом внешним, и тот стекает по скользким бокам жёлтым рыбьим жиром. Иные, покрытые чехлами, подобны спящим муренам.

На просцениумах артистами миманса суетятся служители механических рыб. Их зелёные жилеты светятся фосфорическим глубинным светом, за ними тянутся шланги, концы которых они приставляют к скользким тушам, участливо склоняясь к стыкам, к открытым лючкам, заглядывая в разверстые полости, словно играя «в доктора»: эти рыбы весьма требовательны. Под крыльями и под телами рыб, высоко

¹ Здесь, вблизи океана, в атмосфере вечного лета, напоённой солью и йодом, его здоровье давно уже должно было бы стать богатырским, однако это не так. Кажется, что самочувствие его подчиняется не медицинской логике, а некоему условному пантографу, тонкая игла которого всё обводит и обводит, дважды в год, весной и осенью, там, в далёком прошлом, детские его простуды, повторяя их в настоящем времени один в один.

вознесённых, шмыгают крохотные автомобильчики. Автобусы, похожие на ковчег, медленно ползут поодаль, развозя прибывших и убывающих.

Снаружи доносятся какие-то удары, стуки.

Заяц достаёт телефон и смотрит на часы: скоро... Он не успевает додумать фразу, как чрево, воспривавшее его, оживает. Свет становится ярче, рыба вздрагивает и с пронзительным взыканьем начинает топорщиться всеми своими плавниками. Вверх-вниз, вверх-вниз, один, другой. Через иллюминатор в противоположной стене видно, как на том крыле тоже движутся, сверкают плоскости. Они встают почти вертикально, задираются, выворачиваются до каких-то непотребных внутренностей, вылезают и убираются обратно в свои пазухи: раз-два, раз-два. Левое крыло — правое крыло. Фу. Взык-взык — так двигают «молнию» на куртке туда-сюда, то распахиваясь, то укрываясь наглухо. Наконец, агония прекратилась, тело утихло и подобралось. Засветились экраны, вделанные в спинки кресел. Мощный гул прокатился по салону. Заяц чувствует, как, покачнувшись, самолёт медленно трогается с места и начинает катиться вперёд. С замиранием сердца он думает о том, что его собственное слабое внутреннее движение, соединившись с внутренним движением двух сотен других пассажиров, придало механической рыбе этот импульс. Он откидывается на спинку кресла: теперь хорошо смотреть вперёд, поверх голов пассажиров. Туда, куда устремлён вектор их всеобщего движения. Вся сила стремления, так долго собиравшаяся в существе Зайца по крупичам, толкает его вместе с самолётом вперёд.

Где-то там, позади, остаются декорации воздухоплавания.

Проехав сколько-то, миновали огни, повернули, остановились. Постояли. Потом справа и слева, там, где не было уже ничего, кроме тьмы, что-то надрывно засвиристело, самолёт исступлённо затрясся, как стиральная машина, в которой бабка Зайца когда-то стирала по выходным бельё, взвыл, отбрасывая последнюю муторную земную влагу, и облегчённо рванул вперёд.

«Из окна соседней виллы слышатся голоса детей. Вчера днём из кухни их было хорошо видно: трое мальчишек лет восьми-десяти гоняли палкой по двору колесо от велосипеда. Совсем как наши. И смех у них, и визг такой же, как у наших... В открытое окно ванной комнаты доносится истошный воробьиный гвалт — видимо, гнездо где-то здесь, поблизости, между нашим домом и домом соседей. Щебет воробьёв подобен речи дельфинов.

Сейчас каникулы, благословенное во всех языках время, и утро начинается поздно, потому что основные делатели всех утр в мире — это дети. Взрослые встают молча, собираются и уходят по своим делам неслышно, украдкой досматривая на ходу свои тяжёлые сумрачные сны; старики, просыпаясь, начинают день с жалоб на пугавшую их ночь, и только дети приветствуют рождение нового дня радостными криками и смехом раскачивают в холодных утренних облаках сонные лодки улиц, легко обрывая липкую паутину сновидений. Впереди — день, длящийся целый день. Бесконечный, как жизнь, он равен только самому себе, и никакого будущего, кроме конца, единого для всех, у дня нет. Но сейчас, между первым и вторым азаном, когда воздух ещё прохладен и лёгок, как шёлковая простыня, конец дня не провидят даже острые глаза детей. Дремут на прохладном песке забытые с вечера игрушки; сонные дворы, не тронутые никем, подобно лунной поверхности, хранят оставленные вчера следы, напивавшиеся за ночь влагой, принесённой с океана ветром, пахнущим сырым бельём и водорослями, но восходит во славе и мощи своей солнце из-за края земли и поднимается в самый зенит, и красный песок взлетает пред лицом вверх тонкой невесомой пылью — это разрывает его нагретый

водяной пар, и пелена повисает в воздухе, закрывая лики близких пространств, обращая всё, что сначала казалось ясным как день, в недосказанность сказки».

«Фуджейра. Ослепительное солнце полудня заставляет смежить веки, зажмуриться изо всех сил и видеть сны наяву, похожие на фосфены. Дремят кремовые и охристые дворцы, отражая в своих синих и золотистых, словно фасетки космических скафандров, окнах оцепеневший в безвременье мир. Отторгая его. Никому нет хода туда — под прохладные своды, в сумрак и пустоту, украшенную журчанием невидимых фонтанов, криками экзотических птиц. Никто не видит женицин, живущих в этих домах, — подобно особенным цветам, они цветут только перед одинокими путниками, нашедшими их когда-то давно среди мраморных плит таких же пустынных дворцов и перенёсших к себе.

Здесь нет времени и нет времён года. Осень не сменяет лето, а зима — осень. Весна не приходит на смену зиме, а лето не возвращается в эти земли, сделав круг и выйдя с той стороны неба. Здесь не нужны ни часы, ни календари, здесь всегда одно и то же неизменное время года, и широкие листья пальм недвижны в золотистом чекане воздушного солнца. Иной мир, не знающий ни боли ухода, ни скорби прощания. Отправляется караван, возвращается караван — ничего не изменяется, и где сначала убывает, там обязательно прибывает снова. Возраст твой — тайна, и число лет твоих не открыто никому, ибо некому спросить в пустыне о том, что помнит она, где её сердце, где её память. Всяк спешит уйти из неё к благословенным волнам океана, но воды его горьки. Цветные рыбы подплывают к самому берегу и глядят на сушу, морские черепахи висят между дном небес и дном бездн, обратясь головами к чёрным скалам Диббы, и никто из них не видит своего отражения в воздухе, раскалённом остановившимся здесь временем. Величественно и бесшумно крутится его колесо, поднимая ввысь праведных и сминая в прах смертных — никто не укроется от него, ибо оно везде и нигде, и там, где нет его, там оно тоже есть, потому что здесь есть только оно, и оно рождается именно здесь. От трения волн о камни, покрытые нефтяной плёнкой и морским жёлудем. От протяжной песни муэдзина. От тоски, острой, как дамаская сталь. От шелеста ночи. Оттого, что нужно же куда-то девать и этот жар, и этот сон, и звёзды, и старость, и бесконечность, и страсть — всё, всё обращается здесь во время, и времени здесь столько, что его хватило бы заполнить весь горный эфир, но оно не нужно там, и вот — с тяжёлых горных утёсов оно стекает жаркими волнами сюда, вниз, чтобы жечь и язвить, чтобы лизать и разжёвывать, пожирать и сохранять, уничтожать и созидать жизни, распалённые и смиренные.

Воздух вечности нахнет корицей и корой дерева уд. Иногда он бывает сухим, как ладони тех, чья любовь исчахла в тяжёлых воспоминаниях, не дав ни одного побега, а иногда — влажным, как дыхание того, чьи губы близки. Ароматы пряностей ветер перебрасывает сюда через Персидский залив из Индии и обрушивает их на берега Аравийского полуострова, словно загадочные тревожные сны — они долго висят в воздухе, носимые ветрами над бедными рыбацкими селениями и небоскрёбами городов. Кажется, это и есть запах Рая: смесь чёрного перца, корицы, кардамона, ванили и куркумы».

«Каждое утро на наше крыльцо ветром наметает лепестки олеандра. Один, два, три — будто обрывки атласной подкладки, пропитанной солнцем, остывают на каменных ступенях. В обед лепестков становится больше: невесомым хороводом они кружатся на мозаичном мраморном узоре, скрывая его своим движением, отменяя, делая ничтожным, приковывая внимание к собственной сухой разгорающейся страсти, такой убедительной, что поневоле вслушиваешься в надежде услышать слабый шелест. Но шелеста нет. Лепестки кружатся беззвучно. Присмотревшись, можно заметить между ними и мрамором

узкие чёрные полосы теней — это значит, что лепестки кружатся, не касаясь камня. К вечеру ветер усиливается, кружение становится всё быстрее, всё жарче — разрозненные лепестки превращаются в вертящееся огненное колесо гончара! И когда люди возвращаются с работы и открывается входная дверь, огненное колесо врывается во внутренние покои дома и разлетается кровавыми брызгами глины всюду, докуда хватает сил долететь! На следующее утро лепестки снова лежат на крыльце — видно, снова и снова повторяется один и тот же сон. Откуда они берутся? Поблизости нет ни одного дерева... Может быть, на исходе ночи, когда перед рассветом всё на мгновение замирает и от края до края земли воцаряется тихая пустота, их вытягивает из уходящих снов сквозь стены комнат, и они собираются здесь, с внешней стороны, мареновым выпотом?»

«Аль-Айн. Здесь, в оазисе, посреди золотых песков, подвижно всё, и всё проникает друг в друга, замещая и замещаясь. Как ни прячешься, загар появляется, словно старость, незаметно и неотвратно — это само время, остановленное телом на лету, начинает светиться в каждой его точке. Если подняться на самую высокую здесь гору Хафит, то совсем рядом можно увидеть гигантское дерево Сидр, растущее на границе с Оманом, дерево, на листьях которого — имена всех живущих. И когда ураганный ветер в ночь Бараат сотрясает это дерево, то горе тем, с чьими именами листья падут на землю.

Дыры и ямы на поверхности скал — разграбленные ветром и зноем тайные кладовые времени. Сlepки пустоты, которые подземные источники тысячи лет наполняли сухим остатком своей жизни, сверкают на солнце кристаллами кварца. От самой вершины горы морщинами разбегаются сухие русла каналов и теряются далеко в пустыне, где лишь ядовитый марх своими корнями соединяет вершины красных барханов с центром земли да в ложбинах торчат мерзкие, как собачий срам, циномории, вылезшие из возбуждённых солнцем недр. Если в самый длинный день года, когда толщу земли потоки жара пронзают насквозь, встать здесь на колени, можно услышать, как там, в глубине мрачных лабиринтов, проточенных водой, стонут и жалуются на свою судьбу порождения страха и нечистоты, проклятые богом и отвергнутые людьми.

В другую сторону текут теперь воды жизни, и люди, следуя за ними, живут теперь в другой стороне побережья. Солоноватая горячая влага, исторгаемая плотью земли, оплодотворяет почву, и возбуждающий, животный запах мускуса стоит над зарослями тамариска, гниющего от избытка влаги, — даже умирая, он истекает телесными соками, готовый совокупляться и рождать. Нищие хижины и дворцы; богатые ограды, что насмежаются над собственной тенью, и заборы, что повалились вовнутрь двора, будто подавшись притяжению растительного царства, тихо тлеют у своих оснований, подождённые смертью, — всё это ненасытное чрево земли, смочив своими соками, тягивает в себя миллиметр за миллиметром, год за годом.

Дома и купальни украшены по периметрам плоских кровель карточными «пиками» — аллегорией мужского начала, пронизающего покорно раздавиющую женственность неба. Орнамент таимого насилия, синопсис покоряющих и покоряющихся тонок и несущественен — за ними нет силы, что свидетельствовала бы о продолжении тайны. Однажды жизнь иссякнет и здесь. Сухое печенье, ломкие паспарту. Белая пыль в ослепительно-остром свете взметнётся ветром и, долго провисев в воздухе кисей, всё-таки опадёт».

«Сонная одурь залитых солнцем улиц, мраморные дворцы за глухими заборами, неистовство горлиц, бесконечно повторяющих один и тот же фрагмент шадхавара — аридный мир, лишённый контрастности ослепительным ровным светом, блёклый, как

недодержанный снимок, слишком рано вынутый из проявителя. Словно возмещающая недостаток контраста, жители носят только чёрные и белые одежды. Их белые никабы и дишдаши, развеваясь на ветру, напоминают о верстовых столбах и отмечаемых ими расстояниях, что умножаются отсутствием ориентиров и практически полным отсутствием какого-либо движения. Лишь редкие импульсы птичьего полёта, рождающиеся вопреки природе здешней материи, и их мгновенная смерть в вязком воздухе. Обособленность. Обездвиженность. Ожидание. Состояние, не обязывающее ни к каким действиям, не сулящее и не обещающее ничего, но будто бы подводящее к искушению кинуться вниз с обрыва высокой дворцовой стены, действующее как анестетик, от дозировки которого зависит то, что будет видно в следующей фазе твоего существования.

Отпечаток голых ягодиц на стуле похож на две чаши весов, стремительно тающих, переходящих в горячий воздух комнаты построчно, как сдаваемая в набор экстренная новость. После тёплого душа одежда ещё долго кажется ворохом совершенно ненужных вещей. Пока что целые стены, не успевшие состариться, неосыпавшиеся стены домов — улики будущего, пора которого ещё не пришла. Когда-нибудь их непременно начнут откапывать из выпавшего из воздуха в осадок песка, вынимая на свет по частям, как фрагменты «Титаника», ушедшего на дно движущейся пустыни. По утрам почва сыра, словно всю ночь шёл невидимый, тайный дождь. Крупные капли сконденсировавшейся из тумана влаги свисают с изнанки металлических листов, разбросанных под новостройкой, и притяжение земли не в силах их заставить броситься вниз. К полудню они исчезают сами, испаряясь без следа. Из-за плотных штор, закрывающих окна от солнца, в комнате всегда стоит полумрак. Чтобы пройти в ванную, приходится сначала включить свет и, встав у порога, ждать, пока там разбегутся по своим углам, спрячутся в щели и потайные места насекомые, в изобилии населяющие дома: тараканы, кивсяки, чёрные муравьи и жуки-чернотелки, проникающие сюда из другого, невидимого, недоступного мира. Абстрактные линии на кафельных плитках складываются в очертания знакомых с детства картин.

С начала года и до середины марта каждое утро та часть неба, что расположена ближе всего к восходящему солнцу, оглашается золотом с детства знакомых горнов — это журавли, пережившие здесь зиму, возвращаются домой».

«Оглушительно скрипит бамбуковая подпорка под верёвкой, отягощённой сырыми простынями. Ещё полчаса-час, и скрип прекратится: вся влага вознесётся в небо, оставив лёгкие шкурки трепетать на жарком ветру. С самого утра у двери моей комнаты сидит маленькая полупрозрачная ящерица, ловя потоки прохладного воздуха, вытекающего в коридор через щель.

Ночью был шторм, и дом гудел и выл, как пустая ракушка. В разошедшихся от жары коробках двери стучало так, словно это безумец носился по этажам и ломился во все комнаты. Я проснулся от грохота, во сне показавшегося мне оглушительным — до этого мне снилась мягкая осень, — и пошёл запереть дверь на замок, не понимая в темноте, на что ступают мои ноги: что-то мягко шуршало на полу и липло к подошвам. Возвращаясь, я включил свет и увидел, что это были деньги: вечером я оставил их на столе, и сейчас от сквозняка они разлетелись по всей комнате. Здешние деньги пахнут духами. Касией и смирной, нардом и корицей, ладаном и калганом. Ванилью. Пройдя через миллионы рук, бумага впитала в себя все ароматы благовоний, касавшихся её. Пройдут годы, исчезнут с лица земли эти люди, но останется тот острый и пряный аромат, похожий на расплывчатый фотоснимок призрака.

Скоро домой. Воды океана в эту пору ещё холодны, и не каждый идёт купаться.

Многие, как мы, приезжают на пляж, чтобы просто постоять, посмотреть на волны и на чаек, обречённо падающих с высоты в их гремящую толчею; чтобы разуться и босым пройти по границе воды и суши — последнее целование. Влажное, солёное. Слезное.

Несмотря на ветер, в песке увлечённо возятся двое детей, умудряясь при этом азартно переругиваться между собой: "Matan, lui dire qu'elle ne monte pas à moi!" — "Matan, elle a été le premier départ!" "Marie, imbecile!" Хорошенькие стеатопигические девочки, лет четырёх-пяти. (Это из-за памперсов, которыми они пользуются. Говорят, едва ли не до первого класса.) Бельгийцы или французы. Родители, не обращая внимания на призывы, сообща сражаются с пляжным зонтом, который никак не хочет укореняться в неглубоком песке. Взметаемый вверх, он после недолгого полёта тяжело опадает им на головы. Плач и скрежет зубовный. Каменный дождь. Геомантия. Зрелище пляжной этой идиллии поневоле наводит на воспоминание — вернее, не "наводит", а заставляет в данный момент времени выбрать именно его в ряду многих других, постоянно присутствующих в моей жизни воспоминаний по принципу простых подобий — о другом пляже и другом ребёнке на берегу мелкой речки, почти сорок лет назад...»

III. ЛАБИРИНТ

1

Самолёт кренится и проваливается в чёрную бездну. Там, на дне её, насколько хватает глаз, раскинулось пространство, обжитое людьми: геометрически чёткие пунктиры и линии дорог, правильные и неправильные прямоугольники усадеб, подсвеченные фонарями площади. Человеческая паутина, мерцающая грибница, уходящая за горизонт. Прекратив падение, самолёт выравнивается и опять начинает взбираться всё выше и выше, к самой поверхности воздушного океана — слышно, как нутужно воют его двигатели.

Оторвавшись от иллюминатора, Заяц снова достаёт блокнот и записывает: «Там, внизу, прямо под нами и далеко вокруг, насколько хватает глаз, тлеющей электроплиткой светится город. Тонкими нитями дорог он соединяется с другими селениями и городами. Вот и здесь нет ни границ, ни предела жизни». Заяц уже не пытается скрыть своё возбуждение и свой восторг: ещё немного, и он окажется дома. Ещё чуть-чуть — и конец тревоге! Всё разрешится, всё обязательно скоро и благополучно разрешится!

О, этот город... Количество неприятностей и нелепостей, случившихся с ним в первый же его приезд, было избыточным даже для такого олуха, как Заяц. Впоследствии, вспоминая о них, он думал, что иначе, конечно же, быть и не могло, что это было неким иррациональным условием его истинного, настоящего, а не туристического проникновения сюда: жизнь нигде не открывается только одной, парадной своей стороной. Если ты, конечно, даёшь этой жизни время раскрыться.

В первую же ночь на новом месте Заяц проснулся оттого, что на лицо ему что-то капало. Крупные, как крыжовник, холодные капли шлёпались мерно и беспрерывно — словно некий невидимый метроном отсчитывал особенное время тайной стороны суток. Капли пахли не то известью, не то краской.

Какое-то время Заяц лежал с закрытыми глазами, ничего не предпринимая. Струйка сбегала со щеки на шею, с шеи — на плечо, а с плеча — куда-то под бок, ближе

к груди. Там было уже очень и очень мокро. Даже не пытаюсь понять, что это такое, — приходя в себя, он лишь отвернул голову в сторону, чтобы брызги не летели ему в нос, — Заяц торопливо, но осторожно, будто разворачивая древний манускрипт, вращал в уме пространство сна, пытаюсь для чего-то определить в нём своё положение относительно комнаты, как всегда бывало с ним на новом месте.

В зыбком своём прозрении он то ясно видел себя обращённым головой к окну, а ногами к дверям (и, следовательно, справа от него должен быть стол), то вдруг тушевался, робел, и уверенность его сменялась растерянностью: может, это и так, а может, и нет... Глухая стена, чьё местоположение было известно ему уже почти доподлинно, как-то неожиданно ускользала, и он спешно пытался вернуть её на место, вводя в соединение с левой своей рукою, но тогда совершенно терялось окно на стене смежной. Дверь вообще, то пребывавшая, как господень завет, всюду, куда бы ни оборотился он, ни с того ни с сего вдруг начинала казаться ему пустяком, и уже совершенно неважно было, где она находится, но та собственная часть его, что была к этой двери обращена, в таком случае тоже терялась, и тогда становилось ясно, что нужно непременно дознаться, где эта дверь обретается, поскольку без неё-то точно никак...

Наконец, проснувшись окончательно, Заяц сообразил отодвинуться — растёкшаяся лужа (матрас почему-то её почти не впитывал) достигла уже его бёдер. Заяц коснулся рукой лица, понюхал пальцы — кажется, всё же вода, но нечистая. Ну, хоть, слава богу, не краска. Но что же это за странный такой инфильтрат ночи, откуда он взялся? И, кстати, что это за шум? И где он, вне дома или внутри? Может, он как-то связан с этой капелью? А может, это всё скоро закончится и я всё же усну...

Так он лежал и думал, не предпринимая ничего, да, собственно, и нечего было ему предпринять. Ему, оказавшемуся в этом доме впервые и не знавшему ни самого дома, ни его жильцов.

Когда вода настигла его снова, Заяц сдвинулся уже на самый край кровати и стал думать, как ему быть, когда вода доберётся и сюда. Странная ночь, в отличие от кровати, кончаться никак не хотела. «Что же это такое? — думал он. — На что это похоже?» — спрашивал он себя, пытаюсь подобрать хоть что-нибудь соответствующее шуму в своём каталоге соответствий, расширенном близостью сновидческих аналогий. Модуляции, темп и ритм казались Заяцу странно и давно знакомыми. Да, а сколько сейчас? Заяц приподнялся было, но искать мобильник, чтобы узнать точное время, передумал — не хотелось ослеплять себя светом, не хотелось прогонять остатки сна. Хотя какой уж тут сон... И всё же лёг обратно и закрыл глаза, прислушиваясь. Наконец, по некоторым признакам Заяц сообразил, что шум доносится с улицы: там волнообразно, то отходя, то накатывая, что-то настойчиво сыпалось, раскатывалось, стучало. Вот — опять. В окно. Раз, другой. Дробно и сильно пробежало по стеклу гороховой россыпью. «Дождь?» — удивился Заяц, но удивился не дождю, а наконец вспомнившемуся слову, его обозначающему. «Но разве здесь бывают дожди?» — спросил он себя и не ответил: он не знал, бывают ли здесь дожди.

А это и в самом деле был дождь, вернее, ливень, сумасшедший, невероятный ливень. Он всё грохотал, всё бился там, снаружи, в ночи, общей на всех, раскалывая её, и ночь внутри комнаты, отступив, бежала за стены дома, *туда, к своим*, и теперь здесь, в комнате, была просто тьма, приведённая в незримое движение. Пространство комнаты вибрировало и гудело, передавая своё возбуждение всё дальше, всем частям дома — так один камертон сообщает другому своё безумие, намагничиваясь беспредметным, незримым ужасом музыки.

Вот гул просочился сквозь щели в дверной коробке на лестничную площадку, метнулся по пролётам, вверх и вниз, разбежался по стенам и перекинулся на потолочные перекрытия, скатился на пол первого этажа. Невидимым пламенем он двигался, наполняя собой, заражая своим примером и заставляя уже самостоятельно звучать все явные и скрытые полости жилища, все его закоулки и потайные комнаты. Он ломился в шкафы, проникал в кладовые, тыкался в каждый угол и обследовал каждую щель. Сквозь запертые двери он ринулся в другие комнаты и там, через балконные двери и оконные рамы, как всегда плохо прикрытые, соединился с шумом, его породившим на улице, внизу он отыскал входную дверь и протиснулся, и уже снаружи обьял стены дома, словно пламя, до самой крыши, принялся трясти и раскачивать, и вот он уже весь загудел, оторвался от земли, закачался на волнах и поплыл, поплыл, увлекая его обитателей, притаившихся внутри, к какому-то неведомому ещё кошмару...

Утром выяснилась причина ночной капли: протёк потолок. В выси, казавшейся необозримой («Метра четыре будет. С лишним», — подумал Заяц), прямо над кроватью расплылось и всё ещё сочилось огромное желтоватое пятно. С детской радостью Заяц разглядывал его неприветливые, благородно-сдержанные очертания: пятно выглядело неведомым континентом. Со стороны, обращённой к стене, смежной с туалетом, береговая линия плавным изгибом вдавалась внутрь, образуя удобную для кораблей бухту, с противоположной же была неприступна и щетинилась утёсами.

Нагой Заяц долго лежал, разглядывая ностальгическую сепию. «Настоящая terra incognita», — думал он. Некоторые затемнения в середине и со стороны, противоположной бухте, как бы намекали на неоднородность ландшафта, на возвышенности, может быть, даже на пики... В рассеянном свете Заяц нашёл эту землю прекрасной. Астральный двойник континента — мокрое пятно на кровати — почти касался его бедра.

Наконец, спохватившись, Заяц вскочил, сдвинул кровать в сторону, сдёрнул мокрую простыню и повесил её на трюмо в углу комнаты — сушиться. Затем, как есть, не одеваясь, подошёл к шторам, наглухо закрывающим окно, вложил обе руки в их тяжёлые пыльные складки — кажется, шторы не стирали несколько лет, — нашёл края, и развёл их в стороны. Стыдливо на всякий случай отступил вбок и оглянулся: омут полутёмной комнаты существенно обмелел. Изогнувшись, Заяц повозился со щеколдой и с усилием сдвинул створку окна. (Створка напоминала полупрозрачное зеркало: чистая снаружи, изнутри она была запылена так, что на ней остались следы его неловко скользнувших пальцев — первые письма неведомого мира. В свете, вошедшем в силу, смысл их показался почти понятным.) Переступив босыми ногами на холодном полу и придерживая у бедра тяжёлые складки полотна, любопытный Заяц высунулся наружу и замер, оглушённый птичьим щебетом. И зажмурился, оглушенный светом.

Несомненно, щебет был прекрасно слышим и за закрытым окном, но Заяц обратил на него внимание только сейчас¹.

¹ Потом он будет слышать это пение всюду, даже сквозь закрытые окна, сквозь глухие стены, в иных, далёких от этого местах, — странное явление, нечто подобное индукции, непрерывно наводимой в слуховых нервах отдалёнными во времени и пространстве источниками, подобие, а может, и составная часть той самой музыки, ставшей впоследствии речью.

Он обомлел. Он никогда не слышал ничего подобного. «Сколько их там — сотни, тысячи? Почему я не услышал их сразу? И — где же они прячутся?» — вопрошал Заяц, вслушиваясь, вглядываясь и постепенно соображая, что слышал, конечно слышал, но не воспринимал щебет как неготовый к нему.

Вид, открывшийся Зайцу из окна, был странен: напротив, метрах в пятнадцати, выходя из левой и правой сторон туманящегося банным маревом пространства, высилась стена бежевого цвета, разделённая в середине воротами, напротив которых вчера вечером его высадил водитель. Ворота были великолепны: две огромные кованые створки их, смыкаясь, образовывали солярный круг. На долгих — от угла в угол — витых лучах чёрного цвета сидели звёзды и птицы, вились лианы, понизу, среди пальм, таились львы. Всё свободное пространство было забрано жёлтым полупрозрачным стеклом, пылающим на солнце.

За стеклом угадывалась и поверх арки виднелась дорога, ещё мокрая от ночного ливня. Пространство между стеной и домом было пусто — сквозь серую каменную плитку, отороченную кое-где бархатистыми серыми шнурами соли, не росла даже трава. Заяц поглядел вправо и влево, высунувшись, насколько позволяли ему тога и стыдливость, из окна, — ни единого куста, ни единого дерева. Только стена слева — подальше, а справа — почти сразу, преломляясь в сыром жарком воздухе, уходила и терялась за домом, всё такая же высокая, сплошная.

Ни куста, ни дерева. «Где же они живут?» — спросил себя Заяц, думая о птицах. Чирикание, взвизгивание, теньканье заполняли каждый сантиметр пространства, оглушали. Толклись, спрессованные в одно, писк, стрёкот и мяуканье. Мелодичные стоны. Трели, подобные соловьиным. Посвист и щёлканье. И поверх всего, насквозь, пронимало мир настырное, монотонное и в то же время какой-то невероятной силы пронзительное гуканье. Словно какая-то особенная птица всё собиралась возопить всех громче, да осекалась и умолкала. А помолчав, зарядившись всеобщей силой ликования, начинала снова, бросая свой голос в глубину гама, примеряясь: достигнет ли дна? Неустанно и с равной силой, опять и опять.

На противоположной стороне, за дорогой, тянулся вдоль улицы забор такого же бежевого цвета, за которым великолепствовали, насмехаясь друг над другом, дворцы, из единого ряда то отступая в глубь собственных дворов, то выдаваясь вперёд и выдвигая в авангард строения поменьше. Прямо напротив высился трёхэтажный особняк с балконами вдоль стен, с площадками, огороженными баллюстрадами, с переходами и башенками и с неожиданно плоской крышей. Огромные окна зыбились расплавленным золотом над широкой входной аркой. Стены особняка были облицованы плиткой, кажется, мраморной.

Налюбовавшись, Заяц закрыл окно, огляделся и решил действовать — судя по часам, времени у него ещё немного было. Он отыскал в ванной синее пластмассовое ведро и поставил под капель посреди уже натёкшей небольшой лужицы. Подумал и вытер лужицу крохотной тряпицей, которую нашёл там же в ванной, под раковиной. Поднатужившись, вынул из кроватной рамы матрас и прислонил его вертикально к стене — просушиваться. Снова раздвинув шторы, теперь уже с обеих сторон, и, закрепив их вдоль рам, робко, как нимфа, убежал в ванную. Умылся, оделся и вышел, аккуратно и тихо закрыв дверь ключом. Подумал, что надо бы сказать о своём внезапном бедствии — кто знает, как часто здесь идут дожди? — вот только кому сказать?

Действия, совершаемые Зайцем почти механически и тщательно, помогли ему отвлечься от тяжёлых вчерашних мыслей, в то же время помогая проникнуть в суть положения, в котором он оказался, найти в нём себя, понять и определить своё место.

За воротами уже стояла машина, на которой предстояло ехать на работу. Двигатель урчал на холостом ходу, однако двери были закрыты. Водитель, видимо, вот-вот должен был выйти — его новый коллега, о котором предупредили ещё *там*, в Поливаново. Заяц представил себе эту встречу, этот неизбежный диалог, свою жалобу и разочарование коллеги, вынужденного, наверняка, возвращаться обратно в дом, и ему стало неловко, даже стыдно — словно это он сам, как обычно, был причиной всех бед. Чтобы хоть как-то смягчить неизбежность, например, не гонять неведомого коллегу лишний раз туда-сюда по улице, Заяц решил перехватить его в доме. Быстрым, насколько позволяла ему комплекция, шагом он отправился обратно.

«Ну и... Где его искать?» — спросил себя Заяц в фойе пустом и гулком, как новостройка. Он прошёлся вперёд, где виднелась какая-то дверь, постоял перед нею, прислушиваясь, заметил, что она приоткрыта, решился и приотворил её сильнее, приготовившись извиняться за вторжение, но обнаружил за нею только комнатку со стиральной машиной. Вернулся обратно, пошёл в другую сторону, сулящую в полумраке некий проём, — оказалось, столовая. Тогда он поднялся на второй этаж, машинально подошёл к своей комнате и огляделся: на площадку выходили ещё две двери. Получается, коллега его и возможный спаситель находится за одной из них, но за которой? Где тот, на кого он уповаet? Вчера, едва поздоровавшись с кем-то, введшим его в дом, он ушёл к себе, упал лицом на кровать, не удосужившись — не удосужившись!..

Как его хоть звать-то? Чудно как-то, не по-русски, хотя сам явно наш человек. Кас... Ар... Алекс! Точно, Алекс.

Двери казались игральными картами: угадай... Заяц снова прислушался: и здесь тишина. Абсолютная тишина, только там, за его собственной дверью, в его собственной комнате слышно было, как часто и увесисто плюхались в ведро капли. «Ну и что, стучаться, что ли, в каждую? Или постоять, подождать?...» — прикидывал он, но тут же осёкся: за одной из дверей послышались шаги, шумная возня, щёлкнул замок и дверь приоткрылась. В щель просунулась волосатая рука с пакетом, поставила пакет, качнув им, на пол, сбоку от двери, и убралась обратно. Заяц успел заметить загорелую кисть с холёными пальцами и широкую красную нить на запястье. Он ещё захотел было что-то такое приветственное и в то же время вызывающее о помощи крикнуть, но не успел, засмутившись.

Внутри же, за дверью, опять послышалась возня, громкое сопенье, бормотанье, и дверь широко распахнулась: на пороге стоял он, проводник и спаситель. Тот самый, вчерашний.

— Слушай, Алекс! — подступил к нему Заяц взволнованно...

Карабкались по лестнице, прикреплённой к совершенно гладкой глухой стене дома, выходящей на задний двор. Здесь, кстати, и открылась Зайцу тайна невидимого птичьего хора: у огромного двухметрового бака с водой, обильно переливавшейся через неплотно прикрытую крышку, в песке что-то тесно и яростно кустилось. Тонкие раскидистые ветви, мелкие круглые листочки, алые цветки и какая-то трава в изножье, колючая и жилистая, вроде нашей полыни, в колодце затхлого знойного воздуха находились в беспокойном движении — это птицы, вспугнутые появлением людей, молча и спешно покидали своё жилище.

Перекладки лестницы были тонкими и сильно резали ступни — Заяц в спешке забыл переобуться и лез в домашних тапках. Металл не успел ещё раскалиться и приятно грел руки. Голова Зайца кружилась от недосыпа, от непривычного запаха,

разлитого всюду, — казалось, он, как в детстве, засунув голову в бабкин буфет, обоняет густую смесь запахов, рождаемую истлевающими от времени газетами, выстилающими дно его и пробивающимся, профильтрованным сквозь газеты пахучим деревом, лаком, и просыпавшимися, ввевшимися в поры досок перцами всех видов: красным, белым и чёрным, и зирой, кумином, ванилью, лавровишневыми каплями, гвоздикой, корицей — и от невероятия: ещё вчера утром эту бедную голову студил ноябрьский ветер, посыпал мелкий колющий снежок.

Перед глазами Зайца бодро мелькали перепачканные мокрым песком смуглые пятки Алекса.

Казавшаяся невысокой снизу, сейчас лестница тянулась бесконечно, и Заяц карабкался долго, с остановками, с частой оглядкой. Слезились глаза, нос заложило, приходилось дышать ртом, отчего и без того тяжёлое дыхание его походило теперь на сопение паровоза. Ноги Зайца дрожали в коленях, а птичий гвалт снова зазвучал внизу, как ни в чём не бывало. «По-нашему, этаж третий уже будет. Или четвёртый даже», — думал Заяц, крепче цепляясь за перекладины.

Наконец, лестница поравнялась с бордюром, огибающим крышу, перевалила через него, спустилась вниз и закончилась у самых плит перекрытия.

Заяц ступил на крышу и огляделся. Глазам его открылось невероятное: Валгалла, хранящая сокровища детских грёз, пополам со школьными кошмарами атомной войны. Запустение и роскошь. Эклектика — свалка вещей, по различным причинам оказавшихся ненужными людям. Забвение.

Между покосившихся кондиционеров пылились пузатые комоды штучной работы на кривеньких насекомых лапках, ржавели остатки сломанных бронзовых светильников, топорщились отставшим шпоном резные столики, валялись рассохшиеся тяжёлые рукотворные стулья, покоробленные столы и листы железа неясного генезиса, облезали мотки проволоки, зияли пустотами рассохшиеся шкафы, тускло поблёскивали осколки фарфоровой посуды — может, тоже знавшей живое тепло рук гончара. У странного возвышения посреди крыши, похожего на ларёк «Союзпечати», валялся пыльный матрас.

— Мы его сюда вытащили, чтобы загорать, — сказал Алекс, заметив недоумённый взгляд коллеги.

— А... как? Не по лестнице же тащили всё это? — Заяц широко повёл рукой, спрашивая про то, что меньше всего его интересовало.

— Да ясен перец, не по лестнице. Это, — Алекс показал на ларёк, — выход на крышу изнутри дома, только мы ключ от двери прое... потеряли на днях, пришлось вот действовать в обход, — и Алекс довольно гоготнул. — А вот это, — продолжил он, обводя взглядом рухлядь, — прежние жильцы виллы стаскивали сюда. Здесь такого вообще дохрена, — добавил неопределённо Алекс. Вскоре Заяц убедился в правоте его слов: на каждой помойке регулярно появлялись выбрасываемые за ненадобностью шкафы, столы, банкетки и кресла, которые на родине у него имели бы гордую надпись «хэнд мейд» и имели бы соответствующую цену. Это нынешние индусы, живущие здесь не одно поколение, — как сообразил он попозже, — заработав, наконец, на шкафы-купе и стенки из современной ДСП и ламината, избавлялись от мебели колониальных времён, с которой по бедности приезжали их предки.

Здесь же, на крыше, Заяц и Алекса разглядел. Похожий на заволосатевшего пупса, он был чрезмерно округл. Лобастая голова с короткой, почти под ноль, стрижкой, круглые навывкате голубые глаза, пухлые капризные губы Амура. Брюшко, соответствующее примерно шестому месяцу беременности у женщин. (Вообще,

глядя на Алекса, никак невозможно избавиться от мыслей, связанных с пре- и перинатальным периодом развития человеческой особи.¹⁾

Запоздало подумав, что Алекс может заметить, что он его разглядывает, Заяц отвёл взгляд к батарее пустых бутылок из-под джина «Сапфир», выстроившихся вдоль стены. Напротив батареи простиралась чуть ли не до противоположного края крыши и чёрным обсидианом сверкала под солнечными лучами лужа, обратная сторона того самого континента, что явился утром Зайцу, повиснув у него над головой.

2

— Ух, шпарит! — Алекс одобрительно скалится на солнце. — Позагорать, что ли? Совместить, так сказать, несоединимое с приятным...

Стянув футболку, Алекс оглядывается, ища куда бы бросить её, и, не найдя подходящего места, перекидывает через плечо. Массивный крест, качнувшись, сверкнул на слабой его груди.

— Ну, пойдём, — позвал он Зайца. — Посмотрим, что там. И направился вперёд, к тёплым берегам. На спине у Алекса, увидел Заяц, буйным цветом цвела трёхсоставная, как складень или трюмо, роскошная буддийская татуировка с письменами, выющимися, как шерстяные верёвочки, от шеи до поясницы.

— Тааак, где тут твоя комната должна располагаться?..

Оставив сандалии на берегу, Алекс, похожий на рудознатца, ступает в лужу и деловито сгибается в пояснице в поисках незримых ходов, каналов или хотя бы трещин, ведущих в Зайцеву комнату. Склоняется над заволновавшимся чёрным стеклом, проникая его мысленным взором. Чуть притопывая одной ногой, словно опасаясь, что дно под ним может разверзнуться, он осторожно продвигается к самой середине разлива. Заяц тоже разулся и брезгливо, с опаской — чёрт его знает, что там плавает в этой воде, — ступил вслед за Алексом. Чуть выше лодыжек зашекотало. «Вот она, обратная сторона неизведанной земли, — думает Заяц, глядя на колышущуюся поверхность. — Вот то, что сотворило её, что дало ей плоть и черты. Вот — материя, выдвинувшаяся новыми равнинами и горами».

Подозрительных мест, через которые настырными токами могло бы сообщаться пространство внутренних покоев с внешней безмятежностью вод, нигде не обнаруживалось — крыша как крыша, плоская, относительно ровная. Лишь в середине её, там, где дно, образуемое двумя неровно положенными плитами перекрытия, напоминало сложенные ковшиком ладони, Алекс остановился:

— Походу, здесь и протекает! — воскликнул он и ударил пяткой в дно.

— Наверное, — с готовностью согласился Заяц.

Он был растерян, оглушён и, глядя на свои ноги, слабо светящиеся в тёплой мгле, не понимал, что нужно делать. Ему подумалось, что теперь придётся ждать, пока лужа не протечёт к нему в комнату вся, за исключением той части, что успеет тем временем испариться, — глупость, конечно. Однако Алекс выход нашёл.

¹⁾ Позже, когда Заяц впервые услышал, как смеётся Алекс, он был поражён. Он сначала даже не понял, что это за странные звуки и что служит источником их: какое-то посапывание, кряхтение, похрюкивание — словно кто-то щекотал младенцу пяточки или пузико. Лицо Алекса при этом оставалось почти неизменным, только глаза чуть прикрывались веками, только чуть морщился и вздёргивался розовый носик.

Поднявшееся уже высоко, едва ли не в самый зенит, солнце сушило влажный рубероид. Осторожно ступая и стараясь сильно не плескаться, Заяц и Алекс черпали снятыми с фонарей, расставленных на бортике, плафонами воду и сливали её прямо на улицу. Птичий гвалт опять утих — то ли птицы, испугавшись звуков падающей воды, разлетелись, то ли просто уши привыкли к их гвалту, переполнившись, и уже не отличали пения от мёртвой тишины, затопившей устья ближних переулков. Голова у Зайца раскалывалась, пот заливал глаза. «Заболел, — грустно думал он. — В первый же день заболел!» В правом ухе, кажется, начинало постреливать.

Но лужа на глазах становилась всё меньше и меньше, и это радовало. «Ещё немного! Ещё чуть-чуть», — радостно, как Дуремар, восклицал Алекс, шкрябая своим плафоном уже по самому дну. Вдруг стремительно нарастающее откуда-то издалека тарактенье привлекло их внимание — оба не сговариваясь задрали головы: вертолёт. Маленький, белый. Он быстро приблизился, возникнув буквально из ничего, и так же быстро исчез в белёсом, мутноватом небе. Заяц раньше таких никогда не видел, разве что в кино про лихих героев, про спецслужбы...

— На работу полетел, — сказал Алекс. — Он всегда здесь летает, каждый день, кроме выходных. В десять туда, в пять — обратно. Не утруждается. Ну, всё, хватит, — он отступил на сушу и жирно сплюнул. По волнам разбежалась, стремительно редая, белопенная звезда. — Остальное само скоро высохнет.

— Ты давно здесь? — спросил его Заяц.

Алекс хмыкнул:

— Всегда.

Заяц заглянул Алексу в лицо, пытаясь понять, шутит тот или нет, и ничего не понял. Солнце, осатанев, жгло немилосердно.

— Ну, пошли, что ли? Пора и на работу ехать.

— Сейчас... Я посмотрю только, можно? Минутку только... Интересно...

— Валяй, — великодушно согласился Алекс.

Нотр-дамской горгульей, едва не высунув в самозабвении язык, Заяц, не замечая, что опирается ладонями о невероятно пыльный парапет и прижимается к нему джинсами и футболкой, вглядывался в то, что когда-то давно, ещё в детстве, после прочтения «Тысячи и одной ночи», постигал методом проскопии, да один или два раза, уже непосредственно перед поездкой, — прибегнув к помощи географической карты. (Как и во всяком творческом акте, при этом он отвергал банальную достоверность образов, даруемых непосредственным восприятием, предпочитая им свободу бокового зрения и часть — целому.)

«Так вот он какой, — думал Заяц, болезненно щурясь. — Так вот он...»

Чёткие, завершённые линии зданий, не поглощённых зеленью, простирались прямо перед ним и окрест, насколько хватало глаз. Ни пустырей, поросших травой, ни буйства разросшихся без присмотра кустов, ни диких рощиц — нигде ничего. Лишь кое-где отдельно стоящие, наподобие фонарных столбов, пальмы да одинокие, реже крохотными группками, деревья неизвестного роду-племени. Станным, пугающим был этот пейзаж: словно находишься в центре застывшего каменного моря. Взлёты и падения белых, бежевых каменных волн: безмолвная отчаянная толчея. Во все стороны света разбегаются углы и ломаные линии. Хаотично, дико сверкают на солнце окна да темнеют водоворотами, воронками, провалами пятна дворов. То там, то здесь, взметнувшись, мреют обелиски минаретов. Белёсая дымка, спускаясь с неба вуалью, покрывает близко придвинутый горизонт, не давая взгляду уйти далеко.

Дома — вблизи — можно рассмотреть подробно: огромные, трёх и четырёхэтажные замки с башенками и бельведерами, с мансардами и куполами, с широкими мраморными лестницами в плену могучих балюстрад, не повторяющиеся, с богатыми витражами и с узкими прорезями стрельчатых окошек, с гладкими стенами и со стенами, покрытыми резьбой, — все они, несмотря на внешнее различие, отчаянно походят друг на друга: нечто общее для этих мест роднит их, собранных в упрямые непроходимые складки. И всюду — падающий не отвесно, как дождь, но распространяющийся горизонтально, как ветер, — ослепительный, оглушающий солнечный свет, чью тяжесть обнажённые спина и плечи ощущают безо всяких иносказаний. Ни малейшей тени, ни намёка на тень.

Заяц сверяется со своими прозрениями — он доволен: всё так и есть. Он даже ошеломлён: результат кое в чём и превзошёл ожидания! Безлюдные кварталы, почти не разделяемые невидимыми отсюда улицами, кажутся мёртвыми. Они лепятся и лезут друг на друга, проницают, соединяются, сливаются и, рассыпавшись вновь на отдельные строения, разбегаются и тянутся до горизонта, утопая в мглистой дымке. Улицы, подходящие к их дому с разных сторон и будто бы обещающие заманчивые пути в неизведанное, через десяток-другой метров круто сворачивают в стороны и тоже исчезают. «Лабиринт... — мысленно говорит себе Заяц. — Это же настоящий-пренастоящий лабиринт!..»

Спустились и пошли к машине. И снова Заяц услышал этот странный надсадный и гулкий звук. Кто это может так кричать?

— Кто это? — спрашивает Заяц, обернувшись к Алексу.

— Чего? — не понял тот.

— Ну, вот это вот, гуканье. Слышишь?

— А, это... Горлицы. Голуби местные. Во-о-он, — Алекс показывает куда-то на угол забора, — видишь, сидит.

Заяц не видит, но кивает головой. Он думает о воплях горлиц: какой странный надрывный звук. Как назвать его? Что ли, «тордоканье»? Почти белая песчаная пыль хрустит под ногами, как чёрствые хлебные крошки, и сандалии Алекса щёлкают рядом, то отставая, то забегая вперёд.

— А ещё странно, — продолжает Заяц свои наблюдения, — что нигде нет людей. Ни души. Не видно и не слышно. И за всё время не проехала ни одна машина. Это пейзаж, из которого вычли всё живое, здесь нет, кажется, даже насекомых...

Алекс сказал, что весной здесь ненадолго появляются полчища мух и комаров. Достают всех и всюду, пока жара их не убьёт. Да и в домах живности полно.

Птичий щебет казался теперь однообразным, механически повторяющимся украшением причудливой, безжизненной пустоты. Уже в машине Алекс объяснил, что то место, где они живут, городом не является, это всего лишь пригород Абу-Даби, район, называемый Мусафа, что значит «чистый». До города же отсюда километров двадцать, но в ясный день, когда в воздухе не висит песок и видно далеко, с любой крыши можно разглядеть, например, мечеть шейха Заеда и даже небоскрёбы Корниша, а это, считай, центр столицы...

Заяц кивал, едва успевая вертеть головой, силясь запомнить что-нибудь из увиденного или хотя бы запомнить маршрут движения, но ему не удавалось ни то, ни другое: на плоской, как стол, песчаной поверхности все строения сливались в один сплошной сарай, все дома, несмотря на некоторое разнообразие, казались копиями друг друга, а дороги, огибая абсолютно правильные прямоугольники кварталов и

пересекаясь исключительно под прямым углом, всюду казались повторением самих же себя, как бы составленные из весьма ограниченного числа фрагментов. Только виадук — исполинские, несоразмерные дорогам, отчасти разнообразили картину. Да ещё в некоторых местах — словно тот, кто проектировал этот район, вдруг спохватывался, что, дескать, на Востоке ведь живём! — на обочинах появлялись группки пальм среди газонов с подозрительно ровной и свежей травой. Казалось, что машина движется, никуда, по сути, не перемещаясь. Заяц вспомнил, что в детстве у него была игрушка «телевизор»: по молочно-белому экрану, освещаемые лампочкой, последовательно проходили из края в край по дуге чёрные силуэты животных, одни и те же, всегда одни и те же!

В свои пять лет Заяц додумался зачем-то сосчитать животных: двенадцать.

В одном и том же порядке.

Тем не менее довольно долгое время он включал этот «телевизор» и всё смотрел на экран в надежде, что порядок однажды изменится, что на экране появится нечто новое.

Спрятанный внутри мелодион вызванивал знакомое «Мы едем-едем-едем...»

3

Да, это был лабиринт. Настоящий, огромный Лабиринт, не чета той жалкой его части, по которой они с Алексом метались час тому назад. (Теперь, сидя в самолёте, можно его так называть.) Лабиринт, подлинных размеров и, главное, об удивительных свойствах которого он ни в недавних своих, ни в давних детских прозрениях даже не догадывался!

Накануне, когда самолёт снижался в темнеющем на глазах воздухе — словно погружался на дно залива, — Заяц изо всех сил вглядывался в то, что открывалось ему среди песков, но в непривычных очертаний строениях, неизвестного назначения сооружениях трудно было что-либо увидеть, разобрать, понять, угадать, наконец. Там и тут, на однообразном и ровном полотне, которым казалась в этот час пустыня, изредка попадались какие-то нелепые изгороди, ничего ни от чего не отделяющие, одиноко стоящие домики, ряды странных редутов неопределённой высоты, да тянулись ровные, как прочерченные по линейке, дороги, освещённые бледным светом фонарей.

Внезапно дороги стали кривиться, съезживаться, домики — сбиваться в кучи и налезать друг на друга, словно подвергаемые натиску мощной и необычной гравитации, источник которой скрыт где-то поблизости, и крупной рябью набежало и понеслось навстречу широкое бетонное полотно взлётной полосы. Ярче вспыхнувшие фонари на миг осветили пальмовую рощицу, мелькнула зелёная, из чахлах кустов изгородь, и колёса коснулись, шваркнули и понесли, замедляясь, самолёт по исчерканным грифельными следами плитам.

Почувствовал ли он, выходя из самолёта, что-нибудь особенное, кроме странного головокружения на покачивающемся трапе? Кажется, ничего.

Он вошёл в здание аэровокзала со стороны сумерек и вышел из него со стороны ночи. Там же, пока стоял в очереди на таможенный досмотр, позвонил Варваре и осевшим вдруг голосом сказал, что долетел хорошо, что всё нормально, просил передать — обязательно! — привет сыну и позвонить матери, сказать, чтобы не волновалась. У выхода встречал его всё тот же Мохнад — он, кажется, на фирме только этим и занимался: встречал прибывающих и увозил убывающих домой.

Кажется, там же, в машине, почувствовал, как отпускает нервное напряжение, державшееся весь полёт, как нечто вроде равнодушия и сонливости накатывает на него волнами и охватывает всего, баюкает, утешает.

Ни тогда, ни во второй раз, ни даже, может, и в третий он не понимал ещё, что это не равнодушие и не утешение.

Из-за того, что тьма обрушилась стремительно, ему показалось, что на виллу он приехал уже глубокой ночью, хотя путь был недолгим.

Водитель уехал, и, стараясь не греметь, он закатил свой огромный, как сейф, чемодан через распахнутые настежь ворота во двор, вымощенный плиткой. Огляделся, увидел слева белый пластмассовый столик с дыркой для зонта посередине — такие, наверное, стоят в дешёвых кафе всех стран мира, — рядом белый стул той же породы и, не зная ещё, что всё здесь покрывает пыль и садиться на что-либо, особенно в светлых брюках, не стоит, расположился на стуле, радуясь, что никого во дворе нет и что он сейчас один.

Запрокинув голову, Заяц разглядывал звёзды — яркие, огромные, частые. Он искал и никак не мог отыскать Большую Медведицу. «Наверное, это потому, — подумал он, — что я улётел очень далеко. Очень-очень далеко от дома, и здесь совсем другие созвездия...» Зато он разглядел чуть выше горизонта размашистый ромб, который принял за созвездие Южный Крест¹, и над самой своей головой, рожками вверх — именно так, как его рисуют на картинках, изображающих арабские ночи, — месяц, выпирающий из ночного неба выпукло, дерзновенно, как вылезший пуп готовый вот-вот родить женщины. Месяц сиял ледяным фаянсовым блеском, и было отчётливо ясно, что это фрагмент действительно огромного небесного тела, освещённого лучами ушедшего за горизонт солнца, а не какое-то там субтильное пятнышко, видимое в его родных широтах.

Заяц не торопился входить, знакомиться с будущими коллегами — обитателями дома. Он сидел, примеряя на себя новое, только что открывшееся ему пространство и новое своё в нём состояние. Отчего-то вдруг задрожали руки — не от первой догадки ли, что движение его в воздухе, начавшееся в дали, отсюда кажущейся немыслимой, не прекратилось вовсе после касания самолётом земли, но всё ещё продолжается, и бог весть когда и как прекратится окончательно.

«Что же это?..» — спрашивал он себя, силясь подобрать определение тому, что так неожиданно и так стремительно с ним произошло. Новые, непривычные мысли — немного, впрочем, всего две-три — кружились в голове, переходя одна в другую так, что, спохватившись, невозможно было понять, какая именно в данный момент занимала его, отчего казалось, что мысль, в сущности, всего только одна: «Ну, вот я и здесь».

Слышно было, как там, в доме, потихоньку блажит телевизор, как позвякивает посуда. Изредка доносились голоса. Заяц шевельнул ногой, и под подошвой что-то заскрипело, крошась. Он наклонился, стараясь рассмотреть в темноте, на что наступил, но ничего не обнаружил. Однако заметил, что сургучного цвета плитки были словно оторочены бархатными белёсыми шнурами. (Потом узнал, что это соль. Соль выступала из земли всюду, словно её вытягивало из горячих земных глубин небесным электролизом.) Ничего не разобрав, Заяц решил сидеть тихо, по возможности не двигаясь, — не хотелось, чтобы кто-нибудь *там* — он осторожно и мельком взглянул на дом — сейчас услышал его, вышел, заговорил...

¹ Это было созвездие Лебеда — рассеянный Заяц не знал, что для того, чтобы увидеть настоящий Южный Крест, ему бы пришлось лететь в том же направлении ещё часов пять.

На миг отчаяние захлестнуло его. Отчаяние такое, что... как в детстве, до тошноты.

Странное ощущение отсутствия времени охватило его вслед за отчаянием — словно времени здесь ещё почти не было, а то, прежнее, домашнее и привычное время, питавшее его жизнь, исчезло, оставшись где-то далеко позади кавказских гор, а новое только-только начинало зарождаться, откладываясь в закоулках души, в тёмных провалах её пыльными, тоскливыми дозволюционными комками. Первичное, несформировавшееся, оно было совсем ещё не разделено, не принадлежало кому-то и чему-то в отдельности, но было общим для всего: для небесных светил, для брусчатки, для ещё горячих от дневного зноя стен, для темноты, стоящей всюду. И он был посреди него один, со своей собственной историей, готовой вот-вот закончиться.

Посидев ещё, Заяц пошевелинулся. Он обратил внимание на то, что дует ветер, — остатки волос на голове явственно шевелились. Давно ли? Может, с самого начала? Заяц попытался вспомнить — кажется, нет... Но как можно быть уверенным, если ни прошлого, ни настоящего, ни будущего ещё нет?

Крепкие порывы горячего ветра налетали всё чаще. Вздогнуло и затрепетало в углу на верёвке чьё-то вывешенное бельё. Заяц перевёл взгляд со скрипучего шеста, поддерживавшего верёвку, на мангал, стоящий справа, на забор слева, потом огляделся и, наконец, встал: любопытство одолело его, он решил обойти дом кругом и осмотреться.

Стараясь ступать бесшумно, Заяц крался под самыми окнами. Предательски похрустывал под ногами бархат, неожиданно оказавшийся весьма твёрдым, иногда отлетали в стороны случайно задетые мелкие камешки. Один раз Заяц показалось, что в одном из окон мелькнула тень. Заяц замер, едва не присев, но... Ничего. Он выпрямился и продолжил обход.

4

С тех пор прошло уже много лет, а всё ему кажется, что этот огромный роскошный дом есть некий отзвук, эхо того давнего дома, в котором прошло его собственное детство. И, возможно даже, что это так и есть, что это действительно всё тот же, прежний по сути и лишь внешне изменившийся дом-призрак, дом-ракушка, который он перетащил с собой, словно рак-отшельник, — средоточие лабиринта. Дом, проживание в пустой роскоши которого предоставлено ему по неизвестным законам и договорённостям людьми, которых он не знает и никогда не видел. Что вообще сама его жизнь, вся, единственная, подлинная и неповторимая жизнь, основана на некоем призрачном, неосязаемом фундаменте. Двойное это запутанное и мутное существование ему невыносимо и тяжело.

«Осыпавшиеся лепестки бугенвиллей рассыпаны всюду: во дворе, на мраморных ступенях, на площадке крыльца, даже на узких подоконниках и в нишах забора. Сквозь щель под входной дверью их втягивает сквозняком в дом, и сослепу, в полумраке, лепестки легко принять за капли крови».

Кончик крыла трепещет, бросая в ночь зелёные россыпи света. Без устали: раз, раз, раз... Внизу тускло взблёскивает Персидский залив. Чёрный шёлк его кажется отражением неба, туго натянутого меж двух берегов: ни единой складки.

IV. СЛОВНО ИКАР

1

Всё дальше, дальше, в чёрную глубину, ещё не оживлённую солнцем! Самолёт ныряет, выравнивается и снова набирает высоту, что-то скрипит внизу, под ногами, словно в трюме корабля, и неизбежная в таких случаях мысль заставляет Зайца покрыться мурашками. Но Заяц торопливо отрекается от страха своего и, чтобы душа не смущалась, всерьёз собирается задремать. Уснуть по-настоящему — он знает — у него не получится: здесь личное его, персональное небытие, как и почти у всех, синонимичное тьме, несовершенно и проницаемо.

Некоторое время он добросовестно старается выполнить намеченное, но притворство, очевидное самому себе, вопиет, и Заяц, вздохнув, открывает глаза. Господи, как же тут тесно! Да ещё эта... Он осторожно взглядывает налево: кажется, какая-то женщина? Показалось даже, что толстуха...

Да, женщина. Но не толстуха. Лет тридцати. Поджав ногу, скособочилась, целя ему коленом в живот. Ножка, кстати, стройна. Бесстыдное животное. Сейчас она обманчиво доступна — одна из немногих, кто по-настоящему спит, сцепив руки на груди. Пальцы с острыми коготками выглядят мотком колючей проволоки: последний рубеж обороны. Можно, однако же, осторожно поразглядывать, исследовать взглядом: запрокинутое лицо отекло от бессонной ночи, рот приоткрылся. Крохотная лазейка. Там, за рядом ровных зубов, виден язык с беловатым налётом. Губы расползлись, не сдерживаемые нарисованными помадой границами. Тени, тушь — всё осыпается. Завеса скрывающая покосилась.

Высоко-высоко, там, докуда не достать, выпранный и многопёрый хвост свой беззвучно распускает крохотный самолёт.

Не просыпаясь, женщина поёрзала и слегка переменяла позу — теперь её колено почти касается Зайца, и Заяц с неприязнью косится на него: ему это не нравится, ему кажется, что теперь здесь стало совсем тесно, совсем нелегко.

Сполз на пол укрывавший женщину плед.

Ишь, открылась... Заяц отводит взгляд от натянувшейся юбки.

Бездна, летящая над бездной в бездне сна.

«Кажется, ещё в школе читал, что в старину из их волос делали барометры — удлиняются и укорачиваются в зависимости от того, будет ли дождь или нет. Мужские не годятся, даже если длинные.

Живут собственной жизнью... Другая система, другой принцип действия. Занимая в пространстве место не больше нашего, во времени бесконечно протяжённые: то же тело, возобновляемое через рождение. Более плотное взаимодействие с ним. Плоть. Одно сплошное... со времён Евы. Душа? Что есть душа... Дух... Где хочет. Отсюда, наверное, такая способность чувствовать то, что где-то там уже свершилось, но здесь ещё не проявлено как своё. Ну ладно волосы, а ногти? Тоже, что ли?.. Приметы ещё какие-то есть. Варя, например, вечером не стрижёт...»

Варя...

Заяц чувствует, как тревога, в лабиринте исчезнувшая было совсем, снова охватывает его, поднимаясь откуда-то из самой глубокой, невидимой глубины. Она невероятно распирает всё тело, выдавливая из его пор липкий холодный пот

и заставляя кровь биться у самых барабанных перепонок, словно подчиняясь ускорившему темп всеобщему закону приливов и отливов, заставляя тело сжиматься едва ли не в точку. Заяц медленно и тяжело пульсирует.

Малакия.

Зайцу становится тягостно, он отворачивается к иллюминатору.

Когда он сам осознал собственную телесную протяжённость? Когда ощутил себя не мыслящей точкой, не бесплотным эоном, но тем, что заключено в оболочку, занимающую в мире совершенно определённое место?

Кажется, медленно нарастающий свет этого осознания совпадал в нём с ощущением пробуждения: раз за разом, утро за утром. Лет с четырёх, когда мать отделяла его от сна нежным прикосновением к плечам и дальше, всё дальше и дальше, не отрывая ладоней, до самых пят — будто вынимая, выкапывая из небытия к свету. Руки её были шершавыми, тонкой кожей он чувствовал каждый заусенец. Тормоша и посмеиваясь, она приговаривала: «Вставай-вставай, соня-засоня, вставай-вставай, день на дворе...» — и он, уже проснувшийся, но всё ещё притворяющийся спящим, чтобы продлить миг ласки, наконец послушно распахивал глаза и видел, что и солнечный свет, и голос матери действительно оба присутствуют в мире, удивительным образом совмещаясь. Он до сих пор помнит ощущение открываемой ему материнскими руками материальности собственного бытия.

Иногда мать брала его к себе в постель, и ему было одновременно и интересно, и отвратительно оказаться там, в жаркой полости, пахнущей теплом родного, но всё же другого тела. Стараясь не касаться матери, он поджимал ноги, обхватывал их под коленками и лежал так, зажмурив глаза, не шевелясь и не дыша, чтобы не окутываться чужим теплом и не дышать чужим дыханием, — он представлял себя зерном, которому предстояло вот-вот прорасти. Или проглоченным китом человеком, о котором ему рассказывала бабушка. Скоро от духоты у него начинала кружиться голова, но он продолжал лежать так в пульсирующей темноте до тех пор, пока мать не вставала, откинув одеяло широко, с избытком, но и тогда, спасённый и ослепший, он ещё какое-то время лежал один, повторяя следы чужого присутствия наизусть, чтобы потом идти по ним.

Не тогда ли?

Или позже, когда втайне склонялся к пахнущим прелью разворотам in folio Медицинского Атласа¹, найденного в сарае, читая про Pectoralis major и Pubic symphysis и что-то ещё, такое же странное, как и то, что этим называлось, и как будто бесполой ангельский чин, являвшийся ему в сквозных лучах солнца среди гуши слипшихся страниц, однажды сам собою вдруг распался на составные свои части: левую и правую, наполовину утратив свою тайну?

Или читая про *и привел её к человеку* — не менее странное, из другой книги, замечая при этом, как чудесным образом проявляется, обретая имена, не только он сам во всех своих частях, но и всё, что его окружает, весь мир?

И образ человека умножался в телесной сути своей перед ним не только «вообще», но и, как оказалось, розно, и разная ипостась его брала в мире своё, каждая,

¹ Атлас был старым и, кажется, не единожды затопляемым чем-то: дождём ли, талым ли снегом, а может, водами Потопа или самим временем — волнообразные массивы страниц его никак не хотели разделяться, и смотреть приходилось не всё подряд, и не то, что хотелось, но то, что по какой-то прихоти открывалось само.

согласно сути своей занимала в нём своё место незряче, словно сквозь чернозём, проталкиваясь к солнцу.

Как бы то ни было, однажды он обрёл тело, и восхитился им, и, отойдя в сторону, остановился близ тьмы, из которой был вынут, и встал, едва не касаясь её рукою, — совсем как на картинке в том Атласе, — и с любопытством взглянул на неё.

2

Отбывая в пионерский лагерь, впервые в жизни отъединивший его на какое-то время от дома, Заяц, помимо совершенно нечеловеческого отчаяния, лишь отчасти вызванного нежеланием расставаться с привычным окружением, испытывал толику утешающей тайной радости: пребывание там давало ему надежду удовлетворить своё давнее желание понаблюдать за *ними* вблизи. Таким образом он надеялся изучить жизнь той, другой, недоступной ему и оттого загадочной ипостаси человека, и, быть может, наконец постичь её сполна.

В нём говорил исследователь.

Однако ничего не вышло, желаемых наблюдений провести не удалось. Мысли в лагере всё время крутились около оставленного дома, бодрый дух коллективизма был невыносим, как и ежедневные линейки, натужное веселье спортивных игр, совместная чистка зубов, оставляющая после себя истерзанные тюбики «Поморина», и коллективное мытьё ног по вечерам в длинных эмалированных желобах, похожих на поилки для телят.

Исследовательский дух покинул Зайца к концу первой же недели. И он придумал во время тихого часа тайком уходить в дальний конец лагеря, где, забравшись на забор, подолгу сидел, бесцельно глаза, как осторожно возят, будто слепые, листьями по облезлым доскам густые кусты боярышника и юрги, как скачут на полянках сороки, слушая шумный ветер.

Это ёрзанье, царапанье, шептанье заворачивало. Ветер доносил слабый запах карболки, отдалённые расстоянием голоса детей были едва слышны. Солнце сквозь густые верхушки сосен почти не проникало. Казалось, что бытие, во всех своих проявлениях, здесь ещё только начинается и, неокрепшее, лишь время от времени пробует силы побегом световых пятен, слабым ропотом крон, неопределённым случайным возгласом. Вечно колеблющаяся масса кустарника при взгляде сверху казалась Зайцу бездонной морской пучиной (хотя море Заяц видел только по телевизору), и мнилось ему, что если прыгнуть туда, то в бесконечном падении не сплетение ветвей и листьев с их пахучей, подвижной и влажной густотой, не сумрак и блуждающие пятна света будут открываться ему, но нечто иное: удивительное, необыкновенное, невиданное.

Спустя время в отдалении, едва заметные среди деревьев, иногда появлялись и девочки. Похожие на порождение иного таинственного мира, нескладные и голенастые, похожие на богомол, они ходили парочками, о чём-то шептались.

Странные, — это здесь-то, вдали от всех.

Движения девочек казались замедленными, неуверенными, будто и вправду они были не совсем людьми, потому жутковато и странно было видеть, как порой, упав на коленки, они вдруг принимались ожесточённо драть одуванчики: с листьями, с корнями, давя и ломая их. Затем, вытянув ноги, усаживались прямо на землю, чтобы сплести тяжёлый, в руку, венок. Перепачканными землёю пальцами наваливали горы.

Иногда они спорили о чём-то, даже ссорились, нелепо и смешно, от плеча замахиваясь друг на друга. А то, взявшись под руку, уходили в самую глубь кустов. Что они там делали? Присаживались, раскрывая друг дружке свои секретики? Он так ничего и не увидел там, ничего не узнал.

Эта их манера — всюду ходить парами — казалась Заяцу нелепой, смешной, стыдной...

Либо Заяц шёл в библиотеку.

В маленьком, душном её помещении стоял всё тот же полумрак соснового леса, и два окна затенялись точно такими же кустами, что скребли доски забора. В сущности, к новому месту добавлялся лишь острый запах книг и детского пота от снятой у порога обуви — строгая библиотекарша заставляла всех разуваться, отчего целая флотилия разноцветных «лодочек» (основными посетителями библиотеки были девочки) теснилась на синей тряпке прямо у порога, мешая пройти, — и больше ничего, однако колеблемый невидимыми кронами сумрак, острый телесный запах страниц и долгие, как ожидание, повести о путешествиях — именно там и именно тогда эти три компонента окончательно и на долгие годы сложились для незадачливого Заяца в формулу счастья, и даже потом, когда рецептура его существенно изменилась, триединство их продолжало существовать в памяти действующим и весьма правдоподобным прототипом.

Что же касается внешних примет библиотеки, то ни её местоположения, ни особенностей здания, ни даже вида дорожки, по которой он крался туда, в его памяти не сохранилось — всё, словно во сне, открывалось вдруг и сразу, изнутри: вот Заяц, опасаясь быть застигнутым в столь неподобающем для «настоящего пацана» месте, стыдливо крадётся вдоль полок, время от времени трогая пальцем корешки книг (одна привлекла его внимание, он вытащил — «Приключения Редькина». О, он не ошибся! Пробежав глазами пару абзацев, он понял: судьба благоволила ему), вот, украдкой, с интересом и пренебрежением окидывает он взглядом худенькие шеи в вырезях футболок, острые локотки и макушки, вот прислушивается, пытается уловить суть разговора, состоящего из нескольких бессвязных фраз...

Он не понимал их, словно они говорили на чужом языке, лишь внешне звучанием своим напоминающем привычную ему речь.

Вернувшись домой, Заяц подолгу размышлял об увиденном, о странной и удивительной жизни, подсмотренной мельком, пытается понять её сложение, её природу. И когда разгадка казалась ему уже близкой, неожиданное пресыщение вдруг охватывало его, и ему становилось ясно как день, что никакой загадки нет вовсе, что девчонки точно такие же, как мальчишки, ничем не лучше, а может, даже и похуже...

Он был не готов к тайне — тайна утомляла его в самом своём преддверии.

Но спустя время интерес возвращался, и Заяц опять принимался за свои размышления, и опять уставал, и так длилось до тех пор, пока однажды он всё-таки не признался себе, что жизнь этих созданий таинственна и завораживающа, как снование мальков в недоступной, но видимой глубине.

По проходу, глухо позвякивая бутылками, тяжело катится высокая металлическая тележка; два стюарда, спереди и сзади, толкают её, как стенобитное орудие. Дети, носившиеся взад и вперёд по салону, будто мышки, боязливо прячутся между креслами — куда придётся.

От еды, кажется, припахивает чем-то скисшим — поднеся контейнер к самому лицу, Заяц принюхивается.

Нет, показалось.

Во всякой части мира, данного Заяцу в ощущениях, в минувшем и настоящем, даже в той части, что робко простирается в будущее, обнаруживает себя нечто тяжкое и мучительное, лежащее в самой основе всего его существования, словно мир — это накинутый на вещь узорный плат.

Как долго длится это? Полгода, год? Два? Может, три?

Трудно вспомнить. Давно. При воспоминаниях такого рода очень мешает то обстоятельство, что поток времени там, где он жил почти все последние годы, не имеет привычных визуальных примет. Там нет снегопадов, нет жёлтых листьев, пыльной травы и сырого земляного духа — там одно сплошное лето, сквозь которое нужно идти, опираясь на иные, собственные ориентиры. Недолгие дожди выпадают раз в несколько лет.

Может, это длится вообще с самого начала, с того самого момента, когда он уселся поздним вечером за белый пластмассовый столик в пустом дворе виллы?

Может, даже раньше? Размышляя о столь тонких материях, Заяц испытывает трепет, словно естествоиспытатель, пытающийся отыскать признаки небытия в наполненных жизнью днях.

Впервые тяжкая основа существования стала обнаруживать себя в течении обыденной жизни исподволь, частями. В виде ощущений, возникающих сначала на мгновение, и даже касающихся не столько настоящего времени, сколько прошлого, затем — возникающих и удерживающихся на час, затем на полдня, на день, на два, пока всё не слилось в одну сплошную тяготу.

Имени тягота тогда ещё не имела.

Зато она принимала различные обличья: то представлялась беспричинной тоской, то раздражением, то навязчивыми воспоминаниями и однообразными помышлениями о чём-то несущественном и случайном, и долгое время невозможно было догадаться, что все они имеют общую природу, происходят из одного источника.

«Первое время нежные и долгие звуки первого фаджра с непривычки трансмутируют в ещё сонном разуме в величественные органные фуги: это сама жизнь, стремясь сохраниться в привычных ей формах, принимает хорошо известные ей образы...»

В спинку кресла сильно пнули. Заяц вскинулся и открыл глаза. «Всё-таки заснул», — подумал он. Сзади послышался возмущённый детский голос, тут же перешедший в плач, и женский голос, под внешним спокойствием таивший раздражение: мать принялась увещевать своего неслуха. Заяц вздыхает и прислоняется лбом к холодному стеклу иллюминатора: стекло едва ощутимо вибрирует. Сухой свист центрифуги, отойдя на второй план, стал почти незаметным, как и состояние тревоги, но если сглотнуть, если пошевелиться — всё тотчас возвращается на свои места, придвинутое неизбежным движением: и в самом деле, невозможно ведь не сглатывать, невозможно противостоять соблазну повернуться и посмотреть назад.

На стекле подрагивают редкие капли влаги.

Тогда, семь лет назад, впервые попав на Ближний Восток, Заяц никак не мог избавиться от ощущения, будто он против своей воли сделался участником нелепого

перформанса с переодеванием, ломающим естественный порядок времени: в шортах, в футболке и сандалиях на босу ногу.

Перед глазами его всё ещё стояли ледяные ливни.

Эта внезапная разьединённость ощущений ему, со времён окончания института никогда не покидавшему дома, представлялась чем-то невозможным, пугающим — вроде психического расстройства.

Возможность жизни вне дома тоже представлялась ему нелепой, как этот летний наряд в декабре. По вечерам, вернувшись в свою комнату после работы, он падал на кровать навзничь и подолгу лежал, равнодушно следя, как темнеет за окнами, машинально прислушиваясь к бубнящему за стеной телевизору, к воде, журчащей в близких к полу трубах едва ли не прямо под ногами — канализация здесь была примитивной, — думая о том, что там, далеко-далеко, дома, прямо сейчас проходит его настоящая жизнь, недоступная и неповторимая.

Здесь, в мертвящей обстановке противоестественного покоя, он снова казался себе тем внезапно очнувшимся посреди тихого часа.

Утешали, как ни странно, несколько исполинских деревьев неизвестного роду-племени, окружавших с различной степенью приближённости офис, в котором Заяц работал, да пара чудачковых важных птиц, похожих на небольших аистов: вероятно, самец и самочка, поселившиеся перед самыми воротами фирмы, важно расхаживавшие по искусственному газону, ничего и никого не боящиеся. Да ежевечернее кипение воробьёв в непроглядных кронах — устраиваясь на ночлег, они то и дело взрывались оглушительным вереском и разлетались в стороны чёрными и тёмно-серыми брызгами.

Сначала он утешал себя надеждою на то, что, может быть, ему посчастливится и он перевезёт сюда семью, затем, когда выяснилось, что это невозможно, поскольку учёба в школе стоит дорого, — тем, что это не навсегда, и, проработав здесь ещё некоторое время, ну, с год, ну, может, от силы два, он решит все финансовые проблемы и вернётся домой, к прежнему, привычному образу жизни, однако время шло, финансовые проблемы вроде бы решались, зато постоянно возникали какие-то новые, всё более странные, несусветные причины, вынуждавшие его оставаться здесь, и он, словно бабочка, окукливающаяся в преддверии суровой зимы, всё более замыкался в себе, съёживался, каменел.

Он боялся, что станет здесь другим, что против воли изменится настолько, что чужой и ненужной станет вся его прежняя жизнь: Варвара, Женечка.

«Замрёт ли моё сердце, — испытывал он себя, — окружённое тяжёлым, как масляные розы на торте, могильным запахом последних осенних цветов? Сожмётся ли оно, если теперь у ног моих лежит завораживающая, как лунная долина, на которой вдруг оказался наяву, пепельная себха? Когда послышатся вдалеке детские голоса: “Переключка, переключка! В четверг переключка, не забудьте!” — охватит ли моё сердце тугими кольцами печаль воспоминаний?

Провидя край неба чёрным, и значит, скорый снег, зайдётся ли душа моя надрывным восторгом прощания, воскликнет ли на пороге зимы: “Утрата, утрата, утрата! Раскисла земля, и ветер, закрученный как ракушка, царапает лицо!”

Время, текущее, как и всё здесь, в обратную сторону, вычитает из моей памяти моё будущее», — сетовал он.

Слух, стосковавшийся по родным словам, блажил, наделяя чужую речь ложно-знакомым звучанием. Равнодушно-доступный край, одинаковый в каждой точке, походил на плоскую декорацию каникул, обманчиво раскрывшуюся во всю свою ширь, за которой — наверняка! — таилось предназначенное для других, для местных

детей, истинное лето. Порой признаки его прорывались наружу: слышались из-за высоких заборов детские возгласы, вылетал из-за ворот прямо под ноги мяч, и пронесли, оглушительно трезвоня, маленькие всадники на велосипедах.

Неожиданно Заяц взрывается укором, мысленно обращая его к супруге: «Нет, ну как ты могла?! Как можно было отказаться от... от всего!»

Да, просил он — и далось ему, молил — и исполнилось: наступили дни райской жизни. Но как поздно это случилось, господи, как поздно! Так поздно, что уже и не нужно ему ничего, но и за это, ненужное, наступила расплата: неизбежное отчуждение грозowymi тучами скопилось на горизонте, сгустилась тревога, атмосферным электричеством подымля остатки волос на голове.

Он устал от постоянного её неотменимого присутствия, устал настолько, что однажды даже подумал: «А может, ничего этого и нет вовсе? Может, я это всё надумываю, накручиваю себя?» И тревога как бы отступила, ушла на второй план, но, конечно же, не исчезла, а стала исполняемым под сурдинку лейтмотивом тягостного бытия со всеми его припадками столпничества, сквозными прозрениями бессонниц, с расцветающими, полыхающими тревожно и иступлённо, безумными цветами снов. И вот недавно она опять приблизилась, стала подле, отчего Заяц захотелось немедленно куда-то бежать, что-то делать.

Расшевелившись, Заяц почти проснулся, и вместе с телом окончательно проснулись, заёрзали его мысли. Регистр их теперь простирается от тревожного «что же, всё-таки происходит?» до успокоительного «ну ничего, осталось немного, скоро всё выяснится. Наверняка окажется, что всё из-за какого-нибудь дурацкого недоразумения».

Снова и снова Заяц прокручивает в голове предстоящий разговор с Варварой, становясь то в позицию обличающего, то увещающего, то даже просящего. Примеряя маски, прислушиваясь к собственным произносимым мысленно словам, он по возникающему в себе резонансу пытается найти наиболее верный тон предстоящего разговора и наиболее уязвимые места в столь огрубевшей за последнее время душе супруги. От успеха, он уверен, зависит вся его — да что там его, их! — дальнейшая жизнь. То гнев, то смирение охватывают его, и, прикрыв глаза, опустив голову на грудь, Заяц максимально полно, до самозабвения, предаётся внутреннему проживанию противоречий — так, человек, учась играть на музыкальном инструменте двумя руками, приучает обе свои руки к столь различающейся для них аппликатуре. Внешне равнодействующая тревоги и надежды походит на очарованность чем-то недоступным — словно иллюзионист неожиданно очаровался собственными манипуляциями. Можно сказать, что сейчас, прощупывая под накинутой завесой волнующие контуры будущего, Заяц пытается определить в нём и своё собственное место. В нём, и вообще в жизни, ибо всё сместилось — как от неожиданных тектонических потрясений, сдвинулись временные пласты и нарушилось привычное течение жизни.

«Как так можно? Как можно было вот так взять и отказаться от всего, что есть, — а есть ведь только хорошее, и не был я никогда ни лодырем, ни легкомысленным, — и ради чего, ради одних только денег?! О, давай откажемся от этого искуса, давай вернём всё как было...»

Когда отчаяние окончательно берёт верх и припирает Заяца к стене, когда оно отрезает все пути к надежде и ставит лицом к лицу с фактами печальными и пугающими, Заяц тешит себя недосказанностью, он оставляет её себе как лазейку.

«Но ведь это ещё недо-выяснено, может, мною что-то недо-понято, может, ею что-то недо-говорено», — успокаивает он себя, и на какое-то время ему становится легче, тревога отступает, будто и вправду у того, что происходит, может оказаться какая-то иная, вполне приемлемая сторона, будто и вправду ему может открыться нечто такое, что переустроит те печальные картины, что стоят перед глазами.

Снова и снова он пытается отыскать причину сердечного охлаждения, пробует проследить путь развития его, да — эх, память подводит! — забылось многое.

«Нет, определённо что-то там есть в самом воздухе, во всей атмосфере. Такое особенное... В самом воздухе, в свете и в тишине. Во всежигающем жаре, в волнах вязких и солёных, совершенно плотски, любовно толкущихся, ворочающихся всю ночь у ноздреватых, как выкипевший чёрный вар камней, покрытых жирной парафиновой плёнкой и коростой морских желудей...»

V. ИМПЕТУС

1

В динамиках зашипело, щёлкнуло, и стюардесса — может быть, та самая, на копытцах сияющих туфелек, — укрытая теперь завесой, проворковала: «Дамы и господа... через сорок минут... пристегнуться... не вставать до окончания...»

Заяц полез искать концы привязных ремней. В брюхе самолёта, внизу, что-то толкнулось, дрогнуло, и тотчас мелко задрожало всё его тело, и словно ветер зашумел совсем рядом — шасси выпустил, — догадался Заяц. Самолёт шёл ровно, не кренясь, не ныряя, плавно и уверенно снижаясь. В разрывах туч поднялась и приблизилась земля с крупными, уже вовсе не игрушечными домами в освещении дворовых фонарей, с дорогами в расплывающихся пятнах света, с чёрными провалами лесных опушек и страшными, похожими на расколы в заснеженной земле, руслами незамерзающих рек. Приблизилась вплотную та, казавшаяся далёкой и невозможной, жизнь.

«Как там сейчас? Чугунов — сколько он там, два, что ли, дня назад прилетел? — а, да, уже три, — сказал, что оттепель, снег тает. Надо же, снег... И в машине что-то снилось такое. Нет, пока сам не увижу, ей богу, не поверю. Столько лет уже, а всё кажется чудом, что безвременье вдруг, в один момент обретает лица: зима, весна, лето, осень... Словно не ты, но к тебе возвращается оставленное».

Прижавшись носом к иллюминатору, Заяц разглядывает пейзаж, проплывающий внизу. Город или пригород — бог весть — кончился, земля снова стала безвидна и пуста, но Заяц не отнимает лица: ровное, бледно-синее и чуть флуоресцирующее полотно завораживает. Что это набежало, не пустое ли поле перед взлётной полосой, не тот ли самый берег воздушного океана, к которому они стремятся на всех парусах? И сколько до него? Километр? Сто метров? Ничего не понять...

Забегавшей вперёд мыслью Заяц видит синие, как бы подводные, приводные огни и здание аэровокзала, сияющее, как и там, откуда он недавно бежал, огнями, и очереди на таможенном контроле, и лестницы, и полированную сталь интерьеров, а там, дальше, в конце пути — спящего сейчас сына в пижаме ещё детсадовских времён (как медленно он растёт!), и жену в шелках, вернее даже не её, но тепло её тела, и сладостную атмосферу комнат... Видит себя на пороге: незаметно проникшего в дом и как будто ещё даже недоовплотившегося, проницаемого для угадываемых в сумраке

вещей, нетерпеливо подгоняющего последний этап своей материализации, чтобы поскорее растормозить, обнять!..

И как будто не было пяти мучительных часов полёта, а пред тем — почти пяти месяцев разлуки, и тоски, и страха. Не было отчаянья и растерянности — задним числом он всё отменил. Он ликует: дом! Он облегчённо выдыхает: кончается странствие! Он сосредоточен и подтянут. Подобно медиуму, усилием мысли он, заодно с пилотами, укрощает движение и соединяет тело механической рыбы с землёй.

Движение сопротивляется, оно не хочет прекращаться! Заяц чувствует, как инерция переполняет его и, невидимой волною ударяя изнутри, продолжает толкать вперёд.

Движение.

Словно струны, всё туже натягиваются нити, соединяющие всё со всем. Тонкие, как паутина и шёлк, дрожат они в пустоте.

Движение тем временем, переплеснув за барьеры телесности, устремляется дальше, обгоняет Заяца и влечёт за собой. Заражённый движением, дома Заяц передаст его неугасающий импульс жене с сыном, и завтра, тридцать первого декабря, они ближе к вечеру отправятся на скоростном поезде в Питер, к Вариным родителям. («Ну а кто виноват, что у вас постоянно меняли дату вылета? Вот все билеты и разобрали — сам понимаешь, Новый Год, длинные выходные, — вещала она, и не было в голосе ни печали, ни сострадания. — Ничего, приедешь первого. На первое билетов полно, я взяла тебе».)

Держа эстафету, они помчатся ночными полями, лесами, проскакивая спящие города и перелетая над замёрзшими реками, даже сквозь сон ощущая в себе удивительную влекущую силу, а Заяц останется дома и будет продолжать своё странствие, перемещаясь уже относительно вещей лишь умозрительных, лишь воображаемых, лишь оживляемых памятью.

О, это вечное движение!

Всюду существует оно и направлено во все стороны сразу! Ни утишить его, ни избежать. Вот — жена и сын встречают главу семейства, утомлённого, с мешками под глазами от недосыпа, но счастливого. А там, в простывшем трамвае, пробивающемся по льготной рельсовой дуге на Авиамоторной сквозь снегопад, вставший аллегорией границы между прежней и нынешней жизнью, — едет очарованный ротозей трудоустраиваться в фирму с удивительным, интригующим названием *Aqua underground*. Мать в своём железном громохочущем вагоне мчится куда-то на север. Гарун-аль Рашид бродит по улочкам древней столицы, и с обрубленными крыльями уходит на дно полынных зарослей «Дуглас». И, конечно же, она, ровесница, возникавшая иногда в проёме распахнутых светом дверей.

Всё это — память, вечное движение её. Вот смотрит Заяц сверху вниз на грязно-серые в чёрных прогалах сугробы и видит себя бредущим по пустынным улицам спящей зимней Мусафы: в джинсах и свитере — для тепла, — но в сандалиях на босу ногу. Вечер. Поверх крыш, справа, светится зелёный огонёк мечети Фатимы. Заяц смотрит на огонёк и понимает, что для того, чтобы попасть домой, ему нужно повернуть направо и идти прямо до тех пор, пока почти не поравняется с похожим на ракушку кирпичным зданием мечети. Затем следует снова повернуть направо и нырнуть в предпоследнюю улицу, ещё раз направо — и тогда мечеть окажется за спиной, а впереди и слева, на углу следующей, поперечной улицы, окажется его дом.

С самого основания улицы пригорода пребывали безымянными. Местные жители для обозначения своих обиталищ и планирования маршрутов пользовались исключительно внешними приметами, такими как: «школа», «два огромных дерева», «большой пустырь» или «вышка сотовой связи». К этому привыкли, к анонимности, простиравшейся на часть внешней жизни, относились как к неизбежному злу, а важных визитёров, в исключительных случаях, выходили встречать к четырём въездам в посёлок, предварительно обусловившись о сторонах света. Но однажды случилось небывалое: на перекрёстках и углах Мусафы едва ли не за одну ночь (дело было в мае) появились новенькие металлические столбики с небесного цвета табличками. Таблички возвещали имена улиц: видимо, тот, чьим попечением управлялась здешняя жизнь, спохватился, наконец, и к празднику решил нарушить безликую монотонность вверенного ему пространства.

Но странным был подбор этих имён: сплошные прилагательные синонимической шелухой бессмысленно кружились вокруг неизменного и определяющего признака здешнего бытия, вокруг солнца. Так, улица, на которой жил Заяц, носила имя «аль Инарах», что означало «Светлая». Соседняя улица звалась «Мушмис» — «Солнечная», та, что была за нею, — «Вади», «Ясная», за «Ясной» следовала «Яркая», потом «Ослепительная», потом «Знойная», потом ещё какая-то...

От такого обилия словесного жара у Зайца шла кругом голова, но, к счастью, дальше в сторону пустыни, за которую каждый вечер садилось солнце, район не продолжался, возможно, по лингвистическим причинам, и он вышагивал в сгущающейся тьме уверенно, не сбиваясь, словно было ему светло как днём.

Наблюдая, как исподволь меняется привычный ландшафт его жизни, Заяц говорил себе: «Что же, ничего удивительного. Ведь воды великой реки занесли меня далеко от дома, так стоит ли удивляться, что в новых краях появляется что-то неизвестное? Да и не так уж они и велики, эти перемены, не стоит беспокоиться».

И он не беспокоился — ему было не до этого. Он спешил, он бежал, он с жадностью вглядывался в новую страну, по которой вдвоём с напарником колесил на трейлере, занимаясь своей работой, вникал в приметы, в людей и пейзажи и старался увидеть, впитать, запомнить как можно больше, чтобы потом своими рассказами увлекать, искушать, соблазнять и очаровывать того, кто будет слушать его, и того, кто всё ещё живёт в нём самом! (О, как он любил такие моменты!) Чтобы новые впечатления не терялись, Заяц принялся записывать их в блокнот.

Единственное, что омрачало в ту пору новоиспечённого путешественника, это время от времени возникавшая мысль, что, пока он находится здесь, где-то там, далеко-далеко, проходят дни детства его сына. Проходят розно с его днями и, увы, неовозвратно! Заменят ли их его рассказы?

По вечерам он подолгу лежал на своей обширной кровати, не зажигая света, смотря в тот тёмный угол, в котором в других краях и в другие времена висела его любимая картина. Он лежал, и губы его неслышно, а иногда и еле слышно шептали знакомое с детства:

*В темнице там царица тужит,
А серый волк ей верно служит...*

Верно служит... Серый волк, видимый необыденным зрением, прыжком вылетал из тьмы и парил в воздухе, парением своим прекращая движение всего.

К концу первого года поток впечатлений ослабел, и дни Зайцевой жизни всё больше стали походить один на другой. Движения его замедлились и стали неловкими, словно он увяз в насыщенном водяным паром, специями и птичьими воплями воздухе или попал вдруг в среду, к существованию в которой вовсе не имел никакой привычки, как, например, время, кружащее на месте, или время, никуда не текущее, или же время, текущее вспять. Быть может, под воздействием обстоятельств, ему самому ещё неведомых, а может быть, и музыки, слышимой им всюду, он стал видеть что-то такое, чего не видят другие, и старался обходить возникающие на пути препятствия, отчего маршрут его выглядел порой весьма странно — как будто он кружился на месте, или исполнял замысловатые танцевальные движения, или плутал в каком-то лабиринте. Странно было видеть, как недростый, внушительного роста человек осторожно ступает там, где другие идут совершенно спокойно, бережно касается того, что вовсе не требует никакой деликатности, и вечно медлит, словно его устремление и его мысль движутся в противоположных направлениях, — так внешне выражалось его существование в новых обстоятельствах, затронувших внутреннюю жизнь.

Пустота дней, как вакуум, засасывала из окружающего пространства в сумерки его одинокого жилища что-то такое, чего прежде он в окружающей атмосфере не замечал, что-то такое, от чего во рту появлялась горечь, как от слишком крепкого чая, отчего по утрам не хотелось вставать, хотя его постель круглый год казалась ледяным сугробом, странным образом стало забываться всё, что хотелось сделать накануне, и вообще всё стало казаться пустым, неважным и ненужным.

Однажды в пятницу, под вечер, в их тринадцатом секторе появился необычный фургон розового и голубого цветов. Фургон медленно ехал по улицам, оглашая пространство звуками странной печальной музыки, услышав которую, Заяц чуть не разрыдался. Отодвинув занавеску, он присмотрелся и увидел, что это был автомобиль мороженщика. Навстречу автомобилю из домов выбегали дети. Заяц торопливо задёрнул занавеску и отошёл от окна, стыдясь и не понимая причины столь странного воздействия на него этих звуков.

Заяц утешал себя тем, что пребывание его здесь не вечно, что не успеет его сын даже на треть миновать дни своего детства, как он вернётся, и никто почти и не заметит его отсутствия, зато он, славный странник, вернувшийся домой с почётом и с грузом историй, сможет столько рассказать сыну, на столько открыть ему глаза и подвигнуть на столько, что, может быть, может быть... даже на самое главное...

И Заяц предавался мечтам. И, разговаривая с сыном по скайпу, на вопрос, когда же он вернётся домой и они все снова станут жить, как прежде, вместе, уверенно отвечал: «Скоро! Совсем-совсем скоро, сынок, вот только рассчитаемся с долгами!» Он верил в это. Идея служения, известная ему с детских лет, понимаемая не рационально, но эстетически, поддерживала его веру и давала ему силы.

В начале весны, увидев в небе журавлиный клин, остриё которого было направлено в сторону дома, услышав их переливчатые, рассыпающиеся над зыбкими долами голоса, Заяц вспомнил, как в детстве посреди холодного осеннего поля провожал такие же клинья, летящие сюда, как бабка, разогнувшись от работы, смотрела им вслед из-под руки и говорила: «Колесом дорога!» И затосковал. И подумал, что всё же не все части времени равны друг другу, что некоторые из них

подобны золотникам. И впервые за много лет он почувствовал себя одиноким, но одиноким странно — словно одиночество его было удвоено тем вернувшимся из далёкого далека эхом детства.

А странствие продолжалось. Чем дальше уносила Зайца река жизни, тем пустынное становились её берега, тем чаще охватывало его чувство одиночества. Перемены, совершавшиеся вне и внутри, становились всё значительнее, наступали всё скорее — они явно действовали заодно. И по утрам, кое-как восстав под тархтеные охлаждающей во дворе машины и бодрые голоса коллег, собирающихся на работу со своего стылого ложа, он долго и пристально разглядывал себя в зеркале, желая убедиться, что не затронута хотя бы его физическая оболочка, но наблюдения лишь подтверждали, что воды жизни не щадят и её, и способны буквально за ночь разгладить, распрямить и перенести на новое место борозды, складки, возвышения, заровнять низменности и углубить ущелья. Окружающие пейзажи менялись не столь радикально, на первый взгляд они не менялись даже вообще, но в самой своей сути, в том, что составляло смысл их бытия, внимательный глаз тоже замечал несомненные перемены: словно там, среди красных барханов и чёрных гор, замедлялось течение времени, словно в пределах их ослабевала гравитация, и взгляд, не привлекаемый ничем, равнодушно скользил мимо, скользил, упираясь в бесконечность.

Заяц пугался. Главным его желанием теперь стало не сохранить подробности и приметы своего странствия, а не потеряться в пути самому, не дать водам реки жизни захлестнуть себя, уничтожить, он мечтал теперь всего лишь вернуться домой таким же, каким он из него уходил. Записки в блокноте в точности отразили его тогдашнее состояние: не стало цветистых фраз, изысканное — подобно тому, что им описывалось, — повествование превратилось в сбивчивые короткие заметки, и уже непонятно было, где, в каких местах пролегает сейчас его маршрут. В ежевечерних разговорах по скайпу Заяц подолгу и подробно расспрашивал жену и сына о самых различных пустяках, будто это не он, а они были странниками в далёких экзотических краях. Часто, утратив нить разговора, он умолкал, подолгу всматриваясь в лица жены и сына, пытаясь понять: видят ли они те фатальные перемены, что с ним происходят? Догадываются ли о том, что с ним происходит, чувствуют ли его страх? Несколько раз мелькнула у него мысль: «А не вернуться ли с полдороги обратно, пока не поздно?» Но, устыдившись слабости и памятуя о долге (в обоих смыслах), он решил продолжать движение.

Скоро, вследствие уже значительной удалённости от прежних мест, стала портиться связь: по вечерам, надев огромные, в полголовы наушники¹, Заяц с усилием вслушивался в слабые, прерываемые помехами голоса сына и жены, машинально глядя на безликий синий экран — видео с целью облегчения нагрузки отключено, —

¹ Помимо основной цели — максимально приблизить к себе источник звука, изолировавшись при этом от посторонних шумов, — он пользовался такой архаичной конструкцией ещё и от стеснения, здесь усилившегося: он избегал, чтобы интимность речи, принятая в семье, была доступна досужим слушателям, и потому нелепо и даже жутковато звучал в вечерней тишине его одинокий смех, реплики на невидимые вопросы, вопросы без ответов, комментарии неизвестно к чему и порой непонятно чем спровоцированное повествование явно об обстоятельствах не здешней жизни — словно ему удалось проникнуть куда-то ещё дальше тех мест, в которых он находился. Такое поведение его напоминало целомудрие верующего, оберегающего святыню от псов, и жест Соломона, уже разделившего в себе самое дорогое надвое.

и часто отвечал наугад на помстившиеся ему в мешанине звуков вопросительные интонации, скрывая собственные сомнения уверенностью и напористостью голоса.

Теперь он, может быть, и хотел бы поделиться своими опасениями с женой, развеять их в разговоре с сыном, но при таком качестве связи нечего было и думать об этом: нечто важное терялось в диалогах безвозвратно, несмотря на бесчисленные повторения, на усиленную аллитерацию, на старания чётко и внятно выстраивать фразы. Всё чаще после таких сеансов связи Заяц испытывал чувство опустошённости и обиды на то, что разговор в очередной раз предстал в виде нелепого фарса, на то, что обстоятельства забросили его сюда. Эх, если бы не эта работа, которую ему подсунула Варя!..

Тот, кто прочёл бы в Заяцёвом блокноте заметки, относящиеся к этому периоду, заметил бы странную вещь: описываемые приметы менялись, как будто путешественник перемещался уже не только и даже не столько в пространстве.

Тем временем приближалась очередная зима. Похожее на акацию большое дерево, что росло прямо за забором офиса, которое Заяц приметил с первых дней, — одинокое в своей неизменности, оно казалось ему неподвижной осью коловращения мира, — понемногу теряло свою пожухлую листву, обнажая коричневые, длинные, изогнутые стручки. Стручки тёрлись друг о дружку и скрежетали на ветру, словно сабли.

Дни сами по себе теперь являлись носителями перемен. Не нужно было никуда идти — достаточно было простого чередования дня и ночи, чтобы утром, ещё не открыв глаза, почувствовать, как что-то новое, неведомое, пугающее подошло и стало ещё ближе, как что-то привычное, родное исчезло навсегда.

Разговоры с Варварой по видеосвязи практически прекратились: у неё не хватало терпения отбиваться, соединиться снова, подолгу ждать ответа и помногу раз повторять уже сказанное. Лишь иногда, если каким-то чудом первые слова прорывались сквозь расстояние почти неповреждёнными, они успевали обменяться несколькими фразами. Женечка был упорнее, и через пятнадцать-двадцать мучительных минут им всё же удавалось нащупать и протянуть в пространстве тонкую соединяющую их нить.

«С какой лёгкостью она бросает попытки дозвониться... — неприятно удивлялся Заяц. — Неужели Женьке это нужно больше, чем ей?»

И чем реже и хуже устанавливалась связь, тем настырнее и громче звучала музыка пространства. Наконец, связь по скайпу пропала совсем.

Как знать, может, вследствие именно этих неудобств Заяц стал испытывать досаду на нелепость своего положения: в почтенном возрасте славного идадьго жить в общагах, как их ни назови, а уж тем более ночевать в доме на колёсах посреди пустыни и таскаться по неделям чёрт знает где! Не иметь толковой связи! (Кстати, некоторые, между прочим, в офисе проводят куда больше времени, чем он!) Не видеть сына! Питаться чем попало! Да что же это такое, а? А кто его сюда запихнул? Чьими стараниями он здесь оказался, на этой распрекрасной денежной работе? Стараниями дражайшей своей супруги и её чудо-родственника, которого, кстати, он за все девять лет брака ни разу не видел! Кстати, и не пишет почти... Ладно скайп не работает, но телефон-то есть, написать-то в мессенджере можно же! Вон, у других телефон блямкает каждые полчаса!

Свою досаду Заяц стал всё чаще, всё откровеннее выплёскивать на Варвару, Варвара терпеливо возражала: мало времени. Он-то после работы ничего не делает, а у неё их сын, да ещё надо помогать его, между прочим, матери!

Заяц, как ребёнок, ничего не хотел слышать и продолжал гнуть своё: у других-то время находится!

Кажется, Варвара один раз так и сказала ему: «Ну что ты как маленький!» И эта фраза странным образом зацепила Зайца: «Как маленький. То есть ребёнок...» И он подумал, что это, пожалуй, можно считать их первой ссорой — прежде они не выясняли отношений. Но скоро он забыл о сказанном — такие слова ещё не проникали в него глубоко. Несмотря на происходившие с ним метаморфозы, он ещё, в общем и целом, оставался самим собой. Он был твёрд. И, словно желая доказать это самому себе, продолжал путь.

Без привычных вечерних звонков было плохо. Иногда, наплевав на все соображения экономии, Заяц звонил Варваре по мобильному, но она, кажется, была этому совсем не рада: после томительных пауз и повторяющихся пустяковых вопросов говорила в трубку: «Ну ладно, давай. Пока». И отбивалась. Ссылалась на усталость, на неотложные домашние дела, на общую нервозность и головную боль. Упрекала в ненужной расточительности.

А расстояние, так легко справившееся с интернет-соединениями, добралось тем временем и до телефонной связи: в конце разговора, в ответ на отчаянно бросаемое в пространство: «Я люблю тебя!» — Заяц вместо столь же чёткого ответа стал слышать лишь какое-то невнятное хлюпанье, что-то вроде «блюблю» или «люлю». Переспрашивать он стеснялся и, как бы компенсируя эту невнятицу, с преувеличенной артикуляцией кричал в трубку сам: «Я люблю тебя! Слышишь? Люблю! Алё!» Пока не замечал, что трубка давно пуста, — Варвара уходила в свою далёкую тишину и уже некому было рассказывать о своей любви. Своими словами своей собственной речи.

Однажды, сквозь привычное уже бряцание кимвалов и треньканье струн, Заяц вдруг услышал голос. Голос Варвары. Он прозвучал как-то сам по себе, без помощи каких-либо приспособлений. Голос тихонько произнёс вздор, что-то вроде «Заяц-мазяц, Заяц-мазяц», и умолк. Заяц удивился. В сердце у него легонечко защемило. Но, как всякий путешественник, а значит, и исследователь, он трезво поразмыслил о причинах столь странного события и пришёл к единственно верному выводу: «Вероятно, — подумал он, — в своём странствии я достиг того места, где некая часть моей души тесно соприкоснулась с частью души моей супруги, отчего я стал слышать её голос так, словно она сама находится рядом со мною. Надо полагать, что место это — нечто вроде полюса, на котором все меридианы собираются в точку». И ещё о себе, в третьем лице, он подумал, что странник и здесь, как водится, встречает лишь следы минувшего, но тут же поправился: похоже, что вместо трёх привычных категорий времени на этом полюсе присутствует лишь одно непрерывное существование всего. «И возможно, — добавил он, — что полюс этот вообще является исходной точкой всего сущего. Областью, в которой всё, что только есть на свете, присутствует изначально. То есть, двигаясь вперёд в пространстве и во времени, я, благодаря неким обстоятельствам, одновременно двигался и во времени назад, но не последовательно, день за днём, а как бы особенными кротовыми норами». Про «кротовые норы» Заяц читал в научно-популярной литературе. И приготовился к тому, что услышит этот

голос ещё не раз. И велел себе собраться. И напомнил себе, что не время раскисать сейчас, в самой трудной, может быть, части пути.

И действительно, на следующий день Заяц снова слышал его. И даже, кажется, не один раз. И на следующий. И на следующий. Каждый день теперь Заяц слышал голос своей жены.

Голос нашёптывал, смеялся, пел, что-то спрашивал, не требуя ответа, сообщал, не ожидая реакции, дразнил и звал. Казалось, что это звучит сама местность и голос — такой же естественный её признак, как влажность, температура, высота над уровнем моря или геомагнитный фон. Всё, что он сообщал, было уже когда-то сказано, было знакомо и, отчасти, даже помнилось.

Первое время Заяц сохранял спокойствие. Но спокойствие продолжалось недолго, скоро Зайца охватило беспокойство: этот голос навевал *воспоминания*. Воспоминания, против воли, влекли Зайца в те времена, где он был абсолютно счастлив, где жил дома, где все они были вместе. Картины утраченного рая день ото дня окружали Зайца всё гуще, всё подробнее были их сюжеты. Видеть их было мучительно.

Заяц стал защищаться. Сначала это было довольно легко — достаточно было переключить внимание на что-нибудь простое и насущное, чтобы голос умолк, а сердце вернулось из далёких далей на место, но скоро этот приём перестал действовать: подобно пятну влаги, которое пытаются закрасить, он с лёгкостью проступал сквозь любые впечатления и заботы. Днём и ночью голос сводил Зайца с ума напоминаниями о благословенных краях, которые тот вынужден был оставить, и о той, по чьему желанию это произошло. И, поневоле прислушиваясь, присматриваясь, вспоминая, Заяц замедлялся в движениях ещё больше прежнего. Он походил теперь не просто на человека, оказавшегося в непривычной среде, но на нелепое доисторическое насекомое, с трудом отрывающее конечности от готового вот-вот окончательно схватиться куска смолы.

И, странное дело, если голос всё же в силу каких-то неизвестных обстоятельств вдруг умолкал, Заяц начинал испытывать томление и страх. Всё валилось из рук, и с тоской он бродил в закоулках своей памяти, настырно кружил среди нагромождений улиц, пытаясь отыскать пропажу, нетерпеливо ждал, когда голос появится снова, и страшился, что тот не вернётся. Он призывал его, молил, воскрешал, ибо голос не только тревожил, но и утешал, не только отталкивал, но и звал, не только убивал, но и исцелял.

Путевые заметки множились, блокнот распухал, как кошелёк, набитый мятыми ассигнациями.

Так, от Гарвардской школы к мечети Фатимы, от Госпиталя к улице Мушмис, от улицы Мушмис к улице Аль-Инарах. Он передвигался всё далее и далее, не чувствуя ни испепеляющего жара, ни жажды, ни голода, ослепший от солнца, пока однажды в закоулках и тупиках своей души случайно не отыскал виновницу всех несчастий. И тогда, возвысив голос, он возопил: «Как?! Как могла ты отказаться от всего, что нас соединяет, от нашего собственного мира, в котором мы жили, и, самое главное, как могла ты отказаться от чудесного дара, от нашего языка, которым был возведён этот мир?! Как могла ты разрушить всё, отказавшись от возможности говорить и слышать?! Вот — здесь я, и кругом меня пески...»

Беззвучный и неподвижный, как геккон, он долго изливал переполнявшую его обиду, и лишь опустошившись до дна, оттаял и пришёл в движение, чтобы снова, как конденсатор, медленно, день за днём накапливать в себе едкое, причиняющее боль электричество.

А ночью, с открытыми глазами, долго лежал без сна, мысленно повторяя пройденный маршрут и соображая, где, в каком месте свернул не туда. «Всё больше путь мой уподобляется узору, что выведен хной на кистях и ступнях здешних женщин... — думал он. — Всё больше. Всё запутаннее он».

С месяц назад разговоры с Варварой прекратились совсем. Ни на телефонные звонки, ни на сообщения в течение дня она не отвечала, по вечерам, если везло, с ним разговаривал лишь Женечка. «Мама занята, — сообщал он отцу на недоумённые, нетерпеливые, раздражённые вопросы. — У неё много дел». Заяц согласно кивал, понимая под рациональными объяснениями метафизическую глубину подлинного отсутствия человека. Появление Варвары — пару раз, на одну-две секунды — лишь подчёркивало подлинное её отсутствие. И Заяц запаниковал. Заяц заметался: «Хватит! Нужно всё прервать разом! Пока не стало окончательно поздно! Вернуться к началу!» Ему хотелось бежать, лететь, немедленно выяснять, в чём дело, исправлять ошибку и заполнять пустоту молчания, но приходилось терпеливо ждать окончания командировки.

Всё ещё пребывая в плену рационального и пытаясь отыскать естественные причины Варвариного ухода, он томился, кружил по улицам, углублялся в поисках собственных вин в прошлое, разряжённое здесь, как горный воздух, и даже что-то такое находил: малозначительное, неподтверждённое, вроде усталости в голосе или повышенного тона, нимало не смущаясь несоразмерностью вины и наказания, поскольку всё, а не только память, подвергалось здесь странной, кажущейся по-своему логичной, аберрации.

«Что же, что же за чем следовало?» — день за днём ломал голову Заяц, стараясь выстроить правильную последовательность событий, предшествовавших молчанию. Он размышлял над нею столь усердно, словно она являлась частью злополучного маршрута, который ему придётся проходить, возвращаясь назад. Вспоминал столь добросовестно, словно и вправду воздействием на минувшие события путём их воспоминания можно что-то поправить в настоящем.

«Может, я её обидел? Сказал что-то не то...»

«А не накануне ли той сокрушительной бури был последний наш разговор?»

«Кажется, грозивший мне был всё-таки скорпионом!»

Он не гнушался ни снами, ни самочувствием, ни погодными обстоятельствами, ибо всё могло сыграть свою неожиданную и решающую роль, но, как назло, ни на чём не мог остановиться — память подводила. Последовательность менялась каждый день, словно воздушные потоки. В конце концов, догадался, что, каковы бы ни были внешние причины случившегося, в основе лежит лишь одно: расстояние. Слишком большое расстояние разделяло их. И чтобы успокоить себя, Заяц без устали повторял: «Как приеду, — сразу же поговорю с ней! Сразу же!» И сам факт этого разговора казался ему гарантией счастливого исхода. О том же, что течение разговора может оказаться непредсказуемым, а результат его — неприемлемым, он даже не задумывался — как всякий отчаявшийся, поставивший судьбу свою на кон. Не говоря уже о том, что Варвара могла оказаться вообще лишь инструментом неких могущественных сил.

«А может, всё из-за этой... поездки с Женькой?» — вдруг спохватывается Заяц, не отрывая носа от иллюминатора и, обманутый иллюзией верного следа, машинально бросается на раскопки воспоминаний, но — спохватывается: некогда. Некогда! Самолёт уже едва не касается вершушек сосен!

Заяц, на секунду оторвавшись от иллюминатора, оглядывается: соседка проснулась. Сидит пристойно, пристегнулась — всё под контролем. «Да ведь и позвонила же, в конце концов. Позавчера. Нет, поза-позавчера. Конечно, только чтобы сказать про билеты, но с такой паршивой связью оно и понятно... Скоро. С полчаса. Ну, плюс дорога... Нет, конечно, не прямо с порога, то есть не... то есть, она не... Вот приеду и скажу, что хватит, что так нельзя, что мы так бог знает до чего дойдём, до полного охлаждения, до...» — Заяц осекается, боясь даже мысленно назвать то, чем неизбежно, по его мнению, может всё закончиться.

Вспомнилось, что, когда они только поженились, он ужасно ревновал Варвару ко всем её многочисленным родственникам: те, казалось, как нарочно, без продыху похищали у него молодую жену по каким-то своим тёмным и тягостным родственным делам, уходящим корнями в те времена, когда они ещё не были знакомы. Во времена доисторические. И он с ненавистью смотрел на этих чужих ему людей и чувствовал, как по отношению даже к ней в его душе поднимается злоба. Однажды, не выдержав, он устроил скандал на пустом месте и не отпустил Варвару с заезжим родственником в театр, поход в который, как священный ритуал, соблюдался ею чуть ли не со второго класса. Позже, конечно, он каялся, понимая, что выглядел круглым дураком, но в глубине души всё же радовался: эта выходка подтверждала его право на жену и на значительную часть их обновившейся жизни. «Самодур — значит, самодур! Но я принимаю решения, и я же несу за их последствия всю ответственность!»

За всеми эти мыслями Заяц не заметил, как самолёт коснулся земли, как пробежался, погромыхая, по дорожке и, аккуратно свернув, остановился.

Включили свет.

За окном слякотно и промозгло, в серости утра беззвучно катаются туда-сюда чудные машинки, похожие на те, которыми играет Женечка. Люди вокруг встают, оправляются, разминают затёкшие руки и ноги, достают и надевают неизвестно где припрятанные тёплые куртки. От выпрямленных спин, от возни и размахиваний рукавами во чреве, остывающем от высот, становится слишком тесно. Заяц хочет поскорее убраться отсюда, чтобы эти движения, эти телефонные звонки, эти приветствия не наводили в его душе тревожные токи. Он почёсывается.

Улучив момент, Заяц вклинивается в череду идущих и бредёт вместе со всеми, уставившись на сброшенные на пол пледы, пластиковые бутылки, стаканчики, салфетки, наушники — сор человеческого пребывания, следы бегства. Берег прилившей и отхлынувшей жизни. Умершей музыки. Среди звуков ухода, кажущихся после надсадного гула тишиною, Заяц тоже вынул из сумки телефон, глянул на осветившийся экран, но... помедлил и убрал аппарат обратно.

К зданию аэровокзала подкатывается игрушечный паровозик с пустыми тележками, похожими на клетки. «Кажется, это к нам», — думает Заяц, глядя на следующий

за паровозиком автобус, похожий на сплюсненную коробку, и ошибается — автобус проехал мимо, а он со всею толпой прямо из самолёта шагнул в узкий коленчатый коридор.

Стены в коридоре давят. Заяц ускоряется, едва не срываясь на бег. Он где-то читал, что животных, чтобы заставить двигаться быстрее, специально помещают в тесные коридоры. «Да и таможно пройти побыстрее», — оправдывается он, несолидно трусая.

На ходу Заяц несколько раз оглянулся — Алекса не видно.

«Да и чёрт с ним», — думает он. Каждый раз, когда им выпадает возвращаться домой вместе, Алекс незаметно исчезает по пути.

Станный он всё-таки. То готов без мыла в задницу залезть, добрый соседushка, и то и дело: «Я возьму у тебя сосиски? Я молока твоего перехвачу? Поделишься помидорами на салат?» И всё так легко, так по-домашнему, да и сам пятёрочкой выручит, если не хватает, да ещё и «Не надо-не-надо, оставь! Я вон столько у тебя брал!», то... — и Заяц чуть не рассмеялся в голос, вспомнив, как вчера вечером на кассе он, таращась на свой поредевший денежный веер, прикидывал, чего бы ещё такого на оставшиеся пятнадцать дирхамов купить: моцареллу за двенадцать или рокфор за четырнадцать? Подошёл Алекс и, со словами «А, кстати, ты же мне пятёрку должен!» — непринуждённо выхватил нужное ему.

— Чёрт с ним!

В очереди на паспортный контроль Заяц тяжело дышит, в висках его пульсирует утро, вернее, вчерашний ещё день, обернувшийся без должного перерыва утром. Пространство, уже безмерно расширившееся, продолжает давить глубиной вод. «Значит, всё-таки дно», — отвечает он себе на тот, заданный ещё в Абу-Даби, вопрос. Перед глазами Заяца на миг встают белоснежные купола той, как её... что видна с крыши в погожий день: словно гроздь воздушных шаров, кажется, подуй лёгкий ветерок, и, всколыхнувшись, они дружно поплывут в небеса, и кажется — ностальгия на миг касается Заяца. Но, передёрнув плечами, Заяц отгоняет от себя наваждение: нет-нет, он хочет домой, к Варваре, к Женечке! Это так... так, усталость... Это просто слишком тесно здесь — столько народу, всё скученно... Это отсутствие свободной линии горизонта, к которой он, следует признать, уже привык.

Вот, наконец, и вышел он на улицу, миновав вертящийся барабан лотереи-аллегри, поставленный на попа: о, какое блаженство! Воздух, не пахнувший ничем! Нет в этом воздухе ни специй, ни песчаной пыли, ни соли! Ни водяного пара, ни гниющих водорослей! Заяц зажмуривается и, потянувшись на цыпочках, вдыхает полной грудью: этот воздух велик, ибо бесплотен!

Свободной рукой Заяц нашаривает в кармане несъеденное яблоко. Порыв ветра охлёстывает плечи, ерошит остатки волос на лысине, и Заяц поводит плечами: холодно! Брение под ногами его — Заяц переступает на сухое и улыбается: прав Чугунов, не обманул! Оттепель! И тут время, в котором он жил так долго, замершее, оцепеневшее время сдвинулось с мёртвой точки и побежало, понеслось вперёд, спеша нагнать так бездарно упущенные недели и месяцы, перескакивая через ушедшие далеко вперёд времена года.

Вселенная расширяется. Отражённое прошлое бьётся о стёкла белыми совками, стоит перед глазами, переполняет слух словами, которые не выговорить и не удержать.

О, восторг движения! Обгоняющий всё на свете восторг, и радость оттого, что всё скоро разрешится! Разрешится, и, значит, собственными руками движению будет положен конец! О, как оно будет? И ужасом бездн намагничивается душа: что, если тайна движения, перед тем, как исчезнуть навек, объявится во всей полноте? И сердце трепещет, заходясь: о, восторг движения! Воистину, гибельный восторг! Дай побыть ещё здесь, на руках твоих! И разматывается навстречу сухая лента дороги, и хороводят там и здесь перелески, скрипит сердце, летят навстречу шаткие пляшущие столбы, считая вёрсты родной губернии.

Обитель Зайца

I. КТО-ТО ДРУГОЙ

1

Вот — у порога он! Мешкает, нашаривая ключи. Где-то должны быть они, где-то здесь... — ах, эти старые, дырявые карманы его легкомысленной истёршейся курточки! — пальцы натыкаются на монетки и скрепки, на ненужные скомканные билетки полугодичной давности, на шершавые, колющие обломки спичек, на крошки первичного вещества Вселенной и катышки материи... О, эти истёртые, извилистые полости, уходящие невероятно глубоко! Где-то там, точно, где-то там, в самом дальнем углу хоронятся ключи на холодной стальной пружине! Полированный металл, два притиснутых друг к другу витка спирали.

Заяц нетерпеливо переступает с ноги на ногу, кряхтит, преодолевая слабое сопротивление скользкой ткани, мягко просовывает правую руку ещё глубже в дыру, поводит с досады плечами, сопит и морщится, силясь умом провидеть сплетение запутанных в глубинах путей, и уже только двумя пальцами — указательным и средним — забираясь туда, где должен быть пах, взглядом сосредоточенно и невидяще уставясь перед собой, в муаре и лак... Вот они!

Заяц решительно вставляет ключ в скважину, пытается повернуть его, но ключ не вращается. Там, внутри, ничего не происходит. Зубцы и впадины не вступают в нужное взаимодействие со штифтами, и озадаченный Заяц на какое-то время замирает, пытаясь представить себе эту задержку наглядно, понять причину неудачи. Вся сцена напоминает замешательство актёра, лишь на сцене обнаружившего непоправимое несоответствие задействованных реквизитов содержанию того действия, которое он начал уже разыгрывать. Сгоряча Заяц решает даже крутануть ключ посильнее, представляя, как что-то, может быть, лишняя песчинка или крошка, приставшая к металлу, хрустнет там, в тесной глубине, соскочит и освободит нужные пути, но, вовремя поняв всю нелепость такой надежды, вытаскивает ключ и насколько можно внимательно осматривает его. Так и есть! Это ключ от комнаты на вилле! Похож, но не тот! Он стремительно, словно шулер — карты, меняет ключи местами и вставляет в скважину правильный.

И замер Заяц. И поджал губы. И испугался: что там, по ту сторону, как примут его? Вот, войдёт он — что скажет? Как он посмотрит, как на него взглянут? Но терпеть больше нет сил, раз, два, три — дверь открывается...

И вспыхнул свет! Так ярко, так невозможно ярко вспыхнул над головой!

И тотчас что-то сверху хлопнуло, и прихожую заволокла тьма.

— Фу-ты, чёрт! Лампочка перегорела...

Что-то скрипнуло, стукнуло на кухне. Что-то сдвинулось там. Послышались и приблизились шаги: крепкие, с отчётливыми пятками в каждой доле. Повеяло... Полы халата обеими руками вернула на место. Остановилась резко, будто в последний момент лишь передумав обнять за шею, и: «Привет! — радостным шёпотом сказала Варвара. — Ну вот, только пришёл и уже лампочку сломал!» И дурашливо посмотрела вверх.

— Да, сломал, — пролепетал Заяц. — Ну ничего, я почию, это не страшно, у нас там, знаешь, они так высоко, потолки, понимаешь, приходится ставить стол, на стол — стул...

Вот оно, лицо её! Безмятежное, улыбчивое. Вот — глаза её глубокие, серые! Медные кольца и полукольца волос, сыроватых ещё после душа, покачиваются, покрывая и раздаваясь над голубым бархатом, над розовой, как бисквит, кожей. И: «Привет», — шепчет ей Заяц, как бы возвращаясь к началу реплики и, обойдя поставленный перед собою чемодан, останавливается прямо перед женой нерешительно. Не обняв, не поцеловав: как всегда в таких случаях, он слишком много думает.

Варвара подалась вперёд и быстро поцеловала его сама: «С приездом! Ну, раздевайся». И ещё, отступая уже на шаг: «А я сама недавно встала. Нет-нет, здесь не включай, Женечка ещё спит. Давай, переодевайся — я тебе в зале приготовила, и приходи на кухню. Будешь кофе? Ой, сегодня столько дел ещё...»

Заяц, стараясь не греметь, вешает куртку, разувается и на цыпочках, мимо двери, приоткрытой в комнату сына, крадётся в зал.

Ах, этот милый вертеп с подбоем из мягких салатových и бежевых ворсистых бумаг! О, дом! Ноздри Заяца расширяются и вздрагивают. Веки покрывают глаза его на миг, и ещё на миг, чтобы там, в фотографической тьме, проявились давно хранимые образы — то воистину подлинное, к чему прибегает он теперь, сличая. Тонкие слои бытия, незримые флюиды, эссенции и эфиры кружат ему голову, захлёстывают, затрудняют дыхание. Всё так! За покосившимися неподъемными шкафами, хранящими непоблещшую тайну своей молодости, за теми мастодонтами, что ещё остались, с литыми накладками на замочные скважины, с фигурными петлями и лаком, истаивающим уже бог весть какое десятилетие, таятся тени и воспоминания его детства, пересаженные на новую почву, заботливо привитые к новым стенам. Давно уже, впрочем, тоже переставшим быть новыми, давно уже подёрнувшимся налётом ностальгии, покрывшимся патиной воспоминаний, обработанным виниром времени.

По полу, выстеленному облысевшим свекольного цвета ковром в геометрических узорах — от порога и до детской, а от детской и до кухни по такому же, но зелёному, — осторожно ступает Заяц. «Слава богу, слава богу, что всё оказалось... так хорошо! Ведь я же говорил, я так и думал, что это всё чушь, нелепость, какое-то недоразумение! Но поговорить всё равно будет нужно! Обязательно!» — убеждает он себя, не замечая лукавства, и остатки заготовленных фраз тают на языке.

Почти наг, в одних трусах, Заяц входит в кухню. Углы и простенки её, убранные гобеленами и репродукциями, слабо звучат сладкой розовой пудрой и дублёной кожей, тёмным, как ржаной хлеб, воском и чем-то ещё тленным, сухим, травянистым — веществом жизни, выпадающим в осадок во всяком доме из просеивающихся сквозь стены лет.

«Но как, однако же, странно всё это. Такое продолжительное молчание, и — такой приём... Как ни в чём не бывало. Будто я попал не к себе домой, а бог весть куда. Или словно в мой дом попал не я, а...» В дверях Заяц останавливается и смотрит на Варвару. Из-за лёгкого головокружения, вызванного недосыпом, ему сейчас кажется, будто он и вправду не он, а кто-то сторонний, бесплотный. Иррациональный наблюдатель иррациональной ситуации. Субъект, понимаемый всеми ложно.

Варвара, не замечая мужа, буднично возится у стола, достаёт чашки, ставит чайник, достаёт из шкафа сахарницу и кофе. Заяц исходит остатками изумления: нет, он, конечно, не ждал мексиканских страстей, но чтобы вот так, вообще, как ни в чём не бывало! Как мало он знает, и как заблуждается по части женщин! И словно лишившись последних сил, осторожно, стараясь не шуметь, прислоняется к дверному косяку. В душе его разливается долгожданный покой. «Сейчас кофе, потом помыться, а потом спать. До вечера. Чемодан разберу вечером. И... вообще, всё — вечером», — расслабленно думает он, и продолжает стоять, и, восторженный, наблюдает за перемещением её тела, за выражением лица, за тем, как соединяя движениями рук незримые точки пространства, она делает это пространство узнаваемым, родным вплоть до подоплёки времени, замечаемой лишь вот в такие первые минуты возвращения домой. И обретает в этом пространстве себя.

— Я вечером чемодан разберу, сам, — шепчет Заяц Варваре. Но ни слова в ответ ему: только звякнула чашка, только скрипнула под ногой половица, засипел чайник.

Заяц уже громче повторил: «Варюш, я чемодан, это... вечером, сам разберу». Варвара, задумавшаяся о чём-то, обернулась к мужу и ласково улыбнулась: хорошо, мол. Вечером, так вечером.

«Черты? Ну, что черты... Всё те же. Начертили, не сотрёшь. Нет, так всё нормально, да. Нет, не читает — не хочет. Вот, позавчера опять подрался. Девочку какую-то в классе защищал. Говорит, что любит её. Ты бы поговорил с ним, рассказал... Ну, как сдачи дать, и всё такое. Научил бы его. Сам же, поди, дрался в детстве... Ведь дрался же? Может, на бокс его записать, а? Середина года ещё только, а уже второй раз с фингалом приходит».

Заяц не отвечает. Перед глазами Зайца перекошенный под голландским углом квадратный зальчик, заставленный детскими стульчиками и детскими столиками, на полу валяются разбросанные по полу игрушки. Несколько мальчиков окружили двоих, растянувшихся в схватке. Один — длинный и худой, в лице его, из-за вывороченных ноздрей, проглядывает что-то не то верблюжье, не то бычье. Он тёмен и мосласт. Он зол. Другой — тощий, маленький. Он отчаян, он задыхается. Грудь ему сдавливает подвижная тяжесть врага, во рту у него вкус пыли. Лицо горит, слёзы поднялись вровень с нижним веком — если он наклонит голову, слёзы прольются двумя позорными дорожками на щёку, и потому он старается не шевелиться. Патовая ситуация.

Ненависть Тудыкина к Зайцу была иррациональной, она не имела ни причины, ни времени появления. Кажется, как и многое другое, она существовала в мире всегда, ещё до их рождения, и лишь перешла, при первой же встрече, из области скрытого в область проявленного. Заяц это, кажется, понимал ещё тогда, в детском саду. Понимал, однако не мог удержаться от сакраментального «за что?», адресованного судьбе. И, разумеется, не получал ответа.

Вскоре он этим вопросом задаваться перестал, решив, что раз написано ему на роду драться с Тудыкиным, то, значит, придётся драться, хотя, по возможности, лучше

от драк всеми достойными способами уклоняться. Он ждал, он надеялся: авось со временем всё подуспокоится, авось судьба их снова разведёт по разные стороны жизни.

Но окончание детского сада избавления Зайцу не принесло. Их обоих записали в одну школу, что не удивительно, поскольку в посёлке, где они жили, всё существовало в единственном экземпляре: один детский сад, одна школа и одна «шарага», из которой вела так же одна-единственная дорога: через фабрику, вокруг которой жизнь всего посёлка и строилась. (Даже магазин в посёлке, и тот был один. Можно было бы сказать, что жители не встречались друг с другом только ночью, но это было бы неправдой: скандалы с незадачливыми любовниками случались в бараках постоянно.) В общем, деваться им друг от друга было некуда.

И истязания продолжились. Вот он — видит Заяц — с какими-то неестественно алыми, слюнявыми губами и совершенно безумным взглядом выкручивает ему руки, отбирая мелочь в школьной столовой. Вот, будто охваченный спортивной страстью, запускает ему на футбольном поле мяч прямо в живот. Или же походя, просто так, даёт пинка, и Заяц летит вдоль коридора под дружный гогот класса.

Борьба за собственное достоинство особенно изнуряла тем, что не вызывала у одноклассников ни малейшего сочувствия — все они искренно не понимали: чего Заяц пыжится-то, чего он из себя изображает? Тудыкин — это сила! Получил, ну так и иди, неси свою долю. Но особенно поражало Зайца поведение девчонок: тошно вспоминать, как хохотали они, окружив драчунов стеной, заодно с мальчишками. Однажды их всех до единой завуч застигла курящими на заднем дворе школы в компании Тудыкина. «Эх вы, а ещё девочки! — разорялась после классуха. — Вы же будущие матери, пройдёт немного времени и... таинство жизни...» — тут голос её дрогнул: классуха была не замужем и бездетна, что в сорок лет значило многое. Заяц, услышав про «таинство», опустил голову, Тудыкин заржал, а девочки беззаботно воссияли: таинство жизни их ничуть не волновало.

После внушения незадачливые курильщицы долго ещё, собравшись компанией, о чём-то шептались, хихикали и томными коровьими глазами преданно смотрели на своего кумира.

Отца у Зайца не было, мать дома появлялась редко — моталась проводницей по всей стране, и в школу, по первости, с жалобами на обидчика ходила бабушка, Анна Михайловна. Дед же, Тимофей Борисович, был человеком, как говорится, не от мира сего, причём, будучи таким от рождения, он, казалось, сознательно делал всё возможное, чтобы усугубить это состояние: подрабатывал, уже на пенсии, библиотекарем в поселковом клубе и читал запоем, был нелюдимым, а на рыбалку ходил один и возвращался трезвый, а ежели и пил, то опять же один, кроме того, по посёлку про молодость его ходили слухи... В общем, рассчитывать на деда было просто нелепо. Впрочем, никто и не рассчитывал.

Зачем бабка это делала, неужели она верила, что таким способом поможет Зайцу? Да и хотела ли она в действительности ему помогать? Даже в те времена Заяц был уверен, что все свои набегі на педсостав Анна Михайловна совершала лишь по сварливости своего характера, по кверулянтской своей скандальной натуре. Помнится, дед, выпив лишку, не раз выговаривал ей: «Ты, мать, даже Машку не рожала, а воз-ражала!» Разговаривали они мало, и Анна Михайловна на это ничего не возражала. Семенящими, мелкими шажками бегала она чуть не каждую неделю в школу, терпеливо дожидалась там классной руководительницы или завуча — Райки, Галки, по-местному, по-свойски, — и изливала на них весь свой гнев на убогую эту

беспросветную жизнь, в которой даже вот *ему* достаётся ни за что ни про что, на всё на свете, пропади оно пропадом! Заяц стоял рядом как наглядный пример отсутствия мировой гармонии и шмыгал разбитым носом, машинально пытаюсь приладить на место напрочь оторванные алюминиевые пуговицы форменной куртки.

В обратный путь Анна Михайловной и Заяц пускались вместе и часто, раздражаясь уже от беспомощности и непутёвости самого Зайца, находя в этом причины всех его злоключений, бабка внезапно останавливалась посреди дороги и сообщала ему о том незамедлительно и в красках: «А сам-та чо? Олух, тютя! Вот и тыркают тебя все кому не лень!»

Заяц верил сказанному и беспрестанно изводил себя сознанием собственной неслыханной порочности. Особенно способствовало этому употреблённое однажды Анной Михайловной слово «исусик». Заяц не понял тогда значения этого слова и, как выяснилось несколько позже, даже и не расслышал его как следует, но по особенностям произношения, по интонации и явно выражавшемуся желанию Анны Михайловны сплунуть после произнесения его, понял, что это — некая наиболее сильная характеристика и, в силу её прежней неупотребляемости, вероятно, особенно точная.

После того Заяц стало как-то не по себе, но не от обиды на слововержицу — его, словно поэта, это слово зацепило как интуитивно угаданный образ, позволяющий максимально полно совместить и отождествить себя с окружающим миром. Возвратясь домой, как и всегда по возвращении с таких разбирательств, он прошёл к себе в комнатку, лёг не раздеваясь на кровать, натянул на голову одеяло и в душной темноте долго лежал, думая о слове «исусик», о том, что с отцом ему, наверное, всё же было бы лучше, и — снова — о том странном головокружении, которое возникало после произнесения нового слова. Даже мысленного.

После третьего класса Анна Михайловна перестала ходить в школу: то ли убедившись в бесполезности своих суматошных попыток, то ли решив, что Заяц уже достаточно взрослый, чтобы самому решать свои проблемы. Заяц, оставшись без такой опеки, вздохнул с облегчением: одним поводом для уязвлений стало меньше.

Заяц отставил допитую чашку и взглянул на Варвару. «Дрался? Хм... Да нет, вроде... Ну, если только так, чуть-чуть...» При мысли о том, что с его сыном теперь происходит нечто подобное, его охватывает чувство беспомощности и тревоги, лицо словно деревенеет. Что это, нервы? И в ушах звенит...

Полное и окончательное его освобождение произошло после восьмого, когда врага всего человечества и предмет тайных воздыханий отроковиц выпихнули, наконец-то, из школы в ту самую одну-единственную шарагу. Заяц же, отучившись ещё два года, уехал в Ленинград поступать в Горный, поступил и вернулся в посёлок лишь тогда, когда тот уже перестал быть посёлком, превратившись в очередной стремительно растущий район столицы.

Заяц слегка пожал плечами и качнул головой. Снова почувствовав тяжесть в затылке, подумал: «Невероятно. Семь бессонных часов назад меня окружала стоячая вода вечного лета, а теперь...» И произнёс:

- Нет, Варюш, не дрался.
- Ну а насчёт бокса что? Запишем?
- Значит, говоришь, любит? Ну а она что, отвечает ему взаимностью?
- Да нет, говорит, что не отвечает.

— А почему? Почему она не отвечает, она что, не видит?! Она что, не может ему ответить?!

— Тише-тише, Женьку разбудишь. Ты чего так разошёлся-то?

Вместо ответа Заяц привлёк к себе жену и окунулся лицом в синь её халата. Подумал, что зачем-то солгал Варваре, что надо бы сказать ей, вот сейчас прямо сказать о... И вспомнил, как не хватало ему там её привычек, вызванных здоровым эгоизмом и так украшавших их совместную жизнь. Не хватало хорошего кофе, хорошего дорогого сыра, даже вот этих вот круассанов, на которые она никогда не жалела денег, а ведь он вёл там жизнь весьма аскетическую, пресную, но аскеза его была вызвана не скупостью, а тем, что главным украшением его жизни является она, его жена, и всё, что связано с нею, просто отпечатывается на нём, словно узор, переходит, как красящий пигмент, с одного слоя ткани на примыкающий к нему другой; ему же самому не хотелось каким-либо образом украшать свою жизнь, в то время как смысл её не представлялся ему ясным и существенным. Хорошая жизнь хороша тогда, когда она понятна, постоянна и покойна, иначе любой элемент её не складывается в общий узор, но выглядит как обломки кораблекрушения и вызывает лишь чувство неловкости.

«Нет, не могу. Потом, попозже», — говорит он себе и думает, что всё же здесь, дома, он не совпадает с собою тем, что семь часов назад отправился в дорогу. За время пути с ним произошли изменения. «Не, — поправляет он себя, — это здесь со мною произошли изменения, здесь, за эти пятнадцать минут. За каких-то пятнадцать минут я стал другим. Да ещё история эта... Тоже мне, Ромео и Джульетта. Хотя при чём здесь Ромео и Джульетта, у них взаимно? Тогда уж, скорее, Беатриче... А она? Каким она меня теперь видит? И подлинно ли она видит? И каков я подлинный? Может, она потому и не заговаривает со мной о размолвке, что ей уже не с кем разговаривать? Момент упущен, нужно просто продолжать движение...»

Эта странная мысль оживляет в нём ещё одно воспоминание времён юности: воспоминание о прекрасных девах.

Ему было тогда семнадцать, он завершал первый курс института, и свободное время, хлынувшее вдруг, как из рога изобилия, коих было вокруг множество, проводил в Летнем саду. Проводил не без умысла: он охотился. Охотился на прекрасных дев.

Прекрасные девы проявлялись в жёлто-зелёных сумерках аллей медленно и постепенно, вызываемые к жизни не столько естественным ходом вещей, сколько игрою света и воображения. Тела их, подолгу задерживаясь в одном каком-либо положении, осторожно наливались плотью на фоне вяло колышущейся листвы, блуждающих темнот и солнечных пятен, пока, наконец, полностью отделившись от оцепенелых вязов и тополей, непроходимых сплетений ветвей и побегов, не ступали невесомо и плавно в русла сонных аллей. Серебряными арфами переливались их голоса, одежды их цвета йода и сепии, то вытягивались, как бальные платья, то укорачивались до размеров туники, словно отражения в токе вод, а жесты были замедленны и легки. Не удаляясь и не приближаясь, на протяжении всего времени своей короткой жизни девы оставались недоступными, как недоступным бывает чудо оптической иллюзии.

О, как хотелось бы ему окликнуть их, приблизиться, взять за руку! Как хотелось бы ему, подобно другим, внешне таким же, как он, познакомиться с девами, войти в их жизни и впустить их жизни в свою! Но, подозревающий о принципиальной невозможности такого соединения, он, подобно визионеру, оставался неподвижным,

наблюдая за происходящими переменами издалека, проживая свою жизнь от начала до конца, глядя, как девы возвращаются обратно в породившую их густоту теней. Вместе с ними он терялся, таял, угасал, покуда мрак небытия окончательно не покрывал всё, подобно тому, как ночная тьма неизбежно покрывает изображение проявленной, но не закреплённой фотографии.

Проживший таким образом всю жизнь и полностью в несколько часов переменившийся, поздним вечером он возвращался домой, в комнату, которую снимал на Форштадской. На память о промелькнувшей на глазах жизни ему оставалось лишь смутное воспоминание о странной гложущей тоске, о любовном томлении и о каком-то не сбывшемся обещании.

И в продолжение темы о неопределённости собственной персоны Заяц движется дальше в эфемерных пространствах памяти, минует, не заходя, свою комнату в коммуналке, пропускает несколько скомканных томительных лет, выдохшихся без следа, и запущенными дворами выходит снова к прекрасным девам, за которыми, сумев, наконец, перебороть себя, он пытался ухаживать. К воспоминаниям, ставшим к этому времени полноценным кошмаром, поскольку это были воспоминания об ошибках прекрасных дев. Прекрасные девы никак не могли запомнить его имя, такое простое и заурядное, словно он, по причине этой самой своей неопределённости, постоянно ускользал вместе со своим именем из круга всеобщей жизни. И дрессированная память дев то и дело подсовывала им взамен лёгкой потери привычных игорьков, артурчиков, ашотиков. Зайца передёргивало, он молчал, стараясь не подавать виду, однако знакомства, долженствующие заканчиваться известно чем, ничем не заканчивались: неопределённость, так неопределённость.

Постепенно его, как человека, занимающего в окружающем мире весьма неопределённое, а значит, наверняка не своё место, всё чаще принимали за кого-то другого. И, подвергнутый воздействию чужой ошибки, деформированный ею, Заяц зачем-то послушно вращался в наброшенные с чужого плеча одежды, поспешно вживался в навязанную роль. Однажды на перроне, пока он мирно ждал утренней электрички, к нему привязался какой-то забулдыга. Не сразу привязался, а сначала пропетлял раза три туда-сюда, подозрительно поглядывая в его сторону, сужая расстояние, покашливая, почёсываясь, пока не остановился напротив и, покачиваясь, не спросил весьма вежливо: «Прошу прощения, вы случайно не Андрей Петрович?» Услышав отрицательный ответ, он ещё подозрительнее посмотрел на Зайца, дохнул перегарцем, недоверчиво пожал плечами и снова завихлял: пять шагов туда, пять шагов обратно. Как часовой. Наконец, не выдержав внутреннего борения с собой, забулдыга остановился и с угрозой уже произнёс: «А мне кажется, ты Андрей Петрович!» И Заяц, срываясь на крик, воскликнул истерически: «Да ошиблись вы, ошиблись!» И решительно направился в начало платформы под громкий шепоток бабульки, притаившейся у турникета: «Вот, понажрут с утра, аж сами не знают, кто они!» Направился, слегка пошатываясь, чуть заплетаясь ногами, — как подобает Андрею Петровичу, корешу.

И даже теперь, ну, не совсем теперь, но тогда, когда жизнь его, наконец, оформилась во что-то конкретное, когда он утратил свою зыбкость и обрёл формы, подобающие зрелому мужу, на работе происходит то же самое: директор фирмы, введенный — не иначе! — обманчиво-респектабельной внешностью Зайца в заблуждение, назначил его руководителем группы! Его, Зайца, сроду не руководившего даже собой! И вот — всё валится из рук, работа не идёт, мечты лишь о том, чтобы бросить всё это поскорее и свалить домой, но приходится влачить, тянуть, упираться, проклиная себя за мягкотелость. Эх, нужно было сразу отказаться, сразу объяснить! Да и коллектив,

ё-маё... Вроде взрослые люди, а ведут себя как дети. Алекс исподтишка интрижками, наушничаньем, выгодными дружбами всё увереннее забирает в свои руки власть... Да чёрт с ними со всеми, и с Алексом, и с властью этой! А они ведь и вправду дети. Мы там все — дети, случайно собранные в одном месте какой-то незаметной катастрофой.

— Прости. Я так ждал, что ты позвонишь. Жаль, что ты не звонила.

— Времени не было, — легко и с улыбкой ответила Варвара. — Да и всё равно ведь ты должен был скоро приехать.

«То есть всё дело всего лишь в том, что я должен был скоро приехать. То есть всё, что я там... всё, что мне... всё это ерунда. Напридумывал, навоображал. И всё как бы нормально, и беспокоиться не о чем, и ни к чему этот задуманный разговор...»

Заяц, отняв от халата лицо, словно вторично за это утро вынырнув из небесной сини, поднимает его и взглядывает на Варвару, пытаясь там, вверху, увидеть ещё хоть что-то — ему мало сказанного. Но ни глаза, ни губы не сообщают ему ничего. «Она совсем не думает, что я страдал, — говорит себе Заяц. — Она совсем об этом не думает. Что-то происходит. Что-то происходит... Что?» И Зайцу вдруг снова становится страшно, страшно так, как бывало страшно там, в лабиринтах улиц и городов, в путанице далёких пространств: ничего он не ошибался, никакое это не недоразумение! В их жизни на самом деле что-то происходит, мир, с таким трудом выстроенный Зайцем, болен, ослабевают связи, его удерживающие, и хаос подбирается к нему, грозит из каждого угла! Надо немедленно что-то делать! Нет, не «что-то», — он знает, что именно! Лишь бы не оказалось слишком поздно... И ещё нужно вспомнить, нужно обязательно вспомнить, с чего началась их размолвка — а она была, как бы Варвара это ни отрицала, — и разобраться с причиной её. Объяснить, уверить, что чем бы она ни оказалась, всё это вздор, он не хотел её обидеть, он любит её...

Заяц продолжает смотреть в лицо Варвары, не замечая, как изо всех сил стискивает её бедра.

— Ну, пусть, — Варвара деликатно, но настойчиво высвобождается из объятий. На лице у неё улыбка. — Не продохнуть. Так что с Женькой-то?

— Я поговорю с ним. Попробую... объяснить. Ты меня любишь?

— Ну конечно, люблю, чего спрашивать-то! Вот параноик-то мне достался! — И Варвара весело хмыкает. — В общем, ты же Юльку знаешь?..

— А-а-а... вы завтра когда на вокзал поедете, днём?

— Ну, не совсем. Ближе к вечеру, часов в пять. Пробок уже быть не должно, а за час как раз до вокзала доедем, и полчаса времени в запасе останется на всякий случай.

— Я с вами. Провожу.

— Что, прямо до вокзала, что ли?

— До вокзала. Слушай...

— Вот делать тебе нечего!

Заяц осекается. Эти слова задевают его неожиданно больно: раньше она бы и не удивилась его желанию проводить. Этим «раньше» Заяц теперь, словно эталонной единицей, проверяет подлинность всего: чувств, отношений, слов. Подлинность самого времени и жизни, в нём пребывающей.

— А что? Времени у меня всё равно куча, мать вон, к подруге в Омск укатила праздновать, чего мне тут одному делать? Съезжу с вами, вернусь, а там уже и Новый Год скоро. Отмечу и лягу спать. Ты мне на сколько взяла?

— На двенадцать десять. Я распечатала, в зале на столе лежит.

— Ну и отлично. Как раз выплюсь и, не торопясь, доеду до вокзала. У меня-то завтра уж точно никаких пробок не будет в это время. Кстати, слушай...

— Нет, это ты послушай. Я тебе хочу сказать одну важную вещь... Давно хочу сказать...

Заяц непроизвольно выпрямился и сел ровно, руки сложил на коленях. В висках сразу, резко застучало. «Беда стучит в ворота вот так», — успел он подумать и, кажется, даже с иронией, а сердце уже ломило, ломило... Как будто в него тонкой струйкой лилась ледяная вода. «Вот сейчас всё и... А как же он? Нет, его я... чтобы и с ним...»

— Да что ты!.. — Варвара досадливо поморщилась — Я тебе серьёзно, а ты всё с шуточками со своими! Дай сюда, — она забрала кружку из рук Заяца и поставила на стол. — Пока не разбил... В общем, так, ты ведь Юльку помнишь? Ну, ту, с которой я на занятиях познакомилась, помнишь ведь? Она ещё к нам в гости заходила. Так вот...

Голос Варвары что-то говорил, говорил, а Заяц смотрел на Варвару не отрываясь и не понимал, какое отношение эти слова, не все, — все он не слышал, не успевал уловить их и понять значение, — но те, что достигают его ушей, какое отношение все они имеют к нему, к ним? Сейчас надо думать, как быть дальше, что сказать сыну и вообще, как они теперь будут все... Уже, то есть не все... Юлька какая-то ещё... Ах, не думать бы сейчас, не слышать, лечь бы...

— И в этом он тоже очень помог, представляешь?! И я вот думала-думала... Пока одна была, пока ты там... был... И... в общем, слушай, давай тоже возьмём, а?

Заяц осторожно переступил ногами — поразительно, что подошвы тоже могут потеть, да ещё как! Такое впечатление, что под ними натекла целая лужа. «Даже *там* такого не было». Но отрывать глаз от Вариного рта, смотреть, чтобы удостовериться, Заяц не стал. Про что она? — силился он понять. — Что купим? То есть возьмём...

Из левой подмышки капнуло и потекло, оставляя на коже дорожку. «Сердце переполнилось», — усмехнулся Заяц. Из правой капнуло и потекло.

— Ну, так что скажешь, а? Сегодня я ещё успею. Сейчас вот прямо и побегу.

— Чего побежишь? Куда, зачем?

— Да ты меня слушал или нет?! — Варино лицо покраснело и, кажется, она колебалась между раздражением и удивлением. Рот сжался.

— Прости, я что-то... устал совсем.

— Я же говорю, у Юльки шаман есть знакомый. Ну, не шаман, это она его так называет, эзотерик, в общем, колдун. Он амулеты делает на удачу. И... эти, куклы такие. Божества. Идолы. Ну, как у язычников в древности, понимаешь? Чтобы обращаться к ним. И если просить их как следует, они всё-всё исполняют. Я сама ей не поверила сначала, пока она не рассказала, как в прошлом году он ей сделал такого идола, и она стала просить его, и у неё всё стало исполняться. С работой стало всё отлично — её повысили до начальницы отдела, и муж пить перестал, и на даче всё растёт...

— Подожди-подожди. Ты что, серьёзно?

— Аб-со-лют-но! Проверено!

Глаза Варвары вдохновенно сияли. Заяц машинально потянулся снова к чашке, но заметил, что рука дрожит, и вернул руку обратно на колено. Что за чушь? Что происходит? Заяц выдохнул. Вдохнул осторожно — ледяная струйка в сердце иссякла.

— И ты в это веришь? Нет, то есть я не то, я... Но подожди... — Заяц помолчал минутку. Варвара выжидающе смотрела. Одно лучше другого. Нет, что уж, лучше.

Наверное. — Подожди, но... ведь есть бог, в конце концов... — Заяц подумал, что тоже говорит что-то не то. Что вообще, об этом говорить не стоит. И пожал плечами.

Варвара фыркнула: бог! Да что бог! Бог... Молишься-молишься ему, а он ещё неизвестно, слышит тебя или нет. И вообще неизвестно... Да ведь язычники-то не зря в капищах своих поклонялись, ведь, значит, действовало! И, между прочим, не две тысячи лет, а гора-а-а-здо дольше! Значит, знали что-то.

— А с чего это ты вдруг? Раньше вроде такого ты не...

— Раньше! Раньше... страшно не было! А теперь... Если что, знаешь, не хотелось бы всё потерять!

— Что «всё?»

— Да мало ли что! Всё! Слушай, ну тебе жалко, что ли? Ведь есть же деньги! Он нездорового отдаёт, у него перед Новым Годом типа распродажи, но только для своих. Пусть это будет как страховка. Страхуют же от несчастного случая. Он из дерева. Там особенное какое-то дерево, чёрное. И вообще, он симпатичный такой. Бусы, тряпочки... — голос Варвары стал вкрадчивым и умильным. — Мы его в зале поставим в уголку, он очень даже впишется во все твои побрякушки. — Варвара осеклась, почувствовав, что сказала что-то не то, и засюсюкала: — Ну позялуйста-позялуйста, ну он же не помешает, он маленький, размером с вазу, халёсенький-халёсенький... а если не понравится, или не подействует, мы его обратно вернём — Юля договорится.

Заяц, оторопев от изумления, молча таращится на свою жену. «Боже мой, — думает он. — Боже мой! Что она несёт? Что это за бред, что за дрянь, откуда всё это?! Когда, как, где она так опаршивела? Юля эта... Да при чём здесь Юля! Куда делось всё то, что когда-то было... нашего? Куда делась она, та, прежняя? О, вот оно: "Менет, текел, упарсин..."»

Стараясь не выдавать своего изумления, Заяц размазывает пот по бокам и по животу — он обхватил себя руками, словно боится развеяться вслед за женой.

Наконец, прервав молчание, Заяц вернулся к тому, что жгло его и язвило чуть меньше, но казалось более поправимым. Спросил:

— Слушай, а может, сходить туда, поговорить? С классной руководительницей — куда она-то смотрит?

— Ты про Женьку, что ли? И чо, так всю жизнь и ходить за ним? Ему самому нужно научиться решать свои проблемы, а мы ему должны в этом помочь, настроить на позитив, чтобы удачная модель поведения зафиксировалась в его сознании и автоматически воспроизводилась в дальнейшем!

Заяц не возражает. Ему не хочется сейчас спорить с ней, не хочется слышать всех этих чудовищных слов, этих наукообразностей, этих...

— Кстати, давай сюда свой чемодан, я разберу его хоть, пока время есть, да вещи в стирку закину.

— Так я... вечером... сам...

— Давай-давай, знаю я твоё «вечером», так и будет тухнуть всю неделю.

— Там... мои... мешочек мой... — И, видя ироничную улыбку Варвары, Заяц сникает и уходит за чемоданом.

— Ага. Ставь здесь. Давай иди мойся, пока Женька не проснулся, да ложись. А я машинку запущу и пойду. Мне... в магазин нужно и... на репетицию. Да ещё к кулёме этой заскочу, утешу хоть...

— А ты не побудешь со мной?

— Ну что мне тут быть, ты всё равно спать ляжешь, а у нас выступление скоро, и в магазине для тебя же ведь буду покупать на завтра. Тебе оливье приготовить?

— Приготовь...

Заяц принёс чемодан, подошёл к окну. Зачем? Может, затем, чтобы убедиться что там, вовне, мир всё ещё остаётся прежним? Всё те же знакомые с позднего детства кусты сирени, лавочки... Вот так, сразу, уходить не хотелось. В голове на разные лады всё ещё повторялись развратные, чудовищные слова жены. Он их повторял, становясь ею, примеряя её жизнь на себя, — жизнь за время его отсутствия успела сильно растянуться и полинять.

— А у вас оттепель... Там, позавчера, к нам прилетел один из Москвы, сказал, что у вас оттепель, всё тает, так я, представляешь, не поверил. Всё кажется, что если зима, то зима, с метелями и сугробами...

— Да уж, оттепель. Эта оттепель с осени всё никак не кончится, а зима всё никак не начнётся. То дождь, то ещё какая херня, нормального снега и не видели пока.

Слово «херня» неприятно царапнуло Зайца, но он постарался скрыть это.

— А как там твои... — Заяц замылся, забыв вдруг, как будет правильнее и необиднее сказать: «пляски» или «танцы». И решил обойтись одним определением: «твои эээ... спортивные?»

— Танцы? Да нормально, занимаюсь. Вот, в конце января едем в Самару на конкурс. Между прочим, со всех бывших республик будут участники!

Заяц втайне вздыхает. Не то чтобы он надеялся, что Варвара оставит, наконец, это своё новое увлечение, но... Страсть, с которой она ни с того ни с сего предалась ему три года назад, неприятно поразила. Даже не страсть, а то, что он и не подозревал в жене её наличия.

— Женечка говорил, у вас отопление отключали, батареи два дня холодные стояли...

— Ну да, отключали. Ходили тут в куртках по дому, звонили везде, все телефоны оборвали... Потепление — потеплением, а отопление — отоплением. Ух, не выпалась я! Сейчас бы тоже с тобой легла, да некогда! А ты чего такой кислый, а? Улыбнись, котя, ведь жизнь проходит! Так всю жизнь и прокуксишься! Ну, давай, давай, иди, — Варвара легонько подталкивает Зайца к выходу, и тот, как все дети и грузные люди, ступая на носки — словно веря, что тем самым становятся невесомее и неслышнее, — направляется в ванную. Варвара занимает место ушедшего мужа у окна и тоже выглядывает на улицу. Просто так, без цели, лишь потому, что веселье переполняет её и ищет выхода. С усмешкой Варвара говорит про себя: «Надо же, “у нас, у нас...” Иностранец, ё-моё!»

II. ОБЛАСТЬ ПОЗНАНИЯ

1

Неуклюже переступив, Заяц выбирается из сатиновых пут и оглядывается: куда их?.. Здесь была корзина. Ага, теперь вот это, кажется, сверкающее. Сюда? Да, сюда. Новинка. Здесь тоже всё понемножку... Женское царство. Кухня, это так, стереотип, вот это — настоящее. Святая святых, средоточие жилища. Завиток, последний оборот. Внешняя губа, сифональный канал... Приближенное к телу, всё видевшее, всё знающее, обо всём молчащее. Приливы, отливы. Истечения, сушь. Нанизаны на одну ось. Луна, Венера, ещё там что-то... Цирцея. До самых невероятных далей, бестелесно уже, конечно. Закрываются, уединяются, а самим никакие стены не преграда, простираются, куда и заглянуть боишься. Где-то читал, что гравитация влияет сильно...

Цвета топлёного молока керамическая плитка всё ещё чуть влажна. Испарина мелкими капельками проступает на стенах, сбивается в тонкие струйки на хромированных трубках и шлангах душа, прихотливо обвивая их, остановившимися языками поблёскивает на полу. Ноздри жирные, кислые и сладкие ароматы. В воздухе стоит особенная тишина морской раковины, из которой выскользнула розовая мякоть. Песчаный цвет стен и влажность гулкой пустоты на миг возвращают Заяца в то жилище, которое он несколько часов назад покинул с твёрдым намерением никогда больше туда не возвращаться. Там тоже была ванная комната, несоразмерно просторная для одного, необжитая женщиной и оттого особенно пустая. Именно «комната», и стены её поблёскивали серебристо-чёрным графитом во всякое время суток от естественных источников освещения, являющихся в буквальном смысле «потусторонними» по отношению к ним: от луны, от звёзд, от солнца. От солнечного света, как ни странно, стены блестели только по утрам. Днём они матовели, словно пресытись светом, и в ванной комнате до самых сумерек клубилось солнечное тусклое мрение, позванивала в близких, под самым полом расположенных трубах вода, да пыльное зеркало на стене утопало в буйно разросшихся, почти уже поглотивших его рыжих лопухах и чертополохе — это амальгама, не выдержав ежедневного натиска солёного жаркого воздуха, отступала, обнажая странные виденные когда-то и давно забытые картины. Когда Заяц брился, то, одним махом стерев ребром ладони пыль со стекла, гляделся в тусклый зеркальный колодец, остающийся всё таким же матовым, и ветви, и стебли по краям его, казалось, слегка колышутся от лёгкого ветра.

«Вот, здесь она совсем недавно, разгорячённая после сна, податливая, нагая, касалась пузырьков, снимала с полочек сосудцы, открывала крышечки, отвинчивала колпачки, выжимая, выдавливая перламутровые и млечные наполнения», — думает Заяц. Прямо под полочкой ложной трещиной вьётся её волос. Многие флакончики и бутылочки уже почти пусты. Умачивала себя, втирала, вдавливала и после возвращала вязкое, долго-долго стекающее, обратно. С ума сойти, сколько движений... Попирала мягкими стопами селадоновые прожилки плит, поднимала голову к токам льющихся вод, воздевала руки, спуская от кистей до предплечий языки белоснежной пены... По внешним приметам, по атрибутам её Заяц пытается увидеть здесь, на своём месте, саму Варвару, заместить ею себя, чтобы почувствовать и понять недоступное, но ему это не удастся: воображаемый образ пуст, поскольку ему не на что опереться внутри себя. Там, внутри себя, в своём собственном, собою созданном мире он ищет и никак не может отыскать её следов, и с горечью ощущает пустоту мира. Правда, пустоту пока не окончательную: она всё ещё там, только где-то прячется — уверен Заяц. В кушах, в разросшихся буйно травах...

Заяц несколько раз переступает, пытаясь по остатку телесного тепла, как по следам животного магнетизма, отыскать хотя бы то место, на котором стояла его любимая, но ничего не чувствует: плитка остыла. Тепло собственных следов сбивает с толку. Пустив воду, Заяц зажмуривается и входит под струи.

2

За что хвататься ему, кого спасти в первую очередь? Сына? Себя? То есть себя и её, конечно, ибо что он без неё. Что за вопрос, конечно, всех! Но если с ним и с Варварой план действий уже намечен, то как быть с Женькой? Объяснить, научить... Ах ты ж, господи-боже мой! Да он и хотел бы и объяснить, и научить, но как, как этому

можно научить?! Да и... чему именно? То, что Заяц имеет в виду, не имеет чёткого определения в каталоге наук — это нечто близкое к фонетике, колористке, даже к метеорологии. К дару предчувствий, к иерогнозису, может быть. К скиаграфии и проскопии, онейромантии и телеологии...

Начало познанию окружающего мира положило восторженное удивление. Подобно суше, постепенно выходящей из лона отступающих вод, он являл себя не сразу, но постепенно, а сознание, воспринимающее его, было подобно чуткому инструменту, беспрерывно настраивающемуся на всё новые открытия. Простое движение вперёд позволяло наблюдать, как бытие отделяется от небытия и свет — от тьмы. Обретаемым зрением обнаруживались громады деревьев, возникающим слухом — пение птиц и голоса людей. Видимое вначале всё как бы в полусне соединённым, разделялось, множилось и поражало отчётливостью и подробностью бодрствования. От великолепия видимого, вследствие неразвитости чувств, первое время ощущавшихся как одно сплошное томительное и сладостное волнение, Зайцу часто хотелось плакать, и он плакал, глядя, как по голубому дощатому потолку мечутся тени листвы, как опадает подброшенная ветром занавеска в дверях, как таинственно и тихо звучат голоса там, в другой комнате. А область восторженного познания тем временем расширялась, смещаясь вовне привычных комнат, включая в себя и податливую тяжесть пшеничного зерна в амбарных мешках, и неукротимый ток тонких солнечных лучей во тьме сарая с дедовым мотоциклом, и банный аромат древесной прели, и, возвращаясь снова к дому, — сцены давно начавшейся жизни, видимые в прямоугольных и квадратных рассыхающихся рамах: если долго смотреть в их тёмные средоточия красок, то кажется, что жизнь там медленно движется, подчиняясь собственному долгому ритму.

Ни для чего сущего не делалось исключения, он чувствовал себя причастным всему по праву необъявленного родства. Равно волновали его и камень с прожилками, и жёлтый вечерний свет окна в доме напротив, и осенний лист, скрученный предсмертной судорогой, и цвет земли, поскольку то, что уравнивало их в ценности, заключалось не в них самих, но где-то вне их и даже вне его, тем самым приоткрывая тайну его собственного происхождения. И, как отчасти посвящённый в эту тайну, он сгорал от нетерпения поскорее узнать всё до конца.

Как известно, люди делятся на три основные категории: на тех, кто не интересуется ничем, на тех, кто чем-то интересуется, и на тех, кто не только чем-то интересуется, но и берётся повторить то, что его так интересует. Чем вызвано такое деление и почему Зайцу однажды захотелось повторить то, что его лишало покоя, неизвестно. Возможно, в его желании было что-то от простой игры, от слепого стремления подражать наиболее понравившимся образцам, а может быть — от зависти к миру, всей полнотой богатств которого он хотел, но не мог обладать, например, тою же сиренью, чья вольная тень так волновала его. Может, даже, стремясь к познанию мира, он случайно сообразил, что копирование является лучшим методом познания, поскольку оно есть запечатление в памяти рисунка линий, сочетаний оттенков и образования форм на элементарном, мышечном уровне, с возможностью дальнейшего воспроизведения всевозможных их комбинаций даже тогда, когда закончится последняя страница прописи, — не исключено и это. А возможно и такое, что ему просто захотелось снова пережить именно само это странное чувство, мучительное и сладостное одновременно: чувство лишённости покоя, столь сходное с чувством сиротства. Пережить его и раз, и другой, и ещё, и ещё, поскольку ощущения, возникающие при этом, затягивают,

и невозможно от них избавиться ничем, кроме как достижением кратковременной иллюзии успеха, служащей, впрочем, скорее, для порождения новых, ещё больших сомнений. Скорее всего, даже, что к подражанию его подтолкнуло сочетание всех перечисленных причин. В общем, как бы то ни было, однажды он взялся за работу. Помимо копирования, в значительной степени постигать мир ему помогали всевозможные сновидения, догадки, домыслы, чтение, прозрения и воспоминания о том, что случилось задолго до его рождения.

Если бы кто-нибудь прежде научил Зайца, например, лепить, он, несомненно, отдал бы все свои усилия лепке, и мир его имел бы явный красновато-рыжий оттенок глины, что в изобилии присутствовала в их посёлке. Если бы его посвятили в тайны валяния шерсти и катания пимов, он бы истово занялся валянием и катанием, отчего его мир стал бы космат, как козья шкура, и груб, как войлок. Но ничему такому его не учили, поэтому Заяц прибегнул к тому, что было ему хорошо, и вдобавок интуитивно знакомо. Выпросив альбом, краски и карандаши, Заяц принялся постигать мир через рисунок, отчего тот стал прозрачен и густ, цветаст и приглушён, ярк и сдержан. То есть таков, каков он и есть на самом деле. Постигание мира происходило не до и не после, а в процессе его переноса на бумагу. Заяц до сих пор помнит тот восторг и ошеломление, которые вызывали в нём первые самостоятельно проведённые кистью линии.

Восходы и закаты, солнце, уходящее по вечерам за край дороги, облака и росчерки молний — всё это огромное, величественное, благодаря удивительной внутренней оптике без устали в течение нескольких лет переносилось на рыхлые, тёмно-серые альбомные листы. За одним альбомом следовал другой, за ним третий, четвёртый, пятый. Отойдя от вещей грандиозных, Заяц перешёл к тем, что были поменьше и поближе к дому Антонины Михайловны, в котором он жил чаще всего, и к саду, его окружавшему с трёх сторон, к большаку за домом и опушке, и даже к утвари: к чашкам и ложкам; он уподобился камере-люциде, но не подлинной, и именно это доставляло ему огорчение. Всё выходило совсем не таким, каким оно было. Словно что-то нарушало работу оптических осей — пропорции предметов искажались, линии не сходились, а формы растягивались, сминались и перекашивались. Нежные переливы различных оттенков и красок превращались в жижу всюду одинаково болотного цвета, а тени поглощали любую деталь, до которой только могли дотянуться. Звёздное небо на листе ватмана выглядело как чёрная тряпка, испещрённая прорехами, лес походил на облысевшую одёжную щётку, которой Антонина Михайловна чистила в тазу собранные грузди.

Сначала Заяц решил, что ему просто не хватает опыта и не отчаивался, но время шло, а результаты лучше не становились. Ему не только не удавалось возратить миру полученное с прибытком, но даже принять полностью всё, что миром этим давалось. Поусердствовав ещё какое-то время, Заяц навсегда оставил попытки и подарил оставшиеся карандаши, краски и альбомы своему верному другу Олежеку. Увы, он тогда не понимал, что творил, творил по-настоящему, и не какое-то там отсутствие опыта отделяло его рисунки от подлинного совершенства, но кое-что одно, единственное, то, что не сводит расходящиеся линии в одно и не исправляет краски и перспективу, но придаёт смысл и оправдывает их отсутствие.

Заяц продолжил попытки наблюдения, познания и обладания миром в части, ему доступной. Он до одури вглядывался в механически сосредоточенное движение муравьёв вокруг какого-то своего скрытого, как часовая пружина, смысла. Немел до

полной неподвижности, подсматривая за мышами. Жизнь кошек, обитающих в собственном мире с ослабленной гравитацией, завораживала. Сосредоточенное хождение мальков в прибрежном мелководье озера магнетизировало, словно блуждание пригоршни компасных стрелок в поисках пятой части света.

Он крался к стрекозам, чтобы, изловив их, умертвить на солнце и унести к себе в комнату — удивительные сочленения их тел и конечностей, сложенные крылья и глаза, выделанные из чистейшего аквамарина, делали его неслышанным богачом, гонялся за бабочками, чтобы, неподвижные уже, похожие на бумажные сплюснутые колокольчики, они реликвиями облагораживали подоконник, грудью бросался на кузнечиков (без обладания их телами, похожими на аэродинамические обводы гоночных автомобилей, жизнь казалась ему лишённой смысла), отыскав в топком, синеватом иле створчатку, клал её дома в банку с водой и наблюдал, как раскрывается она под вечер подобно жемчужно-серому, потаённому водяному цветку. Мысль об обладании захватила Зайца целиком. Он попросил мать купить аквариум, но та только отмахнулась: куда мы его поставим-то? Да и кто за ним будет следить? За ним следить нужно, воду менять, кормить, а то рыбы все попередохнут. Кто всем этим будет заниматься, баба Аня? А то ей других забот нету... Приведу ей тебя и аквариум заодно притащу: занимайся, баба Аня, теперь у нас в семье пополнение.

Тимофей Борисович, видя интересы Зайца, взял его как-то с собой на рыбалку, и там первую добычу — карася со ртом, разорванным крючком — сунул в руки оторопевшему любителю природы: на, держи! Сейчас я тебя научу, как их ловить! Но Заяц, молча наблюдавший за истекающей кровью рыбой, отказался брать трофей и убежал домой. Весь день он просидел в своей комнатке, не выйдя ни к обеду, ни к ужину.

Устав от приставаний сына, мать таки купила ему на базаре хомяка, и тот с полгода жил вместе с Зайцем на два дома, кочуя туда-сюда в старой кроличьей клетке. Хомяк то неслышно дремал, зарывшись в сено, то беспокойно метался и часто-часто грыз металлические прутья — зубы его стучали, как швейная машинка Антонины Михайловны, а в дождливую погоду прятался в дальнем углу, и тогда его совсем не было ни видно, ни слышно день или даже два. Заяц кормил хомяка семенами, которые собирал в саду со всего, что росло и цвело, и пол вокруг клетки был густо усеян серыми, чёрными, коричневыми и зелёными крупинками, лепестками, горошинками, линзочками, кружочками, зёрнышками, червячками... Семена падали сквозь щели в досках и исчезали где-то там, в непроглядной тьме. А потом хомяк убежал: прогрыз дырку в полу клетки и был таков. Пустую клетку Заяц вернул хозяевам, соседям-алкоголикам Сохненко, у которых на второй, нежилой половине дома, обитала худая грустная лошадь светло-рыжего цвета, почти невидимая в лучах солнца, бывшего сквозь щели двери и всегда закрытых ставней.

Всё, что Заяц видел, всё, что он слышал, всё, что вдыхал лёгкими и впитывал через кожу в процессе жизни и познания мира, не проходило сквозь него бесследно, подобно космическим лучам, и не накапливалось в одной лишь голове грудью мёртвых знаний, но откладывалось внутри подобно тончайшим цветным плёнкам снов. Из этих плёнок, словно из осадочных пород, составлялся новый, собственный внутренний мир Зайца, включая, впрочем, так же и копии, подражания и артефакты мира внешнего. И эти сторонние заимствования сами становились его содержанием и сутью — мир поглощал всё. Всё, что достигало внутренних пространств и оставалось там, спрессовывалось, соединялось замысловатым образом, превращалось в систему.

Сейчас уже невозможно сказать, когда именно заложились первые его основы: оглядываясь назад, вполне допустимо предположить, что оба мира — и внешний и внутренний — возникли и развивались одновременно, что вершины проявлялись из бушующих вод одновременно там и там, и голуби с масличной ветвью летели сразу с двух гор, расположенных симметрично. А может, даже и так, что оба они — суть два ростка, происходящих из одного корня, как знать. Отсюда, с этого места, не видно. Но достоверно известно следующее: однажды Заяц обнаружил себя посреди чудесного сада. Этим садом был внутренний мир Зайца, и насколько глубоко в прошлое ни проникал бы мыслью Заяц, он всегда видел себя в нём.

Исследуя сад, Заяц обнаружил, что его питает река жизни, о которой он не знал почти ничего, за исключением того, что воды её невидимы, неисчерпаемы и подобны времени. Иногда он ощущал ток этих вод, и даже воочию наблюдал результаты их воздействия на сад, — он ступал туда, сумрачный и голый; иногда же казалось, что воды эти подобны стоячему омуту и не производят никакого действия, и тогда в саду подолгу ничего не менялось, сколько Заяц ни всматривался в тёплый его сумрак. Кроме того, в результате исследований он пришёл к выводу, что река жизни взаимодействует и с его телом так же, как с телами деревьев и трав: она так же оmyвает его и так же влечёт куда-то, но результат этого взаимодействия иной, что, несомненно, является следствием разности их устройства.

А сад тем временем, ветвясь и пуская побеги, расцветая и роняя семена, жил, разрастался, становясь всё полнее, всё богаче, разнообразнее и совершеннее. И когда корни его деревьев, настойчивые и мощные, неуклонно проталкиваясь всё дальше и всё глубже, в самый низ, ставший для кончиков их, вышедших с обратной стороны, верхом, однажды достигли ночи и оплели луну, а ветви, двигавшиеся в обратном направлении, достигли солнца и оплели его, тогда мир объял всю вселенную, и вся вселенная стала садом.

Достигнув всех мыслимых пределов мироздания, сад настолько заполонил собою всё внутри, что скоро соединился до степени неразделения с внешним миром, а по сути полностью подменил его собою, став новой реальностью. Полёт к Марсу в стальном яйце размером с вагон? — почему бы и нет. Кротовая нора, таящаяся за обычной дверью и ведущая в другие миры? — вполне допустимо. Мир звероящеров, до сих пор существующий под землёй? — маловероятно, конечно, но в погребке всё же следует быть поосторожнее... Сад матерел. Стволы произрастающих деревьев утолщились до необхватности, кустарники стали непроходимы, а тени утяжелились настолько, что видно было, как сгибаются травы, когда, подобно сумрачным коврам, тени елозят по ним туда и сюда.

Сад стал тёмным и почти непроходимым, и всё же продолжал умножаться, но уже не путём порождения подобий, не виришь, а как бы прорастая внутрь самого себя, за счёт образуемых собственных отражений различной степени достоверности, благодаря чему неимоверно усложнился в себе самом и, отчасти потеряв в вещественности, значительно приобрёл в необычности новых свойств. Привычный мир то и дело рвался в самых непривычных и, казалось бы, надёжных местах. То тут, то там рвалась граница привычного бытия, и тогда в таком знакомом зале, в тихой твоекратной бездне трюмо внезапно отверзался пугающий хаос новых пространств и где-то виданных вещей; в привычной уютной кухне, из косо нависающего рога изобилия в квадратной раме, просыпалась на голову и, почему-то, особенно на ноги, такие белые и беззащитные, кухонная утварь, а в сениях глухая стена неожиданно разбрызгивалась

вереницей потайных комнат. И даже в бане, сквозь крохотный, как донышко стакана подслеповатый глазок, подсматривала за робкой наготой с почерневшей полки чья-то белёсая бесполоя муть. Во времена грандиозных уборок и капитальных побелок у самого крыльца обморочно умножались то небесный покой, то сумятица сада.

Такая новизна завораживала и потрясала сами основы привычного существования. День ото дня увеличивающаяся погружённость в новый зыблющийся мир оказывала всё большее влияние на степень связанности с миром прежним, неуклонно двигаясь в сторону уменьшения: в половину, в треть, в четверть, в одну восьмую... Связанность ослаблялась, будто подчиняясь закону убывания гравитации.

Удаляться и даже на время полностью покидать земную поверхность Зайцу помогала его извечная болезненность.

Да-да! — торопливо подтверждает Заяц свою догадку: именно через ту самую детскую болезненность с её вечно опухшими миндалинами, с жаром и головной болью к нему так уверенно приближался этот самый «тот свет»: высший, очищенный от всех материальных тягот, невесомый извод двух изошедших из одного корня и снова сросшихся в одно миров. Мир далёкий, мир, которого все так страшатся и на который все, однако же, уповают. Мир, подробностей которого Антонина Михайловна упорно, словно купец, готовящий свой самый важный караван, доискивалась в своей Книге. «Тот свет» брезжил Зайцу сквозь веки, слепленные простудами, и являлся в воспоминаниях о болезни, когда он был здоров. Дивное соседство инобытия угадывалось повсюду, уже безо всякой помощи зеркал с тою же лёгкостью, что и набивной рисунок дивана под ветхой мережкой простыни. Ах, эти завитки, линии, углубления! Ах, эти пустоты, выступы и провалы...

Наилучшим способом погружаться в иные миры стало для Зайца чтение книг. Сходство болезни с чтением обнаруживалось даже на соматическом уровне: стоило ему взять книгу в руки, раскрыть, погрузиться в текст — и тотчас, словно от лихорадки, начинало учащённо биться сердце, кровь становилась жарче, а шум и звон в ушах полностью заглушали досаждающие голоса и случайные шумы.

Впервые это удивительное свойство книг обнаружилось ещё в эпоху санок и горок, гусиным жиром смазанных щёк, в эпоху чтения вслух, когда топилась печь и землистого цвета снег соскальзывал с согревающихся полозьев ровными брусочками на коврик в сенях, а оживлённые маминым голосом, в зале звучали слова о всё тех же санках, и о ледяной горе, и со всего доступного бытия словно снимался тонкий оттиск, зовущий присмотреться к себе, внять¹, но расцвета достиг к поре Гарун аль Рашида и пятнадцатилетнего капитана. И до сих пор жизнь для Зайца есть одно развёрнутое предложение, непрерывно дополняемое завершёнными и незавершёнными, разрозненными и связанными, продолжающими друг друга, повествовательными,

¹ И ещё даже более раннее вспоминается Зайцу: жарко топится печь, огненные хвосты мечутся в загоне за железной дверцей. Лицо матери остаётся в сумраке, но отчётливо слышен её голос и виден палец, водящий по освещённой странице:

— А это кто?

— Лисичка.

— Правильно, лисичка-сестричка.

— Как я? — спрашивает Заяц, замирая.

— Ну, не совсем. Она же девочка. Она лисичка, а ты — зайчик.

И Заяц, словно о чём-то запретном, спрашивает робко, почти еле слышно: «А какая она?» — и откуда-то знает, что услышит сейчас нечто сокровенное, нечто очень-очень важное. И мамин голос, чуть дрогнув от улыбки, сообщает: «Какая? Ну, шубка у неё рыженькая, хвостик пушистенький, лапки ма-а-а-ленькие, а сама хитренькая-хитренькая...»

восклицательными, но большей частью вопросительными высказываниями, во всё возрастающей сумме которых всё полнее, всё отчётливее раскрывается смысл его бытия, раскрывается через простое прочтение, через проговаривание вслух его, подобно тексту книги. Книги, в которой возможно прозревать не только прошлое, но даже и будущее так, как делает это читающий стихи через совпадение с ритмом, словно в со-творчестве, во вдохновении предугадывающий и окончание ещё не завершённой строфы, и, даже, начало следующей.

Существование в таких невероятных условиях в конце концов не могло не сказаться и на самом Зайце: постоянное ощущение инобытия заставляло задумываться его и о собственной телесности, проводя, время от времени для установления истины над собою различные эксперименты, порой доходящие чуть ли не до самоагрессии. Результаты обескураживали. Реальность существования не всегда удавалось подтвердить, и отступающее, словно пар на стекле, чувство собственной телесности освобождало место ощущению чего-то иного, незримого, но несомненно присутствующего. Приглядываясь и прислушиваясь, Заяц всюду пытался отыскать того, чьё присутствие замечал, но в силу неизвестных причин ему это никак не удавалось, и власти предержавшие виделись во всём, так что, например, выбегая перед сном на минутку на двор, он равно обращался с мольбой о благополучии ко всему, что окружало его: и к звёздному небу, и к клеву.

Насыщенный догадками, страхами и слухами, не знающий, откуда он и зачем здесь, он равно боялся и человеческих слов, и снов, и ночной темноты. Он походил на того, кто силится и никак не может вспомнить в подробностях сон, несомненно виденный. Однажды, исследуя себя, он пришёл к твёрдому выводу, что тело его заключает в себе нечто вроде голосников, расширяющих внутреннее пространство при внешней неизменности границ настолько, что скрип половицы или посвист ветра наполняют всё его существо мгновенно, причём не только до самого конца жизни, но и до самого её начала, то есть распространяются в обе стороны существования, так что, если бы его спросили потом, в любой точке жизни: «Чему ты был подобен в чудесном своём саду?», — он бы ответил не задумываясь: «Скрипу половицы, посвисту ветра», — и это было прекрасно, это было ошеломляюще, но одно было плохо: мир его не имел истории. Замкнутый на себя, он был лишён подлинного начала, а значит, и подлинного выхода к бессмертию.

Всматриваясь в лица Антонины Михайловны и Тимофея Борисовича, беря в свои и разглядывая обветренные руки матери, Заяц пытался читать на её ладонях оставляемые жизнью знаки, словно вавилонскую клинопись, чтобы понять, что ждёт его там, за пределами? Где отец его? Отчего о нём никогда не говорят, и не исчезнет ли когда-нибудь так же безвестно мать, оставив его совершенно уже одного? Ну, почти одного, за исключением деда и бабки. И, кстати, отчего так велик и несуразен их дом, и почему приходится вечно кочевать из своего дома к ним и обратно, разве нельзя всегда жить здесь?

По вечерам, ложась спать, он нарочно оставлял дверь в свою комнатку приоткрытой, чтобы из разговоров взрослых понять хоть что-нибудь о прошлом, о настоящем, о переменах судьбы и о том, чьей волей они совершаются, но мало что понимал, за исключением того, что мужчин и женщин река жизни омывает различно. «Не оттого ли, что они иные?» — спрашивал он себя, впадая в нечто вроде оторопи святотатствующего. (О, как ему хотелось узнать это, постичь заблаговременно, чтобы

предусмотреть, обезопасить себя, ведь когда-нибудь и он должен будет!..¹) И хотя заблаговременно ему узнать ничего не удалось, он понял одну очень важную вещь: для того, чтобы жизнь была подлинной жизнью, чтобы она не исчезала бесследно, о ней нужно говорить.

Не оттого ли его посетила однажды удивительная идея создать летопись семьи? Тот факт, что история её была известна Зайцу лишь в ничтожной степени, его ничуть не смутил: как известно, обилие подробностей скорее отвлекает, чем помогает постичь суть, а кроме того, подробности ведь можно и узнать.

Недолго думая, Заяц принялся за дело: взял из запасов на школьный учебный год новенькую тетрадку в клеточку, авторучку и приступил с расспросами о былом к Анне Михайловне и Тимофею Борисовичу. Но те почему-то отвечали летописцу неохотно, уклонялись от расспросов, оправдываясь то усталостью, то занятостью, а то и просто молчали, пока мать, кстати вернувшаяся из очередной поездки, со смехом не сказала ему, что зря он мучит стариков — ведь они же не родные им, так, по сути, просто добрые люди, пришедшие на помощь. На расспросы же об отце мать только махнула рукой, а о себе сказала, что своих отца и мать не помнит — её ещё маленькой эвакуировали из Питера, а родители сгинули там: вернувшись из эвакуации, никаких следов их она не нашла. Эта странная, внезапно обрывающаяся история его подлинной семьи и призрачная, словно заёмная жизнь в семье неродной, вроде той, какую живут слабые выющиеся растения, долго не давала Зайцу покоя, и он подолгу размышлял над услышанным, пытаясь смотреть на деда и бабу как бы издалека, будто разглядывая их то левым, то правым глазом, отстраняясь мысленно — впрочем, безуспешно — от дома их и от общей жизни в нём, словно приучая себя к призрачности существования уже в подлинном мире.

Заяц, однако, не отступился. После нескольких попыток он интуитивно нашёл единственно верный способ говорить о жизни: он стал говорить о ней на языке эстетики. Первое, что описал Заяц в своей летописи, был дом Антонины Михайловны. Старательно, то и дело сверяясь с оригиналом, Заяц вывел на первой странице тощей двенадцатистовой тетради в клеточку: *«Дом бабы Ани большой. В нём есть зал и кухня. На кухне и в зале стоят две больших красивых печки, русская и голландская. В пристройке, где я сплю, в углу висит картина с Волком, Иваном-царевичем и Еленой Прекрасной. Она тоже красивая. Но всё равно я очень скучаю и жду, когда приедет мама»*. Перечитав, Заяц остался доволен результатом. Он немного передохнул и продолжил стирать разделяющие миры границы.

¹ Запомнился один случай из тех времён: в посёлке иногда зимой (летом магазинный холодильник с большим количеством товара не справлялся) продавали мороженую камбалу. Брикетами, спрессованную, как макулатура. Когда купленные рыбины оттаивали, между ними часто обнаруживались интересные вещи: ракушки, морские звёзды, офиуры. Ракушки были даже внутри рыб, их было много, хотя и небольших, но разнообразных: плоских, закрученных, с рожками, с зубчиками, с наростами. В каждом доме дети горстями собирали эти ракушки на тарелки, сушили и потом играли с ними. Глухой невнятный шум, таящийся внутри раковин, насыщенный запах соли, исходящий от них, рыжеватые волоски, похожие на пересохшую щетину, чувственная интимно-розовая глубина в узком зеве и тупые изогнутые отростки распяляли воображение, наводили на странные мысли о таймостях, о перекрученных тряпицах, о ночных звуках, доносящихся иногда из родительских комнат, заставляли перемигиваться, понижать голос до шёпота...

Олежек, у которого в голове вечно играла музыка, сказал Зайцу, что они, они похожи на... на...

— На что? — спросил Заяц.

— Сам знаешь на что! — И, довольный, захихикал.

— А ты видал, что ли? — ревниво спросил Заяц.

— Говорят, — ответил Олечек и убежал.

Заяц пожал плечами, но вечером, перебирая крохотные, чуть крупнее жёлудя раковины, долго разглядывал их. Что в них такого особенного? Их тоже омывали воды... Он попытался просунуть палец в одну из раковин, но не влез даже мизинец. Мир не хотел открываться ему, он убегал, съёживался, скручивался, пряча в складках свою тайну.

К первой тетради присоединилась вторая, за нею — третья, и ещё, уже потолще, и ещё, и ещё... Тетради, блокнотики, записные книжки — количество их всё увеличивается, но Заяц и не думает останавливаться: удивительным образом его записи о прошлом и настоящем превратились из средства фиксации в инструмент поиска.

3

Как рассказать обо всём этом сыну, какими словами? Вот так вот, как видел и видит он сам? Нет, нет и нет! Кем он будет в глазах Женьки, если возьмётся рассказывать ему о чудесах, а тот ничего не увидит? Ложным пророком? Сумасшедшим? Ах, если б Женечка хотя бы читал! Ах, если бы он через книги постигал тот язык, которым и из которого строится мир! Быть может, образы, рождаемые чтением, пробудили бы его... Но, чтобы что-то увидеть, нужно смотреть широко раскрытыми глазами. Замкнутый круг.

Иногда Заяц пугается: «Но, с другой стороны, желая сыну постичь этот язык, а значит, и создать этот мир, не желаю ли я, тем самым, ему и странствия, подобного моему? Не было ли для меня самого такое строительство бегством? И если было, а внешне это выглядит именно так, то как можно думать, что беглец, то есть тот, кто признал своё поражение, способен создать что-то подлинное и достойное подражания? Жизнеспособное, настоящее? Не есть ли созданное им всего лишь жалкое убежище? Теперь, на грани поражения и утраты всего, есть ли у меня право учить этому гибельному пути своего сына? Если, конечно, этому пути вообще можно научить...»

И всё же Заяц пробует осторожно на клейких ещё, чистых страницах лелеемой жизни линовать прописи будущих воспоминаний: «А помнишь, — спрашивает он сына, — мы ездили на Крит, и там видели древний дворец? Говорят, в нём тысяча комнат! И красные колонны. А дорога на Ираклион? Помнишь, она похожа на выкопанную плоскую траншею? А помнишь, как слева, сквозь ветви тополей, падал свет на камни этой дороги?»

Белые с синим домики Санторини похожи на игрушечные, вид их вселяет радость, и не подумаешь, что когда-то там свирепствовала холера, что белый цвет — это цвет извёстки, которой жители, оставленные на острове один на один с эпидемией, боролись. Помнишь, как ты едва не потерялся там в узких улицах городка, на самой вершине горы?

В самом конце полёта наш самолёт едва не касался колёсами вод Критского моря, глубоких и очень-очень холодных, — так казалось оттого, что вода была тёмно-синей, как топаз. Ты ещё боялся, что какая-нибудь волна — море тогда было неспокойным — захлестнёт наш самолёт и мы утонем. Помнишь?»

Заяц терпеливо возделывает пажити будущих сыновних воспоминаний, на которых — он всё же надеется, — тоже когда-нибудь что-нибудь произрастёт. И пускай уже чуть-чуть поздновато, но он не оставляет попыток обратить всю его жизнь в чудо. «А помнишь, а помнишь, а помнишь...» — заранее улыбаясь, Заяц с одобрением смотрит на сына и кивает головой, предлагая подхватить эстафету, переданную из областей отдалённых уже, почти не существующих, и Женечка обрадованно подхватывает её, продолжает и даже вносит что-то своё, новое: «Да!» А иногда виновато пожимает плечами: «Забыл...» И Заяц досадует, огорчается, но продолжает свой труд. Сам он, правда, собственный мир из воспоминаний никогда не строил, но вдруг, по принципу сходства материи, зыблущейся, изменчивой, завораживающей...

III. ОБХОД

1

Подобно Полифему Заяц движется внутри своего дома. Он только что вышел из душа, он наг, и с тела его каплет. На полу остаются за ним серповидные следы, обращённые друг к другу изынами: фазы нарастания и убывания плоти. Осторожно касаясь руками стен и вещей, распаренной кожей пальцев он ощупывает шероховатости, трогает выступы, оглаживает выпуклости. О, как важны Заяцу эти прикосновения! Фосфорический орёл и фигуристка, крошащийся картуш, фарфоровая пионерка, задравшийся лоскуток обоев, девочка, примеряющая мамину туфлю, песчаная роза, пара белемнитов, угол стола — подобно выступам и шипам на валиках мелодию, они заставляют грузные недра его дрожать и вибрировать, они рожают в нём сентиментальную мелодию воспоминаний. Мелодию, которая никогда не надоедает Заяцу и всякий раз заставляет его сбиваться с шага, приостанавливаться (тогда как внутри приведённый в действие механизм продолжает крутиться и жужжать), — не попадая в нелепых па и жмуриться от удовольствия. Вот эту песчаную розу он привёз в позапрошлом году из Ливии. Касаясь кремовых её лепестков, Заяц вздрагивает, словно от укола крохотной металлической иглы. Небольшая, размером с детский чепец чаша, составленная из мозаичных цветных кусочков — чад и гомон ослепительного мальтийского базара — царапнули глаза изнутри. Орёл... Заяц проводит рукой по его стеклянистой, чуть вспененной поверхности, давним, памятным удивлением удивляясь скрытому внутри неказистого тела желтоватому свечению, прорывающемуся в темноте ночи наружу — недолго, впрочем, через полчаса орёл угасал, сливаясь с окружающей тьмой, — и мелодия тех лет, неотчётливая ещё, кружит ему голову, и он словно в танце склоняется над статуэткой.

С годами количество редкостей в доме увеличивается, они становятся изысканнее, и всё же не от всех, а только от тех, самых первых, перевезённых из дома стариков, и в самой глубине его, в тёмных недрах, рождаются особенные отклики, хотя прежде почему-то всё равно вспоминаются пески Сахары, вилла в Абу-Даби, города и городки на берегах Залива, — словно та, первичная память пробивается сквозь них брезжущим издадека, или сквозь занавеси, светом.

Открывая глаза, он подолгу лежал почти не двигаясь, разглядывая потолочные доски, широкие, как реки Эдема, разбирая рисунок древесных волокон, подобный течению вод. По водам, медленные, ходили кружевные тени и пятна света. Через весь потолок шёл и спускался до середины стены двойной витой провод, отстранённый от дерева фарфоровыми подставочками, похожими на маленькие гирьки. Когда-то гирьки были белыми, но их, вместе с проводом, покрасили голубой краской, тем самым тоже соединив с домом. В углу напротив, под самым потолком, Серый Волк над светящимися в глубине бездн кувшинками мимо ветвящегося огнисто-белого тления нёс на спине своей околдованную сонною красотой деву и богатыря. В плотном, пьянящем сумраке тайны тяжкие косы девы струились, меч Ивана Царевича плыл по воздуху, подхваченный белёсым током. Другой угол был округл из-за глубоко вдававшегося в комнату сегмента печи. Лоснящийся, вымазанный кузбаслаком, никогда не просыхающим, он был вечно липким и пахучим. С кирпичной голубой короной, выступавшей над чёрными стенами на целую ладонь, печь казалась огромной,

как крепостная башня. Между печью и картиной стояла пустая этажерка, похожая на старинный самолёт с избыточным числом крыльев, напротив кровати пылился комод, у двери, забранные ситцем, таились на стене пальто и ватники. Под кроватью, если это была не осень и там не светились, доходя, яблоки, стоял белый эмалированный таз с чёрными, как уголь, долгими сколами — когда Заяц был совсем маленьким, в этом тазу его купали, поставив на табурет прямо посреди кухни. Заяц помнит, какими удивительно чужими казались голоса матери и бабки, когда глаза его были закрыты, и как хотелось их поскорее открыть, а пена всё текла и текла.

Даже в самые жаркие дни лета не только стены печи, но и жирный от краски пол, и стены, и всё-всё в доме было необычно холодным. Холодным мертвенно, словно в основе той прохлады лежала идея не благодатной тени, но всеобщей консервации, сохранения, что невольно наталкивало на мысли о тленности и разложении¹.

Рыжие полы, голубой потолок, белые стены внутри и зелёные, шелушащиеся снаружи, тёмно-синие двери, выжелтевшие рамы — всё, казалось, держалось вместе лишь благодаря вечно подновляемому красочному слою. Если бы не бесконечные усилия бабки с дедом по обновлению и подмазыванию дома, он давно бы распался и ушёл на дно разросшейся в палисаднике у ворот сирени, в малиновую сумятицу справа, туда, где забор, сдерживающий натиск сада, подался и почти что уже пал серыми, будто войлочными досками в заросли лопухов и крапивы.

В зале, у трюмо, вечно витал запах дедова «Шипра», оседаая на тусклую полировку стола, на зеркала трельяжа — словно он только что себя орошал, уже невидимый, скрывшийся за благоуханными струями, а на кухне сладко пахло газом, и во всём доме царило предвестье тайны, растаявшей прежде, чем один за другим поумирали все причастные к ней.

«Рейс Дубай — Алжир вылетает ежедневно, кроме пятницы, в четырнадцать-тридцать. Рейс Абу-Даби — Каир вылетает во вторник, среду, пятницу и субботу в девять пятнадцать. Алжир — Тунис — в одиннадцать десять по воскресеньям, вторникам и субботам, Эр-Рияд — Оман — в час двадцать по четвергам... Эти ненужные знания, как и многое другое, вошли в меня против воли, взяли меня, наполнили собой, и я теперь всегда буду носить их в себе. Помнить даты, числа, события и места, которые не доставляют ни радости, ни счастья. Хранить то многое, о чём бы предпочёл вообще, никогда не знать.

Не поднимаясь, не шевелясь, я опять открываю глаза, смотрю в потолок и думаю: “Зачем я здесь? Почему я здесь?” Раз за разом гонишь ты меня сюда во чреве механической рыбы, словно Иону во чреве китовом, будто желаешь, чтобы я увидел и рассказал дома то, что открывается мне здесь, но ты же видишь, Господи, что невозможно мне это. Как сделать это, научи, как сделать и не пасть мне в лице их? Ах, что-то ушло из моей жизни навсегда, кто-то ночью отомкнул замки на многих дверях её и унёс самое дорогое взамен того, о чём я не просил...»

Ресницы смежённых век дрожат. Вспыхивают и гаснут, перебегают с края на край и рывком возвращаются обратно, сходятся, сливаются и рвутся, рождая образы. Образы множатся, ветвятся, становятся всё сложнее, заполняя... И рывком, словно сдёрнули цветастую скатерть, исчезают, чтобы снова за краткий миг пройти все этапы эволюции: точки, линии, лица, судьбы... Судьбы мешаются с историей, история —

¹ В холодное же время года, от двух топящихся печей, русской и голландки, в доме стоял тоже ненормальный лихорадочный какой-то жар.

с выдумкой, правда — с вымыслом. Но всё вздор, всё смоем набежавшая волна тени ли, света, всё-всё.

Заяц идёт. Поскрипывает пол, позвякивают стеклянные колокольцы люстры. Лоснится фарфор, тускло поблёскивают морские раковины. Кое-где потрескавшийся гипс рам роняет белую пыльцу. Окружённые рамами пейзажи год от года становятся всё легче, всё богатство их — города, и горы, и тяжкие волны, и рощи, и руины, выцветая, обретают серафическую безвестность, кое-где уже переходящую в подлинное небытие. В уме Зайца звучит старая-старая песенка, которую вызванивал ему в детстве игрушечный телевизор, показывавший на экране следующих друг за другом по кругу собак, кошек, птичек. «Мы едем-едем-едем в далёкие края...» — вызванивал механизм, пока не кончался завод. «Мы едем-едем-едем...» — мысленно подпевает он усыпительной мелодии.

Когда очередная командировка подходит к концу и Заяц ненадолго возвращается домой, странствие его не прекращается вовсе, чтобы потом начаться другим, новым уже маршрутом, но как бы ставится на паузу или словно бы Заяц ненадолго засыпает и видит долгожданный сон, а потом у него открываются глаза, уходит наваждение, и отмирает в небе лёт птицы, и возобновляется бег волн, и продолжается бесконечное движение. И всё труднее ему засыпать — всё меньшая его часть возвращается сюда, всё большая остаётся там.

Заяц прислушивается, ступая: в доме царит тишина. Варвары уже нет, она ушла. Кажется, вытираясь, он слышал, как хлопнула входная дверь. Ах, да, — вспоминает он, — лампочка. Лампочку нужно будет вечером заменить. Так что же, чёрт возьми, происходит? — спрашивает он себя. С Варварой с домом, с семьёй. То она вдруг обрывает все контакты так, что сходишь с ума от недоумения и вспоминаешь все свои грехи вплоть до невымытой чашки, то как ни в чём не бывало встречает, и всё будто бы хорошо, всё по-прежнему. Да ещё эта крошечная чушь, которую она несла, про идола. И смеялась... Боже мой, как странно, как дико меняются её глаза, такие чудесные, зелёные, с коричневой искрой глаза, когда она смеётся! Удивительным образом изменяется их форма, выгибаясь серединой кверху, а уголками — книзу, словно профиль крыла большой птицы. (Таким крылом, кажется, куриным, бабка сметала в доме мелкий сор, и Заяц, трогая его, каждый раз поражался сухой мертвенности пера: а ведь прежде это была живая плоть...) Заяц невольно ёжится, словно почувствовав холод. Так что же происходит в его доме?

Он разглядывает вещи, появившиеся за время его отсутствия: вот новые стулья, новый диван в зале. Кухонный комбайн, в ванной, на стене — новая полка. Остановившись у Женечкиной комнаты, он тихонько отворяет дверь и заглядывает внутрь. Сонное тепло накачивает и, коснувшись его, останавливается податливой стеной. А где?.. Вон он, спит...

Из-под одеяла виднеется светлая макушка. Ночные сумерки за окном превратились в хмурое утро. Он не был здесь с июля, сразу после того, как все вместе они вернулись из Ираклиона — Варвара с Женечкой тогда ещё очень загорели, — с июля, значит... значит, пять месяцев. Пять месяцев! В комнате, кстати, тоже новинка: шкаф-купе. На шкафу громоздятся сваленные в кучу книги. «Интересно, он хотя бы раз перебирал их? Так просто, ради любопытства? Иногда ведь, между страницами, в книгах попадаются удивительные вещи: открытки, обёртки от шоколада, автобусные билеты, записки... И каким, интересно, ему вообще видится наш дом, молчалив ли он или говорящ? Зловещ или добр? Может ли он разбирать в воздухе его вершащееся тайно?

Исследует ли? Кстати, обёртки от шоколада пахли удивительно долго — спустя годы пряный и сладкий запах, выскользнув между листов, мог с лёгкостью полоснуть по живому. “Конёк-Горбунук”, “Сказки Пушкина”...»

Книги-книги... Об их страницах, чуть отдающих горьковатым сухим тленом и пылью, напоминали ему там каменные тома Джабель аль Хафита. Течение веков и движение тектонических плит накренило их, свалило в непроходимые бастионы, а сухой жар солнца расщепил на отдельные листы, рассыпающиеся мелкой крошкой. Следы выветривания и редких дождей запечатлелись знаками, напоминающими вавилонскую клинопись. Став приютом для ящериц и мышей, эти знаки наполнились простым и вечным смыслом. Радиоактивные источники, бьющие из расщелин, оставили кое-где россыпи сверкающего на солнце мелкого кварца, словно последний свидетель атомной катастрофы — воспоминания о прежнем своём звёздном небе. Книги... Кто теперь их прочтёт?

С вырванными наполовину языками корешков и совершенно новые, с девственными страницами и негнувшимися обложками, in quarto и in folio, брошюры, суперобложки, коленкор, винил и картон, — все они на месте. Перевязаны разлохматившейся пенькой и кручёной бумажной бечёвкой, собраны в пачки сонмы удивительных миров. Уложены стопками, заполняют все свободные места, стоят рядами и лежат поверх рядов, громоздятся до самого потолка. Заяц знает, что где-то там, вдали, жизнь каждого человека, в том числе и жизнь сына, завершена, и чувствует, что книгам этим в ней есть место. Для этой жизни Заяц покупает книги навыворот, как одежду. Привстав на цыпочки, он придирчиво оглядывает их, вспоминает визуальный порядок и примерное количество, бывшее перед отъездом: «А то... — думает он. — Теперь всего можно ожидать...»

И ещё он подумал о том, что ведь, по сути, теперь в доме только книги да несколько картин и безделушек свидетельствуют о нём. О том, что он здесь жил... «Живёт», — тут же поправился Заяц. Если бы его сыну пришлось когда-нибудь, как ему самому, восстанавливать образ своего отца, то единственное, на что бы он мог опереться, это книги. «Хоть что-то...»

Его собственный отец был в семье мифом, мифом запретным, и никакой, даже самый ничтожный интерес к его личности не приветствовался: на все расспросы Зайца бабка Антонина Михайловна сурово отворачивалась и уходила, дед Тимофей Борисович вяло махал рукой, а мать — кажется, он только раз и отважился спросить у неё — только тихо печально улыбнулась. Именно эта реакция, нетипичная для матери, неунывающей энергичной хохотуны, настолько поразила Зайца, что одновременно и отвadiла его от дальнейших расспросов, и сообщила ему импульс действия.

От первых, ещё совершенно детских наивных попыток создать образ отца самостоятельно, с опорой на популярные мифы о сгинувших славно, но бесследно «лётчиках-испытателях», «полярниках» и «пограничниках» он, к счастью, отказался довольно скоро. Отказался по причинам сугубо эстетическим: ему претила перспектива черпать из общей, отдающей общепитом чаши. Понимание того, что нелепый этот, смехотворный и жалкий сонм теней лишь заслоняет подлинного, когда-либо существовавшего, а может, и существующего до сих пор человека, было естественным, как стремление к свету. Кроме того, Заяц чувствовал, что его отец не является и не может являться исключительно произведением его собственного мира —

принадлежа ему, он, в то же время, превосходил всё видимое, обитая где-то вне, в неизвестности.

Как всякий подлинный художник, брезгуя бутафорским реквизитом, кажущимся десяткам тысяч сочинителей вполне убедительным и годным для создания правдоподобных историй, Заяц решительно отверг все эти скрипучие портупей, унты и сёдла и отважно ступил на зыбкую тропу искусства. Он решил искать и добиваться подлинных следов и свидетельств присутствия отца, не догадываясь даже, что тем самым приступил к созданию человека¹.

Окуная взор в голубые воды Гихона и Евфрата на берегу нового дня, он следил, как, покачиваясь, бродят по стенам тени, слушал, как стучит в окно ветками сирень. Долго кутался в остатки сонного тепла и, наконец, освобождался от него, опостылевшего, поводя руками от плечей вниз, наталкиваясь порой на странное жёсткое своеволие тела. Задерживая дыхание, прислушивался к тишине и по особенным редким звукам, наполнявшим комнаты, понимал, что дом оставлен на него одного, целиком и полностью. Во всём огромном, как открывшийся день, доме он — один! Полежав ещё немного, он решительно откидывал одеяло — как ни долог день, дело, которое он поставил себе целью, ещё больше, и нужно поторапливаться!

Он чувствовал себя конкистадором, археологом, естествоиспытателем. Запущенные, забытые и отвергнутые пространства осматривались со тщанием первооткрывателя, и всегда во всём доме пахло слабым, но стойким ароматом какой-то горестной тайны.

Странен и уродлив был этот дом. Обладая странной лабиринтообразной архитектурой — нечто вроде двойной звёздной системы, безнадёжно перепутавшейся рукавами друг в друга, он состоял из бесчисленного множества комнат, всевозможных размеров и форм — от крохотных чуланчиков вполне себе ординарной формы до замысловатых коридоров, заставленных мебелью, которую обычно держат в залах: столами, диванами, топчанами — так, что в них можно было жить, а может быть, и жили когда-то (на столах нередко можно было увидеть чайные чашки с въевшейся в стенки заваркой, под диванами истлевали чьи-то тапки, на подоконниках торчали в горшках исковерканные солнцем и засухой остатки растений), и комнат с самыми невероятными, выстроенными не по линейке, а по лекалу очертаниями. И если кухня была сердцем этого дома, то сердцем же его был и зал, располагавшийся от кухни через стенку, но имевший свой отдельный вход. На ум приходила мысль о двух сиамских близнецах, люто ненавидевших друг-друга всю жизнь, но неспособных друг от друга избавиться, и потому всю жизнь проживших вместе в радости от того, что, хотя бы во внутреннем своем одиночестве, они остались независимыми.

Количество комнат дома было неисчислимо. «Бесспорно, умножение их не могло обойтись без помощи моего отца», — думал Заяц, ступая по крашенным рыжей краской полам. От времени краска выцвела, приобретя всевозможные оттенки песка.

¹ Бесспорно, это был акт подлинного, хотя и весьма своеобразного творения: создатель испытывал на себе влияние создаваемого не меньше, чем создаваемый на создающего. Из воспоминаний Зайца о той поре в его памяти сохранилось то, как часто он ненавидел творимый образ: ускользающий, не дающийся разумению. Ненавидел его, как ненавидел и себя, и материал, с которым ему приходится работать. Ненавидел так, как способен ненавидеть только художник, волей случая втянувшийся в борьбу с неизвестным, и неспособный остановиться в этой борьбе. В дальнейшем этот опыт весьма сильно повлиял на всё, что происходило с Зайцем.

Некоторые комнаты всегда были запертыми — в них, в забвении и вдали от всех, дед с бабушкой прятали часть какого-то особенного своего прошлого. Или прятались от него сами. Ключи от дверей были надёжно скрыты, а может, навсегда по недосмотру утрачены, и сколько Заяц ни старался, он не смог открыть ни одну из них. Большинство же комнат было сделано настолько небрежно, что пройти из одной в другую, обладая худеньким мальчишеским телом, не составляло никакого труда — посредством щелей, зияющих там, где стены должны были соприкасаться. Нечеловеческие, загробные голоса из радиоточек, присосавшихся прямо к стенам, бормотали в них, шептали, вскрикивали о подвигах сторуких титанов в Великой битве, о тысячах, повергающих врага, сминающих сталь и железо по шее в жидкой грязи, во льдах и болотах, об урожаях и надоях; сквозняки и даже настоящие порывы ветра, бравшиеся неизвестно откуда, играли занавесками и ступками мрака, некто, вроде кошки, серый и на задних лапах, то и дело перебежал дорогу.

Замирая и останавливаясь, прислушиваясь, оглядываясь, Заяц крался, инстинктивно обходя рассыпанные по половицам кружки и полоски солнечной азбуки. Раз за разом проходил он одни и те же маршруты, подошвами босых ног то затверживая наизусть новые, свободные и обрывающиеся строки неизвестной жизни, то воскрешая в себе, как музыку, то, что уже усвоил, и ширящееся вдохновение намагничивало пространство, заставляло его звучать в унисон с домом, рождая если ещё не саму жизнь, то ту среду её, ту область, в которой жизни предстояло со временем возникнуть.

Ведомый инстинктом охотника и случаем, Заяц извивами и закоулками протискивался к одному из центров дома, к залу. Там, в самой его середине, стоял шкаф¹, и шкаф этот был огромен. С обоих боков его, тёмно-красного полированного дерева, высились колоннады из выдвижных ящичков, по фронту, за пыльными стёклами, громоздились ряды книг. Книги были разные: тонкие, как ученические тетрадки, и толстые, как кирпичи, без обложки и оправленные в кожу, с плотно слежавшимися страницами и рыхлые, словно ворох опавших листьев. Кому принадлежали они, кто был их читателем? Ещё одна загадка. Анна Михайловна к ним точно никакого отношения не имела, — у неё была своя, одна, отделённая от прочих тряпичей. Тимофею Борисовичу? Хм... Он, конечно, читал иногда, но, в основном,

¹ Шкаф здесь был всегда. Сначала он стоял прямо на земле, и дожди омывали его, засыпали снега, стебли выюна и мышиного горошка оплетали его облезлые ножки, ветры кропили берёзовым троеперстием темя, а колотушки конского щавеля и мака стучали в чуть покособившиеся от сырости бока. Потом вокруг шкафа возвели стены и воздвигли крышу. Затем под дно шкафа подвели доски и настелили пол. Так появился зал, а шкаф оказался в зале. Что в доме служило залом прежде, и куда оно делось, и чем стало, — неизвестно. Со временем к уже возведённым стенам зала стали пристраивать новые стены, возводить перегородки, длить навесы — дом стал множиться, обрстая большими и малыми комнатами. Кухня не отставала и тоже пустилась в рост. Дом, с первых дней своего рождения и многие годы пребывавший в состоянии неотения, вдруг стал бесконтрольно и хаотично увеличиваться. Буквально за ночь внешнее и открытое пространство становилось внутренним и замкнутым — дом поглощал окружающий его космос. Безо всякой системы и предварительных намерений воздвигались новые покои, появлялись комнаты, ставились приделы, цели и смысла которых никто не мог объяснить. То, что было когда-то жилищем людей, пенилось, утратив последние признаки смысла и разума. Гости, иногда посещавшие дом, долго блуждали в поисках входа и выхода, спотыкаясь среди наспех прокинутых лаг, перекошенных матиц и штабелей вагонки, задавая свои безответные «почему?» и «зачем?», пачкаясь и навек зарекаясь приходить сюда ещё раз. Тем не менее, несмотря на давно забытую симметрию роста, на всё ширившуюся атмосферу бессмыслицы, окружавшей дом, шкаф, наряду с кухней, всегда оставались его центром и средоточием тайны.

«Роман-газету», «Здоровье»... Кто-то когда-то пристрастно собирал их вместе: Тютчева, Фета, Баратынского, символистов и авангард вплоть до Гнедича и Ивнева — о таких в школе не говорили, да и вряд ли их знали сами учителя, — а ещё Вагинова, Николева, Добычина. Сбирал и вдруг бросил, оставив сокровища пылиться в запустении, внезапно утратив к ним интерес, или любовь, или даже саму жизнь. Впрочем, о том, что это сокровища, Заяц узнал позднее, уже даже после Сашки. Тогда же он украдкой читал только две книги. Ту, что *pectoralis major*, и ту, где «и узнали они, что наги»¹.

Возбуждение исследователя, державшее его в своём гудящем поле, словно в световом луче прозрения, здесь отпускало его, но, не исчезая вовсе, становилось другим — словно менялся его регистр.

На подоконнике, за шкафом, накрытые свёрнутою вчетверо простынёй, стояли большие старинные часы, похожие на приличных размеров посылочный ящик. У часов был фарфоровый циферблат с площадкой под ним, похожей на театральную сцену. Справа и слева от площадки открывались ходы, узкие и сводчатые, словно тоннели бомбоубежищ. Над одним, опустевшим, ангел заносил объятый языками пламени меч, в другом виднелись две человеческие фигурки. Это были Адам и Ева. Согбенные, они застыли в беге за чертой, отделяющей границу мира, в который их изгоняли, и приотставшая Ева, подняв одну ногу, демонстрировала свою кирпично-красную, узенькую, как у ребёнка, пятку. Механизм часов был сломан, и Заяц очень жалел, что фигурки не двигались. Сашка, которого Заяц однажды подвёл к этим часам и, откинув покрывало, показал всё, не указывая, однако, на то, что его самого привлекало в них более всего, сказал, что такие часы называются «жакемар».

Иногда случай выводил Зайца к кухне. Там, ступая так, словно лишь некоторое усилие позволяло ему ещё оставаться на земле и не взлетать, он смотрел, как крупными пузырями, уже коснувшимися амальгамы, выкипает напротив русской печи зеркало, как в экстазе самопознания, ограниченные иссохшей позолотой рассыпающихся рам, грустят «Дети в лесу», «Нарцисс» и «Русалки». (Посредством длинных гвоздей отстоя верхним краем от стены так, что в пространство между нижним краем, неряшливо исходящим длинными нитками, и стеной, как в почтовый ящик, можно было положить свёрток из нескольких газет или журнал — как это делал дед, — они, казалось, непрерывным потоком изливали остатки своего чудесного блёкнущего мира прямо сюда, в холодное остановившееся сердце дома.²)

Многочисленные карточки — в молодости Тимофей Борисович увлекался фотографией, — всунутые в щель между рамой и зеркалом, казались естественным порождением тусклой выморочной зыби, аванпостом небытия, но именно на них Заяц возлагал свои самые большие надежды. Было много групповых снимков — видимо, школьные классы. Мальчики. Он говорил себе: «Где-то здесь, среди них, может быть изображён мой отец». И, подолгу вглядываясь в лица, пытался по собственным чертам опознать его. Увы, реконструкция не удавалась: все представленные были одинаково стриженными, круглоголовыми и безликими, словно после проявителя, фиксажа и промывки отпечатки подвергли воздействию некоего виража, разъедающего черты

¹ Заяц распелёнывал её, словно младенца, и в этом первом раскрытии свету и жадному взору было значения для него не меньше, а может, даже и больше, чем в последующем, сопровождаемом шорохом синеватых страниц и запахом сухого тлена.

² Уже взрослым, он осознал, насколько важен ему был этот угол наклона: висящие в Русском Музее оригиналы упорно не желали совмещаться с изображениями, хранящимися в памяти, — какая-то особая, составляющая механизм души призма рассеивала их на несовместные друг с другом образы.

личности — в глазах читалась лишь общая для всех напряжённая и тупая покорность. Дети войны, волна, шедшая вслед за поколением победителей. «Победители». Победители и побеждённые в конечном счёте почему-то всегда меняются местами, словно некие силы судьбы, двигавшие и теми и другими во время схватки, не признавая границ и определений, и после не могут остановиться, но всё продолжают свою работу даже тогда, когда всё уже вроде бы закончилось, действуя там, где, казалось бы, ничего и никого уже и нет, двигают ими, пока не совершат полный круг превращений. Подобно подземным рекам, они увлекают поверженных вглубь, чтобы те, обратившись во прахе и тьме к истокам всего живого, искали там и нашли истину, дающую подлинные силы жить, а победителей опаивают допьяна, до полного сумасшествия и гибели, до падения во прах. Весы судьбы работают неумолимо. Падение... Когда стали печатать архивные материалы о провалах, поражениях и преступлениях, когда треснул гранит, осыпалась позолота, а бывшие герои глянули на мир испуганными и жалкими глазами жестоких мальчиков, то, всматриваясь в фотографии этих людей, в их испуганные потерянные глаза, Заяц не испытывал к ним ни ненависти, ни злобы и ни злорадства, но ловил себя на том, что жалеет их, заблудившихся в кромешности себя и мира.

В кухне был также и погреб — лаз в него, скрытый полосатым цветным половиком, располагался прямо посредине. Сквозь половик отчётливо прощупывалось большое металлическое кольцо, при помощи которого поднималась крышка погреба. Несколько раз, откинув половик и приподняв за кольцо тяжеленную крышку, Заяц заглядывал туда, но спускаться вниз не решался — смотрел в дышащую тленом и прелью тьму, дна которой не достигал луч света, спотыкаясь и ломаясь на первых же перекладинах лестницы, и прислушивался к тишине, представляя то страшные узкие ходы, уводящие в далёкую неизвестность, то спасительную конечность атомного убежища, о котором им рассказывали в школе. О, что если бы вышло так, что скрываться там пришлось не ему одному? Неужели бы чья-то пятка могла мелькнуть в провале, приотстав?

На сделанных из досок полках вдоль стен стояли банки. За пыльными стеклянными стенками в коричневой и зеленоватой жиже томились скрюченные тельца овощей, плавали в рукотворной невесомости, покоились, мрели, выпуская сквозь неумышленные прорехи облака семян, долго оседающих на дно.

В самый жаркий летний день холоден был пол в доме и одуряюще пахли пряностями тени в выдвигаемых ящиках, в распаиваемых антресолях. В оконных рамах бились в истерике серые крапчатые мухи, чьи тела казались присыпанными мукой (как они туда попадали?), затхлым выдохом сквозняка сквозь щели к ногам из подполья выносило похожих на веретено двухвосток, шатких упорных сенокосцев. Зрением, подобным рентгеновскому, он видел, как бледные, немощные стебли сорной травы восстают под половицами из путаницы собственных обнажённых и слабых корней, как медленно тянутся они кверху, ориентируясь на магнитные токи гелиосферы, как среди пыли и сора, скатавшихся в липкий войлок, нежнейшие, на тончайших длинных ножках, растут крохотные ядовитые грибы с дымчатыми заострёнными шляпками. Чувствуя ногами подвальный сырой холодок, дующий из щелей, Заяц ёжился и старался ставить ступни строго на доски.

Однажды в одной из комнат распахнутая настежь дверь захлопнулась за Зайцем уверенно и сильно, словно была закрыта чьей-то рукой, и ему пришлось выбираться из дома через окно. Выбравшись, он обнаружил себя в месте, совершенно ему незнакомом, в зарослях малинника, не знавших руки человека, обореваемых крапивой и лопухами. Там, где он прежде никогда не бывал. Время, текущее из бесконечности в бесконечность, принимало здесь образ не тревожимой ничем реки. Склоняясь над почти видимыми водами её, он не сразу различил в волнах собственное отражение и, различив, замер, зачарованный образом, лишённым души: душа, одна на двоих, пребывала между ним и отражением, беспрепятственно впуская в своё пространство крупных синих и красных стрекоз. По жилистым стеблям полыни вверх и вниз сновали муравьи, у самых ног проползла, волоча рогатую задницу, двухвостка.

Заинтригованный, Заяц решил во что бы то ни стало обойти дом и выйти к его крыльцу, тем самым наметив тропинку, ведущую сюда. К своему удивлению, двинувшись напрямик через заросли крапивы и лопуха, он буквально через несколько десятков шагов оказался там, где хотел быть. Взяв под навесом тяпку, Заяц вернулся — мало ли чего там интересного под окнами в траве скрывается. Да и тропинка будет удобная...

Но в траве под окнами ничего интересного не таилось. Несколько раз лезвие тяпки звякнуло о какую-то железяку и, покопавшись, Заяц извлёк из земли что-то вроде большой консервной банки с круглым отверстием сбоку, попадались пустые, помутневшие от воздействия земляных соков пузырьки из-под «Шипра», пара крупных, размером с половинку луковицы линз да какие-то истлевшие, бывшие некогда белыми, вроде простыней, тряпки.

Раз за разом обходя заброшенные пространства и не находя в них подлинных свидетельств пребывания отца, не умея ни разделить, ни разгадать тайны самого дома да, откровенно говоря, и не очень-то в том и стараясь — запертые двери оставались запертыми, закрытые ящики и сундуки не пережили ни одной попытки взлома, — для чего же он наматывал круги, что искал и что могло бы удовлетворить его? Неужели время было потрачено зря? Нет, не зря. Уже взрослым, вспоминая и словно бы толкуя по отдельным доступным пониманию деталям ускользающего сновидения свои поступки, он понял механизм своего поиска: это было творчество, вдохновлённое недосказанностью. Наматывая виток за витком в пустых коридорах и комнатах — долго и осторожно, будто слой за слоем нанося на холст просвечивающие друг сквозь друга краски бытия, — прозревая в жарком полумраке, пронизанном тут и там лучами света, нечто близкое к завершённости озарения, Заяц возбуждался до состояния вибрирующей готовности творить.

Перешагивая через нагромождения мебели и завалы строительного мусора, протискиваясь сквозь едва приоткрытые двери и недовершённые средостения, исследуя утаения и оставленности, перетекая, словно песок из одной половины часов в другую, из части дома в другую, такую же часть и познавая соединённость пустот, он невольно разбирался с законами организации пространства, с принципами прямой и обратной перспективы, узнавал об основной точке, «пунктуме», в которой соединяется всё сущее, и, более того, о том, кто в ней всё это сущее соединяет. И теперь, пожелай Заяц, как в раннем детстве, изобразить на бумаге картину мира, всецело или же любую часть его, он не столкнулся бы с прежними, отвратившими его проблемами, и совсем не потому, что неким чудесным образом рука его оказалась бы поставленной, а глаз натренированным, но потому, что презрел бы несходимости и нелогичности, потому

что недостающие цвета и оттенки создал бы сам, не задумываясь о том, какими они могут показаться другим.

Возможно, именно благодаря своим постоянным перемещениям из света во тьму, коей на пути его было больше, чем света, то есть вынужденный более иметь дело с тем, что невидимо, чем с тем, что открыто и явно, подолгу разбирая завалы и освобождая проходы, Заяц открыл для себя приём апофатического творения. Приём, показавшийся ему наиболее убедительным и продуктивным. Наблюдая кружение пылинок в световых лучах, он догадался, что элементы, из которых складывается жизнь, могут выстраиваться не только вокруг некоего изначально присутствующего центра, но и вокруг того, что изначально как бы отсутствует. Так железные опилки расцветают под незримым покровительством пучка силовых линий печальными осенними георгинами на листе бумаги. И это как бы отсутствующее на того, кто его видит, оказывает влияние куда большее, чем всё присутствующее и видимое вместе взятое.

Впоследствии, уже ближе к юности, заметив в себе появление некоторых новых черт характера, явно отличающихся от материнских, Заяц задумался: не отцовское ли это стало в нём проявляться, подобно скрытому слою подмалёвка в рентгеновских лучах? И не так ли, методом исключения известного, он может теперь вычислить в себе наиболее достоверный его образ?¹

С годами таких черт появлялось всё больше, они обнаруживались вдруг, неожиданно, невпопад и не к месту, иногда пугая, а часто ставя в тупик. Словно уровень просвечивающего излучения становился всё больше. Оставалась, правда, одна трудность: к чертам отца наверняка примешивались и черты других, неизвестных и более давних предков, что, конечно, искажало картину, но тут оставалось только полагаться на собственную интуицию, на давние навыки провидения, озарений, догадок.

Вовлечённый в новый этап творения, Заяц не стал останавливаться даже тогда, когда образ отца прояснился и в общих чертах стал довольно понятен. Вернее, не смог остановиться. Этот труд продолжается и сейчас, и — Заяц чувствует это всё отчётливее — никогда, скорее всего, не закончится. Давно уже перестал он вычислять и возможный возраст отца *тогда*, и теперь, и в любой момент времени, и маршрут его возможных перемещений, и точки его появления, и точки ухода — все эти эфемериды оказались совершенно непригодными для расчётов: беспрерывно создаваемый, отец обретает всё новые, всё более удивительные и вместе с тем всё более простые, предчувствуемые Зайцем едва ли не с рождения свойства. Там, на Ближнем Востоке, он в какой-то момент времени поймал себя на том, что давно уже разговаривает с ним как с отцом небесным: просит, обещает, жалуется. Кается если ещё не во всём, то уже во многом.

¹ Несмотря на твёрдый отказ от использования расхожего реквизита, высвечивающий в Зайце подлинного художника, он однако же, благодаря именно этому, и не мог не чувствовать тонкой связи, всегда и всюду соединяющей творящего и творимое в одно. Связи, накладывающей на обоих обязанность внутреннего соответствия друг другу.

Долгое время тайна, связанная с его отцом, казалась ему единственной и всеобъемлющей, вбирающей в себя все странности, касающиеся этого дома. Понимание того, что это не так, что это целых две тайны накладываются друг на друга, рождая абберрации восприятия, приходило к нему постепенно и было подобно медленному долгому пробуждению, когда подробности внешнего мира проникают в дремлющий ум крохотными подробностями, мелкими частностями, такими, как торопливая побежка теней, голубые реки, дремлющие в небесной вышине, или густое облако средиземноморских пряностей, гонимое сквозняком и проливающееся невидимым дождём на холодную гладь зеркала, отделяющего бытие от небытия. Проникшие одна в другую, смешавшиеся до полного неразделения, эти тайны расслаивались, обособливаясь долго-долго, и могли бы не разделиться окончательно вовсе, если бы однажды в дело не вмешалась одна девочка, ровесница Зайца со странным именем Улита¹. И тайна, связанная с домом, перестала быть тайной, открыв свою суть, которая могла бы показаться анекдотической, если бы не касалась подлинной жизни двух по-своему несчастных людей.

Как рассказала Улита, её дедушка, Тимофей Борисович, в молодости писал стихи. И даже однажды в местном издательстве у него вышла тоненькая книжечка с посвящением *Тайне моего сердца* — в подражание своему любимому поэту Александру Блоку. Своей супруге Анне Михайловне, ошавшей от такого посвящения, молодой поэт объяснил, что «Тайна сердца» — образ вымышленный, литературный, однако досужие люди, посмеиваясь, поговаривали, что эта самая «тайна» живёт на соседней улице и работает в той же бухгалтерии, что и Тимофей Борисович. Скоро об этом говорил уже весь посёлок. Книга же была замечена в самых писательских верхах, весьма благосклонная рецензия на неё была опубликована аж в «Литературной Газете», и Тимофею Борисовичу предложили перебраться в Москву на работу в одно из весьма известных издательств. Анна Михайловна переезжать категорически отказалась. Более того, сочтя ситуацию эту весьма оскорбительной для себя, она подала на развод. Незадачливый поэт пытался объяснить с супругой, даже демонстративно сжёг в печке все бывшие у него экземпляры книги — в доказательство своей любви к ней, — но та была неумолима. И тогда не ожидавший такого поворота судьбы дед с горя запил.

Но это было только начало истории: после развода отомстившая за себя добродетель потребовала, чтобы обидчик покинул принадлежащую ей собственность. Однако в дело вмешались обстоятельства земельно-кадастрового свойства и выяснилось, что дом, принадлежащий Анне Михайловне, стоял на участке, принадлежащем Тимофею Борисовичу, — после свадьбы они соединили не только сердца, но и земли, и по общему согласию вся земля Анны Михайловны ушла под сад. Кроме того,

¹ Это была внучка Анны Михайловны и Тимофея Борисовича. Каждое лето на несколько дней, а то и на пару недель, её привозила погостить к ним её мать: на «Жигулях» с бархатными, как царский балдахин, благоухающими чем-то совершенно неземным внутренностями, со множеством кисточек и шнурочков, с мягкими игрушками, таящимися по углам, с зеркальцами и наклейками Marlboro, PanAm, Xerox и какими-то ещё — теперь и не вспомнить. Первое время Заяц стеснялся её, избегал и отсиживался в своей комнатке или уходил с друзьями, Олежеком и Сашкой, на весь день за развалины казарм и служб бывшей авиационной части к «Дугласу», но однажды всё изменилось.

Тимофей Борисович, поначалу было задумавший бросить всё и уехать туда, куда его звали, понял, что не уедет никуда, ибо в дочери своей души не чаёт и не бросит её ни при каких обстоятельствах, а потому поступил просто и решительно: сделал пристройку к дому с отдельным входом и стал жить в ней. Анна Михайловна, видя такую вопиющую несправедливость, при помощи местных шабашников тоже нарастила свои владения с противоположной стороны, там, где был исконный вход и сенцы. Тогда дед подумал и пристроил себе ещё одну комнату. Бывшая супруга ответила тем же. Дед парировал. И пошло, и пошло... Мастерская, библиотека, летняя кухня, веранда, кладовые — дом разрастался подобно безобразному грибу, над чьими формами утратила контроль природа. Труднее всего Тимофею Борисовичу было скрывать обстоятельства новой своей жизни от родственников, живших тут же, на другом конце посёлка, но природная его застенчивость и флёр нелюдимого служителя муз помогали сохранять стыдную тайну. Анна Михайловна в глазах общественности являлась жертвой, и таиться ей было нечего.

Время шло. Сгинула молодость, растаяла зрелость. Анечка выросла и уехала в город. Там она вышла замуж по любви, родила дочь Улиту, развелась и занялась устройством новой своей жизни, уже не по любви, а по науке, отправляя на время самых ответственных экспериментов свою дочь к родителям. Тимофей Борисович, и так не слишком-то общительный, поняв ненужность своей многолетней жертвы, замкнулся окончательно — откровенно говоря, он надеялся, что жена его, хотя и бывшая, однако всё ж таки близкий человек, увидит его любовь к дочери, поймёт, что для него является главной ценностью и занимает все помыслы, чему он отдаёт свою жизнь, но...

Анна же Михайловна стала страдать забывчивостью, а потом и вовсе словно странной летаргической болезнью, нападавшей на неё внезапно, среди бела дня, заставлявшей замирать вдруг, чем бы она ни занималась, и на минуту, и на пять показывавшей её выцветшим слезящимся глазами какие-то захватывающие, соблазнительные картины, очнувшись от которых, бабушка виновато и конфузливо улыбалась.

А строенный на скорую руку из бросового леса дом стремительно ветшал и на глазах рассыпался. Под дождём и снегом, не защищённые ничем, доски ветшали и гнили, и, понуждаемые необходимостью, по весне старики вместе торопливо покрывали их краской, пока древоточцы не проснулись и не принялись довершать начатое стихией. В один и тот же первый тёплый день, не сговариваясь, выходили с вёдрами и кистями, каждый со своей стороны, и начинали работу, чтобы к вечеру встретиться у общей границы. От усталости они валялись с ног, цвета их — голубой и зелёный — налезали друг на друга, а кисти касались и соединялись в торопливых взмахах, и было в этих случайных касаниях что-то интимное, давно забытое, нежное... Но, опомнившись и не сказав друг-другу ни слова, старики разбегались по своим углам, чтобы наутро начать мазюкать дом изнутри.

Постепенно всё в доме, без исключений, покрылось толстой коркой масляной краски. И год от года старики красили свой дом всё яростнее и всё чаще, пытаясь уберечь его жирной лоснящейся плёнкой от воздействия времени, а с ним — и от поглощающего всё и вся забвения, тайно надеясь, может быть, уберечь там, в порых камбия, закупориваемых наподобие пчелиных сот, мёд своей молодости, тепло жёлтого живого света, светившего им много лет назад. Это было похоже на безнадёжное возведение барьеров на пути истаивающей памяти, на летопись отчаяния двух человек,

к концу жизни понявших, что от пустоты и смерти невозможно отгородиться ничем, кроме любви, и за много лет число страниц этой летописи превысило все мыслимые размеры, и, не выдерживая больше гнёта собственного веса, страницы её едва ли не от малейшего дуновения ветра разлетались, покрывая пол цветными плёнками, и приходилось снова браться за кисти, за банки, за лёгкую и шаткую стремянку.

Со стороны же казалось, что дряхлая ячейка советского общества живёт как ни в чём не бывало, и даже очень хорошо живёт, увеличивая своё благосостояние. Потом, спустя много лет, случилось невероятное: старик и старуха сошлись и снова стали жить вместе¹.

Трудно сказать, что в истории, рассказанной Улитой, было правдой, а что вымыслом. Где-то далеко-далеко в прошлом, в глуши времени, всё уходит и уходит в бесконечном своём падении на самое дно разросшегося малинника и пыльной крапивы тот старый дом, в котором, когда наступала ночь, во тьме зала парил, сияя фосфорическим, жёлто-зелёным светом, орёл на столе, а когда приходил день, видно было, как кружатся в лучах света пылинки, выпадающие в осадок прямо из потока реки жизни. Можно было бы сказать, что само время, вмешавшись, примирило, наконец, бывших супругов, однако это не так: просто они стали слабы и на ненависть у них перестало хватать сил, а жить с каждым годом становилось всё тяжелее, всё неподъёмнее становились вёдра с водой, всё больше сад, который нужно было поддерживать в порядке, и всё бесконечнее дом, который нужно было красить. Взаимная неприязнь друг к другу не была искуплена, но угасла вместе с памятью. Лишь иногда, напившись, дед — пить он стал меньше, уже не каждый день, но лишь по выходным, начиная с обеда и до самого вечера, не вставая из-за стола, на бывшей своей мужской половине — орал у себя в потёмках, роняя гремящие бутылки: «Сука! Сссукааа!!!» — не то клеймя, не то призывая кого-то. Эти вопли Заяц слышал и сам неоднократно. Заяц до сих пор снится, что идёт он бесконечной чередой комнат, идёт долго и знает, что разгадка тайны уже где-то совсем рядом, что вот-вот она откроется, но её всё нет и нет. И он сворачивает раз, другой, третий в неожиданные коридоры, возвращается, попадает не туда, замирает... И просыпается.

Всё меньшая часть его возвращается сюда, всё большая остаётся там. Совершая обход, Заяц извит себя и царапает прикосновениями, растравливает в себе воспоминания, возбуждает память, пуская её по нужному руслу, — так вправляют иглу патефона, выбившуюся из верных берегов. Он боится сбиться с такта: слишком многое стало происходить вокруг, слишком многое отвлекает. Ощупывая дом свой, он желает убедиться, что всё ещё совпадает с ним, всё ещё он плоть от плоти его и ощущает каждую его часть как часть самого себя. Он боится, что однажды, вернувшись, не совпадёт с собственным образом своим, пребывающим здесь во время его отсутствия — ведь всё большая часть его остаётся там, всё меньшая возвращается сюда, и ничего с этим невозможно поделать! Касаясь, поводя руками, скользя пальцами, он наливается вибрирующим возбуждением, словно бокал под умелыми круговыми движениями досуемого престижиста и, может быть, прежнее вдохновение оживает в нём,

¹ Не простив друг-друга и не примирившись, но устав. На то, чтобы ненавидеть, нужен жар души, может, не меньший, чем потребен для любви, а они состарились, одряхлели. У них просто уже не было сил на изнуряющую постоянную работу взаимного отталкивания, а жизнь равномерным своим тупым давлением толкала их каждый день друг к другу обстоятельствами, вынуждала искать взаимной помощи, стискивала, сжимала и спрессовывала в крошащийся, осыпающийся конгломерат, в раздражённый слепок.

и глаза его раскрываются шире, и он начинает замечать что-то ещё, чего прежде не видел.

Желая разглядеть сына поближе, Заяц осторожно делает шаг в направлении кровати, другой... Внезапно лицо его сморщивается, перекашивается, что-то резко зашекотало в его ноздрах... Скорее! — и, чтобы не разбудить оглушительным залпом сына, Заяц хватает первую попавшуюся под руку тряпку и утыкает в неё лицо: Залп! И ещё: ррраз! Отирая рот, он отнимает от лица и оглядывает тряпку — это Женечкина футболка. «И вдохнул в неё жизнь, и стала она душою живою». Потеребив, Заяц бережно опускает увлажнившийся комок материи на спинку стула. Чёртова химия, чёртовы новые стулья и кровать! Всё никак не проветрятся. Переступив и тут же шёпотом матюкнувшись, Заяц нагибается, чтобы отлепить от подошвы кубик лего.

Два прозаических этих события возвращают Зайца к реальности и снова заставляют поморщиться, но уже от недовольства собою: вместо того, чтобы думать о предстоящем разговоре с женой и о том, что через два дня быть ему в гостях у разлюбезных тестя и тёщи, он...

«А может, всё дело в той поездке?» — вдруг осеняет его. Тогда они обе — и жена, и тёща — ох как ругались! И даже не то чтобы ругались, а... кажется, отношение их к нему изменилось. “Как маленький...” А ведь, похоже, тогда они и стали к нему относиться как к маленькому. Или блаженному какому».

— Мне нужно поразить её чем-нибудь. Какими-нибудь новыми, непонятными для неё действиями, чтобы она заинтересовалась.

— Не выйдет. Для неё все твои действия непонятные. И старые, и новые.

— Почему это непонятные?

— Потому что она тебя не любит. А не любит, значит, и не понимает.

— Так если бы любила, то чего и огород городить!

— Тоже верно, — согласился Сашка, и щелчком послал окурок далеко в сторону.

Уже на границе сна, рождённый, быть может, ничтожными причинами, вспомнился Зайцу этот давний диалог, и разум тут же услужливо отыскал ему место среди бесконечно разворачивающихся, ветвящихся не то земляничными, не то виноградными усами придаточных.

Вера Калмыкова

Собственной жизни важней

1937-й

1

Безразмерен Рай, всем места хватит:
дети разместятся на полотах,
взрослые уйдут в поля молиться,
засмеются ангелы и птицы,

даже если помнили — забыли,
Господи, за что их всех убили.

2

Мне не снится, не мнится,
и собственной жизни важней —
неживых вереницы,
замученных толпы людей.

Так узко поднебесье.
Заносится ветер, спешит
с однозвучною песней:
Степан, и Рахиль, и Рашид.

Неужель им забвеньё,
навек растаявший взгляд?
...Чередой видений
всё мимо и мимо летят.

Мир беспамятно-полый —
ни правда, ни ложь не видна.
И народ мой неполон.
Да я и сама неполна.

3

Судьбы, лишённые личной судьбы.
Коммунары
в земляной коммуналке.
Обелиски
братского кладбища —
кровно родные по смерти.
Если скажут, что нет их и не было —
сжальтесь, не верьте.

На скрижалях,
в обнимку,
и с теми,
кто сажал их.
Шум безвременья. Призраки
человеческих дел.

В сумме — расстрел.

4

Написанный текст до небес вопиёт.
Их нет, а признания стонут.
Неужто забыл стомильённый народ,
бараки, и вышку, и зону?

...И женские косы речные,
песчаные и льняные...

А Господу надо — нам петь и плясать,
всё петь да плясать, а не плакать.

Архивы взрываются речью живой,
неслышной, невидной, ненужной.
И сонмы по стогнам уводит конвой
опрично, क्रомешно, наружно.

...И женские косы речные,
песчаные и льняные...

О, как бы потомкам судьбу угадать,
чтоб петь и плясать, а не плакать...

* * *

пледом накройся печенье пожуй
новости жизни страны
пресное зрелище смерти чужой
не оставляет вины

тряпки и жижа и мяса кусок
только что был человек
каждому выпадет неба глоток
зритель уже пообвык

крепок желудок и сладостен сон
это же он, а не я
колокол пущен и слышится звон
гибель твоя и моя

нет не меня заклинают вернись
злую надежду храня
хлеба и зрелищ заслуженный приз
после рабочего дня

это же там далеко а не здесь
взрывы стрельба пустыри

Только и вымолвит мёртвый с небес:
мама, прошу, не смотри.

Денис Банников

Штучка

Рассказ

*No one asks me for dances
because I only know how to flail*

Кто-то умолк, что-то стихло.

Варя не отпустит эту ситуацию, пока не почувствует себя любимой. Кому-то нужной. Белая плитка, жилистая бирюза за окном, которого нет. Варя топталась перед дверью — шаг вперёд, шаг назад, — пританцовывала, пока приборы не признали её присутствие, её существование. Приторный писк откусил от тишины. Белая плитка, почерневшие зазоры. Белый свет, как в салоне сотовой связи. Белое море, вдалеке — линия горизонта, вот уже высокая стойка впивается в живот.

— Всё нужное с собой?

Станный вопрос, странная женщина. Про таких потом говорят — «дамочка». Блестяшки в ушах, побрякушки на запястьях, два матово-чёрных ногтя. Взгляд из-под устремлённых к вискам бровей.

— Подождите в коридоре.

Варя побрила лобок. Разогрела станок под краном, всё равно порезалась. Наверное, запеклось. Мимо полупрозрачных стоек и пластиковых карманов с листовками на дырчатое, как в аэропорту, сиденье. Варя взяла мешок на резинке, в котором когда-то носила сменку. В мешке — сорочка из светлого батиста, на Варю — джинсы с высокой талией. В мешке — прокладки, полотенце, какое-то бельё.

— Первым делом нужно сделать УЗИ.

Варя купила прокладок с запасом. Предлагали витамины в капсулах, предлагали протеиновый батончик, настойчиво предлагали витамины в таблетках, шипучие, лучше всасываются. Варя купила прокладок впрок, купила батончик-мюсли. Рядом с ней пара загорелых ног в тёмно-синих кедах. Белая шнуровка. Нога покачивается на ноге, рука на животе. Варя не примет эту ситуацию, пока не почувствует себя любимой. Пара загорелых ног, тусклые вены пузыряются на икрах, рвутся наружу загнанные под

кожу металлические шарики. Голова угрюмо склонена, что-то бормочет под нос, смастерила чётки из слов.

— И вот здесь, — ноготь упирается в плохо пропечатанную линию.

Варя купила болеутоляющее. В кабинете ничего живого. По кромке лба родимое пятно — похоже на разрезанную пополам морскую звезду. Кто знает, сколько этого пятна под волосами. У Вари ещё много времени на то, чего она не хочет. Руки живут отдельно от тела, пальцы резво печатают. Дежурные вопросы. Голова то и дело поворачивается к Варе, как блюдо в микроволновой печи. Стерильная улыбка.

— Жвачку тоже исключить. — Под волосами ещё много родимого пятна. — Секретция желудочного сока — вещь непозволительная.

Варя сидела на продавленном диване, который передвинули на балкон. Кругом тёмно-красные пуфики. Пробковый сбор, как билет в купе. Дверь в туалет закрывается на крюк, должна закрываться на крюк, но приходится придерживать. Багровый свет скользит по кованой оgrade. Багровый свет заполнил яму. Над ухом гудят басы. Платформы — продолжение ног, подошвы давят виноград на вино. Кружатся, как метатель диска перед броском. Размахивают руками, будто тонут.

— Кардиограмму давно делали?

Варя ничего не ела вечером, ничего не ела утром. Кажется, даже кофе не выпила. Живот — подушка для булавок. Живот — требуха. Холодный гель пятнами, ролик шекочет кожу. Изнутри гладят крылом.

— Говорю ему, вот тебе номер, туда извиняйся! — новая песня, подлил вина. — Мы делаем иконки такими, чтобы их захотелось лизнуть. Вот-вот... Всё так, не знаешь броду, не суйся в воду, о чём и речь.

Варя хотела покрасить волосы, перехитрить кровоток. Медляк. На нём белая футболка, проступает ключица. Штаны хаки, белые кеды с металлическими петельками. Рука поглаживает бедро, цепляет край кожаной юбки. Гладит там, где съежилась плёнка, под плёнкой только-только зацвело какое-то растение, распустилась акварельная лоза. Припухлость не спала. В ушах у него белые затычки. Подлил вина.

— ВИЧ, гепатит, сифилис... — печатает. — Мазок на флору.

Когда он протолкнулся, её чуть не стошнило. Принял за комплимент. Горел свет в прихожей. Варя смотрела, как сокращаются мышцы живота, как пляшет розоватая линия, след от резинки трусов. Красная водолазка свисала с края кровати. Будто хотел чихнуть, но не мог. Потом ей в рот будто несколько раз чихнули, привкус смекты из детства.

— Братан, если ты просыпаешься и тебе насрать, — подлил вина, — это инвестиции. А если ты каждое утро на измене — это спекуляция. Тут просто, моё казино — теория вероятностей, а не вот это всё.

Варя купила краску, но решила подождать, обошлась трессами. Натуральные волосы, а не вот это всё, две рыжие пряди. Варя ждала, а оно не началось. Купила подороже, голландские. А то как на ромашке гадать. Его пальцы крадутся выше. Подлил вина. Напротив сидел его друг. Петушиная причёска, челюсть — как медвежий капкан, красная водолазка под самый подбородок. Пиджак. Мыски мокасин под столом.

— Варвара... — запнулась.

Перед выходом хотелось что-то с собой сделать. Варя отмирала себя, оживляла себя. Гель для умывания, абрикосовые косточки, корейская слизь, что-то улиточное, подсохла терракотовая глина. Холодная вода. Лежали на кровати, рука на его груди. Разогретые простыни, мокрый хлопок, с улицы веяло прохладой. Тяжело дышали.

В полумраке горел зелёный огонёк, в футляре заряжались белые затычки. Варя выключила воду, выдавила жировик на бедре. На уголке верхней губы вскочили мелкие прыщики, будто смазался контур помады. Варя наспех заправила непослушный локон за ухо. Перед выходом не погасила свет.

— Варвара, — блеснуло в мочке уха. — Вы готовы?

— Нет.

Варя схватила мешок и подорвалась к выходу.

Позади сомкнулись возмущённые голоса. Варя ехала домой, что бы это ни значило. В вагоне поезда полупусто, тёмно-синим подмигивают разъёмы для зарядки. Напротив Вари сидит женщина в теннисной повязке, между ног зажата коробка, из которой торчит не то весло, не то лопата. Верхушка обтянута пакетом. Надпись на коробке — «металлоискатель». Варя не отпустит эту ситуацию, пока не поймёт, что это за ситуация. Голос машиниста звучит так, будто его только разбудили.

Что-то о закрытом участке.

Поезд вытошнил всех пассажиров разом.

Варя вобрала чей-то локоть боком. Варя почувствовала, как чьё-то плечо ударилось о её плечо, будто деревянная ложка стукнулась о деревянную ложку. На эскалаторе кто-то споткнулся, но вовремя ухватился за поручень. Паренёк в красном жилете держал в ладонях стопку билетов. Будто хотел показать фокус, предлагал вытянуть карту.

— Просим прощения за поломку, — в глаза не смотрит. — Вот, это для вас бесплатно, маршрут... маршрут уточняйте у водителя, да?

Тронулись.

Весь салон тут же прикорнул. Варя велась в лад с кривизной дороги, крутогорьем города, тряслись похожие на кастеты ручки, свисавшие с перекладин. Голова к стеклу. Как в сопливых мелодрамах. Салон окунули во тьму. Мимо то ползла, то неслась предсказуемая жизнь, которая медовыми кляксами, ломаными линиями напоминала о себе. Призматический танец на коже века. Потусторонняя повседневность. Водитель прохрипел остановку. Не её это остановка, но что-то внутри распружинилось, название разлетелось по салону, задрожало эхом, словно гитарист нажал на педаль. Варя отлипла от спинки сиденья, меж лопаток — мокро и жарко, будто покалывал перцовый пластырь. Водитель сделал последний предупредительный.

Варю подхватила какая-то инерция, выплюнула на улицу.

Автобус двинулся дальше.

Варя, утянув мешок, двинулась вглубь.

Всё так знакомо.

Во рту хрустели мюсли. Всё так знакомо, но совсем по-другому. Раньше под ногами волновался асфальт, теперь же тротуар выложен каменными прямоугольниками — темнее и светлее, — некоторые, стоило наступить, кренились как детские качели. Подземный переход весь из пёстрого гранита, ни одного ларька, никаких тебе пиратских фильмов, пиратской музыки, пиратских игр, никаких банок чая с цветастыми этикетками. Варя никогда ничего не покупала, но по пути из школы просила открыть приглянувшуюся баночку. Глубокий вдох. Варя показательно морщила нос, но по пути домой перебирала запахи. Смаковала. Белый шоколад, миндаль и пряная корица, морковный торт, кусочки грецкого ореха. Василёк и ромашка. Когда как. Никто не распевал песни, не выпрашивал копеечку. Опорожнённая кишка. Прохожих потеснила поливальная машина. Ярко-оранжевая мигалка. Морось на руке. Канистра воды расплющена между катушкой шланга и цистерной. Машина лениво

омывала тротуар, будто носом шмыгала. Позади тянулся улиточный след. Раньше была неприметная дверь, теперь цифровая стоматология. Раньше была единственная в районе типография. В кресле грустил работник, от ещё горячих листов пахло краской, фанерные полки были заставлены картонными коробками.

Варя дошла до краснокирпичной арки.

По белому навесу, как по жёрдочке, расхаживали голуби. Всё тот же ларёк с монастырской выпечкой, холодильник с филёвским мороженым. На скамейке сидела забронзовевшая старушка. В руках — надкушенный пирожок. Под боком примостился сундучок — коробка из-под сигар. Крышка откинута, отклеился лоскут красного бархата, на дне — пригоршня монет. Варя подняла взгляд. Потёртая мозаика, как и в детстве. Свысока на неё осуждающе смотрели. Нимб, как растёкшийся по сковороде яичный желток. По выходным мама водила Варю в церковь. Варя любила выбирать платок под цвет платья, но не любила прятать только-только заплетённую косичку. Варя покупала свечи по десять за штуку, подпаливала фитильки и растапливала основания. Мама ставила за здоровье, тихо молилась. Бывало, за упокой. После этого руки весь день пахли воском. Мимо, перекрестившись и поклонившись, прошла женщина в платке, прошла дальше, к высоченным елям и развесистым деревьям, прошла мимо и устремилась туда, где из крон, как из пропаханной грядки, торчали чернильные купола.

Вот и оно.

Варя дошла до перекрёстка.

Пятиэтажка — как гнилой зуб в отреставрированном прикусе.

Сквозного проезда нет, — сообщал квадратный знак.

Детскую площадку не узнать. Вся под навесом деревьев. Побелённые стволы ещё пахнут пестицидом. В густой мишуре краснеют гроздья рябины. Фонарные столбы как подсвечники, припаркованы машины. Свежевыкрашенные скамейки, радостные крики вдалеке. На одной из скамеек сидит женщина с ребёнком. Мальчик дрыгает ножками в сандалиях, теребит липучки. Мама подносит мороженое к чавкающим губам. По-детски жадный укус, чавкает дальше. Белая капля стекает по вафельному рожку, по большому пальцу, липким пятном оседает на тыльной стороне ладони. Мама облизывает кожу, облизывает кончик большого пальца и вытирает мороженое с чавкающих губ.

— Весь измазался, — улыбнулась.

Варя поморщилась.

Тёмно-серый грунт изрисован мелками. Птички и рыбки. Разметка для игры в классики, заляпанная песком. Пластмассовые пальмы. Горки и лесенки. Какие хочешь качели. Турники и перекладины, все тренажёры работают на собственном весе. Коробка огорожена, за решёткой бесятся дети. Мяч ловят туго натянутые сети. Когда здесь носилась сама Варя, вечные споры — гол или не гол, — решались монеткой, потому что ворота были нарисованы белой краской на трансформаторных будках. На ту, что с покатою крышей, они забирались, пока никто не видел, и прыгивали в заросли крапивы. Эту крапиву они изничтожали обрубками сучьев, подтачивали ветки перочинным ножом.

Чугунная дверь подъезда и горшки с флоксами. Ещё один подсвечник, должно быть — совсем новый, должно быть — работает как надо.

— Как в операционной, — жаловалась мама.

Бледный свет заменили на милый глазу жёлтый. Правда, фонарь включался по своему желанию. Прерывисто мигал. Мигал и мигал.

Но что-то осталось.

Правым боком на бордюр взгромоздился запорожец. Точно такой же, как в детстве. Весь облезлый и обшарпанный, с обугленной на крыльях и капоте голубой краской, позеленевшей от влаги крыши. Спущенные колёса, трещина по лобовому стеклу. Бензольные пятна. Как-то они с Мишей, вдоволь нагулявшись, решили забраться внутрь. Под покровом ночи Миша орудовал Вариной заколкой. Мигал фонарь. Вдалеке, кромсая воздух пастью, беззвучно лаяла соседская собака.

— Прикинь, в бардачке что завалялось.

Почти поддалось.

Им хотелось посидеть внутри. Откинуться на сиденья и держаться за руки, чтобы не заметили. Говорили, как-то этот запорожец загорелся. Владелец так и не объявился. Им хотелось держаться за руки и смотреть, как непослушный свет отражается в стёклах приборной панели.

— Что это вы там делаете? — прикрикнули.

Миша выронил заколку и пустился наутёк.

Кажется, тогда они и виделись в последний раз. По-настоящему виделись, держались за руки. Веткигнулись под весом яблок, вспышки одуванчиков на газонах. Выпускной в физкультурном зале, маты слоёным пирогом возвышались у подоконника. Дискотека вдоль разметки, круговорот бликов на перекладинах шведской стенки. Медленный танец в двухочковой зоне, поцелуй под баскетбольным кольцом. Говорили, этот запорожец горел с полчаса, пока не потушили. Столб дыма было видно с окраины. Варя уже говорила, но ещё не ходила.

Квадрат домофона.

486.

Ключ.

Варя шагнула внутрь.

Почтовые ящики, развал газет на парапете. Объявления для жильцов. Пропал человек, помогите найти. Девичье лицо. Лифт так и не починили. На лестнице пахло свежей извёсткой. Какой-то мусор, гремя и звеня, пикировал по трубопроводу, и Варя, будто повязанная этим грузом, противовесом взмыла на свой этаж. Вторая слева дверь.

— Надо бы вызвать мастера, — мама тянула дверь на себя.

Что-то ломалось, что-то чинили.

Входная дверь завывала, стоило открыть окно. Свистело на всю квартиру. Варя прислонила ухо к обивке. Прилегает плотно. Два замка. Варя ещё какое-то время постояла, стискивая лямки мешка, затем развернулась. Позади что-тобрякнуло. Будто к тарелкам в раковине кинули столовые приборы. Будто ложка для обуви слетела с крючка.

Варя, ничего такого не думая, достала ключи. Брелок с игральными кубиками, шестёрки заелозили по обивке. Оборот, оборот. И нижний. Оборот, оборот. Дальше не идёт. Варя ничего такого не думала.

— Есть кто?

Провела рукой, голая стена.

Выключатель теперь справа. Коврик для ног, коврик для обуви. У стены стоит завязанный на узел мусорный пакет. Перезрелые фрукты, сладкая гниль. Варя осторожно двинулась вглубь. В углу зашуршал холодильник. Слева — овальный ковёр, диван и пузатый телевизор с растопыренной антенной. Варя подступила к окну. В доме напротив открыли какой-то фитнес-клуб. Кого-то прижали к канатам. Кто-то мутузил боксёрскую грушу. Всё как на ладони. Варя сделала круг почёта, остановилась у

стеклянной вазы, доверху наполненной пробками. Из недр пробивалась веточка рябины. На столике — узорчатые салфетки, друг напротив друга стояли фарфоровые чашки, ложечки на блюдцах. Венская мебель, гнутые ножки. У них с мамой был дешёвый стол и стулья из светлого тика, пристёгнутые к прутьям подушки, плоские сидушки. Не было никакой вазы, была хлипкая табуретка для редкого гостя. На столешнице — хлебница. Куча всяких приправ. В банке из-под кофе мама держала соду. Рядом с ней всегда стояла жестяная коробочка с монпансье, которые Варя подъедала, делая уроки.

Крутило живот.

Варя, ничего такого не думая, заглянула в холодильник. Приятный холодок, полупустые полки. Руки сами нырнули внутрь. Пальцы чиркнули по скомканной фольге, мимо бруска сливочного масла, к запечатанной упаковке. Варя оттяпала ломоть тёмного хлеба, размазала творожный сыр, раскидала дольки помидора. Лезвие ножа о корочку. Белые шматки по краям. Разделочная доска вся в розоватой мякоти.

— Варя, давай ешь за столом, — причитала мама. — Потом за тобой крошки по всей квартире бегать собирать, тоже мне придумала...

Варя всегда ела на диване перед телевизором. Потом мама, ругаясь, собирала крошки. Варя немного поёрзала, поняла. Это их диван. Не выкинули. Только накрыли покрывалом цвета гималайской соли, замаскировали проплешины. Словно ждал её, принял как родную — подросшую, такую же сутулую. Варя ела, пальцами придерживая помидорину, облизывала губы. Бутерброд ушёл за несколько укусов. Варя намазала ещё один, сидела на диване и смотрела по сторонам. Раньше была бежевая краска под штукатурку, теперь её окружали тёмно-синие обои. Выпуклые узоры, как будто объёмные виньетки. Там, где раньше была дверь, рисунок ветвился, кустились растения. В каморке хранилась всякая мелочёвка: чемоданчик с инструментами и лампочки на любой цоколь, изгвазданная стремянка, щётки, швабры и совки, лохматый веник, который мама всё хотела выкинуть, но Варя по каким-то сентиментальным соображениям не давала. Она и с отслужившими карандашами расставалась крайне неохотно, так что маме приходилось выбрасывать их тайком.

Ела и не замечала как.

Варя очнулась, когда в замке заскребёся ключ. В гостиной темно. На животе лежал кусок бутерброда. Варя смахнула крошки, вскочила.

— Всё я закрыла, ты же видел! — женский голос.

— Вечно одно и то же...

В проёме, подсвеченные лампочкой, вырисовались силуэты.

Повыше и ниже.

В гостиную, стуча каблуками, вошла женщина. Варя стояла как вкопанная, руки по швам, — глядела перед собой. Женщина поставила сумку на стул, подошла к столешнице, театрально развела руками.

— И насвинячила тоже я?..

Крик.

Варя отмахнулась от полетевшей в неё упаковки сыра.

— Толя!

Женщина припала к стене, пальцы обхватили дверной косяк.

— Простите, я...

— Толя, нас грабят!

— Нет-нет, — залепетала Варя. — Вы не так... Я...

— Толя, звони в полицию!

— Подождите, не над... я ё...

В гостиную, разуваясь, шагнул мужчина.

— Толя, звони в полицию!

— Вы кто? — включил свет.

— Толя, звони в!..

— Не похожа на грабителя.

— Нет, — Варя подалась вперёд. — Я... Я просто проходила... Подождите, послушайте!.. Я просто проходила мимо и так получ...

— И решила забраться в чужую квартиру?!

— Нет, что вы, — сглотнула. — Я просто жила... я... я тут раньше жила и я... я... знаю, звучит глупо! — так получилось... я просто проходила мимо и решила зайти к себе... то есть не к себе, конечно...

— Как вы сюда попали? — спросил мужчина.

— Вы не поверите, — Варя полезла в карман. — Я сама не поняла...

— Толя, драгоценности!

Женщина понеслась в спальню. Раньше там была спальня.

— Вот, смотрите. — Игральные кубики. — Ключи...

— Вижу, что ключи.

— Ключи подошли, я сама не...

— Прямо так, подошли? — бровь вверх.

— Клянусь...

Копошение в спальне.

— И давно вы сняли копию?

— Копию?

— Кто дал вам ключи?

— Кто?.. — Варя помялась. — Нет-нет, что вы... Я не...

— Покажите.

— Что?

— Толя, — из спальни. — Всё на месте!

— Ключи покажите.

Мужчина подошёл к Варе. От него пахло возрастом, пахло древесной корой и каким-то едким цитрусом. Взял ключи из оцепеневших пальцев, медленно вернулся к двери и попробовал верхний замок.

— Видите, я же говорю...

Мужчина потянул дверь на себя, будто зазывал девушку на танец.

Хлопнул.

И ещё разок.

— И что, это ключи от вашей квартиры?

— Да, понимаете... — Варя хотела забрать ключи, но мужчина отёрнул руку. — Я... Я просто шла мимо... Понимаете, я жила здесь... мы... мы с мамой жили здесь раньше, я ещё ходила в школу рядом...

— В какую?

— Какую?.. — помедлила. — В лицей?

— Вы меня спрашиваете?

— Нет, это был лицей при университете...

— Таких рядом нет.

— Раньше был, — растерянно. — Наверное, переименовали...

— Какой университет?

— Не помню... — правда не помнила. — По-моему, языковой?

Стук каблуков.

— Толя, что происходит?

— Ирония судьбы какая-то, — насмешливо.

Мужчина провернул ключ, потянул дверь.

— Прекрасно! — вспыхнула женщина. — Теперь ещё и замки менять!

— Нет, что вы...

— Кто вы?

— Говорит, жила здесь.

— Где?

— Я объясняла вашему мужу, я... мы с мамой жили здесь...

— Он не мой муж, — отрезала.

— Я не её муж.

Пауза.

— Я имею в виду, что ключи как-то...

— Говорит, училась здесь, — перебил мужчина.

— Где?

— Не помнит.

— Да уж, ирония судьбы... — фыркнула женщина. — Есть у нас традиция, по праздникам мы с друзьями вламываемся в квартиры и... и!.. мало нам проблем, теперь ещё наводчицы тут спуют, вынюхивают!..

— Она не наводчица.

— Я не наводчица.

Пауза.

— Толя?..

— Наводчики — это те, кто наводит, — брякнул ключами. — А те, кто по этим наводкам действует, это грабители, то бишь воры...

— Какая хрен разница!

— ...Но эта — не воровка.

— Я не воровка, — как будто даже гордо.

— Это она тебе сказала?

— Не похожа, — пожал плечами.

— Дурдом какой-то...

Несколько мгновений они постояли, насторожённо переглядываясь.

Мужчина, звякнув брелоком, вернул ключи Варе.

— Толя!..

Женщина подскочила и вцепилась в руку.

— А ну, отдай!..

— Прекрати, ну что ты...

— Ещё ключи ей, совсем уже!..

Ключи полетели в стенку и приземлились рядом с мусорным пакетом.

Моргнул свет.

Женщина ахнула, голова резко дёрнулась, неестественно, как у нахохлившегося филина. Похлопала глазами. Подошла ближе.

Вплотную.

Пригляделась.

— Ва... — осторожно. — Варечка?..

Мужчина удивлённо посмотрел на женщину, которая не была его женой. Сперва она провела подушечками пальцев по Вариной руке, будто проверяла, нет ли каких сколов и шероховатостей, затем сжала предплечье, будто теряла равновесие и ухватила за поручень.

— Варя, это ты?

— Простите, я совсем не...

Женщина стиснула Варино лицо — так ощупывают набухшие лимфоузлы. Редеющие волосы, высокий лоб, серебристая пряжа закрывала уши. Чуть наклонила голову. Дрожали чёрные зрачки — один кренился к уголку глазницы, второй держался по центру. Женщина оценивающе поглядела на Варю, похлопала по шее, словно выбирала арбуз.

— Вы жили тут с мамой, да?..

— Да, я говорила вашему... мы жили, потом переехали...

— Толя, это Варечка!

— Варечка?

— Антонина Стасовна, — Варя. — Помнишь?

Женщина улыбнулась. Ровные ряды зубов. Как будто белые по центру, но чем дальше по сторонам, тем желтее. Потускневшая эмаль.

— Варечка, какая ты взрослая стала, какая боль... какая большая выросла... — Антонина Стасовна сделала шаг назад. — Какая...

— Антонина Стасовна, здравствуйте...

— ...Какая красавица! — хлопнула в ладоши. — Ну просто не узнать!

— Простите, я вас тоже не узнала.

— Ну, это и не мудрено, — усмехнулась. — Это же сколько лет прошло! Ты подросла, мы... я постарела... сколько лет прошло! — Толе: — Помнишь Варечку, девочку Никифоровой, я тебе рассказывала?

— Припоминаю.

— Вот так случай!

— Простите, я не хотела вас тревожить...

— Варя, это Анатолий Павлович!

— Толя, чего уж там, — мужчина наклонился за ключами.

— Очень приятно, — брелок нырнул в карман.

— Ты, наверное, его совсем не помнишь...

Варя помнила, но помнила смутно.

«Передаю тебя в надёжные руки, — наставляла мама, уходя на работу. — Будешь плохо себя вести, смотри, — мало не покажется».

Тогда Антонина Стасовна подмигивала, нянчилась с Варей, помогала с уроками, подкармливала гречневой кашей с молоком и сахарным песком, спорила с телевизором и разгадывала кроссворды. Не сказать, что они с мамой дружили. Антонина Стасовна жила в соседнем подъезде. Когда Варя играла во дворе, они с мамой, бывало, сидели на скамейке, о чём-то беседовали, изредка посмеиваясь. Когда мама заговорила о переезде, не стало мужа Антонины Стасовны. Что-то с поджелудочной. Потом к ней стал заходить мужчина. Шутили, что ростом он ей по подмышки, зато с поджелудочной полный порядок.

— Варя, как же ты нас перепугала!..

— Говори за себя, — буркнул Анатолий Павлович.

— Нет, это, конечно, не твоя вина, — проигнорировала. — Но ты просто и нас... ты меня тоже пойми, когда вот так, на ночь глядя!..

— Я не хотела...

— Мы же никого не ждали, понимаешь...

— Простите, я пойду...

— Нет-нет, — замельчила. — Варя, что ты, что... мы же не прогоняем... ты побудь... ты торопишься?... давай мы... давай поужинаем, да?

— Мне неудобно...

— Брось ты! — выпрямилась. — Ты только дай нам... дай пару минут, дай... прийти в себя, переодеться во что-то, прихорошиться...

— Ты и так хороша, — приобнял и поцеловал Толя.

— Перестань, — хлопнула его по плечу. — Варечка, ты голодная?

— Пожалуйста, не надо из-за меня...

— Сейчас мы что-нибудь сообразим, что-нибудь...

Антонина Стасовна взмахнула волосами и двинулась к столешнице.

— Гляжу, ты без нас начала!

— Простите, так стыдно...

— Молодой растущий организм... — вставил Анатолий Павлович.

— Ужас, у нас и нет ничего, гости-то только завтра...

— Не страшно, правда...

— Варечка, девочка! — вся сияет. — Толя сейчас сходит через дорогу, купит чего-нибудь, да?.. Варечка, скажи, чего ты хочешь?

Антонина Стасовна распахнула дверцу под столешницей.

— Картошка есть, — сказала она. — Толя сейчас сходит за фаршем.

— Правда, не стоит...

— Толя сходит, — уже обувался. — Толя всё равно хотел покурить.

— Вот и совмести вредное с полезным.

— Вот и совмещу, — ложка для обуви вернулась на крюк.

Хлопнула дверь.

Антонина Стасовна хлопотала. Варя вызвалась помочь, но на неё махнули рукой. Антонина Стасовна вымыла разделочную доску, вернула упаковку творожного сыра, батон хлеба и останки помидора в холодильник. В мусорное ведро летели ошмётки картофельной кожуры. Антонина Стасовна периодически споласкивала нож для чистки, то и дело оборачиваясь, что-то спрашивая. Варя сидела на диване, отвечала на дежурные вопросы, которые ей давно не задавали, всё говорила о себе и своём в прошедшем времени. На один ответ — два вопроса. Варя рассказывала, Антонина Стасовна довольно кивала, глядя на Варю, как на недавно принесённого домой питомца, как на новёхонький предмет мебели — только из упаковки, блестящий лаком, который пока что радует, а не мозолит глаза, с которого сдувают пылинки.

— Если хочешь помочь, можешь прибраться.

Антонина Стасовна смотрела на кусок бутерброда.

— Простите, я совсем забыла, — переполошилась Варя. — Я не...

— Возьми в кладовке.

Пауза.

— А это где?

— Там же, где и всегда, — ножом ткнула в дальнюю стену.

Варя поднялась с дивана и подошла к рисунку на обоях.

— Смотри только, чтобы не вывалилось.

Варя провела пальцами по поверхности. В самом деле, растение поделено тонюсенькими проёмами, в раскрытом бутоне гнездится ручка.

— А я думала, вы от неё избавились.

— Это от кого?

— Ну, — открыла дверцу, — от кладовки.

— Как же, избавишься от неё.

Почти такой же бардак, как и раньше. Может, даже хуже.

Варя пошарила, темнота встретила её какими-то угловатостями. Варя подвинула стремянку, нащупала что-то взъерошенное у стенки.

— И веник не выкинули?

— Выкинули? — удивлённо.

— Мама всё хотела от него избавиться.

— Ну так и зачем, спрашивается? — хихикнула. — Веник как веник. Подметает и подметает, чего ж тут выдумывать?

Варя смела всё в кучу, собрала крошки в совок и вместе с куском бутерброда отправила в мусорное ведро, к картофельным одежкам.

Хлопнула дверь.

— Смешанного не было.

Анатолий Павлович, потрясывая пакетом, шагнул в гостиную.

— А в другом?

— Дотуда я не дошёл.

— Толя, ты же знаешь, ну сколько раз я говор...

— Мне ещё раз сходить?

— Да уж ладно, — вздохнула. — Как-нибудь сладим.

Анатолий Павлович оставил пакет.

— Мне надо сделать звонок.

— А потом нельзя?

— Зато, — направился в прихожую, — я прикупил вина.

— Какого? — оживилась.

— Какого было. — Варя: — Я в этом ни шиша не смыслю.

Антонина Стасовна что-то проворчала вслед и начала разбирать пакет.

В духовке зажёгся свет, заработала вытяжка.

Варя смотрела, как за мутным стеклом вздымается фольга.

Накрыли на стол.

Поднос с запеканкой по центру. Гранёные кубки. Вычурные приборы, которых на человека больше, чем блюд. Больше, чем у человека рук.

— Будем есть из красивых! — заявила Антонина Стасовна.

Посуда с позолотой. Какое-то время Варя сидела в одиночестве, наблюдая, как поднимается пар от картофельной запеканки. Из спальни вышла Антонина Стасовна в атласном платье чёрного цвета, с глубоким вырезом и хохолками на плечах, кисточками по кайме подола.

— А то висит без дела, моль кормит.

— Вам очень ид...

— Варечка, ну что же ты не накладываешь!

Антонина Стасовна разрежала запеканку вдоль и поперёк, подцепила увесистый кусок лопаткой и приземлила на Варину тарелку. Картофель покрылся рыжей коркой, расплылся и разрыхлился, всё это напоминало строительную пену, которой промазывают подоконники.

— Еле отделался, — Анатолий Павлович убрал телефон.

— Опять с болячками?

— Как же, с болячками... — Варя: — Хуже больных пациентов только благодарные пациенты, этих никак не заткнёшь, честное слово...

Анатолий Павлович обогнул стол и приблизился к Антонине Стасовне, которая раскладывала салфетки. Его рука скользнула по затылку и спине, застопорилась у подола, у кисточек.

— Кто-то решил подлить воды на мою мельницу?..

— Лучше делом займись, — кивнула на бутылки вина.

Анатолий Павлович прижался к ней, слегка потёрся, носом забурился в копну волос и, запустив руку под платье, глубоко вдохнул.

— Толя, — взвизгнула и хлопнула по плечу. — Прекрати!

Анатолий Павлович, довольно хмыкнув, пошёл к столешнице.

— Вы врач? — спросила Варя.

— В дипломе так и написали, — достал штопор. — И в трудовой.

— Посмотрите на него, распушил хвост!

— А что вы лечите?

— Как поведётся, — штопор вскинул руки. — Всего понемногу.

— Толя у нас специалист широкого профиля...

— И если продолжит налегать на мучное...

— ...И если не прекратит налегать на мучное, — Антонина Стасовна говорила поверх. — Профиль скоро ни в одну рамку не влезет.

Анатолий Павлович картинно посмеялся, в ладони зажата пробка. Он поднёс её к носу Антонины Стасовны, та сделала глубокий вдох.

— Бордо? — перехватила пробку.

Анатолий Павлович, ничего не ответив, сел за стол.

Пробка в вазе.

Почти до краёв.

— Это вы здорово придумали, — подметила Варя.

— Ещё одну надо ставить, — Антонина Стасовна взяла бутылку вина. — Мы тут записались на курсы, представляешь, в кои-то веки в ящик положили что-то дельное, а то чепуха всякая. Прямо недалеко здесь: приходишь, наливают, пробуешь всякое разное, закусываешь...

— Дегустируешь, — встрял Анатолий Павлович.

— ...Тебе знающий человек разъясняет всё, — села за стол. — Про сорта винограда, урожая, учит, как это правильно пробовать надо...

— Дегустировать.

— Ты молчи! — прикрикнула. — Дегустируй давай.

Салфетки на коленях, вино по бокалам.

Накинулись на еду.

На пальцах Антонины Стасовны появились кольца, на груди, продетая тонкой цепочкой, красовалась серафинитовая подвеска. Помада цвета марганцовки. Белая пудра и румяна. Анатолий Павлович вгрызался в запеканку, после каждого укуса вытирая губы. Когда он наклонялся, чтобы подцепить кусок, виднелись залысины. Ключья волос у висков, рваные дорожки бакенбард, тёмно-серый пушок в ушах и ноздрях, поросль меж бровей и ломаный нос — не кривой, а причудливо выгнутый, прямая линия, прямая линия и крутой подъём, вздёрнутый кончик. Говорили о том о сём. Антонина Стасовна с упоением рассказывала, как обновляли двор, о собраниях жильцов, на которых она с недавнего времени председательствует, о программе озеленения. Как они переезжали, еле перебив предложение иностранцев.

— Варечка, тебе не вкусно? — спросила вдруг.

— Что вы, очень вкус...

— Ешь-ешь, — подложила ещё. — Смотри, — Толе, — какая худенькая, щёчки совсем ямочки. Мама тебя совсем не кормит...

— Мне кажется, она уже взрослая, — прожевал Анатолий Павлович. — Небось, живёт одна, кушает всё готовое, коробочки всякие.

— Варечка, как мама поживает?

Когда Варя приехала к маме, та утопала в кресле. По телевизору кто-то горланил, громкость на пределе. Варя взяла пульт в целлофановом чехле и убавила звук. Мамины руки лежали на подлокотниках.

— Приходил соцработник, — тихо сказала мама.

Под потолком, рядом с двухъярусной горкой, висел воздушный шарик. Богемский хрусталь. Красный с белой ниточкой. Мамины ноги ныли на погоду. Ныли икры, ныли ступни. Варя, встав на колени, массировала их. Разминала икры. За окном — голубое небо и тонкая белая пелена, будто разлили обезжиренное молоко.

— С праздником, мам.

— Приходил соцработник, — шёпотом. — Принёс шарик...

Мамины пальцы лежали на светильнике. Домик из толстой пластмассы: треугольная крыша, квадратные окошки, раструб дымохода. Как с детского рисунка сошёл. В масле плавали разноцветные шарики. Если хорошенько потрясти, шарики вихрились, как снежинки в стеклянном шаре, начинали светиться. С каждым приездом свечение тускнело. Потом мама взвыла пожарной сиреной. Варя было испугалась, что слишком сильно надела, убрала руки. Мама схватилась за грудь, за сердце. Варя продиктовала старый адрес, не сразу сообразила. Ехала рядом, держала маму за руку. У медбрата плохо пахло изо рта. Пустили в палату. Миловидные старушки в пижамах, отложив газеты, смотрели, как Варя помогает маме катать. Вроде полегчало. Сказали, свяжутся. Надо будет завести вещи. Варя двинула в центр, встретила с подругой, заглянула на вечеринку. На следующий день мамы не стало.

— Мы давно не виделись, — ответила Варя.

— Ну, когда увидите, — сказала Антонина Стасовна, — передай ей от нас горячий привет. Скажи, всё хорошо, квартира осталась в семье.

Говорили о том о сём.

Антонина Стасовна принесла фотоальбомы, отыскала нужное.

— Какая смешная у тебя была косичка, — умильно.

Варя в жилетке и юбке, другие ребята. Миша и его лисья улыбка. Антонина Стасовна всегда таскала с собой фотоаппарат, щёлкала всё и всех. Маму это раздражало. Кажется, седьмой класс. Может, восьмой. После уроков драили полы в кабинетах, а потом, бывало, играли в странные прятки. Водила с завязанными глазами считал до ста, пока остальные разбредались кто куда. Водила пробирался наощупь, собирал углы парт, бился о перевернутые стулья. Ему надо было дотронуться хоть до кого-то, а кто-то мог шевелиться, но одной ногой всегда должен был стоять на полу. Класс пах моющим средством, как бы не чихнуть. Когда надоедало, Миша приносил из актового зала гитару. Долго крутил её в руках, настраивал, что-то брэнчал, сетовал на съехавший строй, высунув язык, подкручивал колки. Все знали, что Миша хорошо играет, но мало кто слышал. Дружно сидели перед зелёной доской во всю стену, под завихрениями мела виднелись призраки квадратных уравнений. Из ведра торчали

швабры. Миша всегда играл одно и то же на верхних ладах. Сидели, подпевали. В тот день Варю пришла забирать Антонина Стасовна. Варя помнила вспышку — такую же яркую и мимолётную, как школьные годы.

- Варечка, что ты не пьёшь вино?
- Почему, я пью...
- Ты попробуй, — подлила себе. — Такое сама не купишь.
- И слава богу, — буркнул Анатолий Павлович.
- Тебе что-то не нравится?
- Вино как вино.
- Тебе что из погреба, что из пакета.
- А что плохого в пакетах?
- Какое тебе дегустировать, — пустая трата...
- Вот мы на всю часть закупили сладкое в пакетах...
- Сейчас начнётся, — вздохнула. — Флягой под ребро...
- ...Никто не жаловался.

Антонина Стасовна разлила остатки вина.

- Варечка, а ты чем занимаешься?

Варя было понадеялась, что обойдётся.

- Я...
 - Учишься?
 - Пока взяла паузу.
 - И правильно, — отхлебнул. — Университет — это бумажка...
 - Тогда уж картонка, — куда-то в сторону.
 - ...Когда знаешь, какой из тебя врач, страшно на приём идти.
- Антонина Стасовна упёрлась локтями в стол.

- Ну ничего, — наклонилась. — Ты ещё молодая, всё впереди.

Пауза.

- А мальчик у тебя есть?
- Да отстань ты от человека, дай поесть спокойно.
- Так она не ест!
- Сама сказала, всё впереди.
- И не пьёт!

Варя пожалась, пригубила вино и закусил запеканкой.

- Может быть, чайку? — спросил Анатолий Павлович.
- Было бы здорово.
- Тогда надо чего-то сладкого придумать...
- Ты что, всё съел? — поинтересовалась Антонина Стасовна.
- Так там стаканчик мороженого.

Пауза.

- Купи картошки, что ли, — помотала головой.

Анатолий Павлович встал из-за стола и взмахнул салфеткой. Неловкое движение, кубок опрокинулся, скатерть пошла красными пятнами. Варина футболка намокла. Варины джинсы намокли и потускнели.

Антонина Стасовна подпрыгнула на стуле.

- Толя, ну что за!..
- Ничего страшного, — успокоила Варя.

Пока Антонина Стасовна суетилась, Анатолий Павлович, возложив ладонь на грудь, виновато поклонился и направился в прихожую.

— Пойду замаливать грехи.

— Только без начинки, без крошки, — прозвучало вдогонку.

— Да-да...

— Вот же ж растяпа! — надорвала бумажное полотенце. — Врач, на работе руки золотые, чего ж дома-то всё как из одного места...

— Я всё слышу, — из прихожей.

— На то и расчёт!

Антонина Стасовна присела рядом с Варей.

Переводила бумажные полотенца, бормоча под нос. С каждым заходом на голубой ткани оставалось всё больше белой крапинки.

— Надо замочить, — утёрла лоб.

— Ничего страшного, правда...

— Давай-давай, пока не засохло, — настойчиво. — Снимай.

Варя нехотя сняла футболку, оставшись в лифчике.

— И джинсы.

— Может, я сама...

— Никаких сама! — Антонина Стасовна смяла футболку. — Накормили чёрти знает чем, разукрасили, щас ты ещё возиться будешь!

Варя хотела возразить, но Антонина Стасовна уже щёлкнула светом. Из дверного проёма рядом с кладовкой доносилось шуршание воды. Варя помедлила, посмотрела на пустую бутылку и недоеденную запеканку, затем убрала салфетку с коленей и расстегнула пуговицы.

— Ну и растяпа, — причитала Антонина Стасовна.

— Не страшно, правда...

Антонина Стасовна положила джинсы на край раковины, намылила футболку и, сгорбившись, продолжила тереть краешек о краешек.

— Варечка, я бы дала тебе что-то из своего...

— Всё в порядке.

— Вот же зараза, ну как же так...

Пауза.

— У меня есть рубашка, — неожиданно для себя сказала Варя.

— Как, с собой?..

— Так получилось...

— Ну хорошо, — намылила джинсы.

— Но я в ней, наверное...

— Переоденься пока. — Сполоснула. — А я тут закончу.

Варя ослабила узел, отложила прокладки и добралась до шелковистого батиста. Не найдя зеркала, подошла к окну. Отведя фокус с огней в здании напротив, посмотрела на своё отражение. Как же неловко. Варя оттянула подол рубашки, натянула подол до коленей, но стоило ослабить хватку, бедра вновь оголились. Спасибо, что без выреза.

— Пусть сохнет, — погасила свет. — Будем надеяться на лучшее.

Варя обернулась.

— Какая куколка!

Антонина Стасовна подошла к Варе, наклонила голову и провела пальцами по нагрудному шву. Восхищалась так, будто сама сшила.

— Как интересно... — смотрела на бедро.

— А, это так...

— Выходит, не мы первые тебя разукрасили!

Варя отвела взгляд.

— Какой-то смысл у этого есть?

— Какой-то есть...

— Как... — пауза. — Необычно.

— Художник хороший.

— Только как-то тускловато, нет?

Варя чуть вывернула бедро. Припухлость спала. Акварельные краски поблёкли, будто их разбавили водой. Вроде не мочила, не чесала, не пила, своевременно обрабатывала. Хороший вопрос.

Антонина Стасовна прибралась, постелила скатерть, вернула чашки и блюда.

— Простых не было, — хлопнула дверь.

— Ну как так...

— Вот так, — поставил пакет на стол. — Будет с начинкой.

Анатолий Павлович уселся и ослабил воротник рубашки.

— А что это, у девочек вечеринка? — пахло табаком.

Варя поёрзала на стуле, оттянула подол рубашки.

— Так вашими стараниями, — отпустила Антонина Стасовна.

— Ну хватит...

— Молись, чтоб отстиралось.

Антонина Стасовна заварила чай, несколько раз перелив воду из чайника в чашку и обратно. На блюде чернели пирожные в плиссированных корзинках. Антонина Павловна легонько дула на чай, Анатолий Павлович отламывал от пирожного ложечкой, с неё же пил чай.

— Чай ложечкой, — порицала. — Вино в пакетах...

— Всё ещё не вижу ничего плохого в пакетах.

Анатолий Павлович утёр губы и скрестил руки на животе.

— Намечается ночёвка?

— Нет, что вы...

— А почему бы и нет? — подхватила Антонина Стасовна.

— Так я и говорю...

— Нет-нет, я скоро уже поеду...

— Варечка, оставайся, — рука упала на плечо. — Такси сейчас чёрти сколько стоит, а до метро тут далеко, ещё и одной на ночь глядя...

— Не знаю...

— А чего тут знать? — переглянулась с Анатолием Павловичем. — Постелим на диване, выпишься, к утру всё как раз высохнет, да?

— Если вас правда не затруднит...

— Какие трудности! — надкусила пирожное.

— Хорошо, встану пораньше...

— Выходной же, отсыпайся спокойно, — помешала чай. — Утром ходим за продуктами, позавтракаем, потом можешь прогуляться...

— У неё и ключи есть, — подметил Анатолий Павлович.

Варя, ничего такого не думая, молча кивнула и допила чай. Антонина Стасовна вновь отказалась от помощи с посудой, всё перемыла, затем подошла к дивану, помучилась с ящиками и достала комплект белья.

Клик-клак.

— Помнишь такие?

Варя стояла и смотрела на тёмно-синюю ткань, на россыпи звёзд, пунктирные линии и золотые полумесяцы. Большая медведица.

— Как новые! — подоткнула простыню.

Антонина Стасовна вставила подушку в наволочку, распрямила пододеяльник. Отверстие поперёк шипастого солнца. Поставив новую щётку в подстаканник, ушла в спальню. Варя ещё немного посидела, слонялась между окном и диваном, поставила будильник и направилась в ванную. Только подступив к двери, она увидела проём, а в проёме — согнутого пополам Анатолия Павловича, сидевшего на унитазе. Одной рукой он ковырялся в ухе, другой придерживал дверь. Варя секунду-другую смотрела на его медальный профиль, нехотя заметила седые кусты между ног, потом они встретились взглядами.

— Крюк давно надо починить, — ухмылка.

Потом был сон.

Варя очнулась посреди ночи.

Крутило живот.

Зубчатым лезвием резало брюхо.

Встала, дошла до ванной.

Закрыла дверь.

Упала на колени, обхватив бачок руками, отхаркнула слизь. Позывы переместились куда-то в район таза. Варя присела на ободок. Наружу вырвался сдавленный крик. Варя тужилась. Капнуло. И ещё раз.

— Варечка, всё хорошо?

Варя сомкнула колени и что было мочи тужилась.

Нервные всхлипы.

Всплески.

— Да что ж это такое, — доносилось из-за двери. — Говорила же, нужно смешанный фарш!.. и картошка эта с начинкой, как же так...

По внутренней стороне бедра ползла багровая змейка.

— Ничего-ничего, — будто отдалённо. — Это как проплакаться.

Варя припала к откинутой крышке унитаза.

— Варечка, это как проплакаться.

Варя растопырила пальцы ног.

— Как проплакаться.

Варя сделала глубокий вдох и раздвинула ноги. В красных разводах плавала крошечная чёрная точка, похожая на гранатовую косточку. Боль утихла. Варя смыла за собой, утёрла слезившиеся глаза.

— Всё нормально, — сказала она, выйдя.

— Точно?

— Всё хорошо.

— Может, какую таблеточку?

Варя покачала головой, но Антонина Стасовна уже скрипнула дверцей кухонного ящика, покопалась и вернулась с круглой коробочкой в руках. Варя сидела на диване и смотрела на жестяное дно, усеянное какими-то иголками, заколками, скрепками и булавками. Антонина Стасовна выдавила из блистера пилюлю цвета многолетней ржавчины.

— А лучше две, — гулкий треск. — Чтобы наверняка.

— Какие большие...

— Волшебные таблеточки! — зашуршала вода из-под крана. — Просто волшебные, Варечка! Мне всегда помогают, всегда!..

Варя опрокинула стакан воды.

— Варечка, я тут подумала...

Антонина Стасовна прижала коробочку к груди, будто взмолилась.

— Завтра уедешь... — пауза. — И хочется что-то... какое-то напоминание, понимаешь? — пауза. — Я вот подумала... можно?..

Антонина Стасовна села рядом и стала перебирать содержимое коробочки, вот уже она перебирала Варины волосы, а Варя смиренно сидела. Варя — комок податливой глины. Через минуту над её ухом выросла косичка, дважды обтянутая лиловой резинкой для волос. Антонина Стасовна поднялась, описала полукруг и поглядела на Варю.

— Боже, глупость какая...

— Вовсе нет.

— Придумала тоже, — отчаянно. — Давай расплету.

— А мне нравится, — провела пальцами.

Антонина Стасовна склонила голову набок.

— Правда?

— Большое спасибо.

Пауза.

— Варечка, тебе полегче?

— Вроде как...

— Хорошо, — положила руку на плечо. — Если что, буди.

Варя легла на диван.

Любимые узоры, раскрепощающая невесомость.

Какое-то время ворочалась, пока не распласталась, уснув под свистящие завывания в прихожей. А проснулась с давно забытым чувством.

Будто проспала все уроки.

Будильник не зазвенел. Наверное, села зарядка. За окном — хмурое небо, наваристые облака, окалина от перекованных гвоздей. Варя встала и потянулась, — стала искать часы, но в гостиной их не было. Боль ушла, будто приснилось. Никакой тяжести, будто приснилось.

И даже прокладка абсолютно сухая.

— Доброе утро всем соням, — поприветствовал Анатолий Павлович, когда Варя зашла в ванную. — Хотя утро не утро, дело к ужину.

Анатолий Павлович, взобравшись на стремянку, красил потолок. Раздет по пояс, соски торчат свиными пяточками, косматые подмышки, дряблая кожа нависла над резинкой треников. Родинки вокруг пупка.

— Загляни в холодильник, для завтрака никогда не поздно.

— Хорошо.

Пауза.

— Вам помочь?..

— Подержи, — ударил по стремянке. — А то я чуть не навернулся.

Варя обхватила ножки.

Анатолий Павлович обмакнул кисточку, сделал несколько пробных мазков по крышке ведра. Варя смотрела, как сгибается вскинутая рука, как пузырится свежая краска. Голову Анатолия Павловича прикрывал сложенный из газеты кораблик. Белые пятна на парусе, крупные буквы вдоль кормы. Какой-то заголовок, избитый каламбур.

«Крась не крась, всё одно», — жаловалась мама.

На потолок в ванной мама перевела какое-то неприличное количество краски. Как ни старались, через месяц всё желтело. Особенно в углу над ванной, там всё зарастало рыжей паутиной, трескалось хлопьями.

— Купил хорош... ать, зараза!.. — капнуло. — Говорю, купил хорошую краску. Голландскую, а не вот это всё. Сказали, стойкая...

— Мы тоже пострадались...

— Подвинь ведёрко.

— А?

— Чтoб не кирдыкнулось, — ткнул крышку.

Варя аккуратно подвинула ведро.

— Будешь свидетелем, — сказал Анатолий Павлович. — Пока я тут кверху каком стою, кто-то прохлаждается в винодельне своей.

— А вы почему не пошли?

— Да я что хожу, что не хожу, — обмакнул кисточку. — Ей дай волю, она и свадьбу там сыграет. Лучшие открытия в жизни делаются шпопором, так ведь? — усмехнулся. — Это я на стене в туалете вычитал.

Рука замерла.

— Ещё? — посмотрел вниз. — Или хватит?

— Может, в углу если только.

Кисточка елозила по дну ведёрка, по потолку.

— Ну вот, — выдохнул. — Так-то лучше.

— Ещё чем-то помочь?

Помотал головой.

— Надеюсь, не заляпал твои шмотки.

Анатолий Павлович оставил кисточку в ведре, спустился и принялся мыть руки. Варя подвинула стремянку, сняла одежду с сушилки.

Краска не попала, но багряные разводы остались.

— Штопором, блин!.. — доносилось сквозь смех.

Пока Анатолий Павлович убирал стремянку в кладовку, Варя протискивалась в штанины. Едва она успела натянуть футболку и убрать сорочку в мешок, распахнулась входная дверь, прихожая озарилась.

— А вот и мы!

Антонина Стасовна, стуча каблуками, зашла в гостиную.

— Варечка, проснулась!

— Доброе ут...

— Как твой живот?

— Хорошо.

— Хорошо, что хорошо, — поставила сумку на стул. — Хотела спросить, чего ты хочешь на обед... на ужин, но ты так хорошо спала... Не хотела тебя будить, поэтому... поэтому купила всего понемногу.

Анатолий Павлович, перекинув полотенце через плечо, спросил:

— Какие новости с винных полей?

— Что это ты напаялил?

— Пока ты там вина распивала, — Анатолий Павлович смял бумажный кораблик, — мы тут вообще-то делом занимались.

— Тоже мне, капитан дальнего плавания, — снимала туфли. — Припахал бедную девочку. Варечка, ты, небось, даже не позавтракала!..

— Куда поставить?

В гостиную вошёл парень с пакетами в руках.

— Куда хочешь, — махнула рукой. — Бутылки не побей.

— Анатолий Палыч, — выбросил ладонь.

— Привет-привет.

Парень оставил пакеты у столешницы. Антонина Стасовна сверкала глазами, смотрела то на парня, то на Варю, будто взглядом искры высекала. Парень вернулся к проёму, облокотился о стенку и застыл.

— Миша, что, язык проглотил? — не сдержалась. — Варечка, а ты? — пауза, как жёлтый свет на перекрёстке. — Обниматься надо, ну!..

Кончик языка тёрся о нёбо.

Всё такой же патлатый, по-голубиному выпячена шея, костлявые руки чуть не до колен, лапища как экскаваторные ковши, застиранная футболка. Миша всегда ходил в одинаковых чёрных футболках. Ещё один дурацкий принт: языки пламени, корявый шрифт и кровоподтёки.

— Привет, — вымолвила Варя.

Миша кивнул, еле заметно улыбнувшись, и повернулся к Анатолию Павловичу, будто намеренно не обращая внимания на Варю.

— Анатолий Палыч, я хотел новую гитарку занести...

— Хотел, заноси.

— Мальчики, опять вы за своё, — Антонина Стасовна распахнула дверцу холодильника. — Варечка, ты наверняка голодная...

— Спасибо, я поеду...

Антонина Стасовна поставила на стол кастрюлю.

— Миша, — сняла крышку. — К тебе тоже относится.

— Да не, нормально...

— Варечка, смотри, какая у нас вкуснота! — Антонина Стасовна достала тарелки. — Миша, и ты не выпендривайся давай, на всех хватит.

Миша подступил к столу.

— Гречка? — поморщился.

— Вынь молоко, — скомандовала Антонина Стасовна.

— Можно мне без?

— У вас есть зарядка? — встряла Варя.

Пауза.

— Какая?

— Для телефона.

— У нас этих проводов полные ящики, — Антонина Стасовна подвинула кастрюлю, пощёлкала пальцами. — Толя, есть у нас зарядка?

— Смотря какая.

Варя показала разъем телефона.

— Наверное, такой нет...

— Миша, — сказала Антонина Стасовна. — Чего это без молока?

— У меня вроде как аллергия...

Пауза.

— И давно?

— Не знаю, — помялся. — Сам недавно узнал.

— Может, всё-таки посмотрите зарядку? — Варя обращалась к Анатолию Павловичу. — Быстренько заряджу, соберусь и поеду...

— Не знаю, могу поискать...

— Какой у тебя? — Миша подал голос.

— Пятый.

— У меня есть, могу сгонять.

— Было бы классно...

— Так! — крышка стукнулась о борт кастрюли. — Ребятки, ну что вы заладили, правда!.. столько не виделись, когда ещё соберётесь!..

Миша сунул руки в карманы.

— Легче согласиться, — тихо сказал Анатолий Павлович.

Пауза.

— Вот и отлично, — возразовалась Антонина Стасовна. — Мы вина купили хорошего... найдите зарядку, пусть... пусть заряжается, как раз покушаем. Миша, гитару тащи, чтобы туда-сюда не мотаться...

— Анатолий Палыч?..

— Тащи-тащи.

— Хотите с молоком, — радостно, — хотите без молока.

Миша кивнул.

— Варечка?..

Варя, ничего такого не думая, сказала:

— Тебе помочь? — Мише.

— Да не, чё там...

— Помочь, помочь, — перебила Антонина Стасовна. — Поболтаете заодно, наверстаєте, а то я ж знаю, что при нас не так всё. Я пока пакеты разберу, накрою, без вас не начнём. И выкиньте мусор по пути.

Вниз по лестнице, мимо объявлений, мимо почтовых ящиков. На площадке никого, холодный ветер кружил опавшую листву. Кирпичная ограда, прутья, прутья, навес из жестяных листов. Над мусорными баками летали вороны, одна присела на табличку и звонко каркала.

Миша прижал мешок к груди, прицелился и запустил по дуге.

— Это же под вторсырьё.

— Ну и?

— Ну и... — потянула. — Не экологично.

— Какая разница.

Кинул второй мешок. Варя картинно поаплодировала. Миша подошёл к ограде, выудил из кармана джинсов пачку сигарет и закурил.

— И давно ты куришь?

— Я так, — затаился. — По настроению.

— Как с молоком?

— Чего?

— Нет у тебя никакой аллергии.

Пауза.

— Ты откуда знаешь?

— Я знаю, как ты брешь.

Миша усмехнулся.

— Да просто я на молоко смотреть не могу.

— Что оно тебе сделало?

— Оно меня довело.

— Молоко? — удивилась Варя.

— Я...

— Ты...

— Ну я... ээ... — затынулся. — Короче, я тут работаю... подрабатываю, вернее... в одной конторе. Пока с армией вопросы решаются... — затынулся. — Точнее, пока я их решаю, ээ... коплю на военник.

— Так и что?

— Ну и то, — затынулся. — Я чищу эти... молокоотсосы.

Варя рассмеялась.

— Ничё смешного.

— Очень смешно.

— Их сдают в аренду типа... по-моему, в аренду... — затынулся. — Ну и возвращают все заляпанные, в засохшем молоке, такая фигня.

— И что, ты их вылизываешь?

— Ха-ха.

— Не, серьёзно?..

— Серьёзно, — раздавил окурочек подошвой. — Берёшь зубную щётку и чистишь мотор, пояса... пшикалкой потом, пшик-пшик, салфеткой.

— Так а молоко в чём виновато?

— Ну ты понюхай месяц резину в молоке...

— Какая прелесть.

— ...Всё в жиге этой...

— Хорош, — ткнула в плечо.

— Сама спросила.

Миша поджёг новую сигарету.

— А ты чем занимаешься?

— Пока ничем.

— Хорошо устроилась.

— Не говори.

— Как тебя сюда занесло?

— Была в больнице, — отмахнула дым. — В поликлинике, ну и...

— Ты всё ещё тут приписана?

— Нет, — пауза. — Длинная история.

— Ну так мы не спешим.

— Короче, проезжала мимо.

— И чё, зашла в гости?

— Можно и так сказать.

Пауза.

— А ты что?

— Что я?

— Пакеты тоже за деньги таскаешь?

— Да Антонина Стасовна сказала, Палыч опять говнится, — затынулся. — А у неё купон на халявное вино пропадает. Чего отказываться.

— И как?

— Вино как вино.

Растоптал окурочек, направились к подъезду. Миша набрал код, пиликнуло. Почтовые ящики, за шторкой — тёмный силуэт, щебетал телевизор. Наверное, раскошелились на консьержа. Потеснились в лифте.

Миша открыл дверь, шагнул внутрь.

— Миша? — женский голос из глубины.

— Подожди тут, — Варя.

— Миша?..

— Да!

— Миша, это ты?..

— Да я это, я! — раздражённо.

Миша скрылся за поворотом. Застеленный ковровым коридор, люстра с хрусталиками под потолком, зеркало в рифлённой раме.

— Здравствуйте! — крикнула Варя.

Пауза.

— Миша, кто там с тобой?

— Никто!

— Миша, у нас гости?

— Нет, мама!..

— Миша, ты привёл девочку?..

— Какую... — грохот. — Мама, я зашёл за вещами!

— Миша, я не нарядная!

— Боже...

Миша вынырнул на лестничную клетку — чехол за спиной, лямка через плечо. В руке он держал чёрную коробку, похожую на радиоприёмник, ниже клубились провода. Вдуплись вены, белели костяшки.

— Миша!..

Он сунул Варя белый провод, поматерился и впопыхах запер дверь.

На площадке зажглись фонари. Миша присел на капот запорожца. Молча выкурил одну, полез за пачкой и ответил на вопрос, которого не было.

— Хочешь? — кивнул на лобовое стекло.

— Что?

— Внутрь хочешь?

— Сейчас?

Миша пожал плечами.

— У меня нет закладки, — Варя усмехнулась.

Зажал сигарету в зубах и полез в карман. Потряс связкой ключей перед Вариним носом, будто ждал, что она завиляет хвостом.

— Делали ключи от крыши, — выдохнул. — Подошло.

Миша потушил бычок о капот и спрыгнул на землю.

Варя склонилась над ним.

— И как, забирались?

— Ещё нет...

Клацнула мышеловка.

— ...Как же без тебя, — приглашая рукой. — Только после вас.

Варя пригнула голову и упала на водительское сиденье. Миша оставил гитару и усилитель, обогнул капот и плюхнулся рядом.

— Как ощущения?

— Крипово.

— Как будто... — принюхался. — Как будто пахнет гарью?..

Миша провёл рукой по обивке двери, по коробке передач, пощёлкал замками, покрутил ручку. Боковое стекло не шелохнулось.

— Говорят, он был поехавший...

— Кто?

— Старикан этот, — пауза. — Жил сдохлыми крысами...

— Хорош заливать.

— Реально, — подался вперёд. — Там что-то с внучкой стряслось, и он того... — покрутил пальцем у виска. — Рылся в помойках, таскал домой всякую чепуху... тёрся причиндалами о кукольную мебель.

— Это ты только что придумал.

Миша хлопнул по бардачку, рыскал внутри.

— Как мама? — спросила Варя.

— Да никак.

— Хорошо, что ты за ней... что ты рядом.

— Да уж...

— Нет, правда.

— Ну, вроде как пригодился, — пауза. — Пока я всё равно с армией разруливаю, ээ... тухну тут, чё ещё делать всё равно... Как твоя?

— Никак.

— В смысле?

— Умерла, — пауза. — Давно уже.

Миша дёрнул головой.

— Сори...

— Ничего.

— ...Сочувствую.

— Мы всё равно не общались толком.

Миша вывалил на колени какие-то кассеты.

— С кем-нибудь из наших общаешься? — не глядя на Варю.

— Не особо, — пауза. — А ты?

— Неа.

Вытащил бумажную обложку из пластмассового кейса.

— Разъехались кто куда, — пауза. — У тебя есть кто?

— Тебе какая разница?

— Просто.

Миша поднёс обложку к свету.

— Старьё какое-то, — нахмурился.

Варя откинулась на спинку, распрямилась. Накидка будто извивалась, деревянные шарики впивались меж лопаток, щекотали кожу.

— А ты не в курсе... — начала Варя.

— М?..

— У них есть кто-то... есть дети?

— У Палыча?

— Ну да...

— Вроде как нет.

Варя глядела на арки приборной панели, на застывшие стрелки.

— А что? — спросил Миша.

— Просто странно...

— Ну да, некому будет подать бокал вина в старости.

Варя проглотила смешок.

— Ну, то есть столько лет... столько лет вместе...

— А это вообще смешная история.

— Ну-ка?

— Ну, они типа обручены уже чёрт знает как давно...

— Серьёзно?

— Ага, — Миша собрал кассеты в стопку. — Не... Ну, то есть не так обручены... только ты никому!.. Палыч собирался делать предложение, купил кольцо, ресторан забронировал... а она ему вечером — что-то я устала, может, не сегодня?.. ну и это «сегодня» так и не случилось...

— Бред какой-то.

— А самый фарш в том, — Миша откинулся на спинку, — что она это кольцо потом нашла... ну, то есть случайно наткнулась на коробку... ну и Палыч сказал, мол, просто захотел порадовать, спалила сюрприз.

— И?..

— Ну и она до сих пор это кольцо носит.

— И не в курсе?

— Прикинь.

Варя помотала головой.

Повисла пауза.

Миша постукивал по кассетам, что-то напевал. Варя скоблила джинсы в том месте, где остался развод, водила пальцем по контурам багрового пятна.

— Нифига не отстиралось.

— Я думал, это так и должно быть... — пауза. — Типа рисунок.

— Рисунок тоже есть.

— Это как?

Варя поняла, что сболтнула лишнего.

— Набила татуху, — похвасталась.

— Реально?

— Нет, блин, виртуально.

— Покаж, — выпятил шею.

— Что?

— Камон, — нахохлился. — Интересно же.

Варя, ничего такого не думая, вытянула ноги. Подошва встала на какую-то педаль, вторая подошва — на другую педаль. Варя, чуть отвернувшись, растянула пуговицу и приспустила джинсы.

Миша хлопнул глазами.

— Цветы?

— Типа того.

— Какая-то она совсем тусклая, не?

— Не знаю, почему.

— Клёво.

Варя натянула джинсы.

Пауза.

— Чего ещё покажешь? — хихикнул.

Вдалеке дрогнул свет. Пока Варя пыталась рассмотреть, не идёт ли кто, её ладонь накрыло ковшом. Поцеловал в щеку.

— Ты что делаешь?

Поцеловал ещё раз, ближе к виску. Варя было отстранилась, но руку не убрала. Край подошвы скользнул по шарикам, которые, видимо, упали и закатились под

коврик. Мурашки вдоль позвоночника. Одной рукой стиснул бедро, другой поправил локон. Поцеловал за ухом.

— Мне нравится, — полушёпотом, — когда набито за ухом.

— Буду знать.

Поцеловал мочку уха.

— Вкусно пахнешь.

— Надеюсь, гарью? — попыталась сострить.

— Сексом.

Варя натужно вздохнула и ткнула его локтем в плечо.

Над ними моргнул свет.

— Так и не починили?

— Не знаю, — безразлично. — Его меняют раз в месяц.

Миша наклонился к шее, когда над Вариним ухом гроыхнуло.

— Твою мать! — чуть не прикусил губу.

Бились и дрыгались лапы, когти царапали стекло. В сантиметрах от Вари смыкались клыки, брызгала слюна. Вытянутую морду всю перекосило. Приглушённая ругань, мохнатую шею сдавливал ошейник.

— Сраная псина...

Мгновение спустя хозяин оттащил собаку и растворился в темноте.

— Жесть, — не унимался Миша.

Варя смотрела сквозь лобовое стекло, вглядывалась в омытое жёлтым светом окно. Антонина Стасовна взобралась локтями на подоконник и приземлила подборок на тыльную сторону ладони. Кажется, смотрела, смотрела прямо на них, видела, всё видела и широко улыбалась.

— Пошли.

— Ты чё, напугалась?..

Варя, ничего не ответив, хлопнула дверь. Миша, растерянно поморгав, последовал за ней. Брякнули ключи. Щёлкнул замок.

— Кто-нить точно купит, — Миша убрал кассеты в карман чехла.

В гостиной — уютный полумрак.

Накрыто на стол.

— Ну как, нахулиганились?

Антонина Стасовна расхаживала в платье с кружевными рукавами. Ежевичная ткань, на спине красовался овальный вырез. Варя украдкой смотрела на кольца. Гадала, какое из них обручальное. Анатолий Павлович усердно бурил пробку, смахивая крошки на пол.

Варя поставила телефон на зарядку.

— Натуральная ель?

— Вроде как...

Анатолий Павлович следил, как Миша расстёгивает чехол. По контурам резонаторного отверстия змеился орнамент. Будто розеточное окно в готическом соборе. Миша скакал пальцами по тёмному грифу, теребил струны ногтем, щипал, подкручивал колки. Что-то бренчал.

— Всё съехало, — недовольно.

— Бронза?

— Вроде как...

— Бронзу нужно посильнее натянуть...

— Так, музыканты! — Антонина Стасовна постучала вилкой по бокалу. — Ещё наиграетесь, честное слово!.. а ну-ка, марш за стол!

Анатолий Павлович уплетал гречку, утирая молоко с губ. Миша косо глядел на него, лениво поднося ложку ко рту. Антонина Стасовна осушала один бокал за другим, обращалась ко всем подряд. Верещала без перебоев. Варя, пойдя на поводу, пригубила вино, сделала пару глотков. Голова потяжелела, набрякли веки. Фалангами больших пальцев Варя надавила на зрачки, поморгала. Анатолий Павлович ввинчивал штопор в очередную пробку. Варя, ничего такого не думая, сделала ещё пару глотков. Тронулся состав. И как-то даже полегчало.

Антонина Стасовна смяла салфетку.

— Ну, оркестр, — хлопнула в ладоши. — Музыка будет?

Миша закинул ногу на усилитель, воткнул провод. Задребезжали струны, захрипели аккорды. Миша начинал играть, сбивался, начинал заново. Варя покачивала головой и напевала мелодию себе под нос.

— Гриф толстоват...

— Или пальцы, — Анатолий Павлович скрестил руки на груди.

— Толя!

— Говорю как есть.

— Не нуди, — сказала она. — Лучше сделай нам танцы.

Анатолий Павлович, кивнув, подлетел к тумбе, на которой стоял телевизор. Вернулся, установил на столешницу гигантский магнитофон.

— У одного пациента брат... — сдул пыль. — Или дядя?.. В общем, связи на таможене. Ребята, какой только комиссионки там нет...

— А у меня как раз...

Миша вынул кассеты и разложил на столе. Анатолий Павлович весь задёргался, как фруктовое желе, крутил и вертел каждую в руках.

— Батюшки, — вытянул одну. — Раритет!

— Да?

— И эта!..

— Как думаете, дорогая?

— Дорогая? — прищурился. — Только через мой труп.

— Да я просто думал...

— Где взял?

— Да так, — поглядел на Варю. — У мамы завалялись.

Анатолий Павлович вставил кассету в магнитофон. Загорелся огонёк, зашуршала лента. Гостиную сотрясла какая-то духовая какофония.

— Толя!..

— Что тебе не так?

— Только не эти фронтовые песни...

Анатолий Павлович, недовольно хрюкнув, заменил кассету. Теперь уже заиграло что-то бойкое, будто из рекламы детского аквапарка.

— Вот, другое дело!

Антонина Стасовна вскочила и, пританцовывая локтями, сблизилась с Анатолием Павловичем. Тот, поначалу отнекиваясь, притянул её к себе, и вот уже отпускал на вытянутой руке, хохоча, закручивал обратно, держал за талию и уводил вниз. Антонина Стасовна щёлкала пальцами над головой, хлопала в ладоши, отбивала ритм туфлей, после каждого пируэта поправляла причёску. Наконец, плюхнулась на стул.

— Ну-ка, молодые, — тяжело дышала, — покажите класс.

- Под такое не потанцуешь, — сказал Миша.
- Какие-то отмазки...
- Вот-вот.
- А ну, — подлила вина. — Толя, поставь хорошее.

Анатолий Павлович перебрал кассеты и с довольным видом скормил одну из них магнитофону. По гостиной разнеслось меланхоличное.

— Медляк!

Миша вернул гитару на колени, постукивал кроссовкой в такт и делал вид, что подыгрывает, на самом деле даже струны не прижимал. Варя невольно засмеялась. Потом его ладони ложатся на её талию, её руки обвивают его шею, пальцы в замок. Варя представила, — и всё на том.

— Сейчас-сейчас...

Антонина Стасовна, слегка покачиваясь, засемила в спальню, что-то покричала и вернулась с пластмассовым домиком в руках. Водрузила его на стол, воткнула в розетку, как следует потрясла. Разноцветные шарики стукались друг о дружку, яркие пятна плавали по скатерти.

— Хоть какая-то дискотека!

Варя смотрела на светильник.

— Какая штучка, правда?

— Где вы её взяли?

— Где вз... где... — переглянулась с Анатолием Павловичем. — Варечка, да если б я помнила... подарил кто, может. Толя, из твоих?

— Вряд ли.

— Или купили...

— По-моему, — сказал Анатолий Павлович, — на барахолке.

— Варечка, нравится?

Пауза.

— У нас был точно такой же... у мамы...

— Да ты что, правда?!

Варя подошла к светильнику. Точь-в-точь. Треугольная крыша, квадратные окошки, труба. Разве что чуть больше. Или меньше?.. Почти такой же. Шарики крупнее. Кажется, не было сиреневых. Или были?.. Кажется, у их домика не было провода. Или они им не пользовались.

— А что с ним стряслось? — спросил Анатолий Павлович.

— С кем?

— Ну, ты сказала, был такой же.

— А... — пауза. — Сломался.

— Варечка, — Антонина Стасовна положила руку на плечо. — Так заberi, если хочешь. А то мы почти не пользуемся, стоит себе...

— Не надо...

— ...Маме передашь с приветом от нас.

Миша резко поднял голову.

— Мама уже купила другой, — смотрела на Мишу.

Последний аккорд.

Музыка прекратилась.

— Толя, зажуёт же!

— Кого-чего? А тебя не зажевало? — Анатолий Павлович потыкал по циферблату наручных часов. — На собрание кто пойдёт?

Антонина Стасовна пораженчески чертыхнулась.

— То-то же, — вернул Анатолий Павлович.

— Ребятки, нам надо решить что-то с фонарём этим...

Антонина Стасовна схватила сумку.

— Мы на полчаса, — поманила Анатолия Павловича. — Не скучайте, доедайте, допивайте... но вина нам хоть немножко оставьте!..

Хлопнула дверь.

Миша тут же выключил магнитофон. Варя всё ещё смотрела на светильник, на шарики в масле, пальцами обводила пятна на скатерти, будто они были объёмными, прикасалась, словно хотела их лопнуть.

— Поехал обновляться, — Миша сидел на диване.

Варя присела рядом, нагнулась, посмотрела на телефон. Деление за деление поверх сплошной черноты проявлялась ярко-белая полоска.

— Что произошло? — кивнул на светильник.

— Сломался.

— Ну да...

— Что?

— Я знаю, как ты брешешь, — будто пропел.

Варя вся напряглась, хотела ответить, встать и уйти, ударить его по лицу страшно хотела, по рукам, хотела обнять и выговориться.

— Не бойсь, — придвинулся. — Не знаю, в чём прикол...

— Прикол?

— ...Но я ничё не скажу.

Миша приобнял её. Варя оторопела, а потом, ничего такого не думая, положила голову ему на плечо. Поцеловал в макушку. Крепче прижал.

— На чём мы остановились?

Варя не успела сложить два и два, Миша повалил её на диван, прилип к губам, целовал щёки и шею, ладони сжимали грудь, сжимали бедро, стискивали волосы на затылке, оттягивали пояс, искали пуговицу, искали молнию. Будто боялся, что скоро всё обернется тыквой.

— Погоди...

Заскрежетала молния.

— Миша, постой...

Замер.

— Что не так?

— Не надо...

Пауза.

— Я думал, ты тоже хочешь, — удручённо.

— Не здесь же...

— Полчаса у нас есть.

— Серьёзно?

— Ну, у меня дома не варик...

— Это ясно.

— ...Хочешь, можем в тачку?

Варя отстранилась.

— Ты серьёзно?

— Не знаю, — лисья улыбка. — Хочешь?

Варя рассмеялась.

Миша осторожно наклонился, поцеловал.

В губы, за ухом, по ключице к клинышку плеча, теперь уже медленнее. Подцепил язычок молнии. Вывернул простроченной изнанкой наружу, приспустил до колен. Варины пальцы заползли в копну волос.

— Миш...

Щекой прислонилась к простыне, ухватилась за складку, в ладони скрылась какая-то звезда, луч солнца. Боковиной стопы пересчитывала ему рёбра. Потом он собрал слюну. Кололись волоски, потом он плюнул и елозил пальцами, скреблась мозолистая корка на подушечках, то жарко, то мокро, то никак, ритм — кашель, разрывы на телефонной линии, складываешь слова по слогам, по буквам, потом резанул ногтем, пальцами будто на спор пробивал щелбаны, потом сжимал и растирал её по краям, будто застирывал бельё. Потом он свои пальцы вынул и облизал, сунул обратно, потом облизнул не вынимая.

— Миш...

Принял за комплимент.

— Миша!..

Варя одёрнула его.

— Что?..

Варя оперлась на локти.

— Что не так?

— Ты же не молокоотсос чистишь.

Миша убрал руки с бёдер.

— Нифига себе.

— Это шутка, — пауза. — В плане, не про спокойнее, а про молок...

— Забей.

Миша выпрямился, тряхнул волосами.

Варя приподнялась, придвинулась плечом к плечу, поцеловала в щеку.

— Просто... — и за ухом. — Поспокойнее...

Повернулся, наклонил голову. Кончиком носа по шее. Варя поцеловала, поцеловал в ответ. Ритм — медляк. Миша упал на спину, задрал ноги кверху и рывками стянул джинсы. Придвинулся коленями, навис над ней, рёбра меж бёдер, ещё чуть и сядет на грудь. Жёлтые пятна на белом хлопке. Варя потянула за резинку трусов. Пахло потом, пахло прелой кожей под кудряшками. Выпятился, отвернул, блеснуло на головке. Варя обхватила его пальцами, туда-сюда двигала кистью.

— Вот так, — постанывал.

Миша схватил её за волосы.

— Вот так.

Намотал косичку на кулак и притянул, будто за удила. Варя приподнялась, хрустнула шея. Солёное на языке. Ритм — кочки и ухабы, лежащие полицейские, до тошноты укачивает в автобусе. Вторая рука на затылке, вдавил в себя, настойчиво дышал, жадно жевал воздух.

— Иди сюда, — вернулся к талии.

— Миш...

— Чуть раздвинь.

Проталкивается внутрь.

— Миша!

— Что такое?

— У тебя есть?

Пауза.

— Нет... — пауза. — С собой нет.

— А дома?

— Дома тоже нет.

— Купи?

Пауза.

— Пока дойду... — сжал себя. — Они вернутся.

— Ну и что теперь?

Подался вперёд.

— Не боись... — вытянул себя.

— Миш...

— ...Я всё аккуратно.

— Нет.

— Брось, давай...

— Нет.

Навалился плашмя, тело накрыло тело. Пальцы стиснули запястья, прижал руки к дивану, облюнявил шею, проталкивается внутрь.

— Какая ты мокрая...

— Миша!

— Чуть раздвинь, — напрягся. — Чуть...

Язык забился во рту, как склизкая рыба. Варя ответила. Его рука нырнула под шею, взяла в зажим. Прямой угол. Вторая сжимала грудь.

— Миша!..

Пальцы стиснули бедро.

— Миша!..

Ногтями по рисунку, обожгло крапивой.

— Миша, больно!..

— Нравится?

Варя мотала головой, сплевывала поцелуи.

— Больно!

Взвыла.

Протолкнулся. Ухом припал к уху. Варя уперлась ладонями в его плечи, собрала все силы. Бетонная плита. Протолкнулся. И ещё раз.

— Миша, перестань!

Ритм — кулак колотит в запертую дверь.

— Вот так...

Варя перенесла вес тела на локти, пятками нашла его бёдра, зафиксировалась и выбросила ноги, будто взяла вес на тренажёре.

— Прекрати!

Миша распружинился.

— Ты чего?..

— Я сказала...

— Варя, да что такое?..

— ...Отвали!

Пауза.

— Варя, ты чего?..

— Урод.

— Брось, — наклонился. — Всё же хорош...

Варя сомкнула ноги, сгруппировалась.

Миша молча глядел на неё.

Миша молча глядел на простыни в кровавых разводах. Будто разделали тушу какой-то зверушки. Будто разделались с какой-то зверушкой.

— Понял, — сел на край дивана.

— Нет, ты не понял...

— Чё сразу не сказала?..

— Я сказала!

Миша повёл носом.

— Как хочешь.

Разве что не плюнул.

Ритм — разноцветные шарики плавают в масле.

Варя хотела сказать, но не сказала.

Миша натянул джинсы, натянул свою чёрную футболку. Не проронив ни слова, вернулся на стул, взял гитару и принялся насиловать струны. Варя какое-то время смотрела на него, укрывшись одеялом. Поёжилась. Футболка и джинсы. Пиликнул телефон. Успешно установлено.

— Всё съехало, — пробурчал под нос.

Хлопнула дверь.

— Дети, как вы?

Варя наспех разровняла простыню, одеялом прикрыла пятна.

— Решили перенести, всегда бы так...

Антонина Стасовна вошла в гостиную, поставила сумку. Анатолий Павлович следом, лениво шаркая. Расстегнул верхнюю пуговицу.

— Всё музицируешь? — Мише.

— Съехали...

— Варечка, зато я всем рассказала...

— Я поеду.

— ...Что ты у нас гостишь.

Пауза.

— Поедешь?

Варя встала с дивана.

— Большое спасибо за...

— Как же так?

— ...Еду, за вино...

— Варечка, — взволнованно. — Ну куда ты спешишь?.. ещё ведь ужин остался, вина сколько, купили же специально попробовать...

— Мне надо ехать.

— Куда?

— Домой.

Анатолий Павлович сел на стул рядом с Мишей.

— Брось, — махнула рукой. — Посиди ещё...

— Нет, мне надо...

— Давай позвоним маме, скажем, что да как...

— Она живёт одна, — поправил Анатолий Павлович.

— Точно-точно...

— Боюсь, не дозвонитесь, — Миша фыркнул.

Пауза.

Анатолий Павлович перехватил гитару.

— А ну, дай сюда.

— Я поеду...

— Варечка, ну что ты заладила...

— Её мама давно того.

Варя, не обращая внимания, забрала телефон.

— Миша, типун тебе на язык!

— Ну-ка... — Анатолий Павлович взялся за колки.

— Вы сами у неё спросите.

Варя схватила мешок.

— Варечка?..

— Большое спасибо за еду...

— Варечка, — Антонина Стасовна положила руку на плечо. — Погоди ты, что такое?.. мы же людей позвали, неудобно как будет...

— Передайте мои изв...

— Посиди ещё... — И резко: — Сама и передашь.

— Получше, — Анатолий Павлович сыграл все струны разом.

Варя перекинула мешок за плечи, убрала телефон в карман и, попрощавшись, устремила к входной двери. Боковым зрением увидела разноцветную крапинку. Вернулась к столу и схватила светильник.

— Варечка, что ты делаешь?..

Варя дёрнула за провод. Натянулся, не поддался.

— Варечка, не ломай!

Антонина Стасовна подскочила к Варе, схватилась за провод. Ритм — перетягивание каната. Варя, ничего такого не думая, дёрнула провод.

— Надо же аккуратно!..

Антонина Стасовна дёрнула провод, светильник задрожал в руках, накренился и упал на пол. Вдребезги. Разноцветные пятна в осколках, масляная лужа. Вечное и яркое. Хрупкое и тусклое. Варя онемела.

— Варечка, что же ты наделала!

Антонина Стасовна присела на корточки, принялась сгребать шарики в кучу. Покачала головой. Встала и пошла к кладовке. Варя наклонилась и зачерпнула разноцветную горсть. Красное и синее. Блеснуло в ладони, мелкая точка, капелька крови. Что успела, крепко сжала.

Захрипел усилитель.

— Другое дело, — Анатолий Павлович прибавил громкость.

Антонина Стасовна размахивала веником.

— Варечка, не поранилась?..

— Что ж ты так по ним колошматишь, — Анатолий Павлович подкручивал колки. — Новая, старая... Конечно, всё будет звенеть!..

— Варечка?..

— ...Не знаешь броду, не суйся в воду.

Сыграл что-то красивое перебором.

— А? — довольно.

— Нормас.

— Толя... — скребла совком. — Только не эти армейские частушки...

— А что в них плохого?

— Простите, я...

— Никто не жаловался.

Анатолий Павлович подкрутил струны.

— Варечка, покажи руку...

Анатолий Павлович заскрипел какую-то мелодию.

— Варечка!..

— Надо ещё подкрутить...

Варя распахнула входную дверь...

...На неё смотрели, её хотели стеклянные глаза. Головы обтянуты лицами, кое-как прикручены к туловищам, чучела людей тянули руки.

— Варя?

Варя, опустив голову, двинулась к лестничной клетке.

— Какая красавица!

По ней скользили пальцы, тянули за футболку, хватали за косичку, норовили надёргать квитков из объявления. Ритм — зацепки на колготках. Клацали клешни, клекотали голоса, где-то за ухом грызли ореховую скорлупу. Ритм — урвать кусок мясного пирога.

— Варечка!..

— Как выросла! — слева.

— Какая девочка! — справа.

— Какая куколка, какая... — отовсюду. — Какая штучка!..

Ритм — возвращаться к берегу против течения.

— Варя, дай мы на тебя посмотрим!

— Пустите...

— Ну-ка...

Лопнула струна.

Кто-то умолк, что-то стихло.

Варя неслась вниз по ступенькам, вела рукой по стене.

Густая темнота, хоть на хлеб намазывай. Варя из последних сил плыла к поверхности, к проблескам света. Нечем было дышать, или она задерживала дыхание, чтобы не слышать запахи. В висках пульсировало. Почтовые ящики. Помогите найти человека. Ударила свежесть.

Мигнул фонарь.

Сквозного проезда нет.

Варя перебежала улицу и замерла.

Мешок за плечами, тёплое масло в ладони. В луже топтались голуби. Скоро высохнет. В окне появился силуэт. Антонина Стасовна глядела на Варю как-то уменьшительно-ласкательно. Кажется, постукивала пальцами по подоконнику. Варя стянула резинку, волосы упали на плечо. Антонина Стасовна раздосадованно помотала головой, глядела на Варю как на бездарно разыгранную шахматную партию. Глубокий вдох. Варя смотрела на Антонину Стасовну как на плавающую в стакане, на разболтанную вставную челюсть. Вписанная в оконную раму, изломанная, перечёркнутая створками, по ту сторону мутного стекла, знакомые контуры на выцветшей фотографии. Варя какое-то время постояла и пошла прочь. Раскрыла ладонь, посмотрела на шарики и убрала в карман. Утёрла руку о джинсы, пальцы на животе. У неё ещё много времени на то, чтобы понять, зачем ей время. Изнутри гладили крылом. Варя дошла до арки, выбросила резинку для волос в ближайшую урну и пристроилась за поливальной машиной, которая всё так же неспешно ехала по своим делам, осваивала известный маршрут.

Игорь Куницын

Личная вечность

* * *

1

Всё, что написано гением
в жизни его круговерти
кажется мне преступлением
перед бессмертием смерти.

Вечность у каждого личная,
вечность всегда под вопросом,
вечность — она же обычная
набок упавшая восемь.

Только от трезвого гения
ждать откровений не надо.
Спрячет он боль и сомнения
от незнакомого взгляда.

В рюмочной после открытия
водку возьмёт и огурчики.
«Вечность — она на любителя», —
крикнет и рухнет со стульчика.

2

В полдень, гуляя по городу,
встретил я пьяного гения.
Грели беднягу от холода
и целовали растения.

Куницын Игорь Николаевич — поэт. Родился в 1976 году в Печоре. Окончил Медицинский институт в Архангельске, учился в Литературном институте им. А.М.Горького. Автор трёх книг стихотворений: «Некалендарная зима» (Минск, 2008), «Портсигар» (М., 2016), «Макадам» (М., 2019). Лауреат конкурса им.Сергея Есенина, финалист «Илья-премии» и др. Живёт в Домодедово.

Клёны — друзья закадычные —
слушали грустный рассказик.
А уводили обычные
люди, бросали в уазик.

День от бессилия портился,
листья несло и крутило,
ветер в початую хортицу
дул под скамейкой уныло.

Скучно природе без гения,
с гением тоже не очень
весело, но, тем не менее,
надо признаться, а впрочем...

* * *

Я задрёмывал с книгой в руках
от усталости обыкновенной
в электричках и в прочих местах
наблюдаемой ныне вселенной.

Иногда просыпалось во сне,
бытовым приглушённое чувство,
что волшебное свойственно мне
постигать ненароком искусство.

И тогда мне казалось, что я
персонаж фантастической книги,
что история жизни моя —
пораженья, победы, интриги.

И поэтому мне самому
удавалось чудесные вещи
в своём собственном делать дому
без подтёков, царапин и трещин.

И когда дождевая вода
залетала в открытые окна
электрички, будя иногда,
я из сна выходил, не промокнув.

Возвращался к реальности дней,
что меня окружают поныне.
То короче они, то длинней.
То песок на пороге, то иней.

* * *

Ля-ля-ля тополя, потерявши терпенье,
предисловие не дочитав до конца,
переходишь к конкретике, к стихотворенью
то ли Бродского, то ли другого истца.

Про покинутый сад, про потерянный, то бишь,
где рябины цветут среди лип и берёз.
Возмужавшей печалью себя не прокормишь, —
отвечает ответчик в дыму папирос.

Хоть и сад небольшой, подмосковная дача,
дом с мансардой, колодец, теплица, сарай,
там и детство прошло, там и юность, а значит,
это был или есть мой потерянный Рай.

Дом соседям продали, а сад потрепали,
но я вижу, когда прохожу вдалеке,
кроны яблонь больных, желтизну на металле
подоконника, мальчика в светлом окне.

* * *

Если мне особенно светло,
я включаю радиоприёмник,
выпиваю водки полкило
и плыву, держась за подоконник.

Мне навстречу яблоневый сад,
облака вчерашние навстречу,
красно-апельсиновый закат,
прошлое, забытое навечно.

Прошлое, забытое вполне,
но напоминает девяностых
хитпарад на радиоволне
мне о счастье, сшитом не по росту.

Было счастье мне не по годам,
было счастье сделано из хлопка,
было счастье с лейблами, и там
был Титов, Аленичев, Оношко.

Счастьем было видеть, как Спартак
победил красиво в Амстердаме,
но продул в Италии, и так
это счастье выдохлось с годами.
Было счастьем выучиться там,
где отец учился, что понятно,
все идут по чьим-нибудь стопам
и не возвращаются обратно.

Было счастьем бросить все дела
и уехать в поезде осеннем
из того домашнего тепла,
что дарила жизнь по воскресеньям.

В будни было тоже хорошо,
жареную кушали картошку,
пили чай из блюдец с большой
булкой с маслом, сидя у окошка.

И смотрели грустное кино,
потому что не было другого,
то есть было, только всё равно
из него не помню я ни слова.

Дмитрий Щедривый

Кружок экзистенциального воя

Рассказ

Дом Мити внезапно вырос в поле зрения направляющегося туда Коли Радостина. Сам же Митя стоял у подъезда, прячась под бетонным козырьком от едва заметной мороси, и курил — его слегка сторбленную спину в чёрном пальто шестилетней давности не узнать было трудно. Увидев товарища, он улыбнулся — улыбку, правда, перекрывала невыразимая серая тоска, которую, казалось, уже невозможно было стереть с глаз в силу её окостенения.

— Привет, Митяй! — произнёс Коля с какой-то даже вычурной радостью, которая словно бы зеркально отражала семантическое содержание, заложенное в его фамилии.

— Радостин. Сколько лет, сколько зим?.. — ответил Митя, оценивая немного повзрослевшее лицо своего друга из прошлого и протягивая руку.

— Много зим. Пойдём? — кивнул Коля в сторону подъезда, делая шаг. — Недооценил наш старый добрый морской город и немного подмёрз уже, — добавил он, поясняя свою лёгкую внешнюю суетливость.

— Докурю, — односложно произнёс Митя, рассматривая товарища, стоящего в неказистом жёлтом дождевике с белым пакетом-майкой.

— Ладно, докури. — Коля смиренно вздохнул, жадно посмотрев на тлеющую сигарету и переведя взгляд на небо.

Промозгло, сыро, ужасно мерзко и в неисчерпаемой мере туманно — то, чем характеризовался практически любой, за некоторыми исключениями, день первой половины лета во Владивостоке. Коля задумался:

— Знаешь, Митя, я вот вроде почти всю жизнь здесь прожил, а всё равно этому лету удивляюсь. Каждый раз как в первый. Кажется, что попросту невозможно привыкнуть, что до середины июля здесь подобие бесконечного раннего апреля.

— А в Москве получше будет? — поинтересовался Митя.

— Да не особо понятно. А сам как думаешь?

— Не я же там живу, чтобы об этом думать, — недоумевающе парировал Митя.

— И всё-таки даже в этой всепоглощающей серости можно разглядеть что-то определённо красивое, — продолжил Коля, забравшись на бордюр и принявшись балансировать, чтобы скрасить ожидание.

Щедривый Дмитрий Сергеевич родился в 1999 году во Владивостоке. Учился в ДВФУ по специальности «Психология».

Это первая публикация автора.

— Да я тебя умоляю, — пренебрежительно отозвался Митя. — Тошнит уже от неё.

Резкий порыв ветра выбил балансирующего Колю из равновесия, тот спрыгнул на асфальт, и в пакете звонко отозвалось стекло.

— «Финляндия»? — уточнил Митя, кивнув на пакет.

— Лучше. «Свобода», — ответил Коля.

— Нормально, — подытожил Митя, отправив окуроч метким движением пальцев в полёт в неизвестность и развернувшись к входной двери. — Пошли.

Подъезд утопал в сырости и лужах не меньше двора. Митя смиренно перепрыгивал с одного островка суши на другой, совершенно не обращая внимания на факт превращения этого самого подъезда в улицу.

За открывшейся обшарпанной неухоженной дверью предстал характерный вид холостяцкого убежища, хотя, конечно, всё могло быть хуже, как показалось Коле. Но он озадачился другим вопросом: почему это стало квартирой холостяка, когда ещё совсем недавно — три года назад — из двери с приветствиями сразу же выпорхнула бы Ирка?

С неудобными вопросами решено было повременить.

Немного затхлый запах, явное понимание, что полы моются от силы раз в месяц, примерно недельной давности посуда в раковине, небранная постель — всё было «как надо». Но справедливости ради Коля не сосредотачивался только на негативе Митино бытия, отметив для себя чистый кухонный стол с тремя стульями, который, как и три года назад, оставался всё таким же гостевым, нежели семейным.

— Сюда и клади, — сказал Митя, кивнув на этот самый стол. — Секунду, хоть приберусь чуть.

«Похвально», — подумалось Коле.

— А вообще, ты бы хоть заранее позвонил и сказал, что прилетаешь. Ну, приезжаешь. Оба варианта, в общем, ты понял. А то ж с самого утра-то... — замылся Митя, вешая пальто. — Я бы и сам чего прикупил, а так только проснулся, считай, да покурить успел.

— Я тебя умоляю, — передразнил Коля, глядя на часы и ставя пакет на стол. — Два часа дня. Небось, ещё полдня в кровати валялся, как обычно втыкая в телефон?

— Ну, было дело, было. Но не полдня, встал я в одиннадцать. — Митя нахмурил брови. — Да и вообще, а кто так не делает?

— Я, — уверенно ответил Коля. — Я так не делаю. Но не нотации же читать приехал, правильно? Хотя и их тоже, но это потом. Лучше расскажи, как оно? Как и...дут дела? — вопрос, касающийся Ирки, слишком ярко вертелся на языке, будто бы имея собственную волю и желая соскочить самостоятельно вне осознанного решения хозяина этого самого языка; впрочем, Коля быстро осёкся.

— Да ты подожди с этим. Давай сперва красоту наведём, — ответил Митя, достав скатерть, убив в каком-то смысле неординарностью поступка. — Сколько «Свободы» взял? — спросил он, приводя место будущей трапезы в окончательный вид.

— Три по ноль пять.

— А мы не треснем? — удивился Митя.

— Не треснем. У нас целый день впереди, — сказал Коля, растягивая лицо в широкой улыбке.

Пока Митя неспешно отдраивал квартиру — что, впрочем, характерно для большинства людей: убираться перед приходом гостей или непосредственно тогда,

когда они уже пришли, вместо планомерной уборки хотя бы раз в пару дней, — Коля перетекал с одного места на другое, любуясь обнаруженными памятками прошлого. Взять, например, треснутое зеркало в ванной, находящееся в этом состоянии четыре года: Коля прекрасно помнит, как они всей компанией — он, Митя, Ирка и Серёга — «нажрались по самое не хочу», призывая смысл жизни в два часа ночи — стоя на крохотном балконе, орал в небо настолько рьяно — и настолько поздно, — что приходили из полиции и «вежливо» предупреждали о «недопустимости нарушения общественного порядка». Серёга отвечал: «То есть, товарищ участковый, искать и спрашивать, где этот самый смысл жизни, — это, и правда, нарушение общественного порядка?» А потом он сам долго-долго смотрел в свои отражавшиеся в зеркале глаза, примкнув почти лбом, и спрашивал себя: «Где он? Здесь нет!» — крикнул и с усилием въехал головой в стекло.

Закончив с порядком, Митя сел за стол и расставил рюмки. Коля молча глядел на него, отмечая определённую «домашность» наряда: трикотажные серые штаны и чёрная футболка со стилизованным изображением Волчка; всё это скрашивалось такой же, как и раньше, взъерошенной, скрывающей уши копной волос. Митя аналогично рассматривал товарища, но никак не мог ухватиться за что-то конкретное: казалось, что тот весь был излишне неопределённым в своём внешнем выражении, не считая глаз.

— Ты вот коришь меня за полдня в кровати, а сам-то что? — начал Митя.

— А что со мной не так? — недоумевающе ответил Коля, ёрзая на стуле.

— Ты глаза свои видел? Ты когда последний раз спал нормально?

— А, да это мелочь. Работа же, перелёт, часовые пояса — вот это всё... — как бы сводя с темы, ответил Коля.

— Всё там же работаешь? — спросил Митя, разливая первые классические «пятьдесят» и пододвигая тарелку с сыром и докторской, которые любезно оказались в холодильнике, будто бы ожидая этого часа. — Оно и видно. Эти три бутылки «Свободы» стоят треть моей зарплаты, я бы на такое не пошёл.

— Ага. Там же, — ответил Коля, нежно подбирая пальцами рюмку, будто бы это не просто «Свобода», а белое золото. — Ну, за встречу!

— За встречу, — приглушённо произнёс Митя, залпом проглотив огненную воду. — Но ты мне лучше скажи: ты зачем приехал-то? Вот чтобы по-честному было. Ещё сегодня с утра я не помнил о твоём существовании, а сейчас ты уже сидишь — почему-то! — здесь, на задрипанных дворах Баляйки, а не в Москве. Давай как есть.

— А никак нету. Отпуск у меня, спонтанно решил провести старых друзей: тебя, к Серёге ещё думал заскочить.

— Почему меня первого? — доставая новомодную электронную систему доставки никотина, спросил Митя.

— Как раз таки потому, что смотрю за тобой в сетях. И за Серёгой бы смотрел, да он же вечно в своих «цифровых детоксах» сидит, не постит ничего, не заходит месяцами. Или годами, как сейчас. Короче, я решил, что тебе срочно нужен хороший разговор.

— Хороший разговор? — удивился Митя.

— В зеркало глянь. В себя всмотришься. Мои мёртвые глаза — это просто работа, мелочь в сравнении с тем бардаком, что ты устроил у себя в голове, в сравнении с тем, что ты пишешь, выкладываешь. Мне казалось, что мы это оставили там же, где и весь

наш странный досуг, — за стенами института, — завершил Коля, потянувшись за пачкой «Милдака».

— Руки, — опередил Митя, перехватывая сигареты. — Бросил же. Сам сказал: «оставили там, где и весь наш странный досуг», — грозно завершил он.

— Да я так, чисто третий курс и молодость вспомнить, не кошмарь, — стусевался Коля.

— Получается, что я всем своим образом жизни эту самую молодость ежедневно вспоминаю?

— Ладно, убедил, — Коля откинулся на спинку кухонного стула. — Но вообще: судя по тому, что ты до сих пор не снял плакат нашего клуба со стены над диваном, молодость тебя явно не отпускает.

Митя перевёл взгляд на тот самый плакат — ему даже на секунду показалось, что он не видел этот раритет уже лет этак десять. Чёрная — вернее, уже серая в силу выгорания — ткань уныло свисала, небрежно приклеенная двусторонним скотчем к стене, и не менее уныло гласила:

КРУЖОК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЯ.

— Ты сюда прошлое повспоминать приехал или поговорить о настоящем? — недовольно буркнул Митя.

— Да всё твоё настоящее — одно сплошное прошлое. Ты же сам это только что заметил, — ответил Коля.

Митя промолчал — поспорить тут не с чем. Последние два года он не вспоминал весь тот ворох событий, который так или иначе составлял основной эмоциональный костяк его жизни; ныне же происходило простое, плавное затухание в никуда. А если не вспоминать былое, то порой кажется, что не только в никуда, но и из ниоткуда.

— Это ты верно решил, что меня надо бы первого навестить. Биринёва, я так полагаю, ты бы тоже хотел сюрпризом удивить, да вот только он теперь на Шепеткова развлекается уже пару лет, — Митя резко перевёл тему со своей персоны, интенсивно выдохнув клуб дыма.

— Интересно, — удивился Коля. — А зачем?

— На экскурсию прилёт, надо понимать, — саркастично произнёс Митя, разводя руками. — Радостин, вопросы твои... по какой причине, по-твоему, люди могут отдыхать на Шепетухе два года? Поехал он. Окончательно и бесповоротно.

— Это-то понятно, что поехал. От Серёги ожидаемо было. Я, скорее, другое имел в виду: по какой причине, — уточнил Коля.

— Да по какой... это мы — так, мелочь, а он же настоящим философом был — ну, оно и понятно, иначе бы «экзистенциального воя» не существовало, и нас в нём тоже. Через год после выпускного возымел некие «философские трения» со своими соседями и устроил им — ну, как минимум одному — настоящую мясорубку. Буквально. И с перфоратором, и с молотком. Не вникай, я даже вспоминать не хочу. Лежит то ли с манией бреда, то ли с параноидной шизофренией, я уже не вспомню, — и лежать, вероятно, будет долго, если не пожизненно.

— Красавчик Серёга. Зашибись развлекается. Просто замечательно, — подытожил Коля. — Ладно, всё равно зайду к нему.

— И каким образом? Мне не помнится, чтобы они там принимали гостей. Хотя, может, оно и иначе, конечно, — сказал Митя.

— Почти таким же, каким и к тебе, без заморочек, — ответил уклончиво Коля.

— Скажешь, что пару часов назад прилетел из Москвы и, сердечно попросив местных санитаров о свидании, постучишься к нему в дверь палаты?

— Скорее в голову... — задумчиво произнёс Коля и замолчал, не закончив фразы.

— Не понял, — смутился Митя.

Коля не отвечал.

— Что бы это ни значило... — Митя не дождался проясняющей реплики товарища и решил уйти в другую плоскость. — Как Саша?

Коля с полминуты помолчал, вероятно, думая о ситуации с Серёгой, и лишь потом ответил:

— Живёт. Живём, в смысле. Квартиру снимаем. Уехала родственников навестить в «дефолт-сити-номер-два». Они ж переехали из Владивостока в Питер год назад, теперь ей здесь делать нечего.

— Дефолт-сити... — машинально повторил Митя.

Его передёрнуло. Такое определение Санкт-Петербурга он слышал последний раз где-то на просторах интернет-имиджборд, — причём в те же времена, когда последний раз видел Колю. Митю вдруг одолело странное чувство. Чувство, словно ему снова двадцать два, а на дворе две тысячи восемнадцатый, будто этого перерыва и не было вовсе. Так случается: слишком далеко убежишь от прошлого, а потом посредством какой-нибудь мелочи лоб в лоб с ним сталкиваешься, и начинает казаться, будто оно никуда и не уходило, всегда было здесь. И Коля Радостин не уезжал в Москву, и Ирка не «преисполнялась», и экзистенциальный вой не прекращался, и институт не заканчивался, и Серёга Биринёв не был ещё психом — вот оно, всё тут же. Как раньше. Но это лишь на секунду, может, на минутку — реальность слишком упорно ломится в сенсорное поле и всё равно возвращает к себе.

— Но ты лучше сам-то расскажи, что у тебя происходит. Точнее, почему у тебя как раз таки *ничего* не происходит и ты всё в том же положении, — попросил Коля, наклонившись через стол и легонько постучав по Митиной голове, обведя руками вокруг.

— Вот именно, что ничего не происходит. Паршиво всё так же, — сказал Митя, налив ещё по пятьдесят и сразу же опрокинув свою. — Всё понять не могу. Как в былые. И Ира уже поняла, и ты, судя по тому, что говоришь, понял, — а мне ж оно как... — договорил он, закидывая кусок докторской в рот. — С Биринёвым, правда, неясно, но опустим это. Хотя очевидно, что постояльцы Шепетухи определённо что-то понимают.

Коля взял рюмку и перевёл взгляд на выцветший плакат, и выпил своё.

— Всё смысл ищешь? — спросил он, потянувшись за сыром.

— А как не искать-то? Сам же знаешь. Сколько раз уже об этом говорили — не вспомнить даже... — Митя вытащил из дуделки, как они её когда-то называли, стик и отправил в пепельницу. В этот же миг в его глазах проскочила искра ярости, словно затронулось нечто живое, трепещущее и никогда внутри не утихающее; он, стукнув по столу, уже на повышенных тонах продолжил: — Да я не понимаю, реально! И денег хватает, и квартира есть, и времени свободного до одного места — занимайся, блин, чем хочешь, наслаждайся экономической, физической, психологической и даже сексуальной свободой, но нет, хочу сидеть и вертеть всё ту же мысль, ничего так и не делая. Радостин, ты же сам прекрасно знаешь вот это вот тусклое ощущение жизни. Чего ты такого надумал себе, что сидишь сейчас со счастливым лицом, как будто реально довольствуясь этой серостью за окном? — Митя, минуя товарища, налил себе и сразу выпил.

— Ты мысль-то продолжи. Так давно уже было, что забыть успел. И мне подливать не забывай. И не торопись, у нас ещё больше литра, — задумчиво ответил Коля.

— Забыть успел... — Митя усмехнулся. — Скотина ты везучая.

— Да тут не в везении дело. Объясню я тебе сейчас всё, не вертись. Ещё просыпаться будешь где-нибудь в полвторого и звонить сразу, благодарностью обливаясь, если дозвонишься, конечно. — Коля опять потянулся за «Милдаком», но Митя отклонил руку, чётко давая понять отказ в доступе. — Высшей цели тебе не хватает, *сути?*

— Когда-то вчетвером сидели и думали — где ж эту суть-то достать? А теперь *на* тебе — один... — Митя потянулся уже не за стиком, а за пачкой сигарет: он всегда считал, что все эти новомодные дуделки представляют собою исключительно игрушку, которая никогда не заменит «человеческие сигареты», но тем не менее в квартире Митя курил преимущественно «электронщину», чтобы немного затхлый запах не превратился в совсем уж тотальную пепельницу; но сегодня что-то подсказывало, что стоит отдаться настоящим вещам, а не технологическим копиям. — Всё как бы делается: и работа работает, и прогулки прогуливаются, да вон, даже — на гитаре одно время побрыкивал, — сказал Митя, указывая рукой куда-то в угол за диван, где едва заметно проглядывал чехол от гитары. — А всё равно не то. Как будто во всех моих делах отсутствует какая-то высшая цель, высший смысл, который бы я туда вкладывал вне зависимости от того, что это за дело: и гитара, и прогулка, и разлив коктейлей в баре... как будто играешь в бильярд, но врезаешь по шарам просто так, без цели — луз-то нет. Что мне тогда с этими шарами-то делать? О бортики их гонять? Веселья — завались просто, — Митя закурил. — Короче, не могу наслаждаться делами в полной мере, понимаю, что у них нет какой-то основы, подоплёки, которая в них лежит. Всё это вокруг — и бар, и гитара, и прогулки с нашими замечательными пейзажами, и тот же бильярд, уже настоящий, а не метафоричный, — всё это лишь напоминает о повсеместной, тотальной и вопиющей бессмысленности. Иду я, значит, прогуливаюсь — и красиво, если осень, и свежо, и ветер приятный, — а всё равно не то. Не то! — Митя уже не просто стукнул, но полноценно врезал по столу кулаком. — Зачем мне смотреть на небо, если в нём нет никакой цели? Смотришь на всю эту красоту — а всё равно не пробирает, потому что постоянно в подкорке мысль сидит, что тебе бы со смыслом определиться, найти его, а не деревья, блин, разглядывать. Или небо... там пустота! — Митя засмеялся. — Помню, как в семнадцатом всей компанией орали с балкона в эту космическую черноту, чтобы она подарила нам смысл. Ну, как орали, скорее *выли*. Были времена. Ничего не меняется, только люди уходят, а иногда и ты сам уходишь.

Митя завис. Коля сразу уловил, что остановка мысли связана с последней фразой об ушедших людях, и решил, что сейчас лучшее время спросить.

— Про Иру, кстати... — медленно выцеживая, начал он.

— Да понял я... расскажу, расскажу. Не делать же вид, что она никогда здесь не жила, — Митя вдавил окурок в пепельницу. — Ушла она, очевидно. Но не просто так, конечно. Вот ты когда свалил через месяц после выпускного в «Роснефть» свою, в Москву, помнишь? Весьма подло и резко, между прочим, ну да ладно. Почти сразу тогда, недельки через три, ей контора одна туристическая вакансию предложила — всех китаеведов тогда, как жар, загребали. Её и загребли. Зарплата была конская, жили замечательно, но обоим, конечно, не хватало вишенки на торте в виде смысла. Это до поры до времени. Познакомилась она вскоре в этой конторе с некой своей коллегой, отбитой до жути бабой — по философии восточной угорала: медитации,

духовные практики, хиппи-культура, мир, единство, — вся вот эта тема. Слово за слово, прогулка за прогулкой, как её быстро смело куда-то в ту компанию. Не успел и глазом моргнуть, а она уже сама начала этой хиппи-хренью увлекаться. Возвращается как-то и говорит, мол, а я сегодня смысл жизни нашла. Помню, как удивлённо посмотрел на неё, ещё совершенно не понимая важности того момента, и спросил что-то вроде *а мой — где?* На, говорит, найди тоже — и протягивает мне марку. Знато я тогда просел, но и поругались мы конкретно. Я в такое лезть не хотел категорически: вся эта шелуха об иллюзорности мира и каком-то высшем единстве мне кажется не менее иллюзорной, особенно в совокупности с вещами. В какой-то момент сказала, что не может больше жить вне контакта с Вечным и поражается моей упрямости — вот он, мол, целый ковёр смыслов валяется, а я его игнорирую. Ковёр, причём, самый натуральный — не знаю, кто ей столько марок отвесил. Уезжает, говорит, путешествовать куда-то по северу Европы — постигать единство и смотреть на «бьёрнер и Норге». Медведей в Норвегии, в смысле. Я на этих бьёрнеров — или бьёрнов, не знаю, — на Камчатке в тринадцать насмотрелся на всю жизнь вперёд, — Митя ненадолго остановился. — Ну, я тоже дурак, это же не за день всё случилось. Просто будто бы не хотел замечать. То на работе плавал, то в тумане своего сознания... одно и то же, впрочем. А потом уже смотришь и не понимаешь — а где Ирка? С кем ты живёшь? Что за отбитая баба приходит к тебе в квартиру с претензией на то, что вы делите эту жилплощадь? Всегда считал, что со мной подобное произойти не может в принципе. Дала мне, в общем, последний шанс: говорит, либо со мной смотреть на «бьёрнер», либо оставайся в клетке, которую ты сам же и построил. Настойчиво меня хотела взять с собой. «Тебе всё равно терять нечего, если не ощущаешь смысл здесь, то попробуй там», — говорит. А в том-то и суть: если я не ощущаю его здесь, с чего бы я начал ощущать его там? Куда бы я ни поехал, свою главную проблему — то есть себя — всё равно беру с собой. Смысл тогда двигаться вообще?

Митя как подорвался и принялся наливать ещё по одной. Он протянул рюмку Коле, выражая желание чокнуться. Тот ответил жестом, но сам промолчал.

— Так и уехала. Я не смог. А иногда просыпаешься среди ночи и думаешь: «А, действительно, чего я терял? Сорок пять тысяч рублей в месяц и засранную по самое не хочу наследную однушку, которую я сам же и угробил?»

Митя снова закурил и перевёл взгляд в окно, за которым была сплошная неразличимая серость. Коля вновь потянулся за «Милдаком»; в этот раз его уже не остановили. Как и подобает первой сигарете впервые за несколько лет, та была откровенно ужасна по отношению к рецепции: и к обонянию, и ко вкусу. Колю чуть не стошнило, но он удержал позывы. «Ещё парочку, и будет уже проще», — подумалось ему.

— Бьёрнерс ин норге... — медленно, на английский манер повторил Коля, едва не кашляя от дыма. — Знаешь, Митяй, а доля логики-то в этом есть. Признаюсь, я мотивации Иры не до конца понимаю, но лучше бы ты и взаправду поехал смотреть на медведей, — он встал и подошёл к открытому окну, чтобы продышаться свежим воздухом: тошнота не отступала.

Митя смотрел куда-то в одну точку, из чего было понятно, что смотрит он не куда-то, а в себя, — вероятно, перебирает полочки воспоминаний. Коля, дождавшись когда тот придёт в норму, вернулся на «рабочее место» и разлил по рюмкам, убрав пустую бутылку на край стола.

— Эта крайняя, потом — перерыв.

Они чокнулись.

Митя ещё минут десять путешествовал в своём сознании, Коля же активно продумывал схему будущего диалога — всё-таки «всё объяснить» было чуть ли не единственной истинной целью приезда в рамках этой своеобразной волонтерской кампании. Он подошёл к выцветшему посеребренному плакату, снял его и постелил поверх скатерти на стол под недоумевающий взгляд Мити; постелил таким образом, чтобы надпись КРУЖОК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЯ была повернута непосредственно к собеседнику.

— Вот скажи мне, Митяй. Что ты чувствуешь, глядя на это? — начал Коля с психотерапевтическими интонациями.

— Экзистенциальный вой...

— Шутки отставить. Ладно, давай не отсюда зайдём, — Коля нахмурил брови. — Смотри, тебе нравится заниматься тем, чем ты, собственно, занимаешься?

— А чем я, собственно, занимаюсь? — Митя задумался. — Вне работы я даже не могу тебе сказать, как у меня дни проходят. Ну поел там, иногда чего-то сварил — всё. В сети залип, ночь, спать, снова на работу, — ответил Митя.

— Вот на работе и остановимся. Тебе ведь тоже после выпускного поступала маза на вакансию, не «Роснефть», конечно, но солидно было. Почему не согласился? Почему в бармены ушёл?

— Да не знаю, вся эта промышленная шелуха веет какой-то суетой. Спокойствия хотелось, — поджал губы Митя.

— И как, нашёл это спокойствие?

— Нет.

— Естественно. Не нравится, короче. Правильно понимаю? — подытожил Коля.

— Правильно. Да и химическая промышленность мне, честно говоря, до одного места, — Митя потянулся за сигаретой. — Что мне сорок пять тысяч без перспектив, что мне девяносто с перспективами — а толку? У меня перед глазами ноль, следом за которым сразу могила. Здесь хоть взаправду суеты меньше, — он подкурил.

— И мне дай, — попросил Коля.

Митя протянул пачку, совершенно не задумываясь.

— Смотри. Мы же с тобой одной крови, братья по клубу. Ты вот спрашиваешь: чего я такого нашёл, что смотрю на эту серость с таким лицом, будто она мне насильно серотонин заливает в черепушку? Я бы, наверное, так и ходил до сих пор — тоже бы был, но потому и улетел «резко и подлю», что поймал какой-то приступ. Как бы тебе это объяснить... чувство, наваждение, что ли, что нужно срочно закрыться от всех и переместиться туда, где о твоём существовании никто не знает. Чувство, что, будто бы закрывшись, у меня получится что-то разглядеть, найти на иной стороне бытия. Оно ж как — мы всё время искали снаружи, но никогда не заглядывали внутрь. Вникаешь? — Коля подкурил только сейчас. — Где-то через месяц вот этого войдинга, как мы его называли, стандартного пустотного состояния, я начал понимать, что раздражает не сама бессмысленность как таковая, а необходимость суетиться и делать что-то, чего ты особо не хочешь, тогда, когда и так всё бессмысленно! Нет ничего вокруг, одна лишь сплошная трасса с прекрасными пейзажами и полями, а ты вместо того, чтобы на них смотреть, валяться в траве и мирно вдыхать покой свежего воздуха, какого-то чёрта должен сидеть за рулём, за которым тебе совершенно неинтересно сидеть, и смотреть на дорогу, которая ведёт в никуда и которой всё равно не существует! — Коля настолько заговорился, что треть сигареты истлела сама собой.

— Ты мне про «несуществование» не начинай. Я этой брехни ещё от Иры в наши последние дни наслушался. Ты где только такого нахватался, Радостин? — исподлобья глянул Митя. — Сам марок нажрался в своё время, что ли?

— Да ничего я не жрал, Митяй. Я просто условно говорю, «философская абстракция», как бы сказал Серёга.

— Действительно, — Митя расслабился. — Сказал бы.

— Я, в общем, к тому веду... — Коля потянулся за второй «Свободой» и начал неспешно её открывать; перерыв, согласно его пониманию, или автоматизму, был закончен. — Всё как бы не имеет смысла и иметь не может, а если и имеет — то мы никогда об этом не узнаем, и при этом всё, вместо того, чтобы делать то, что ты желаешь от всей души, ты должен заниматься какой-то дребеденью, которая тебя не трогает. Когда ты занимаешься чем-то, что поистине тебе нравится, то не ищешь в этом глубокую подоплёку, это действие становится как бы *самоцелью*. И смысл тогда до одного места. А вот когда ты большую часть времени — если не постоянно — сидишь за рулём, искренне желая только бегать по нескончаемым просторам полей вдоль обочин, вот тогда-то ты и начинаешь искать суть в своих действиях, которые тебя лишь сковывают, — Коля разлил две по пятьдесят, и они, чокнувшись, выпили. — А знаешь, почему действия как самоцели тебе достаточно, Митяй? — сигарета истлела окончательно, засыпав пеплом полотно «экзистенциального воя» на столе.

— И почему же? — задумчиво спросил Митя.

— Потому что смысл у всех разный, а общий *метасмысл*... — Коля сделал явный акцент на первых двух слогах последнего слова, — он у всех одинаковый. У всех без исключения. Это заложено не столько в человеческой природе, сколько в природе всех живых существ.

Он налил ещё по пятьдесят и потянулся за «Милдаком», чтобы в этот раз не испепелить сигарету ради развлечения, а качественно покурить.

— Ну-ка, и какой? — интерес Мити явно обострился; он даже распрямил плечи и подался вперёд.

— «Больше счастья, меньше страданий». Всё. Вся суть, — Коля сидел и затягивался с довольным видом. — Истина всегда проста. Это положение лежит в основе вообще всех видов деятельности, которыми занимаются люди, даже если это счастье иллюзорно, — субъективно оно всё ещё переживается как счастье. Но про иллюзорность я сейчас говорить не буду, не в ней дело. А может, и буду, ты подожди...

Они выпили и закусили остатками сыра.

— Фишка в том, что этот метасмысл порождает совершенно различные по своей сути субъективные смыслы отдельно взятых людей. — Эта фраза несколько выбила Митю из колеи, ибо он начал замечать: чем сильнее его товарищ пьянеет, тем более витиевато выражается. — Поэтому кому-то в кайф бухать каждый день, что для него есть *самоцель*, а кому-то этого мало, кто-то чувствует, что хочет в Сколково, я не знаю, в Кремниевую Долину там — над книжками или компьютерами им ежедневно нравится корпеть. А сила теми и другими двигает одинаковая. Но первое — это счастье, скорее, иллюзорное, потому что оно возникает как следствие утопления в навязанных социальным или животным началом желаний. Бухать — равносильно уменьшению степени сознательности — это, что называется, следствие мортидо, т.е. инстинкта, выражающего стремление вернуться в неорганическое состояние. Стремление к смерти, короче говоря. По Фрейду всё. Серёга рассказывал, помню, — он любил всю эту канитель психологическую и философскую. — Коля глубоко затянулся и, откинувшись на спинку стула, выпустил дым к потолку. — Иллюзия здесь в том,

что человек получает кайф от навязанных ему желаний, а не от тех, которые он определил для себя сам. Хотя тут уже минное поле для рассуждений, надо быть аккуратным — ибо кто сказал, что все самые осознанные желания не являются следствием изощрённо вывернутого и скрытого социального или животного начала? — он задумался. — Я бы искал здесь уже какое-нибудь начало метафизическое, идеальностное, но это как-нибудь потом, — и он затушил окурок в пепельнице. — Строго говоря, любая деятельность, какой бы высокой она ни казалась, это тоже своего рода достижение опьянения. Один что-нибудь пьёт, другой что-нибудь делает, а пьяны — оба. Иллюзия так и так. Хотя, в конце-то концов, что такое вообще реальность? И имеет ли это значение?

В ответ на поставленный вопрос Митя легонько кивнул задумчиво, налил обоим. Попутно он ощутил странный звон в ушах, который, впрочем, почти сразу же прошёл. Они выпили, и Коля продолжил:

— Я в одном философском журнале прочитал недавно, что вся жизнь, хоть ты делай, хоть не делай, — сплошное перманентное опьянение, просто кто-то достигает его, как я уже сказал, делом, а кто-то — веществами. Значит, истинного счастья не существует, есть только иллюзорное! Но, с другой стороны, чтобы употреблять какую-то одну из ди-хо-то-ми-чес-ких категорий, — произнёс он по слогам, Митя напрягся, — нужно, чтобы обязательно была противоположная. А значит, как мы можем говорить, что всё счастье — иллюзорное, если истинного не существует? Значит, оно одно. Какое есть. Одно, и всё тут — и не иллюзорное, и не истинное, а простое счастье. У каждого своё.

Глаза Коли начали заплывать. Митя понял, что восемь выпитых рюмок вызвали у того слишком большую дозу «простого счастья».

Они просидели минут пять в тишине. Коля просто выключился, или «завис», Мите не нашлось, что ответить сразу — ему требовалось время на осмысление. Пользуясь случаем размять ноги, он подошёл к окну, чтобы в очередной раз окинуть взглядом бездонную небесную серость и понять, где здесь прячется самоцель. На проезжей части у дома послышались крики двух парней и звуки потасовки: сосед на «кресте» в очередной раз не поделил место с соседом на «марке». «Два дегенерата на ведрах, — подумалось Мите. — Не хватает третьего на "чайзере"».

— Так, подожди. Я перетёр и вернулся, — произнёс Коля, не пояснив, с кем и откуда. — Иди сюда, я не договорил, — позвал он, немного пошатываясь и привстал, чтобы снова налить.

Стоило Мите сесть обратно, как звуки потасовки внизу закончились.

— Подоплёку, Митяй, надо не искать в вещах, а вкладывать туда самому. Вот ты говоришь: «Что мне смотреть на небо, если в нём нет никакой цели?» Небо, Митька, это и есть сама цель!

Как и подобает весьма пьяному человеку, Коля перестал замечать меру сигаретам и потянулся за очередной сразу после опрокинутой с Митей рюмки.

— Да даже в рамках того же бильярда, о котором ты говорил «луз-то нет», вот это всё, — Коля подкурил. — Загнать шары в лузы — это чисто навязанная задача. Есть лишь одно бесконечное поле бильярдного стола с неисчислимым количеством шаров, а над всем этим — Великий Кий твоего сознания. Луз вообще не существует, строго говоря, это ты сам придумал, что они почему-то должны быть. Но в этом-то и проблема: ты, решивший, что они по непонятной причине должны быть, негодуешь из-за того, что их нет. А кто тебе их обещал? Тут, кстати, тема сложная, ибо тяжело различить, сам ли ты решил так или же некая культурная прослойка поместила тебе

в голову определённый слот предвзятостей по отношению к миру... ты присмотришься внимательнее и поймёшь, что на этом бильярдном полотне нет ничего, но при этом — одновременно есть вообще всё, что ты захочешь. Не потому, что это всё есть *само по себе*, а потому, что ты *сам так захотел*, чтобы оно было. Более того, бить шары — это самоцель, Митя! Шары свободны от навязанных им смыслов, просто бей их, а далее — смотри, как они разлетаются. Это красиво без всяких излишеств в виде необходимости загнать их в лузы, которые заданы как бы правилами сверху, якобы наличие которых ты, что смешно, сам себе и придумал. Нет, я не устану повторять по пять раз, лишь бы дошло — ты ещё раз пойми, чётко осознай именно то когнитивное место, где ты, Митя, *конкретно* тупишь, — Коля закашлялся от слишком глубокой затыжки и повторил: — Ты *сам* почему-то придумал, что правила и лузы должны быть, а потом *сам* почему-то начал загоняться от их отсутствия. Ни правил нет, ни сводов, ни луз. Один лишь ты, маленький, но всемогущий, на этом бескрайнем бильярдном столе.

Он потушил сигарету.

— Красиво, Радостин, говоришь, — Митя закинул в рот кусок докторской. — Да как-то проще от этого не становится. Хотя не знаю, может, ты и прав. Это подумать надо. Знаешь, бывает так, что смотришь на какой-то вопрос и имеешь о нём какое-то, ну, представление, что ли. И так долго смотришь с этой стороны, что личное представление начинает казаться будто бы объективным фактом. А потом приходит кто-то и конкретно так тебя вздёргивает, пинает и заставляет с другой стороны взглянуть. А тут уже от глупости человека дальше дело зависит: он либо встанет на другое место, но с закрытыми глазами, лишь бы вернуться потом назад, либо так посмотрит, что потом уже не развидит, — Митя закурил. — Да, это думать надо. Так сразу и не поймёшь. Много думать надо...

— Ты лучше думай не много, а головой, — упрекнул Коля. — Детство хотя бы вспомни. То есть не детство, а уже отрочество — как мы во всякие песочницы, подобные «Майнкрафту», целыми днями рубились. Жизнь, Митяй, скорее подобна этому самому «Майнкрафту» с его бескрайними и принадлежащими тебе просторами, отсутствием строгих законов и правил, нежели классическому коридорному шутеру, где тебя вежливо проведут за ручку и покажут — и подскажут, — что, когда и как нужно сделать. А если поставить лёгкую сложность, так вообще всё сами сделают, — и не поймёшь, играл *ты*, или за тебя. Жил *ты*, или за тебя? В первом мы проводили сотни — если не тысячи — часов, потому что сами определяли смысл своего бытия там, а шутеры пачками меняются, но больше десяти часов в них делать нечего, — договорил Коля с ощутимой спешкой и встал из-за стола. — Две минуты.

Он ушёл в ванную.

Две минуты плавно перетекли в десять, но возвращения Коли так и не последовало. Митя всё это время думал о настойчивых Колиных рассуждениях. В какой-то момент пришло понимание, что последние минут пять он сидит, уставившись на лежащее поверх скатерти полотно. Слишком большая надпись была не особо читаемой в состоянии лёгкого «простого счастья» со столь близкого расстояния, поэтому Митя встал и немного отошёл, чтобы в очередной раз прочитать: КРУЖОК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЯ.

Кажется, что фраза была перечитана и обдумана раз десять, пока нечто не щёлкнуло в голове, и Митя подошёл к старому советскому комоду в углу комнаты, открыл его верхний ящик. Столь же долго он рассматривал представшую взору тетрадь

с однотонной чёрной обложкой — открыть Митя её не решился, вместо этого пошарил в глубине ящика. Стоило ему нащупать маленький пакетик, из-за дверей ванной комнаты послышался приглушённый голос Коли:

— Вся вот эта шелуха франкловская, мол, «ищите смысл снаружи, в мире, цепляйтесь за него, внутри ничего нет». В задницу его надо слать со своей логотерапией. «Исцеление Смыслом Снаружи», — о как придумал хитро, а? Не, спору ноль, в основных положениях он, конечно, прав, но смысл — он только внутри и только изнутри. Всё. Вот здесь... — в этом месте Митя услышал характерный звук трёх ударов костяшек о череп. — Всё остальное — чушь собачья, брехня. Как там в этой песне поётся, Митька? «Это не я там снаружи, я только внутри». Я только внутри этой ванной... Она не про это, конечно, но просто хочу сказать, что снаружи пусто — пусто было, пусто есть и пусто будет.

Митя не знал ни того, кто такой Франкл, ни чего-либо про его логотерапию, но что-то ему подсказывало, что Коля мог неправильно Франкла понять. В любом случае, в матчасти Митя был слаб и связываться не стал — Серёга, быть может, связался бы, а он — нет.

— Сейчас, подожди, сейчас всё будет... — продолжил Коля оттуда же, немного прокашлявшись, будто собирался переходить на театральные интонации. — Секи: «Не даём мы тебе, о Адам, ни определённого места, ни собственного образа, *ни особой обязанности*, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Ты, не стеснённый никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. *Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать всё, что есть в мире...*» — Эту часть Коля произнёс особенно громко: — Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, — СВОБОДНЫЙ! и славный мастер — сформировал себя в образе, к-который ты предпочт...» — он не договорил, включив бешеный поток воды, чтобы заглушить все звуки.

Митя, всё это время заворожённо слушавший, отпустил схваченный пару минут назад в комод пакетик, оставив его на прежнем месте, и закрыл ящик, двинувшись к столу. Он чувствовал себя вполне отлично, совершенно не понимая, отчего же его товарищу стало столь плохо. С другой стороны, Митя, скорее, должен был спрашивать, отчего же ему *так комфортно*, ибо девять рюмок водки для давно не искавшего «простого счастья» человека должны были оказаться задачей непосильной.

— Я не договорил, — сказал Коля, открывая дверь ванной. — Вот теперь нормально. Это, кстати, был Пико делла... Мирандела. Или Мирандола, чёрт его знает. Философ из Возрождения.

Он ринулся к столу и прикурил очередную сигарету.

— Ты бы это, может, остановишься уже? — обеспокоенно спросил Митя, кивнув на водку.

— Тихо. Не суети, — отрезал Коля. — Я это всё веду к тому, что объективный смысл, несомненно, являлся бы суровым спасением от напряжения — как и любое наставление тебе, придуманное за тебя, он позволил бы снять, как бы редуцировать из жизни самую страшную для усреднённого человека вещь. Знаешь, о чём я, Митяй? — Коля не стал дожидаться ответной реплики и продолжил: — Ответственность. Причём самый непереносимый для обывателя вариант: не просто ответственность за кого-то или за некое дело, нет. *Ответственность за свою собственную жизнь*, — и он обильно закашлялся, глаза его заслезились из-за дыма. — Люди пачками, миллионами занимаются бесполезной чертовщиной и плодят десятки идеологий, направленных только лишь

на спасение от этого напряжения. Им не приходится беспокоиться: смысл есть, он у тебя на ладони, вежливо исполняя свою роль в его рамках. Тебе его дали, а это равноценно тому, что за тебя решили, — тем самым, сняли с *тебя* необходимость решения. Ориентируясь на объективные смыслы, ты как бы перекладываешь ответственность за свою жизнь на того, кто этот самый смысл пытается тебе всучить. — Коля подорвался и разлил остатки второй бутылки. — «Свободу» за свободу! — произнёс он, протянув рюмку другу.

Митя хотел было ответить на эту реплику, но его товарищ никак не мог договорить и всё продолжал:

— Так вот, Митяй, я тебе уже говорил, что угнетает не сама бессмысленность, а то, что в рамках этой бессмысленности ты должен суетиться с тем, с чем не хочешь, да? За тебя пытаются решить и тебе пытаются навязать, как жить эту самую жизнь... а слабый ведь примет, потому что принять — снять ответственность. Но ты подожди, из этого не следует, что можно делать вообще всё, что ты захочешь, тут тоже надо аккуратно. Не следует, что нужно потакать всем своим желаниям и страстям и всему тому другому, что ты считаешь своим, хотя на самом деле оно таковым не является, ведь пускай желания ты и осознаёшь, но причин их появления в голове — не знаешь. А если бы знал, то понял бы, что большая часть твоих желаний — не твои. Там либо социально навязанная, либо биологически обусловленная шелуха... но я, кажется, повторяюсь, — Коля потушил окуроч. — Серёга так говорил. В общем, разбирай эту кучу дерьма, наводнившую твоё сознание, и ищи свою внутреннюю природу, ищи метафизическое, а не социальное и биологическое. Оно есть, надо просто научиться выслеживать с помощью определённой магии, — он снова взял пустую бутылку и попытался налить из неё, не сразу осознав конец первого литра, продолжая говорить. — Вот если бы ты делал вообще всё, что — как тебе кажется — ты «хочешь», то это было бы нечто такое а-ля примитивный гедонизм. Как там пелось: «Вечное дольше сиюминутного, но сиюминутное раньше вечного — что чего полезней?» Лично мне хватает разума и, видимо, уже никогда не *не хватает* так, чтобы можно было ничего не понимать. — Митя напрягся, пытаясь осмыслить нагромождение отрицаний в последней реплике Коли. — Я просто не могу разрешить себе жить как биологический или социальный, выражаясь словами Серёги, автомат, не могу позволять телу ползти за импульсами, которые ныне зовутся социально устоявшимся образом жизни: вечно и безвылазно сидеть в интернете, постить свою жизнь, думая, что кому-то не плевать, отвлекаясь от реальности по любому мелочному уведомлению из инстаграма или вконтакта, мастурбировать без конца, ибо два клика до сотен сочных женщин, упиваться различного рода хрючевом, которое нынче по неясной мне причине принято называть едой, будь то кфс, макдональдсы или прочие жральни, бухать и быть вечно чем-то обдолбанным, вечно тусить с «друзьями» в кофейнях, кафешках или на вписках с громким подобием музыки, что скорее представляет собою совместное времяуничтожение, нежели времяпрепровождение с глубоким межличностным общением, не спать ночами только потому, что случайно залип в сети, хотя собирался лечь в одиннадцать, играть в «доту» и ей подобные, снова и снова смотреть унылые сериалы от дегенератов для дегенератов, перманентно слушать музыку, к которой ты в лучшем случае вернёшься от силы дважды, и десять тысяч других способов сказать навязанным со стороны своего мозга или общества желаниям: «Да!»... — всё это, Митя, нужно вертеть на том же органе, на котором вертят свою жизнь любители подобного импульсивного досуга, — договорил Коля и подкурил очередную, потянувшись за бутылкой и совершенно забыв, что минуту назад уже проверял её.

— То-то я вижу, что ты освободился от биологических и социальных желаний, не прибегая к примитивному гедонизму, — съязвил Митя, указывая кивком на пустую бутылку в одной руке и сигарету в другой.

— Тихо. Во-первых, Митя, хороший разговор иногда требует изменённых состояний сознания. Это инструментальное использование веществ, а не рекреационное, основанное на мортидо. А во-вторых, это не имеет значения. Меня всё равно не существует, — серьёзно возразил Коля.

— Ой, даже не начинай опять свои «философские абстракции», — отмахнулся Митя.

— Да я не в том смысле. Уже не по-восточному, не по-философски. Меня реально не существует. Избегать слепого гедонизма — удел живых, а я — так, чисто атмосферу создать, для виду.

— Вот у тебя глаза и мёртвые по самое не хочу с самой встречи, да? Может, остановишься уже с рюмочками? — спросил Митя, потянувшись за пачкой, которая оказалось пустой, что вынудило его встать и пойти к пальто за новой, купленной вчера.

— Да ты бы на мужиков с моей смены посмотрел — и не такое бы увидел, Митяй. Я тебе говорю — это ещё цветочки, — Коля, наконец, осознал нескончаемость своего курения, потушив окурок и решил дать себе паузу; Митя в это время сел на стул и подкурил из новой пачки. — Просто, Митяй, нужно больше осознанности в жизни. Нужно понимать свои настоящие желания, исполнять их. Делай то, что я действительно «хочет», а не то, что ему «нужно» делать. Только сперва дифференцируй настоящее «я» от того, что ты обычно за него принимаешь, — Коля, глубоко вздохнув, вдарил по столу. — Да ты пойми! Нам дали буквально на секунду коснуться вечности, а человек ещё должен бездарно и уныло вертеть своё время на известном органе ради деятельности, которая не приносит ничего, кроме страданий или денег — что, в сущности, одно и то же! Деятельность, которая даже не выбрана человеком самостоятельно, а исключительно незаметным для него образом навязана, выбрана так, чтобы он ещё и остался с мыслью, словно выбирал сам?.. Не, Митя, я хочу делать то, что моё метафизическое «я» хочет. И пускай всё бессмысленно, пускай — я уже принял это, прочувствовал всей душой, осознал, что это не конец света, сечёшь? Бзик найти смысл — он только бзик. Его можно вырезать, вырвать с мясом из своего сознания и понять, что отсутствие объективного смысла и просто данность мира никак не мешает жить. Это отсутствие только освобождает, позволяя принять всю ответственность в полноценной мере за своё существование и сделать с ним что-нибудь — что угодно! — *самостоятельно, согласно своей Воле. И жизнь твоя направлена уже не данностью, а лишь тобой*, — Коля сделал минутную паузу, чтобы, наконец, завершить. — И вообще, Митяй. Ты настолько свободен, что свободен даже от объективных смыслов! Вообще! Полностью! Да даже он свободен, Митя! — Коля сделал указывающий жест куда-то в сторону листа, который был каким-то двуликим по своей природе и зависел от обстоятельств: то ли аналоговый, то ли цифровой.

Митя просел.

— Не понял, кто? — переспросил Митя.

— Он! — Коля, начавший откровенно шататься, ещё раз, но уже указательным пальцем ткнул в лист. — А ты думаешь, тут п-просто так третий стул у стеночки всё это время стоял?

— Не въехал. Радостин, ты хочешь сказать, что он всё это время слышал? И даже не просто слышал, но ещё и слушал? — спросил Митя.

— А как иначе-то, Митяй? Т-только так, — Коля пожал плечами, а Митя понимающе кивнул.

— Третий стул — это чисто Иркин был... ну да ладно, не вечно же ему пылиться без дела, — подытожил Митя.

— Помнишь, тогда, летом после третьего курса, кажется, в семнадцатом, мы нажрались и иксс... — Коля осёкся, — искали смысл жизни? Ты т-тогда ещё стоял, в зеркало смотрел и в глазах его ис-скал. Или это Серёга был? Кто бы это ни был, не разглядел он его просто, Митя, тогда! Не разглядел! А вот всмотрелся бы в себя повнимательнее, и п-понял бы. Понял бы, что свободен, как тот окуроч, б-брошенный тобою в неизвестность у п-подъезаа... подъезда! Он не знает ни того, *что* придало ему импульс, ни того, *что* будет в конце этой неизвестности, у него нет ни смыслов, ни начала, полёт ради самого факта полёта во всей красоте последнего — это и есть его цель! Понял бы, что свободен настолько, Митя, что свободен даже от свободы! — крикнул Коля и, взяв бутылку «Свободы», метнул её в открытое окно. — **ТЫ СВОБОДЕН!**

Митя поднял брови от неожиданности, но без чувства удивления. Снизу раздался ни с чем не спутываемый звон разбитого стекла, причём отчётливо было слышно, что стекла автомобильного.

— Всё, — серьёзно и совершенно трезво произнёс Коля. — Я договорил.

Сказать, что было дальше, достаточно трудно, ибо примерно в это время у Мити в голове что-то определённо вывернулось — вероятно, из-за звона, который почему-то никак не прекращался со столь яркой силой, что он моментально почувствовал наличие в себе половины литра «простого счастья», за чем последовал густой и непроглядный туман, будто бы типично владивостокский, но уже осознаваемый, а не физический. Местным летом достаточно часто сталкиваешься с тем, что выглядываешь из окна своей пятиэтажки с некоторым удивлением в силу невозможности разглядеть соседний дом. С определённым удивлением смотрел Митя на стол, не имея возможности адекватно его разглядеть, а **КРУЖОК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЯ** не столько двоился, сколько стал совсем уж многоликим, пока не размазался в нечто абсолютно нечитаемое, словно бы стёртое из существования.

* * *

Митя открыл глаза. По всему телу отдавало свинцовой слабостью, неопишимо болела шея, а в ушах по-прежнему стоял нескончаемый звон разбитого стекла, но уже в совокупности с автомобильной старлайновской сигнализацией; часы показывали полвторого дня, а первым, за что зацепился взгляд, был законный пейзаж, как всегда не особо отличавшийся от аналогичного в любой другой день июня: промозгло, сыро, ужасно мерзко и в неисчерпаемой мере туманно. Он прожил здесь всю свою жизнь, но каждый раз, просыпаясь и встречая свет из окна, удивлялся такому лету, будто бы это происходило впервые, — оно и понятно, ведь попросту невозможно привыкнуть к бесконечной серости. Но было в ней что-то иное, что-то отличающее её от той, что была в любой предыдущий день, что-то, сперва Митей не уловленное, но постепенно нарастающее в его эмоциональном поле. Он, скинув с себя одеяло из-за невероятной духоты, вспомнил произошедшее вчера — по крайней мере всё то, что было до момента со свободным от смыслов окурком и отправленной в свободный полёт «Свободой»; дальнейшее же казалось чем-то невероятно густым и, как ни странно, наименее

интересным — Митя не помнил конкретики, но чувствовал, что разговор значительно упростился с начатой третьей бутылкой и ушёл куда-то в степь не абстрактных «философских трений», а в область обмена произошедшими за это время мелочами — словно каждый более подробно, со всем должным пьяному человеку эмоциональным отношением рассказал всё, что у него происходило за последние пару лет, будь то мелкие стычки с коллегами в «Роснефти» или в баре. Это чувство имелось, но Митя, довольствуясь хотя бы схематично вспомненным, никак не мог понять только одного — куда подевался Радостин?

Он прекратил смотреть в себя — в этот же момент остановила свой вой сигнализация — и перевёл взгляд на заоконную серость, чувствуя некий особый, непонятный привкус нового самоощущения. Возник стандартный утренний позыв взять смартфон и открыть ленту, но желание было с крылатой лёгкостью проигнорировано Митей; вместо этого он медленно встал и подошёл к окну разглядывать улицу. Там, снизу, грязные ручьи неслись вдоль едва целых бордюров проезжей части, и там же, пошатываясь, стоял сосед, раздражённо дёргая руками, рассматривая месиво, оставшееся от лобового стекла его «марка», и попутно крича на владельца «кресты» — если предполагать, что тот владелец, — который то ли виновато, то ли сочувствующе стоял рядом и молчал.

Звон в ушах окончательно исчез. Невозможно сказать, сколько Митя простоял так у окна — может, двадцать минут, а может два часа, — но он чувствовал, что смотрит на эту серость абсолютно с иной точки зрения, не как раньше. Словно бы ему, наконец, удалось вскрыть её, обнаружить внутри пустоту, и только теперь, не заикливаясь на мнимом, никогда не существовавшем внутреннем, обратить внимание на априорную её красоту, которая всё это время была здесь, прямо у него под носом, обратить внимание на то, что ту самую пустоту он в силах заполнить сам. Ему было трудно облечь это в словесную форму — в первую очередь, для самого же себя, — и потому он просто смаковал это чувство. Инстинктивно захотелось позвонить Коле и поблагодарить за вчерашнее, пускай Митя и сам ещё не до конца понял, что в его голове произошло и произошло ли в принципе, но он быстро осёкся и в крайней мере удивился, вспомнив некий конкретный факт, который на время в силу странных обстоятельств вылетел у него из памяти. Митя, ощутив, как ноги его подкосились, присел на кровать. Часто бывает, что снятся эмоционально насыщенные сны, которые в своей насыщенности перекрывают известные человеку вещи настолько, что тот, проснувшись, будет ходить полдня и чувствовать себя крайне *странно и неестественно*, словно бы сон как раз таки и был действительностью, а действительность — лишь вымысел, в котором на самом деле живой человек по какой-то глупой причине умер.

Теперь Митя уже окончательно пришёл в себя и вспомнил, что Коля был свободен настолько всеобъемлюще, что, устав, решил ограничить рамки этой самой свободы петлёй сразу после выпускного — три года назад. Или же, наоборот, — расширил эти рамки посредством прохода через петлю куда-то вовне, освобождаясь от тюрьмы восприятия, коей является человеческое тело.

Митя, кое-как встав на трясущихся ногах, добрёл до кухни, где увидел картину, заставившую сползти по стене: на полу валялись сломанный стул и разбитая люстра, обмотанная бечёвкой с петлёй, а на столе вместо скатерти лежал прожжённый **КРУЖОК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЯ**, на котором стояла донельзя забитая пепельница, и две пустые бутылки без этикеток в оконном проёме мирно смотрели горлышками в небо, которое удовлетворяло их само по себе, без всякой подоплёки.

Вернувшись из тумана собственного сознания, Митя, встав, посмотрел на часы и поразился, что дело шло к пяти. Он относительно пришёл в норму, почему-то решив для себя — вероятно, чтобы успокоиться и хоть как-то объяснить происходящее, — что он вчера купил две бутылки водки, чтобы выпить их в одно лицо: иначе этот пробел в памяти и другого рода яркий галлюцинаторный бред было не объяснить, — кроме как литром «простого счастья». О причинах разбитости лобового стекла «марка» Митя думать даже не пытался, а вот о причинах разбитости люстры, обмотанной бечёвкой, он догадывался.

Умывшись и как следует взглядевшись в разбитое зеркало в ванной, он вернулся в комнату и, открыв свой старый комод, нашарил в углу ящика тайник, достал маленький зип, оставленный Ирой. В нём лежал небольшой клочок бумаги, подписанный с внешней стороны: *«На случай, если всё-таки устанешь спрашивать о том, где он, — этого точно хватит»*. Тайник этот изначально принадлежал Ире — по очевидным причинам, — и прятала она что-либо не от Мити, а от потенциального возникновения охранителей общественного порядка, чтобы те не дай Бог не пресекли периодические прикосновения к смыслу. Митя знал, что Ира оставила ему там «последний подарок» — знал потому, что она сама об этом сказала, но он за всё это время ни разу даже не пытался проверить, что именно там лежит, — оттого, что и так догадывался.

Он достал из зипа этот клочок бумаги, оборачивающий нечто маленькое; это самое нечто сразу же выпало квадратиком фольги, который так же что-то оборачивал. Митя потянулся было за ним, но зацепился взглядом за то, что ожидал увидеть менее всего: на внутренней стороне клочка бумаги было оставлено сообщение. Мелкими буквами было написано: *«Ты всё-таки решился прекратить задавать себе глупые вопросы? Или уже прекратил? ;)»* И за этим предложением было написано следующее, ещё более мелким почерком: *«Пересечение телесных путей здесь — »*, а далее, покрупнее, был адрес электронной почты.

Митя развернул фольгу: содержимое представляло собой три соединённые марки, которые, судя по мистически-синему цвету, были частью того «ковра смыслов», принадлежащего Ире.

Митя оторвал одну, сложив остальные обратно, и долго-долго разглядывал этот полусантиметровый кусочек картона. Свободной рукой он достал из того же ящика однотонную чёрную тетрадку и открыл первую страницу, на которой был выведен карандашом несколько переименованный Митей куплет из его любимой песни с названием, крайне тесно переплетавшимся с Колиной фамилией:

Кем теперь
Буду я спасён?
Буду вознесён
Кем на небо я?
Говорят,
Смысл есть во всём.
Может быть и так.
Может быть.
Но смысл-то не мой.
А МОЙ — ГДЕ?

Он перевёл взгляд на кусочек картона в своей руке. Трижды перечитав этот пассаж, Митя взял карандаш и зачеркнул две последние строчки. Положив тетрадь обратно в комод и собрав марки в ладонь, Митя подошёл к окну и уставился в серость —

в предыдущий раз он наверняка бы пытался разглядеть там нечто, но в этот просто смотрел на неё со всей своей обычной бесцельностью и, что было удивительно, чувствовал явное удовлетворение. Глубоко вздохнув, Митя сосредоточил внимание на ощущении свежести в груди и выкинул картонки напрямик в неизвестность только лишь затем, чтобы они существовали сами по себе. «Было бы желание, а метафизическое всегда найдётся», — подумалось ему.

На руке Мити возникла едва заметная полоса света, и он, подняв голову, удивился крайне редким для июня солнечным бликам в небе. Митя погрузился в странное состояние, схожее с чем-то таким, что он испытывал последний раз в глубоком детстве: ему семь, дома никого, он бодро бежит из комнаты в комнату, но стоит прилечь на кровать — послеобеденная дремота одолевает, клонит в сон. Сквозь едва прикрытые шторы комнату ослепительно заливает солнце. Покой, чрезмерная тишина, посапывающее сознание и плавно затухающие на солнечных лучах пылинки, — всё это приводит к чувству, что ты растворяешься в льющемся свете. И если Коля с его «больше счастья, меньше страданий» был прав, то именно в этот момент отчётливо ощущается абсолютный пик счастья и полное отсутствие страданий.

Митя никак не мог понять: действительно ли происходило вчерашнее? Не являлось ли оно лишь плодом опьянённого сознания, уставшего от самого же себя, бесконечно заикнувшегося на бессмысленности бытия? Сознания, достигшего высшей степени экзистенциального воя и потому решившегося на кардинальные действия?

Солнечный свет всё сильнее заливал комнату. Митя, по-детски улыбнувшись ему, понял, что на самом-то деле реальность или иллюзорность вчерашних событий совсем не имеет значения, ведь происходящее нужно просто принять как оно есть, во всей его красоте, а не циклиться на бесцельности — полёт ради самого факта полёта.

Да и в конце-то концов, что такое вообще реальность?

Георгий Панкратов

Кризис первого курса

Петербургские студенческие рассказы

Хорватия

Она зевнула и повернулась ко мне.

— Ну всё, с меня хватит. Ну не могу я читать такую мерзость, особенно по утрам.

С утра читаешься, потом весь день в депрессии ходишь.

Встала со своей кровати, подошла к моей:

— Ну, как спалось?

— Да никак.

— Вот теперь ты похож на себя, — улыбнулась и протянула лист. — Держи свою похабщину.

— Это не похабщина, — студент первого курса, я судорожно пытался придумать что-то умное, — а пласт подлинной философии.

— Пласт несмытого говна, — она пошла на кухню. — Суп?

— Суп, — устало вздохнул я.

Хотелось ещё полежать, но подъём был неизбежен — дела. Оставалось минут двадцать, чтобы поесть и разойтись. Чтобы опять долгое время не общаться, чтобы успеть соскучиться по этим тёплым, влажным, будто бы вечно чем-то удивлённым, большим и нежным, а главное — добрым, бесконечно добрым, бесконечно светлым, бесконечно прекрасным, бесконечно глубоким, бездонным, сияющим Истинным Блеском Жизни, Силой Мудрости Счастья, Бесконечностью Трепетного Сердца, Алым Рубином Радости, Испепеляющим Трепетом Блаженства, Хрустальными Ручьями Гармонии, Кристальными Слезами Искренности, чистым, чистым, чистым глазам — Зеркалом Вселенского Величия, Зеркалом Космоса Душ, Зеркалом ТОЙ силы, Зеркалом ТОГО мира, Зеркалом ТОЙ реальности.

— Вставай, готово, — услышал я.

Какая прелесть! Я встал, оделся и направился на кухню, где ополоснул лицо холодной водой.

Панкратов Георгий Витальевич родился в Ленинграде в 1984 году. Окончил гуманитарный факультет СПбГУТ им.проф.М.А.Бонч-Бруевича. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Урал» и др. Автор книг «Российское время» (СПб., 2019), «Мечта о прекрасном, несбыточном» (М., 2020). Проживает в Севастополе и Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 12.

— Бррр, — передёрнуло меня.

Она отдёрнула занавески на окне, в маленькую кухню мягко влился сонный луч света и растёкся по стенам. Неожиданно она повернулась ко мне, и луч осветил её прелестное личико — не то чтобы оно было красивым, оно было просто божественным.

— Парадокс, — усмехнулся я.

— Чего? — она наклонила голову, как делала всегда, изображая непонимание.

— Ничего, — ответил я, вытираясь полотенцем.

Она присела и улыбнулась, мечтательно протянула:

— Прекра-а-асно.

— Что прекрасно? — теперь уже не понял я. Отложив полотенце, я выставил табурет из-под небольшого кухонного стола и попробовал суп.

— Жить, — снова улыбнулась она. — Вот что прекрасно.

— Согласен, — пробормотал я, пережёвывая хлеб.

— Ещё бы ты не был согласен.

— К чему это ты?

— Так.

Я плюхнул ложку сметаны в тарелку.

— Мы иногда не понимаем друг друга. Все мы разные, да. Но я не хочу, чтобы ты это, как, ну, это...

Она взглянула на меня с удивлением. Я понимал, что эту фразу нужно сказать как можно увереннее, и именно от этого осознания она получалась какой угодно, но только не уверенной.

— Я п... Я просто хочу, чтобы ты знала, что моя м... ну, эта дружба, ну, в общем, я х... хочу, чтобы ты это знала, я г..., я готов помочь тебе, если смогу, спасибо тебе.

— За что?

— Ну, так это. За всё, — я неловко улыбнулся.

А за окном стало ещё больше света, и он новыми и новыми порциями вливался, втекал в кухню, даря жизнь, даря Ей — себя. Ведь Она была — свет.

По улице мы шли молча. Я не знал не только, *что* могу или имею право сказать ей, но даже и *что* именно хочу сказать ей. Да и она молчала. «Какой же я дурак и сволочь, — думал я. — Хотя бы вымыл посуду. Или, не знаю...»

Думая всё это, я случайно наступил в глубокую лужу и забрызгал её брюки. Не сильно, но заметно.

— Прости, — тоскливо и глупо сказал я.

Она промолчала. Может, не слышала? Может, не хотела? Я снова заговорил:

— Послушай! А как ты смотришь на то, чтобы сходить посмотреть на кинематографическую продукцию современности?

— Не знаю, — она вздохнула и напела какую-то мелодию. — Ещё эти экономические курсы. Да и вообще, знаешь, больше люблю театр.

— Театр — тоже нормально. «Вишнёвый сад» я бы посмотрел.

— Я современный люблю.

— Что может быть современнее «Вишнёвого сада»? — я попытался сострить.

— Для меня главное, нравится мне или нет, а не классика там — не классика.

— Хорватия. Хорватия!

— Что ты там бормочешь? — усмехнулась она. — Какая Хорватия?

Я уставился на неё тупым взглядом. Мне было уже не до смеха. Приступ снова начинался — он подкатывал к горлу и чесал его изнутри сотней маленьких язычков.

И я снова бессмысленно шептал:

— Хорватия. Хорватия!

Мне уже нечего было сказать ей. Нужно было бежать. Пытаясь улыбнуться, но уже корчась от боли, я помахал ей рукой и кинулся во дворы — наугад. Но сил не хватало, приступ скручивал, рвал изнутри.

— Хорватия! Хорватия! — уже всюду орал, а не бормотал я.

Мимо прошёл мужик в спортивном костюме и покрутил пальцем у виска. Я рыдал — слёзы боли и отчаяния стекались к подбородку и срывались вниз, отправляясь в свой последний губительный путь.

Забежав в какую-то арку, я рухнул на землю. Каждое движение причиняло адскую боль.

— Хорватия! Хорватия!

Я готовился. Приступ уже накрывал меня. Я обречён был отдаться ему в этом васильеостровском колодце. Подняв глаза к квадрату неба, зиявшему надо мной, я широко открыл рот и издал дикий вопль:

— За-а-а-агре-е-е-е-б! — и потерял сознание.

Звук завибрировал в стенах колодца и, отскочив упругим мячиком от стен, воспарил к небу, оставив меня умирать.

Восемнадцатый раз в моей жизни на этой планете Земля.

Очнулся я часа через три в своей собственной блевотине, в том самом дворе-колодце.

— Я снова жив, — улыбнулся себе и квадрату неба. Медленно попытался встать. Слава Судьбе, это получилось. Шатаясь, я дошёл до скамейки.

Минут пять мои мысли принимали упорядоченную структуру. Наконец, я понял:

1. Сегодня — в Шеньгуа;
2. Я обделался перед ней по полной;
3. Чертовски хочу в сортир.

Устало вздохнув, я достал из кармана брюк носовой платок и принялся вытирать вонючую блевотину с куртки. Раздался звонок. Это мобильный. Я ответил.

— Ты в порядке?

Это была она.

— Да.

— Ну и отлично. Удачи тебе!

Конец связи. Зачем звонила? Она что, переживает за меня?

Пошёл дождь. Я встал и тоже пошёл — в сторону улицы. В этих дворах точно не могло быть сортира.

А ведь нужно было сказать ей спасибо.

Это же вечный двигатель моего чистого, светлого и отчаянного чувства.

1. Я в поисках места, которое можно использовать как сортир. Удивительно: все мои мысли — ВСЕ! — работают лишь в одном направлении: где бы найти такое место? И пока я не решу этот вопрос, все остальные для меня не будут иметь значения. Вот главное в жизни — сортир! Сортир! Найти сортир! *Что* там любовь? *Что* деньги? Книги? Сортир — вот что главное в жизни. Ведь когда я там, то не думаю ни о любви, ни о деньгах, ни о книгах.

2. Сегодня праздник. Может, кто-то над ним смеётся, кто-то его ждёт, кто-то любит, кто-то к нему равнодушен. Но так или иначе все имеют к нему отношение. Кроме меня, кроме меня, кроме меня. Но теперь я об этом не печалюсь, я знаю — см. п.1, см.п.1, см.п.1.

14.02.

Когда я вбежал в Зал собраний, оркестр уже играл музыку, а двадцать пять человек стоя исполняли *Гимн А.Шеньгуа*. Я успел только к заключительной части:

...Ты знай, что ты велик
И что незаменим
Для мира и для стран,
Которые спасёшь.
О, славься, Фаххаран!
Ты свет Земле несёшь.

Фаххараны трижды поклонились Великому Мастеру и сели на длинную скамью вдоль стены. Я тоже присел с краю.

— Фаххараны! — раздался голос Великого Мастера. — Большинство из вас добились цели, и это не может не радовать меня и Великий Разум Шеньгуа, сила Его с нами!

Все снова поклонились, и Великий Мастер продолжил:

— Европа, Европа! Это мозг земли, нашей с вами планеты, Нового мира! Европа — это всё то лучшее, что в первую очередь требовалось сохранить. Я с гордостью за вас произношу: Европа спасена! Слава фаххаранам, умершим за великие и достойные государства. Ведь вам отлично известно, что с каждой новой смертью ваша жизнь становится длиннее. Но она приобретает новую цель, требует от вас нового Спасения! Цель — вот что главное, великая цель. У вас она есть, в то время как у других — пустота, только пустота!

На этих словах я на мгновение вспомнил лица однокурсников в переполненной аудитории, их смешки, и сам усмехнулся.

— Ну да ладно. Слушайте меня, фаххараны. Ваши государства! Азия — это сердце Планеты! Слушайте ваши мысли!

Великий Мастер встал на колени, и свет в Зале погас. Просидев с минуту, я услышал какой-то неясный шум в голове: «Ин-ди-я».

Мне восемнадцать.

Прошла неделя. Мне удалось записаться на те же экономические курсы, куда ходила она. Я просмотрел списки и очень просил записать меня в одну группу с ней, и просьба была удовлетворена. Я слегка волновался, пытаюсь представить, как мы там с ней увидимся, как я сделаю вид, будто бы удивлён встрече, мол, я и не знал, что она ходит именно сюда. А мне ведь так интересна экономика. Ещё бы! Я же спасаю государства.

На лестнице я услышал её голос и сперва обрадовался, но тут понял, что в этом прекрасном голосе отчётливо слышалось волнение, почти отчаяние цепляющегося за воздух человека. Она с кем-то говорила.

Я замер этажом ниже, нервно достал сигаретешку и закурил.

— Да если бы ты знал, — почти плакала она там, наверху.

— Я не знаю и ничего не хочу знать, — отвечал ей грубый мужской голос. — Я вообще не понимаю, как можно так серьёзно относиться. Ну, погуляли три недели, это же огого сколько, ты скажи, тебя саму-то не задолбало?! А?

— Витя! Витька! Да я же люблю тебя, ты чё, не понимаешь?

— Это не аргумент.

— А что, что же тогда аргумент? Что может быть выше, не знаю, серьёзнее, — она, кажется, задыхалась, запутываясь в словах, — такого аргумента?

Я представил её большие, заплаканные, нервно моргающие глаза, с надеждой глядящие в глаза другие, суровые и в то же время смеющиеся, и мне самому захотелось рыдать — от бессилия помочь ей, от бессилия вернуть ей это счастье, утереть её слёзы, обнять, сказать: «Вот видишь, всё хорошо. А ты плакала». Но это, как и всё хорошее в нашей жизни, было невозможно.

— Ну прости, прости меня, если я что не так сделала. Это тогда, у Митьки в общаге, да? — доносилось сверху. — Ну что же ты молчишь? Скажи что-нибудь, прошу тебя, не молчи! Ну я же не специально, веришь мне?

Он вздохнул.

— Ма-ша! Да верю я, верю. Успокойся. Не в этом причина. Нет причины, — голос Витьки стал каким-то растерянным и усталым. — Просто я не хочу ничего этого. Ну, быть вместе, все эти дела.

— И праздник же! Ведь в праздник! — отчаянно голосила она. — В день Святого Валентина!

— Да и хрен бы с ним, с этим Валентином, — рассмеялся он. — Ещё весь вечер впереди, найдёшь, с кем отметить.

— Не трогай меня, придурок! — у неё явно начиналась истерика. — Вали! Что ж, вали. Ты сам поймёшь, *что* ты... ты... *кого* ты просрал! Вали. Я не хочу перед тобой унижаться. Ты и не любил меня, гад! А трахал! Трахал, а не любил.

Раздался звук пощёчины. Невидимый Витька взорвался:

— Ну да, а что такого-то? Разве тебе не это было нужно? Чего ты от меня хотела? Ты ещё скажи, тебе не нравилось!

— Пошёл ты! — крикнула она.

— Дура долбанутая, — ответил Витька и быстро зашагал по лестнице вниз.

Я отвернулся и сделал вид, что просто курю. Но, когда он проходил мимо, всё-таки не выдержал и обернулся.

— Угости куревом, не в падлу, а? — попросил он.

Я машинально протянул сигаретешку.

— Благодарю. Вот бабы!

И быстро зашагал вниз.

— Бабы, — повторил я.

Наверху, этажом выше, плакала она.

Я был разбит.

Теперь здесь, на этих курсах, я буду совсем не в тему. Как я теперь пойду в аудиторию, буду кривляться, придуриваться? Когда у неё такое. Бедная! Я отдал бы жизнь, наверное, за её счастье.

Да, завтра у неё, скорее всего, будет другой — уж в этом Витька прав. Но это будет, скорее всего, завтра. А сегодня! Сегодня-то как ей больно!

Наверху её уже не было. Я поплёлся в аудиторию. Давно себя так погано не ощущал. Захожу, смотрю в пол. Пять минут до начала. Сажусь, осматриваюсь. Слава Судьбе, её нет. Теперь, думаю, если и зайдёт, то не обратит на меня внимания. Жду.

— Итак, тема у нас: «Спрос и распределение потребительского бюджета». Чтобы ответить на вопрос, как же всё-таки потребитель распределяет свой бюджет между различными видами товаров, почему он платит большие деньги за предметы роскоши,

без которых можно, в принципе, обойтись, да? И малые цены за ежедневно необходимые товары: хлеб, воду и так далее. И как потребитель уравнивает свою покупку в пределах бюджета, необходимо проанализировать механизмы потребительского выбора. Для этого мы обратимся к прошлой нашей лекции — функции полезности потребления в условиях бюджетного ограничения. Но сегодня мы рассмотрим несколько иную постановку проблемы.

Допустим. Записали? Ну и отлично. Допустим, предварительное решение о распределении бюджета принято, то есть при известных ценах товаров намечены определённые размеры покупок — так, что бюджетное ограничение исчерпано полностью, и свободных денег нет. Покупатель начинает думать, не заменить ли один товар другим, оценивая, чего же ему больше хочется. Так, это понятно?

В терминах функции полезности это означает, что покупатель сравнивает возможное увеличение полезности на величину ΔI , с уменьшением её на величину ΔI_2 за счёт перераспределения бюджета на величину ΔB в пользу первого товара, ΔB_1 равно ΔB , в ущерб второму товару, ΔB_2 равно минус ΔB . Значит, на доске это видно.

Далее. В этом примере приращение функции полезности на единицу приращения бюджета по первому товару больше уменьшения полезности на единицу уменьшения бюджета по второму товару, то есть ΔI_1 делить на ΔB_1 больше, чем ΔI_2 делить на ΔB_2 .

Перераспределение в обратном направлении в данных условиях также нерационально, так как возрастает исходное состояние. Очевидно, что оптимальный в конкретных условиях набор товаров будет сформирован тогда, когда по всем выбранным товарам имеет место равенство ΔI_1 делить на ΔB_1 равно ΔI_2 делить на ΔB_2 равно ΔI_3 ... Ну, в общем, так далее. Это означает, что никакое перераспределение бюджета не приведёт к большей потребительской полезности потребляемых товаров. То есть в данных условиях удовлетворённость от покупки в целом наибольшая. Распределение бюджета B_1, B_2, B_3 , при котором такое равенство выполняется, относительно возможных приращений является оптимальным. Соответственно, при известных ценах P_1, P_2, P_3 и так далее, оптимальным является набор товаров $G_1 G_2$ равно B_1 делить на P_1 и так далее, при, естественно, выполнении бюджетного ограничения в целом $P_1 G_1 + P_2 G_2 + P_3 G_3 + \dots$ равно B ... Условие это, в сущности, является очевидной формулой потребительского выбора: покупатель не желает менять намеченный набор товаров, так как считает, что никакие его изменения не приведут к лучшему составу покупки.

Предполагаемая таким образом рациональность поведения потребителя относится только к его выбору набора товаров в соответствии с его предпочтениями, то есть функцией полезности потребления. Сами предпочтения при этом могут быть далеко не рациональными — некоторые люди, например, потребляют наркотики и тратят на них немалые деньги. А спрашивается, почему?

Вот тут-то я всё и понял.

Летний сад

Стояла тёплая осень.

Он прогуливался по Летнему саду с задумчивым выражением лица. Ветер кружил вереницу листьев вокруг него, они взмывали в последнем золотом вальсе и снова в изнеможении роняли себя на землю. Деревья наблюдали за ними, покачивая уже на три четверти голыми ветвями в такт неведомой музыке, доносимой ветром издалека, из неведомых далёких стран, королевств, где прекрасной считается жизнь. В такт мелодии увядания, в такт осеннему вальсу, в такт последнему всплеску отчаянной жизни перед долгой и мрачной зимой.

Он тоже слышал эту мелодию. Хотя никто больше не мог её слышать, только листва и деревья. Но он тоже нуждался в ней — нуждался в этой музыке ветра, как и деревья, как и живые пока ещё листья.

Навстречу шла она.

Поравнявшись с ним, она вдруг вздрогнула, но он прошёл мимо, погружённый в музыку ветра.

Она окликнула его.

— Мария! — обрадовался он.

— Привет, — она улыбнулась. — Как же я давно тебя не видела!

— Да уж, — пробормотал он.

— А ты всё такой же растяпа, — она опять улыбнулась и заглянула ему в глаза. В ней чувствовался неизменный оптимизм, она была довольна своей жизнью, в которой её явно ничто не смущало, ничто не беспокоило. Ну, почти. Кое-что он узнает потом. — Шарф не надел, а ведь ветер!

— Да я... — начал он.

— Тсс, — она приложила палец к его губам. — Слышишь?

— Ветер.

— Ну да, ветер.

— Ты его слышишь? Слышишь эту музыку?

— Посмотри, — он указал на листья.

— Прелесть, — прошептала она. — Давай присядем.

Они присели на скамейку. Она положила голову ему на плечо и мечтательно вздохнула.

Он не мог поверить этому счастью, этой минутной радости, он готов был разрыдаться, он так давно любил эту девушку, но она считала его лишь знакомым, даже не другом — забавным, смешным. А он мечтал о ней, писал ей стихи, но она не читала их, не любила поэзию.

— Мария, — немного поколебавшись, выдал он из себя, — можно, я обниму тебя?

— Ну, конечно! Я же этого и жду.

Она улыбнулась, ему улыбнулась — ему, ему, ему.

Он неловко обнял её, хотя знал, что девушкам нравится решительность, но что поделать — и это простое действие было верхом решительности для него. Кто знает, может, она оценит?

— Чудеса! — её губы слегка приоткрылись, он мог видеть, как слетело это слово с её губ, — оно выпорхнуло, словно прекраснейшая из птиц, небесный голубь, он с каждой секундой всё больше обожал её.

— А что ты здесь ходишь? — спросила она.

— Гуляю, — достал сигаретешку, прикурил. — А ты?

— И я, — шепнула она, согрев его губы и нос своим мягким дыханием. — Это романтично, не правда ли?

Он тоже улыбнулся. Как же редко он улыбался в последние дни, годы!

— Ну а как ты живёшь-то? — спросил он, затягиваясь.

— Ой, да как, Мишенька! Проблемы у меня с Витьком моим.

— И какие? — усмехнулся он. Как резануло по сердцу упоминание о Витьке!

— Пьёт. Бухает, точнее, — стушевалась она. — Да и, думаешь, я у него одна?

А он говорит, что всё будет нормально, всё будет хорошо. Но только говорить и может! А я же люблю его.

Вздыхнула.

— А знаешь... — он весь задрожал. — Знаешь, знаешь... А я люблю тебя.

Она посмотрела на него большими глазами.

— Дурень, я же говорила. Дурнем и остался. Я тебе о жизни, о реальной жизни, а ты мне о чём?

— Не спорю.

— Ну а сам-то ты как?

Он злобно выкинул фильтр.

— Как-как? Жопой об косяк, вот как, — ответил он и замолчал.

Он любил её, он любил и не понимал, чем этот придурок Витька ей дорог, почему она предпочла его, за что она его любит, почему не бросит.

«Была бы у меня такая девушка, — думал он, — стал бы я так себя вести, как он? Да я ни на кого не смотрел бы, я бы пить бросил, курить бросил, хотя нет, это слишком, может быть. Но за что, за что меня любить-то?»

— Да ладно, что, ты такой мрачный всегда? — она провела рукой по его щеке, приблизилась к нему и поцеловала совершенно неожиданно в губы. Слегка коснулась их и отстранилась, но поцеловала. — Ты хороший, хороший, — зачем-то повторяла она.

Он помолчал и полез за новой сигаретешкой. «Ну, пошлёт она Витьку, так будет другой, тысячи других будут. Даже если мы останемся на Земле вдвоём, она вряд ли будет со мной».

А она подскочила.

— Пойдём, — схватила его за руку, и он нехотя встал. — Ну, пойдём же!

И она увлекла его за собой — вглубь парка, туда, где листья, где много этих золотых, живых листьев, она схватила их в охапку и кинула в него.

— Ой, не могу! — она смеялась.

Он взял охапку листьев и тоже, улыбаясь, швырнул в неё.

Запах листьев будто сводил с ума, они кидались друг в друга, смеясь и радуясь тому, что они — здесь и сейчас — вместе. Ему не нужно было ничего от неё больше, кроме как видеть перед собой. Смеющуюся, довольную, милую. Мария!

Ветер бесконечно кружил листья, качал ветви деревьев.

— Ты слышишь? — кричала она. — Ты слышишь это?

— Что?

Она остановилась.

— Ветер! Послушай ветер, — она выжидающе смотрела на него.

Он нагнулся и поднял что-то с земли, но на сей раз это были не листья, это был увесистый кусок кирпича.

Она перестала улыбаться и спросила изумлённо:

— Что это? Зачем это тебе?

Но он не ответил, только замахнулся. Она крикнула и бросилась бежать, но кирпич настиг её, больно ударив в голову. Она упала.

Упала на золотые — живые пока ещё — листья.

Он подбежал, поднял кирпич и принялся колотить её по голове.

— Это моя музыка, — орал он. — Это мой ветер. Это моя осень!

Он схватил короткий железный прут, валявшийся здесь же, и всадил ей в спину.

«Откуда только силы?» — исступлённый, подумал он. Вынул прут, и во все стороны брызнула кровь. Девушка больше ничего не говорила. Он всадил прут снова, и ещё, и ещё, и в третий, и в четвёртый, и в пятый, и в шестой раз.

Не помня себя, он колотил и колотил её, пока что-то — может, усталость? — не заставило остановиться. Тогда он перевернул её, взглянул в лицо.

Оно было в крови, и листья вокруг — ещё живые, тёплые осенние листья — были в крови, и руки его были измазаны кровью. Он перевернул её снова.

Взял охапку листьев, бережно прикрыл её спину, ставшую сплошной кровавой раной — и прилёг на неё головой.

Они лежали, а жизнь шла. И была тишина. Стояла тёплая осень в Летнем саду.

Деревья наблюдали за ними, чуть покачивая своими уже голыми ветвями.

Они тоже слушали музыку ветра.

Эпилог

На этом запись обрывается. Я ни черта не понял. Вся эта история пришла мне заказным письмом. Обратного адреса не было.

Может, что-то и было в ней. По крайней мере, я убил пятьдесят минут времени, читая этот, с позволения сказать, бред.

Но почему — мне? Почему оно пришло мне?

Я положил листы обратно в конверт с аккуратно выведенной крупными буквами надписью «Кризис первого курса», и рядом, маленькими — «Виктору». Что же, моей фамилии он не знает? Пожимаю плечами.

Бросил конверт в корзину. Затем включил электрический чайник и, услышав знакомое шипение, отправился на балкон курить.

Мне тридцать шесть. У меня пара небольших предприятий, приносящих стабильный, хотя и не потрясающий воображение доход. За окном прекрасный город Петербург, практически центр. Выходя из парадной, я всякий раз чувствую удовлетворённость жизнью — и тем, что в своё время хорошо учил экономику. В особенности закон потребительского перераспределения. Скоро Новый год, и мы, наверное, встретим его здесь же. Это когда человек несчастен, его всё время тянет по горящим путевкам, он готов заплатить любые деньги, переругаться с родными, продать душу дьяволу, лишь бы умотать подальше от дома в поисках отдыха. А у меня вон новенький глобус стоит у окна — сынишке купили, — да я не смотрю туда, мне Петербург милее. Счастливые сидят на месте, им и так хорошо.

Быть счастливым сложно — про тебя никто не напишет, о тебе никто не узнает. Но мне и не нужно: в мягкой постели досматривает сон моя прекрасная Мария, наречённая жена, она меня знает, и я её — вот, собственно, и главное. Вот, собственно, всё, что нужно.

Только бы денег побольше. И времени. Даже, пожалуй, времени, — а уж деньги я как-нибудь сам. Вот, Новый год скоро, а за шампанским съездить некогда. И за продуктами. Что за дела? Да ещё на эту дрянь время убил! Восемнадцать звонков пропущенных. Так жизнь пройдёт: помру и не успею ни черта. Нет, ни на что нет времени.

Первокурсник, поделись со мной, а? Ведь у тебя всё равно кризис.

Анна Арнаутова

Земля

Рассказ

— «Зосимова пустынь». Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка «Нара».

Отсюда ехать немногим более получаса. Пахнет грозой и электричкой: потом, деревом, перегаром. Створка окна опасно хлопает, свет моргает, потом гаснет совсем, и она оказывается посреди влажного полумрака.

Молния — неоновый жёлтый отблеск мгновенно подсвечивает лицо старушки напротив, и кажется, что её бледные зрачки обращены куда-то внутрь. Июнь — доцветают яблони, и их лепестки прилипают к стеклу. Венозно-голубоватые линии на белой шёлковой ткани слишком похожи на кожу.

Она выходит в тамбур — в открытую створку двери прорывается большой ветер. Холодно. Дачные домики, длинные серые пятиэтажки. Окна светятся жёлтым, розовым и зелёным. А сейчас бы сорваться туда, прямо на ходу, в пышное зелёное цветение, в тёмную воду. Покатиться по насыпи сквозь тугой праздничный шиповник, сквозь хрустящую прибрежную осоку. Лицом в небо, потом — в мягкий донный ил. Лягушачья икра в волосах, стрекозы личинки во рту, в мягком розовом нёбе. Сделаться землёй, слизью, тканью — лишь бы не возвращаться.

Потом она сидит внутри пустого, ярко освещённого вокзала, тревожно переглядывается с билетной кассиршей и пытается вспомнить бабушку. А из памяти поднимаются только запах старых книг и пыли, дом, в котором в заварочном чайнике тонут тараканы, а Библия стоит на полке рядом с «Капиталом». Это всё досталось ей по наследству — так вместе с родительской квартирой переходят долги по коммуналке. Бабушка, тараканы, стеклянные рамы, скрипучий тёмный вяз за окном. Мокрицы в белом ящике стола, сервиз из ГДР. Старость, смерть. Уезжая отсюда в прошлый раз, она так и подумала: мама напишет мне, только если кто-нибудь будет умирать.

Город спит в весенней пахучей темноте, — дождь перестал, и между деревьями с тяжёлым жужжанием снуют майские жуки. Один из них врезается в оконное стекло и падает, и она вспоминает, как в детстве, когда она ещё в школу не ходила, они с папой ловили жуков. Он тряс молодые берёзки, а она подбирала жуков и подносила к уху.

Анна Арнаутова (Людмила Жуковская) родилась и выросла в Калужской области. Печаталась в двуязычном альманахе «На перекрёстке культур» и в Литературном сборнике РГГУ. Работает в жанре автофикшн.

Твёрдая спинка, нежные усики — жуки расправляют их веером, когда хотят улететь. По серому деревянному порогу бегают паук-косиножка. Не бойся, доченька, не укусит. В роще за домом живут сороки: мама-сорока, папа-сорока и дочка тоже. Крапиву, прежде чем пройти, нужно палкой согнуть, рыба лучше всего на рассвете клюёт, а жук-скарабей разжимает кулак, если зажать его внутри, — сама попробуй. Папа, папочка — светлое грустное лицо, он выходит из алтаря, и от него так странно и знакомо пахнет ладаном: она смотрит на него из толпы и знает, что вот это он, её папа, и становится так тепло и смешно, и хочется рассказать всем об этом. И он же — в её неполные шестнадцать, лицо его, постаревшее, искажённое гневом: «А я считаю, что вас таких убивать надо. Ладно, если мужик: он больной, его лечат. Но ты же женщина, тебе ничего не нужно, чтобы ребёнка сделать. Просто потерпи. А женщин-извращенцев, я вот тебе повторю, надо убивать!»

Надо убивать. Алтарь, церковные свечи, «Миром Господу помолимся...». Елеопомазание, сладкий пахучий хлеб. Отец работал инженером на секретном советском заводе, прежде чем началась перестройка — давно, ещё до её рождения. А потом пришел к вере — она вспоминает, с каким отчаянным жаром он всегда говорил об этом, и в затылке зарождается неприятное, тёмное чувство.

Его машина стоит у привокзальной площади — он ждёт. Она прислоняется к окну, считает до десяти, пропускает одну из цифр, долго ищет её в сумерках памяти. Потом решается и выходит:

— Привет.

Отец постарел, но в машине пахнет так же, как в детстве. Они едут сквозь город — улицы, каждая из них гнётся под грузом памяти, как старый мост: поют опоры, и кажется, что всё это вот-вот рухнет в тёмную воду.

Вот здесь была их школа: за поворотом, не у дороги. На этой же самой машине отец подвозил её к первому уроку. Школу от шоссе отделял один дом, и она до сих пор помнит, как прижималась к его холодной стене под чьим-то балконом, ожидая, пока папа уедет, а потом оттирала от одежды побелку и шла в противоположную сторону. Условное место, старые качели, вокруг бетонная дорожка, сквозь неё прорастают горькие одуванчики. Место встречи, ворота заповедного мира. Потом дальше — лес, посёлок Мирный, деревянные многоквартирные дома. Вдоль берёз и елей — к твоему дому, под окном ждать, пока ты проснёшься, залезать на дуб, прятаться в его ветвях.

Уезжая отсюда в прошлый раз, она старалась запомнить каждый облупившийся указатель, каждую потухшую букву в вывесках продуктовых магазинов. Она думала тогда, что больше не вернётся. Пока предки не умрут, но город без них потеряет половину души, — как будто закроются все его церкви, прокаты дисков и автозаправки. А вот теперь она здесь.

Дорога поворачивает — новая часть города, ещё чуть-чуть и недалеко. Она сидит на переднем сиденье рядом с отцом и подробно разглядывает его лицо: глубокие тёмные морщины на лбу, острые складки вокруг рта. Нелегко им с мамой пришлось: та школа на другом конце города стала для неё шестой по счёту за восемь лет учёбы. Когда с твоей дочерью что-то не так, молитвы, кажется, не помогают — во всяком случае, они до сих пор не помогли.

— Ты живёшь одна?

Она улыбается. Ответить — как разгрызть лимонное зёрнышко. Почему он спрашивает об этом? Неужто соскучился? Хочет принять блудное дитя назад?

— Сейчас — да.

Она не всегда спит одна, это да, а живёт одна — пусть даже в комнате кроме неё ещё два человека. Одна сидит на подоконнике, одна бродит вдоль прудов в Сокольниках, опускает ладонь в воду, ловит утонувшие листья. Одна плачет.

Они входят в дом в темноте, но от цветущей сливы напротив окна в комнате светло, как от снега. Она входит, бросает рюкзак, забирается под одеяло в одной футболке. Простыня холодная и пахнет пылью.

Снится всякий бред, старые сны мешаются с новыми. Она просыпается резко и долго лежит, тяжело вдыхая пересохшим горлом: хочется пить, а на неё напал детский знакомый страх. Слюна загустела, кажется, горло вот-вот слипнется. Унимается дождь, часа в четыре уже совсем светло. В каждой комнате прикроватные будильники тикают чуть по-своему: один звук отражается в другом, как будто у дома в лёгких шумы и хрипы.

За завтраком ей достаётся место на углу стола. Мама сидит под иконами, кожа её как светлое срезанное дерево. Вокруг рта жестокие морщинки. Она закрывает глаза и плачет. И губы её сейчас и всегда произносят одно только слово: «Позор».

«Зачем мне тогда жить?» — так она спрашивала тогда, восемь лет назад, когда всё раскрылось, и что было ответить ей? Смутно неправильным казалось, что её жизнь может так отчаянно меняться от того, с кем встречается её дочь — с девочками или с мальчиками. И хотелось врасти в стену, раствориться в пространстве, — я живу на свете полтора десятка лет, почему я несу на плечах все грехи мира, почему твоё счастье стоит моего, почему, почему?..

Но сейчас мать молчит, и это «позор» только угадывается в том, как именно замер её рот. Жестокая, отчаянная насмешка. Разрушение. Глухая стена. Хочется кричать.

Потом её везут к бабушке в диспансер. Пандемия, в корпус не пускают никого, кроме родных. Бурная зелень, старый город — его строили пленные немецкие рабочие и инженеры. Дома маленькие, украшенные, в них высокие потолки и холодные стеклянные окна. Здесь край света. Дальше только река. Окраина. У дежурной усталый вид и хриплый голос — то ли курила, то ли кричала. Их пропускают по паспортам, и она входит в палату к бабушке — та спит. Тяжёлый insult. Говорят, она больше не встанет.

Она подходит к бабушке, останавливается над ней. Смотрит в лицо и ничего не чувствует. Эта женщина была её в детстве скакалкой, её панамка была жёсткой от крахмала, она говорила резко и называла мужчин «мужиками». Готовила пирог, рассказывала истории. Теперь она лежит здесь, и её следует жалеть, оплакивать. А слёз нет — только отстранённое любопытство: как она чувствует себя там, внутри? Помнит ли она себя сама? Знает ли, что умирает?

Бабушка приоткрывает глаза — они тёмные. Моргает на свет, с трудом поднимает руку и жалобно, хрипло зовёт:

— Мама, мамочка!

Тишина — папа хмурится. Ему, наверное, тяжело видеть свою мать такой, а может, он просто изображает приличия ради. Бабушка оглядывается, ищет на потолке чьё-то лицо:

— Мама, мама, купи мне пирожок!

Тишина. Она зовёт снова:

— Мама, где ты? Ты меня слышишь? Ты здесь?

Подошедшая медсестра шепчет матери, что сейчас бабушка начнёт плакать: на неё иногда находит.

«Мама, мамочка, мама! Пирожок!» — так просят капризные маленькие дети.

Она сливается с сумерками, сгустившимися в тёмных углах, пробравшимися в палату сквозь крупные трещины в стенах. Это здание пора сносить. Оно не может больше.

— Мама!

И она вдруг решается ответить:

— Да, я здесь.

Семья косится на неё неодобрительно: они известные правдолюбы, видно, и сейчас не хотят допустить ни капли лжи. Всё четко по протоколу.

Зато бабушка мгновенно успокаивается, опускает голову на подушку, прикрывает глаза, улыбается.

— Какой тебе пирожок?

— С ливером, — откликается бабушка.

Она чувствует, что начинает плакать.

Пасмурный день — после диспансера её оставляют в покое, и она отправляется бродить. Лёгкий тёплый ветер, оконные решётки, обросшие плющом. Зброшенные здания — на крыльцах греются большие чёрные кошки. Она бывала здесь, когда училась в школе. Приходила всё время, чтобы посмотреть, как уезжают с вокзала поезда. Они приходили вместе.

Любовь — глухой бубенчик на шее, острая хлебная крошка под языком. Комната, в которой ты заперт. От дома до школы так мало идти, они делают немислимые круги, проходят сквозь один и тот же двор четырежды и в роще, наконец, касаются друг друга, легко проводят ладонями по щекам, плачут, целуются. Тёплое, мягкое, живое. Загнанное. Я не могу любить тебя — мне запретили, но я вижу во сне только тебя, говорю только с тобой, когда закрываю глаза. Я радуюсь маленьким школьным приключениям только потому, что потом могу рассказать о них тебе. В нашем дворе, спрятанном на полпути, скрипят качели. Мы сидим на них, покуда не замерзаем окончательно, а потом я разубаюсь и становлюсь босиком на снег, — я буду стоять так, чтобы ты мне поверила, чтобы ты поняла, как я люблю тебя. Ты поднимаешь меня и плачешь, а ранние зимние сумерки — ибо тогда всё время была зима, она, кажется, длилась все три года — опускаются на пятиэтажки, и я знаю, что пора домой, но остаюсь.

О тебе одной, больше ни о ком, никогда — всё это на самом деле о тебе.

Она входит во двор, останавливается в каменной арке. Здесь ветер шумит, как море внутри ракушки. Качели движутся сами собой. Никого нет.

Ночью отцу звонят: бабушка умерла.

Родители возятся с гробом, и сама она вдруг вовлекается в общую суету. Пандемия — слишком много похорон, и морг забит. Бабушку могут похоронить только через пять дней, никак не раньше. А может, и позже. Девушка в трубке говорит: «Да вы не представляете, везут и везут!» Отец молчит. Мать злится и дергает инстанции — те огрызаются, и дело никуда не движется. За день они выматываются до чёрных кругов перед глазами и вечером молча пьют чай за общим столом. На пол падает ложка, и отец вдруг начинает плакать — она впервые видит его таким. Внутри пусто, там как будто лежит снег, но она чувствует, что плачет тоже, и удивляется этому. Мать ставит чайник снова. Молчание.

И она вспоминает, как бабушка, когда они уже выходили из палаты, вдруг поймала её руку и смотрела на неё с таким выражением, будто пыталась вспомнить

и не могла. Бабушка. Она так никогда и не узнала, почему внушка вдруг перестала приезжать — ей сказали, что она слишком далеко учится. Наверное, она поверила.

Теперь она умерла. Её больше нет. Остались вещи, и книги, и дом, а её нет. Её душа убрела слишком далеко и заблудилась — так, кажется, верили древние люди.

За время траурных хлопот в доме устанавливается странный режим. Утром мама плачет, днём папа закрывается в комнате и стоит перед иконостасом с чёрным молитвенником. Она подозревает почему-то, что он не молится, а просто читает, — потому и не может плакать больше. Когда тебе очень плохо, бог редко говорит с тобой. Она помнит, как отчаянно молилась, когда уезжала отсюда, — чтобы всё стало так, как в детстве, чтобы они приняли, чтобы их стало возможно простить. Но никто не ответил — ей тогда показалось, что бог решил воздержаться от комментариев. Молчит он и теперь.

А по вечерам она уходит развеяться, полагая, что это невозможно больше выносить.

По городу ползают газели, на крышах у них громкоговорители, призывающие по возможности оставаться дома. Она не ездит в маршрутках, ни с кем не говорит, не гладит чужих собак и оттого чувствует себя здесь особенно чужой. Мир не станет прежним — он разваливается, рассыпается. Белые лепестки, помятая трава. Она ходит вокруг качелей и думает, что сейчас, наверное, они обе вернулись в город: в Москве закрывают на карантин общежития, и никто не учится очно. Все, кто может, возвращаются — значит, они могли бы встретиться здесь. Она обходит качели кругами, считает окна. Над двором стаями пролетают вороны.

Потом делается темно и опасно: её окликают пьяные компании, она ускоряет шаг. Потом долго отчищает грязь от кроссовок — лето в этом году жаркое, но дождливое. Всё время грозы, и земля не успевает затвердеть.

Похороны назначены на понедельник. В зале для отпевания только она и родители. Больше никого: если кто-то из бабушкиных друзей ещё жив, то сейчас он заперся надёжно и плотно. Отвратительно пахнет каким-то особым средством, которое применяют для обработки трупов. Зал напоминает гараж: у него нет окон. Священник торопится, читает речитативом: «Упокой, Господи, душу рабы Твоей Александры...»

Отец прямо у гроба. Мать — чуть дальше за ним. Она стоит позади всех и закрывает платком лицо. Душно и тяжело. Ей в руки суют горсть сухой земли откуда-то с Афона и велют кинуть в гроб. Она подходит, не глядя разжимает ладонь. Земля рассыпается по бабушкиному лицу, по её шее, и один из комков остаётся на губах. Она стряхивает его ладонью — ужасная традиция, как будто земля и без этого до неё не доберётся. Гроб закрывают красной бархатной крышкой и грузят в микроавтобус, назначенный катафалком.

По одному забираются внутрь. Их торопит грубый, уставший водитель. Они с мамой оказываются рядом на соседних сиденьях. Автобус подпрыгивает, мама плачет, а она невротично следит, чтобы крышка не съехала с гроба. За окном лес, потом завод, поле, поворот — осталось недолго. Мама берет её за руку неуверенно, как ребёнок, и вдруг сжимает очень крепко, а потом прижимается вся и плачет уже по-настоящему. И спрашивает шёпотом, в котором слышится ужас:

— А когда я умру, ты приедешь похоронить меня?

Губы у неё дрожат, и вся она кажется такой маленькой, что хочется ответить ей: «Да куда тебя хоронить, тебе ещё и в школу рано». Но мама настаивает, и она кивает и обнимает её за плечи.

На кладбище цветёт жасмин. Они стоят над гробом и смотрят, как его засыпают свежей, влажной землёй. Пахнет цветением и зеленью, в траве звенят кузнечики. В этом году много свежих могил. Мама не отпускает её руку, и когда всё заканчивается, оборачивается к ней и спрашивает:

— Что мы будем делать теперь?

На кладбище нет церкви, колокола его не тревожат. Они идут пешком к автобусной остановке сквозь молодое поле. Отец задумчив, он молчит, как будто следует за собственными мыслями в высокие дальние пределы. Она вдруг замечает, что с маминых губ исчез этот прежний «позор» и остался только вопрос — открытый, детский.

Становится теплее. Как будто где-то под землёй проснулся новый родник. Они деловито справляют поминки, потом расходятся утешаться. Мать с отцом неуверенно говорят, как будто вспоминают, как следует это делать.

Она идёт бродить по привычным местам и ещё издали слышит, что качели скрипят как-то по-особенному. В арке безветренно — ничто не заглушает звук её шагов.

Они смотрят друг на друга безо всякого удивления, как будто нарочно заранее условились встретиться здесь сегодня.

— Здравствуй, — говорит она.

Слова повисают в воздухе. И слышно только, как в кусте дикого розового шиповника гудит шмель, заблудившийся в лепестках.

Игорь Малышев

Порядок и вселенский кавардак

* * *

Ничто не заставит меня молчать,
Ничто не заставит меня заплакать,
Только твоя, моя родина,
Снегириная память.

Ничто не заставит меня упасть
С простреленной влёт головою.
Только твоя, моя родина,
Журавлиная воля.

Так не обжигает солнце,
И не спасает подорожника лист,
Как твоя, моя родная,
Соловьинная ненависть.

Ничто не поднимет меня из мёртвых,
Не воссоздаст из сухой кости,
Кроме твоей, моя маленькая,
Жавороночьей радости.

* * *

Заря встаёт над летним черноземьем.
В полях усталым зверем спит комбайн.
На травах, скатах, стёклах сплошь роса.
Всё радость краткая и вечное терпенье.

Истаивает сахаром луна,
Чай допивает комбайнёр небритый.
Не пели гимн, и, значит, «Рио-Риту»,
Пока не включат. Или не включают.

Малышев Игорь Александрович — прозаик, драматург, поэт. Родился в 1972 году в Приморском крае. Получил высшее техническое образование. Работает инженером на атомном предприятии. Автор восьми книг прозы и ряда пьес. Финалист многих литературных премий. Живёт в Ногинске.

В туманных пролесях волчица спит, волчат
Теплом боков и брюха согревая,
Над горизонтом рябь дроздовой стаи.
Лист поднимают выростки опят.

Карась идёт на нерест, и рыбак
Его поймает тонкой нити сеткой.
Лес тянет в небо тонкоручье веток.
Порядок и вселенский кавардак.

Охотники, проснувшись, ищут твердь
Бутылки и в ней жидкость русской водки.
Благословите водку, рыбы, волки,
Вам без неё немногим уцелеть.

Последняя на полотне звезда
Небесном растворяется в рассвете,
Нежно-лиловом родниковом цвете,
На тонкой коже палого листа.

* * *

Невидимые ангелы в ночи
Колёса неба медленно вращали.
Венки из трав бесцветных и сухих
Их головы седые увенчали.

Скрипели оси, зуб за зуб цеплял.
Планеты шли, трудились херувимы.
Поэты-пьяницы искали свой причал,
И спутники брели как пилигримы.

Неумолчный полуночный хорал
Кузнечиков и в поле коростелей
Всю ночь осанну миру возглашал.
Созвездья над пустотами горели.

Блестела ручка ворота, упал
Пот ангельский в траву ночной росой.
Поэты-пьяницы без дома и угла,
Найдя ночлег, всё ж не нашли покоя.

* * *

День уходил в закат. Ночные песни
Вставали над темнеющей землёй.
Крик ворона и козодоя вой
Пугали в засыпающей деревне
Детей, глядящих в окон темноту
И сказки вспоминающих о мёртвых,
Что бродят между трав, от жара блёклых,
И горе на плечах сухих несут.
День уходил в закат. И дети знали,
Что смерть близка, как матери рука,
И грань стекла оконного тонка,
И выдержит напора тьмы едва ли.

* * *

Сяду в поезд, громыхает
Он на стыках и на рельсах.
До свиданья. Я уехал.
Пусть дорожка зарастает.

Сяду в поезд и закину
Чемодан на третью полку.
За окном мелькают ёлки,
Да играет небо синим.

Сяду в поезд. Сердце встанет.
Проводница даст нам чая.
Вечер цвета молочая
Всем поможет, всё исправит.

Сяду в поезд и исчезну
Я в стакане с чёрным чаем,
Вечер небо освещает
Восхищённо-бесполезно.

Встанет поезд, распахнётся
Дверца в тамбуре вагона.
Проводница скажет сонно:
«До свиданья». Улыбнётся

И захлопнет тёплой лапой
Двери спящего вагона.
Это место мне знакомо.
Здесь родились мама с папой.

Ждёт меня под клёном лошадь,
Ждёт телега. Дед беззубый
Меня в щёки расцелует:
«Ждуть тебя здесь. Любят. Помнить».

И качнётся чёрный ящик
Неба чёрного над нами.
И не разглядеть глазами,
Кто здесь дед, а кто здесь мальчик.

* * *

Взгляд выцветший, сухой.
Так смотрят камни
И статуи безглазые богов.
И вечность, ты к которой не готов,
Но подражаешь
И в глазницах копишь камень.

Александр Моцар

Два рассказа на тему

Лев и Мясодоев

Лев Мясодоев неожиданно для себя прервал пение Символа веры, сплюнул на пол и, громко объявив: «Херня всё это», — вышел из храма. Этот истеричный надрыв не был итогом глубоких и мучительных размышлений. Всё произошло в объёме нескольких секунд. Вот он пел, подтверждая свою веру фальшивым баритоном, и всё — обрыв, пустота.

Мясодоев тупо огляделся — двор недостроенной церкви, стена шлакоблока и лай сторожевой дворняги. Грубо посмотрев на собаку, Лев испуганно подумал: «Вот если бы она меня укусила, тогда бы можно было её убить». Собака спряталась в будку. Мясодоев не выдержал истощающего напряжения и неожиданно и злобно укусил сам себя за руку. Заскулив от боли и топнув ногой, он подумал: «Вот до чего религиозное мракобесие доводит». Мысль оборвалась равнодушием. Мясодоев потерянно прошёл мимо пса к церковной калитке. Там он по привычке остановился, чтобы перекреститься на купола, но вспомнив о своём прозрении, вместо крестного знамения показал крестам дулю. Эта хамская демонстрация встревожила Мясодоева и, попытавшись осмыслить произошедшее, Лев спрятал кукиш в карман, но...

Стоп. Давайте остановимся на этом эпизоде. И прежде всего разберёмся, кому показал кукиш Мясодоев. Итак, в его представлении это были не Создатель и не Церковь, которые он уже не ощущал как объект веры или отрицания, это было что-то иное, то, что... Нет, не так, иное это что-то, но Мясодоев выразился кукишем в ничто. Перед ним, в его осмысленной реальности, возникло пустое место, не бездна, не пропасть, а именно пустое место, в центре которого лежала груда камней, увенчанная позолоченным крестом.

«Что за идиотизм, — подумал Лев. — Как может в ничто быть что-то? В смысле, как может быть там груда камней и крест? И что значит — там? Там — пустое место, это топоним, а это...» Путешествуя таким образом в пространстве «ничто», Мясодоев тем не менее, хотя и не определился с конструкцией своего нового мира, чётко

Моцар Александр Владимирович — поэт, прозаик. Родился в 1975 году в Чернигове (УССР). Автор многочисленных публикаций в литературной периодике. Автор сборника стихов «Бим и Бом и другие клоуны» (Днепропетровск: Лира, 2013 г.), «Е=М (Механика)» (Киев: Каяла, 2016 г.), романа «Родченко (кошки-мышки)» (Киев: Каяла, 2016 г.), «Простые фокусы, или Смотрите, на ветке сидит попугай» (Киев: Каяла, 2020). Живёт в Киеве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

представлял вектор нового пути. Понимал он его, что называется, душой, т.е. тем, чего в его новой вере у него не было.

На крест села ворона и каркнула, глядя на Льва, заполнив пустоту «ничто» своим присутствием. Мясодоев посмотрел на неё и ясно осознал, что в его пустоте есть всё, кроме Бога.

В долю мгновения пустота перестала быть метафизическим объёмом. Её всю собой объял, насытил, пропитал Лев Мясодоев. Всё видимое и невидимое. Всё то, где ещё недавно обитала тайна, стало Мясодоевым Львом. Он почувствовал эту трансформацию странным образом. Ему казалось, что он разросся до немыслимых пределов и в то же время, продолжая это движение, почувствовал в себе нарастающий, как страх, вопрос: где граница? Очищенное от культа сознание Льва потребовало опоры, стены, потолка. Где это всё? Этот алкающий бытия вопль потянул его в обратную сторону, в бесконечно малые величины. В молекулы, атомы, в иные, ещё неведомые, микроскопические массы. Дальше, дальше, дальше, туда, откуда протоны и нейтроны казались великими мирами, но и там не было границы. Бесконечно малое пространство не упиралось в точку опоры, и от этого было таким же огромным, как и предыдущее гипертостояние. Страх бездны остановил Мясодоева. «А почему я, собственно, сравниваю Вселенную со своим объёмом?» На этой мысли Лев громко лопнул.

— Мужчина, что вы себе позволяете?! Вы бы детей постеснялись! — услышал он голос рядом с собой.

Перед ним стояла молодая женщина с ребёнком и брезгливо морщилась, пристально на него глядя.

От такого нелепого поворота от метафизики к физиологии Мясодоев только растерянно пробормотал:

— Я это...

— Что вы это? — бранчливо спросила барышня и, не дожидаясь ответа, резко развернувшись, ушла своей дорогой.

Первые сумерки заретушировали её фигуру и фигуру ребёнка нежным, потусторонним полумраком. Вот они остановились возле куста дряхлеющей сирени, и на мгновение эта картина исполнилась высокой одухотворённой красоты. Но мгновение длилось всего лишь мгновение. Видение рассыпалось на сварливое одёргивание матери и пискливые жалобы ребёнка. Остался вопрос: «Действительно, — задумался Мясодоев. — Это я. Вот я. Но что это — я?»

Этот момент также очень важен в нашем рассказе, так как именно сейчас Мясодоев почти полностью забыл свой имманентный опыт трансформации в пространстве. Вернувшись в свои габариты, он виновато смотрел в спины уходящих женщины и ребёнка. Но здесь не зря появилась оговорка «почти». В сознании Льва осталась живая тревога, которая стремительно перерастала в сомнения. «Туда ли я иду?» — сконфуженно размышлял Лев, расхаживая по дорожкам небольшого парка, куда он забрёл незаметно для себя.

Он печально посмотрел вверх. За седыми кронами столетних елей была видна полная луна. Для неё и вековые деревья, и тридцатилетний Мясодоев были одинаково мелкой величиной во времени. В расстройстве Лев отвёл взгляд от светила, сел на лавочку и отвлечённо посмотрел на забытый детский мячик. Здесь он остро почувствовал свою потерянность. Ему захотелось, чтобы его кто-то вывел из этого тупика. Кто-то взрослый... Мысль о Боге опять накрыла его. «Вот если бы...»

«А действительно, что если бы прямо сейчас появился. Что тогда? Тогда с ума можно сойти от страха, — ясно почувствовал Лев. — Как это так: не было, не было Его,

только на картинках и видел, — и вот те раз, — Мясогоев отчего-то вспомнил, как однажды его отец в компании своих подвыпивших друзей застал его за занятием... — Ужас, и не выговоришь. До сих пор стыдно», — пробормотал Лев и покраснел. Он снова ясно увидел испуг отца, громовое молчание его коллег по работе и застольям, а также свой ужас, который, как и тогда, накрыл его сейчас — «Стучаться надо!» — мысленно заревел Лев, вытирая испарину со лба. Прошлые переживания затряслись в нём пароксизмом. — «Что же это такое? Так вот внезапно. Я не хочу, не готов вот так вот, в полный рост. Это как будто голый перед начальником. Нет, хуже. Это вообще за пределами исповеди. Тогда что же? Тогда не смиренно поклониться ему, а на карачках ползать, причём ползать в луже собственных экскрементов и непременно, выгораживая себя, ябедничать на других. Но почему? По легенде, Он добрый, Он всех прощает, — возмутился Мясогоев. — А потому. Инстинкты задавят. Да и легенды о Нём, если присмотреться к содержанию внимательней, не очень-то и добрые. Но и это чушь, не в сказках дело. Природа. Своя природа ближе к телу. Ведь если Он точно есть, то Ему надо подчиниться. Потому что за неподчинение — расстрел, — трусливо ответил себе Лев и добавил: — Зло тогда твоя природа, и вообще не знаю я, как вести себя в Его присутствии». — Находясь в этом мысленном, сбивчивом лабиринте, Мясогоев поднял брошенный детский мячик и растерянно посмотрел на него. Мячик злобно усмехнулся, посмотрев в упор на Льва.

Нет, нет. Это не фантазмагория, не видение, не восставшая порочная реальность. Просто мячик был разрисован фломастером. Кто-то, по-видимому, ребёнок, попытался изобразить на нём лицо. Опыт оказался неудачным. Похабная улыбка, ассиметричные глаза и пятак поросёнка реконструировали физиономию субъекта в неприятной, даже зловещей гримасе.

Глядя в это лицо, Мясогоев грустно подумал: «Нет, это изобразил не ребёнок, это подросток нарисовал. Скорее всего, своего друга, чтобы ногой по морде в ворота или подальше, — и вновь наткнулся на мысль о зле. — Ну хорошо, — вслух сказал он мячу. — Если люди зло называют злом, то они признают в этом явлении природу, безусловно вредящую человеку. Но они в то же время добровольно творят зло, то есть вредят себе, причём часто это делают в упоении, выключая инстинкты самосохранения, главные, определяющие инстинкты. В таком случае не следует ли признать зло природой, которая находится за пределами человека, то есть природой, допущенной извне? Зло — это реакция на зло, неважно, настоящее оно или воображаемое. Важно то, что это противостоящая реакция первому злу. А противостоит злу добро, а значит, зло — это добро».

Лев услышал шаги. Он поднял голову и увидел своего соседа Сашу Моцара. Тот быстро прошёл мимо. Саша явно сделал вид, что не разглядел в сумерках говорящего с мячиком соседа. Это было видно по его отвлечённому, но с насмешливыми полутонами выражению лица.

Моцар и Мясогоев иногда встречались на перекурах. Говорили вяло, на бытовые неинтересные темы. «О большем с Сашей не поговоришь», — думал Мясогоев, грустно глядя в спину уходящему серому пятну. Моцар, в свою очередь, быстро шёл в сторону дома. Чувство голода гнало его в квартиру, к холодильнику и интернету, но всё же разговор соседа с детским мячиком впечатлил его. «Интересные фантазии у Мясогоева, — думал он. — Вот сидит человек, мучается. Жаль, не услышал только, о чём. Впрочем, это не важно. О жратве, наверное. Да, о жратве. Из-за чего же ещё Льву мучиться? У человека все фантазии о жратве в итоге. В метафизическом итоге, конечно. Даже райские кущи представляет он как местность с обильной закуской. Все эти фантазии человека от какой-то глобальной недосказанности. А что в итоге?

А в итоге фантазия человека — это несвобода. Лишить Мясогоева фантазии — дать ему свободу. Но беда в том, что в этом мясогоевском состоянии обязательно образуется пустое место. Незаполненная мечтами галактика, поглощающая личность. И значит, эту пустоту нужно наполнить такой всеобъемлющей истиной, ввиду которой любой Лев и любой Мясогоев увидят что-то более объёмное, чем простое воскресение из мертвых вне метафоры. Жаль, что с ним об этом не поговоришь». — Так думал Александр, приближаясь к дому. Разъедаемые чувством голода его мысли окончательно спутались, сбились и рассыпались на глупые насмешки в адрес своего соседа.

Но мы далеко отошли от Мясогоева. Следует вернуться и продолжить о нём. Но где, собственно, он? Куда пропал? Его нет ни на лавочке, ни возле неё. Не видно его и на обозримом расстоянии. Не ищите. Не ищите его ни криком, ни шёпотом, потому что он больше не существует. Он издох.

«Издох», — подумал Лев и рассеянно обрадовался этой печальной новости. Первое, о чём вспомнил Мясогоев, был факт того, что он является единственным наследником всего барахла и квартиры покойника. Он взволнованно огляделся по сторонам, не подглядывает ли кто-нибудь за ним. Мысли растеклись по полу и проникли в сокровенное подполье, где покойник хранил на чёрный день крупную сумму денег. Мясогоев рассмеялся от осознания, что теперь все денежки достанутся ему, а не этому дохлону Льву. «Плюс квартира, — разгорячённо пробормотал наследник. — Неплохо, неплохо. Квартиру можно сдавать одинокой девушке, а деньги припрячу», — ликовал он мысленно. Скорыми шагами он направился к дому, играясь в кармане ключами от квартиры Мясогоева.

Поднимаясь в лифте, он, судорожно вздрогнув, проснулся в душном, искалеченном ужасе. Он отчётливо увидел, что вся эта искалеченная смертью реальность ему приснилось. Он понял, что нет ни наследства, ни квартиры, ни денег, припрятанных в тайном месте, что нет ничего, и это новое «ничего» напугало Мясогоева. «Это ничего... — пробормотал он. — Это всего лишь ночной кошмар, сон неврастеника. Вот до чего культ доводит». Лифт дёрнулся и остановился. Вернувшись в свой мир, он благополучно вышел на своём этаже и оказался возле дверей квартиры Льва. Он испуганно прислонился ухом к замочной скважине и прислушался к тишине. Тишина была мёртвая, как и он. Мясогоев в радостном нетерпении повернул ключ.

За дверью он наткнулся на неприятную картину. Квартира была перегружена малоинтересными вещами. Продавленный диван, старый холодильник, кресло без ножки, стеллажи с потрёпанными книгами, ламповый телевизор без внутренностей, неиспользованные строительные материалы... стоп. Что это? На дальней стене сиял образ Спаса.

Следует сказать, что событие, которое спровоцировало этот рассказ, осталось в сознании Мясогоева даже не на периферии, а в каком-то забытом из-за незначительности тайнике, и поэтому вспыхнувшая икона очень сильно обескуражила Льва. Он смятенно закрутил головой в поисках ответа, что делать с этим явлением. Какие-то прошлые переживания напомнили о себе мгновенной растерянностью, но мгновение сразу же было переварено новым сознанием, в котором Лев твёрдо решил выбросить икону Мясогоева.

Вот здесь особо стоит отметить, что он решил не продать икону, не подарить, не деликатно выставить на видном месте или в гордыне вернуть образ церкви как

не понадобившуюся вещь, а именно выбросить, причём выбросить на помойку или ещё дальше. Это важный поворот мирозерцания. Акт не смущённого равнодушия, но неосознанно-религиозный акт.

Но чтобы добраться до образа Спаса, Мясогоеву нужно было разобрать мешающий проходу хлам. «Избитая аллегория, но, тем не менее», — устало подумал Лев, скептически рассматривая фронт предстоящей работы. Перед пыльными, страшными габаритами его плавно серым унынием накрыла резонная мысль отказаться от идеи демонтажа этого пространства, оставить икону в покое и просто поселиться жить на диване, который уютно стоял в углу рядом с холодильником и ни во что не вмешивался. Мясогоев устало сел на него, обдумывая возможный компромисс, но тут же встал, так как наткнулся на взгляд с противоположной стены. «Нет-нет, так не пойдёт, — истерично пробормотал Лев. — Хотя...» — Мясогоев лёг и отвернулся к стене. Тут же по спине липким змеёнышем прополз холодок. Лев вздрогнул от неприятного чувства. Он знал, он даже ощущал физически, что на него сейчас смотрит Он. В сознании вспыхнул образ. Чтобы не смотреть на Него, Мясогоев закрыл глаза, потом ещё раз закрыл, ещё раз, ещё, но это механическое повторение не помогало избавиться от навязчивого видения. Мясогоев устало пожаловался образу: — «Сволочь всё-таки Мясогоев. Мистик, дурак. Верит в Тебя».

Внезапным озарением на этой фразе Мясогоев понял, что именно он и есть Мясогоев, и что произнесённые им слова касаются непосредственно его. Он рывком поднялся с дивана и с немалым удивлением увидел перед собой Льва. Встреча была реальностью, в этом не было никакого сомнения. Мясогоев и Лев стояли друг против друга и с испугом всматривались в призрачную дымку, в простор, откуда поднимались тяжёлые болотные туманы, в гнойных миазмах которых отчётливо виднелись две удивлённые человеческие фигуры.

Разрушив тишину этого спиритического видения, своей ненасытной утробой заурчал холодильник. Мясогоев оглянулся на звук, болезненно улыбнулся и, указав пальцем на беспокойное оборудование, сказал Льву:

- А ты знаешь, что он живой, а тот на стене — нет?
- Не знаю, — ответил Лев. — Я думал, ты умер.
- И я так думал о тебе.
- Так, может, мы...
- Не говори ерунды. Мы говорим. Мы живы.
- Как холодильник?
- Да.
- Тогда давай вот что сделаем. Снимем икону со стены и прикрепим её на холодильник.
- Давай, а зачем?
- Чтобы образ ожил. Попросишь жратвы у Него, холодильник откроешь, а там жратва.
- Это примитивно. Так Он не станет живым. Чтобы в холодильнике была жратва, надо её туда положить.
- Положим.
- А при чём тут Он?
- Он холодильник. В нём жратва. Вот ты зачем в церковь нашу ходил? Честно только ответь, как Лев Мясогоеву.
- За жратвой.
- И я за жратвой. Значит, Он — равно холодильник.

— Это бессмысленное центростремительное словоблудие, где всё в итоге сводится к холодильнику.

— Все пути ведут к холодильнику. И неважно, стоит холодильник в квартире или в морге.

— Ты идиот.

— Я знаю одного идиота. И, без преувеличения, это очень интересный человек. Эрудит, эстет, впрочем, это ему не пригодилось. Его испепеляющей страстью было собирание денежных знаков и изделий из драгоценных металлов в ущерб как своему здоровью, так и здоровью окружающих людей. Пришлось посадить его на ржавую цепь. Наказание лютное, но необходимое. Так, созерцая ржавчину и пустыню, открывшуюся перед его взором, он достиг некоего просветления и покоя и увидел он со страхом, что и сам состоит из ржавчины и пустоты. И вот тогда над ним сжалились, и в жалости к убожеству его дали возможность выбрать свободу, ибо только этот выбор сделал бы его свободным. Далее, на вопрос об одном-единственном желании, он мгновенно ответил испепеляющей просьбой, чтобы его оковы стали золотыми, что и было мгновенно исполнено.

— Глупость какая. Особенно финал. Золото.

— Именно. Золото. Чтобы не отрываясь смотреть на него, фантазией извлекая из материала замыслы и возможности. Ты, наверное, знаешь, что золото альфа и омега всякого искусства: от привычного художественного до искусства делать деньги.

— Идиот.

— Идиот это прекрасно понял, созерцая ржавчину. Что, по-твоему, думает нормальный человек глядя на Мону Лизу? Какой главный вопрос возникает в его сознании? Правильно. Сколько она стоит. И это вопрос более глубокий, чем кажется на первый взгляд. Вопрос игривый, блудливый, как улыбка Елизаветы Герардини, но в нём такие потайные интонации, над которыми стоит подумать серьёзно.

— Вот и думай о цене. А я лучше помолчу о Моне Лизе.

— Правильно. Об этом вообще предпочитают помалкивать. Кстати, ты в курсе, что самое совершенное произведение искусства, философии и прочей литературы — это деньги, причём деньги, сделанные из золота?

— Не строй из себя Заратустру, который так говорит.

— А что, отличная книга, если только не воспринимать всерьёз самого Заратустру и посмеяться над ним и его потешными речами вместе с толпой, вернее, в толпе.

— Ладно. Бери за тот край. Понесли телевизор.

— Взял.

— Так, о телевизоре ни слова.

— Давай, поднимай на три-четыре.

— Три, четыре.

— Три, четыре. Я всегда буду там, где три.

— Что ты имеешь в виду?

— Чистый разум — чётное число. Одухотворённый разум — нечётное, то есть в нечете всегда присутствует единица без пары, то есть наблюдающее, отстранённое понятие. Только в нечётном пространстве есть и конфликт, и смирение. Оно одухотворено великими прозрениями, более трансцендентными, чем два, множимое на два. Сейчас нас, к примеру, трое.

— И где же третий. На стене?

— Где угодно. К примеру, я — Мясогоев, ты — Лев, третий — Лев Мясогоев. Или так: душа, тело и душа в теле.

— Тело — набор костей и мяса, регулярно выделяющий экскременты.

— Какой несимпатичный объект, но тем не менее ты очень любишь его. Ухаживаешь за ним. У тебя непростые отношения с этой обречённой плотью.

— Типичный пример шизофрении.

— Шизофрения — это механика. Я же толкую о совсем других материях.

— Осторожней, экран не разбей.

— Вот, смотри. Если предположить, что у человека есть душа и что она в момент смерти покидает тело, то это разделение уже говорит о человеке как не об однородном механизме, а о более сложной конструкции.

— Так нет же души. Есть только тело.

— Ещё книжные полки. Строительный хлам. Плита.

— Да, и плита.

— Но мы подошли намного ближе к Нему.

— Бога нет. Нет никаких доказательств.

— Бог есть. И Он есть то, чего нет...

Голоса постепенно стихают, удаляясь в обратную перспективу направленного на них зрачка, то есть в пространство, замкнутое бесконечностью. За окном рассвет. По окну сползает серыми струями дождь.

Сентябрь 2019, Буча

Гипнотизёр

Если бы мы были на пару лет младше, то к изображению мужчины на афише, скорее всего, пририсовали бы усы и бороду, может быть, добавили бы ещё очки и ослиные уши, а так... Макс красным фломастером прибавил к фигуре во фрачной паре гипертрофированный мужской детородный орган. Мы рассмеялись, хотя ничего смешного в этом похабном граффити не было.

Испорченная афиша информировала людей о том, что вечером в Доме офицеров Черниговского лётного училища выступит гипнотизёр. Я, мой друг Макс и его брат Денис решили сходить на это представление. Мы не были заинтригованы появлением на нашем горизонте таинственного артиста, нам просто нечего было делать, мы в деятельном промежутке между...

Предстоящие выпускные и вступительные экзамены, канцелярские допризывные повестки в военкомат тревожат наше сознание смутными предчувствиями. Спротивляясь новой предстоящей реальности, мы изображаем из себя мрачных циников — называем людей людишками и с удовольствием цитируем Достоевского, вернее, Петра Верховенского. При этом, интуитивно понимая опасную муть такого отношения к миру, мы испытываем постоянный психологический дискомфорт. Это непонятное ещё чувство давит неосознанным испугом и проявляется в нервной психической неуравновешенности. Друг друга мы иронично обозначаем как хibaкyся (люди, пережившие атомную бомбардировку, а в нашей интерпретации — искалеченные агрессивной цивилизацией). Конечно, мы подчёркиваем этой неуклюжей иронией свою интеллектуальную исключительность.

Концерт состоится вечером, через несколько часов. «Нужно убить время», — мы смеёмся над возможными способами физического устранения этого основополагающего явления. Мы идём в парк на территории училища.

Ухоженные дорожки, покрашенные бордюры, благородные ели, построенные в шеренгу, идеально подстриженная под полубокс трава — всё по правилам, и всё это не создаёт уюта даже полузаброшенного городского парка. В этом пространстве мы чувствуем себя напряжённо, по стойке смирно. Бюсты героев, плакаты, сообщающие, что такое строй, фланг, походный и строевой шаг.

Белка перебежала дорожку. Патруль проверил наши временные пропуска в клубную секцию космонавтики. Раздражение. Синее небо над головой, по которому тянется белая инверсионная полоса от реактивного самолёта. Хлопок преодоления сверхзвукового барьера. У пилотов занятия.

С одной стороны, нам нравится романтика, поэтика воздухоплавания, но с другой — инстинктивно пугает необходимая здесь дисциплина, субординация, строгость, начищенные чёрные ботинки и чёрные или тёмно-синие носки. Все эти впечатления, переживания переходят в тему нашего разговора.

Мы говорим о подчинении человека человеку, о свободе. Собственно, об этом мы ничего не знаем. Для нас пока что свобода — это природная необходимость перечить родителям и учителям, и поэтому все наши суждения — суть пересказ прочитанного. Наша интерпретация чужих переживаний примитивна. Мы ещё неосознанно боимся собственного мнения, маскируя его чужими цитатами. Свободу мы понимаем как собственную исключительность, неподчинение общим правилам. Дисциплина раздражает, мораль смешит, смирение определяется как рабское.

Говорят по теме в основном Макс и Денис, я в разговор почти не вмешиваюсь. Глядя на друзей, я вспоминаю, как недавно нас водили в обсерваторию педагогического института, чтобы показать лунные ландшафты. Экскурсия, естественно, была вечерняя. Небо безоблачной тайной, мерцающим зодиаком предстало пред нами. В нём тихо колдовало бледное светило с оспинами кратеров Гагарина, Королёва, Менделеева (герои обратной стороны). Кто-то поставил «Пинк Флойд». Метеор чертой по небу. Тайна. Но мы заинтересовались не загадками и не топографией Селены, но могучими телесами белокурой тётки, которая в соседней девятиэтажке ходила по квартире в трусах и лифчике. Для эффективного наблюдения за полуодетой дамой мы сначала использовали оптику менее кратную, чем основной телескоп, но после, в экстазе, попытались перевести на объект и главную трубу. Смех, сальные шутки. Балбесы.

Макс достаёт дедовский серебряный хронометр Бурэ — сногшибательный шик. Показывает время. Мы идём в клуб.

Гипнотизёр выглядит не так, как на афише. На нём нет фрака и чалмы. Это обычный человек среднего роста в среднем костюме серого цвета и подходящей к нему обуви. У него стандартное положение волос с зачёсом набок и спокойный, очень спокойный уверенный голос. Это несоответствие серого, среднего с надменной уверенностью раздражает меня. Рядом тихо смеются друзья. Гипнотизёр вызывает на сцену желающих, кто почувствовал тепло в ладонях. Макс толкнул меня в бок, мол, выходим. Я понял его затею, но не сразу повёлся. В конце концов, я последним поднялся на эстраду.

Далее, на сцене, после потешных месмерических заклинаний началось безобразное веселье. Я пел под воображаемую гитару, рядом кто-то изображал домашних животных и прочий цирк в деталях. Зрелище, как мне после рассказали очевидцы, было убогое, и подробно рассказывать о нём не стоит. Но во всём этом балагане замечательно было то, что я тогда ощущал себя полностью свободным от иллюзий гипноза и выполнял задания мага по своей воле, не принуждаемый его парализующим волю взглядом. Зачем я это делал? Мне казалось это забавным приключением, о котором можно будет впоследствии смешно рассказать в компании,

показывать в лицах гипнотизёра и друзей, дополнив историю фантастическими подробностями. То же самое чувствовали, по-видимому, и мои друзья. Они осмысленно подмигивали мне, сдерживали смех при нелепых приказах артиста, мол, дурак — он, а не мы, мол, всё под контролем и мы просто прикалываемся. Нам казалось, что это мы дурачим человека с афиши, серого идиота, которого мы разоблачили и который не видит нашего злого коварства. Что касается людей рядом с нами, то один из них, пожал плечами, ушёл со сцены, ещё одна девочка осталась с нами и даже пела, когда я играл на гитаре, Макс на пианино, а Денис на барабанах. В конце концов, в восторге от этого нестандартного приключения и от самих себя, под смех и аплодисменты публики мы ушли с эстрады.

После представления, в фойе нас встретил учитель математики. Он был на сеансе с дочкой и заинтересованно спросил об эффекте гипноза. Мы смутились присутствием уважаемого нами человека, но честно ответили, что не чувствовали никаких сомнамбулических переживаний, всё делали по доброй воле исключительно из примитивных хулиганских побуждений. Дочка учителя при этом мужественном признании восхитительно улыбнулась нам.

Математик переспросил о мотивации. Мы подтвердили нашу версию, добавив к ней свои выводы: гипнотизёр — шарлатан, разоблачённый нами.

— Но вы же подчинялись его командам. Вы делали ровно то, что он вам приказывал, — задумчиво заметил учитель. — Вам не кажется, что вас включили в какую-то игру и вы в итоге попались на элементарную приманку и даже не поняли этого?

Изумлённое молчание на вопрос.

Подводя итоги, эту историю можно растянуть на бесконечное число письменных страниц-рассуждений с полярными выводами, но посмотрим, что осталось в конечном счёте? Анекдот из прошлого с нарочито поучительным финалом. В финале элементарная мотивация и отказ от условностей вплоть до отключения чувства собственного достоинства и разумных инстинктов, где чужая воля воспринимается как своя, личная свобода с исключительной возможностью неадекватного поведения на людях. А теперь вы чувствуете, как ваши ноги и руки тяжелеют. Вы не можете сдвинуться с места. Ваш слух как никогда обострён и сосредоточен на моём голосе. Итак, вы демонстратор пластических поз во влажном притоне Бангкока.

23.03.20

Буча

Владимир Гуга

В пяти шагах от дома

Рассказы

Чернышевский отдыхает

Инвалидное кресло с завёрнутой в одеяло бледной девочкой толкает мрачный, но бравый мужчина. Чувствуется, что силу ему придаёт безнадежное горе. Такое бывает. Может быть, это — отец девочки, а, может быть, дед. Скорее всего, дед. Впрочем, девочка вполне может быть девушкой и даже женщиной. Из-за болезни возраст её определить невозможно. Видимо, она совсем не может ходить. Или... полностью обездвижена... Она похожа на малолетнюю старушку. Из кулька высовывается только небольшая часть серого лица. Брови и подбородок закрыты. Её постоянно, раз в день, вывозят гулять. Даже в снегопад.

Игорю не раз хотелось подойти к этой девочке-старушке и сказать что-нибудь приветливое. Например: «Погода сегодня прекрасная? Не правда-ли?» Или: «А день-то совсем короткий стал. Это значит, что скоро мы начнём двигаться в сторону весны. Вы Гребенщикова любите?» Или просто сказать: «Здрасьте!»

Но суровость толкающего дядьки и скорбный вид девочки останавливали.

— Знаешь, — сказал Игорь как-то своей жене Ирине, — я всё-таки познакомлюсь с ней. Потому что нужно, чтобы хоть кто-нибудь поговорил с этой бедолагой. Ну что они вдвоём ходят по району...

Супруга помолчала полминуты и ответила:

— Да? И что же ты ей скажешь?

— Ну... Не знаю... «Как дела? А я вот работаю в известном общественно-политическом журнале, пишу статьи и беру интервью. Недавно, например, взял большое интервью у Зюганова. Однажды чуть было не взял интервью у самого Путина. Телохранители президента меня тогда едва не прибили за журналистскую наглость. А хотите, прочитаю какой-нибудь из своих коротеньких рассказов?»

Владимир Гуга (Гугнин Владимир Александрович) родился в 1972 году в Москве, окончил музыкальное училище им.С.Прокофьева и Литературный институт им.А.М.Горького. Автор книг «Фаина Раневская. Великая и непредсказуемая» (2016), сборника рассказов «Мама нас точно убьёт» (2019). Печатался в журналах «Урал», «Дружба народов» и других. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 2.

— Какой молодец! — отозвалась, не оборачиваясь, стоящая у плиты жена. — А ты не боишься, что она в тебя влюбится? Будет думать о тебе, ждать, когда ты снова подойдёшь к ней на улице? Ты её можешь доконать своим вниманием.

— С какой стати? Я далеко не красавец и не молод.

— Вот как? — усмехнулась жена и, наконец, повернула голову. — А ты на секундочку, на мгновение поставь себя на её место. Попробуй.

Игорь попробовал и тяжело задумался: «Что же тогда делать? Что же делать? Что делать? Это не интервью у Зюганова взять. Или у Путина».

Пока думал, закончился локдаун. Игорь перестал гулять около дома. Он совсем перестал гулять: ни капли свободного времени.

Теперь Игорь уходит рано на работу и приходит вечером. Иногда очень поздно. Временами он видит девочку в кресле и её провожатого. В эти мгновения он снова тяжело задумывается, но быстро «отвисает», потому что его стареющей голове постоянно приходится решать целый ворох профессиональных и житейских задач.

Тысяча триста пятьдесят рублей

Василию порекомендовали маститого кардиолога с очень странной фамилией — Самостоп. Сказали, что он — «светило». В кабинете «светила» сидел невысокий, худенький старичок лет восьмидесяти в костюме без галстука. На лацкане пиджака — значок: маленький красный христианский крестик. В облике доктора и в интерьере кабинета ни единого намёка на медицинскую атрибутику: ни белого халата, ни стетоскопа на шее, ни тонометра на столе. В почти пустом помещении не было даже компьютера, без которого нынче не обходится ни один медицинский работник.

Василий обрисовал доктору ситуацию, рассказал, что время от времени его сердце начинает учащённо биться, а порой вообще сбивается с ритма, переходя на какие-то немыслимые синкопы. Обычно это происходит после употребления спиртных напитков.

Самостоп выслушал это всё с чуть заметной блаженной улыбкой.

— И как часто вы выпиваете?

— В меру, — ответил Василий и назвал объём раза в три меньше своего реального.

— Многовато... — покачал головой Самостоп. — Это очень серьёзная доза.

— Мы, поэты и писатели, все пьём, — объяснил Василий. — Все творческие работники прикладываются.

— А почему? — спросил доктор.

«Странный дед, — подумал Василий, — очень странный. Хоть бы пульс пощупал».

— Ну, во-первых, как правило, все художники житейски неполноценны. У них отсутствует прагматичная хватка, они рассеянны, не могут удержаться на постоянной работе. Во-вторых, истинно творческая работа довольно сильно изматывает. Поверьте, это — каторжный труд. Хороший рассказ или стихотворение можно выжимать из себя по капле целый год. В-третьих, общение с Богом, извините за высокопарность, подтачивает наши психические и физические силы. Я думаю, что вот это всё в комплексе и заставляет постоянно заглядывать в стакан. Хотя не всех. Есть исключения.

Василий удивился складности своей речи: будто не говорил, а зачитывал доклад с листа. Обычно такое с ним происходило после хорошего возлияния, но сейчас, в кабинете, он был трезв.

Самостоп взял из стопочки маленькую квадратную бумажку и принялся рисовать на ней каракулю.

«Даже интересно, — усмехнулся про себя Василий, — чем же всё *это* закончится?»

— Скажите, а зависть вас порой не гложет? — вдруг спросил старичок. — У меня есть один приятель. Он — отличный, на мой взгляд, поэт. Так вот, он жутко завидует другому поэту. Знаете, кому? Пушкину!

Бледное лицо Самостопа просветлело и оживилось.

— Когда он слышит стихотворение Пушкина или упоминание об Александре Сергеевиче, его зубы начинают скрипеть от злости, повышается давление, частота сердечных сокращений разгоняется до опасных показателей. Вы можете себе представить современного человека, который завидует гению, жившему триста лет назад? Вы бы стали завидовать Пушкину?

— Не стал бы, — ответил Василий, — это всё равно что завидовать Солнцу. Типа: «Ну, почему оно такое яркое, огромное и долгоживущее, а я — маленький, тусклый, и жизнь моя — миг».

Василий понял, что неожиданно увлёкся разговором с доктором. Однако лицо Самостопа вдруг опечалилось. Немного помолчав, он сказал:

— Я бы вам рекомендовал обратиться к психиатру. Могу отправить к отличному специалисту.

— Это ещё зачем? — Василий ощутил, что его накрывает бешенство.

— Вы склонны к депрессии. Поэтому много пьёте. Но лёгкие, совсем безобидные антидепрессанты помогут вам отвлечься от бутылки. Скажите, вы занимаетесь мастурбацией?

«Ах ты, старое чмо, — рявкнул про себя Василий, — нарываешься на неприятности?»

— Ну, чуть-чуть, немного? — пояснил профессор, увидев окаменевшее лицо Василия. — Это же абсолютно нормальное явление. Все люди...

— Мне кажется, — прошипел Василий, — вы немного выходите за рамки своих должностных обязанностей. Я ведь пришёл к вам совсем по другой причине. И заплатил за приём, между прочим, тысячу триста пятьдесят рублей. Это — немало.

— Простите, простите, ради Бога, — засуетился Самостоп. — Вы правы. Но что же мне вам выписать?

Самостоп взял из стопки новый листочек. Ручка в его пальцах начала выводить вензеля над бумажкой, словно профессор хотел нарисовать что-то сложное, но не знал, с чего, с какой детали начать.

— Выпишу-ка я вам аллапинин — двадцать пять миллиграммов, два раза в день. Скажите, а вы верите в Бога?

Доктор посмотрел на пациента совершенно растерянным, беззащитным взглядом. Василий мог бы его ударить тяжёлым ругательством — он это умел, — но напасть на старика оказалось довольно тяжело.

— Верю, — вздохнул Василий. — Но ещё сильнее я верю в ад. Потому что хорошо себе его представляю.

— Такая богобоязненность очень похвальна! — довольно произнёс Самостоп. — Я бы рекомендовал сходить вам в церковь и исповедаться.

— При чём здесь богобоязненность? Просто я отчётливо представляю себе ад. У меня бывали запои, и вот, во сне, во время отходняка, в те часы, когда наступает так называемое похмелье, я несколько раз видел чёрные... чёрные... Не могу это даже описать. Это настолько кошмарно, что...

— Знаете, — сказал Самостоп, — а у меня недавно жена умерла. Три недели назад. Три недели и два дня.

Доктор отвернулся к окну и замер. Кабинет заполнила тишина, изредка нарушаемая доносящимися из коридора детскими вскриками и всхлипами. Профессор Самостоп, светило кардиологии, принимал почему-то в стенах знаменитого на весь мир детского медицинского института.

Василий молча поднялся, вышел из кабинета и аккуратно прикрыл за собой дверь. Маленький листик с рецептом остался лежать на столе доктора.

В пяти шагах от дома

Две главные тайны Аркадия Абрамыча имели прямое отношение к магазину «Пятёрочка». Когда его жена надолго уезжала, например, погостить у сестры, Аркадий Абрамыч топал в свой родной супермаркет и приобретал в нём чекушку «Пяти озёр» или «Зимней дороги», половинку «Дарницкого» и бутылочку «Буратино». «Пойду в “Пятёрочку”, — бурчал по дороге Абрамыч, — куплю водочку. Странно... Оба слова заканчиваются на “очку”, а рифмы почему-то нет. А вот другой случай: “Слесарь дядя Петя меж берёз и сосен, как жену чужую усосал ноль восемь”. “Сосен-восемь” заканчиваются совершенно по-разному, а рифма есть. Как это понять? Чудеса... Загадки».

Положив добычу в пакет, Абрамыч брёл в лесопарк, устраивался на любимой, почти никому не видимой лавочке и начинал «расслабляться». Отдых его заключался в неспешном поглощении «Пяти озёр» под прослушивание словоохотливых ведущих радиостанции «Эхо Москвы».

— Ну надо же! — сокрушался Абрамыч на своей скамейке. — Какой же беспредел! Какой же, мать вашу, беспредел! Да что же это такое!

Вторую главную тайну Аркадия Абрамыча звали Нурия. Абрамыч смог прочитать её имя на бейдже, лишь нацепив очки. Нурия всегда работала стоя. Поэтому Абрамыч натёкался взглядом на её фантастические изгибы, затянутые узким платьем, находясь в любой точке торгового пространства.

Нурия не надевала магазинную зелёную куртку и не убирала падающие аж до поясницы тяжёлые чёрные локоны. А вот её коллега Саадат, наоборот, всегда затягивалась платком, оставляя открытым лишь круглое лицо с чёрными дугами бровей. По краю платка Саадат плясали арабские буквы.

Когда Аркадий Абрамыч покупал чекушку, он никогда не подходил к кассе Нурии. Ему было стыдно. Он не хотел, чтобы она знала о его первой тайне. Алкоголь он всегда пробивал в кассе бородатого Карима.

Зато когда он загружал тележку невинной продукцией — хлебом, сметаной, бульменями, молоком, — тут уж ноги сами сели к Нурии.

— Что вы здесь делаете? — спросил он как-то Нурию. — Не понимаю, разве такая красивая женщина должна находиться в этом... в этой...

Абрамыч не смог подобрать необходимого слова.

— Я здесь ненадолго, — ответила кассирша. — Мне самой очень не нравится работать в магазине. Но это всё равно лучше, чем в Росгвардии.

— Вы работали в Росгвардии? — изумился Абрамыч, вспомнив новости любимой радиостанции про жёсткий разгон митингующих школьников.

Нурия выглядела как изящный флакончик дорогих духов, завернутый в подарочную

бумагу. Платья её напоминали персидские ковры, прошитые золотой нитью. У Нурии была пломбирная кожа, сверкающие волосы и почему-то светло-серые глаза.

— Я здесь ненадолго, не думайте, — повторила Нурия.

— Жаль, — ухмыльнулся Абрамыч. — Без вас этот магазин потеряет смысл. И не только магазин...

После этих слов на щеках Нурии вспыхнули алые пятна. Абрамыч почувствовал, как у него застучало в висках.

«По возрасту, — размышлял Абрамыч, — она годится мне в младшие дочери. Может быть, даже во внучки. Бедное дитя... Ей бы рекламировать ювелирные украшения в глянцевах бортовых журналах, а она... вот... Росгвардия, “Пятёрочка”... Наверное, Нурия не может переступить через какие-то личные принципы, которые у неё определённо имеются. В наши дни подобные принципы принято называть “комплексами”. Она — честная и чистая. Таких почти не осталось».

Аркадий Абрамыч стеснялся делать Нурие комплименты, если рядом с ними находился другой покупатель. И Нурия это понимала. Но, когда они оставались один на один, Абрамыч всегда говорил про ослепительную красоту Нурии. Так прямо и говорил: «Вы ослепительно красивы».

После этих слов Нурия столбенела и опускала глаза.

«Неужели её волнует этот слащавый бред? Господи, как же я, старый козлина, должен нелепо выглядеть в её глазах со своими нафталиновыми слюнями. А может, это вовсе не слащавый бред? Тогда что? И должно ли быть продолжение у этой истории?»

Для продолжения истории Абрамыч разработал незатейливую, но очень дерзкую операцию. Появившись как-то в «Пятёрочке» поздним будничным утром, он положил в тележку кое-какой снеди и подошёл к кассе.

— С вас пятьсот пятьдесят пять рублей, — сказала Нурия.

— Вот, пожалуйста, — ответил Абрамыч и положил на прозрачный пластмассовый квадрат шестьсот рублей.

— Пяти рублей у вас не будет? — спросила Нурия. — Я тогда сдачу одной бумажкой дам.

— К сожалению, нет.

— Даже не знаю... Может быть, картой расплатитесь?

— Карты у меня тоже нет, — соврал Абрамыч и тут же исправился. — Вернее, есть, но дома.

Когда Нурия пересыпала монеты в руку Абрамыча, он сомкнул пальцы. Нурия замерла, но руку не отдернула. На её пломбирных щеках снова замигали пятна.

«Какая гладкая кожа», — подумал Абрамыч и вдруг начал задыхаться.

Касса, потолок, пол, стеллажи с продуктами поплыли по кругу.

«Просто экстрасистола, — решил Абрамыч. — Главное, не паниковать. Сейчас отпустит. Такое уже было. И не раз».

Огромные глаза Нурии от страха стали ещё больше. Свободной рукой она нажала на красную кнопку вызова администратора. Задребезжал звонок.

Абрамыч неожиданно провалился в воздушную яму.

«Прям как в самолёте, — подумал Абрамыч. — Мы что, куда-то летим? А вообще, где я? Голоса какие-то... Крики... Что-то экстрасистола затянулась. Ладно, сейчас всё образуется, сейчас всё будет нормально, сейчас всё...»

Старик Бехштейн

Я нашел рояль, изготовленный в начале прошлого века. Старик С. Bechtein спрятался в закутке областной филармонии. Он притаился, ловко замаскировавшись обрывками бордового бархатного занавеса. Пожилой красавец. Сверху на лохмотьях стоял бюст кого-то. Время стёрло черты с лица бюста, поэтому «кто-то» напоминал одновременно Чайковского и Ленина. У подножия рояля лежал контрабас без струн, совсем убитый, с дырой в брюхе.

Старик Бехштейн сохранил прекрасное состояние. Я убедился в этом, громыхнув чудовищным до-мажорным аккордом на две руки. Рояль достойно отозвался. Без фальши и дребезжания. Сохранил, значит, голос. Подстроить чуть-чуть — и супер.

— Эта... — хрипнуло за моей спиной.

Вижу, подсобный рабочий филармонии в синем комбинезоне. Плешивый. С брюшком. Но здоровенный.

— Скажите, — спросил я, — рояль-то, наверно, списанный?

— Конечно, списанный.

— Значит, можно его забрать?

Рабочий потёр нос.

— Конечно, можно. Доброе дело сделаете. Помещение немного очистите. Тут столько барахла ненужного. А у нас возможностей не хватает для выброса списанного инструментария. А зачем он вам?

— Ну... как же! Инструмент всё-таки. Хороший рояль. У меня дочь в музыкальной школе учится.

Я на всякий случай промолчал об истинной ценности инструмента, опасаясь, что рабочий филармонии начнёт претендовать на мою находку.

— Так ведь дорого везти-то, — побеспокоился рабочий филармонии, — грузовик надо заказывать. И грузчики нужны.

— Ничего... — весело соврал я, — всё в порядке. У меня есть дружан в фирме грузоперевозок. Он мне бесплатно всё обеспечит: и грузовик, и грузчиков!

— А... Ну тогда ладно... — рабочий махнул рукой и опять задумался.

— Так можно забирать? — поторопил я развитие событий.

— Можно, — буркнул рабочий областной филармонии и почесал затылок, — только эта...

— Эта! — опередил я сотрудника. — Могу вас отблагодарить. У меня есть немного денежек.

— Да не... — рабочий филармонии глянул на меня как-то хмуро-застенчиво, — он-то, конечно, списанный... Но... Как бы... Как бы что не получилось... — «Как бы чего не вышло», — вспомнил я классика. — Слушай, парень, погоди немного, я сейчас.

Рабочий филармонии вернулся минут через пятнадцать с другим рабочим филармонии, пожилым толстяком в таком же синем застиранном комбинезоне. У первого рабочего была в руке кувалда на длинной ручке, у второго — лом.

— Тут эта... Такое дело... — объяснил первый и, крикнув, обрушил кувалду на клавиатуру. Несколько клавиш, кувыркаясь, взлетело в воздух. Рояль взвыл. Я оцепенел.

— Пётр Ильич, подсоби! — обратился первый рабочий ко второму.

Пожилый толстяк взял безличенный бюст и со всей силы швырнул его в рояль. Бюст отскочил как мяч, не причинив роялю особого вреда. Тогда Ильич поднял крышку и с размаху ударил ломом прямо в нутро инструмента. Бехштейн покачнулся

и гулко застонал. Несколько оборванных струн со звоном свернулись. Однако рояль снова устоял.

— Крепкий, чёрт, — констатировал Пётр Ильич, — ну-ка, Михал Иванович, уйди!

Ильич поставил около инструмента табурет и, используя его как ступеньку, взлез прямо в открытое чрево рояля. Немного постояв, собравшись с силами, Пётр Ильич решительно выдохнул, высоко подпрыгнул и грузно опустился башмаками на днище рояля. Десяток струн, звеня, закрутились улитками. Бехштейн завопил от боли.

— Ах ты, ёп! — возмутился Пётр Ильич. — Не сдаётся.

Ильич повторил прыжок и очутился вместе с куском дна инструмента на полу.

— Ага! Получил фашист гранату! — обрадовался Михал Иванович. — Пётр Ильич, ты живой?

— А як же! — шутейно ответил толстяк, поднимаясь с пола. — Ух, приложился. Ну-ка...

Пётр Ильич взял лом и принялся долбить полированные бока Бехштейна. В это время Михал Иванович крушил кувалдой походящие на кегли, но тем не менее изящные ножки рояля. Его, видимо, очень расстраивало, что крепкий старый инструмент никак не падает. Работа закипела. Ильич споро выворачивал крышку, а Иванович пытался сбить рояль с ног. Эта музыкальная коррида закончилась, когда лишённый клавиш и боковин Бехштейн, наконец, рухнул. Ножки разъехались в разные стороны.

— Ну всё, сынок, можешь забирать, — разрешил Пётр Ильич, промокнув выступивший на лысине пот. — Теперь он — твой. Списанный инструмент, так сказать, всё по-честному — никакая комиссия не придерётся. А то ведь, случись что — потом не отбрехаешься, никаких бумажек не хватит. Да... Хороший инструмент, добротный. Делали раньше на совесть. И то сказать — немецкая работа.

— Да, — согласился Михал Иванович, — вещь, однозначно...

Прежде чем покинуть закуток филармонии, я подошёл к распластанному старику. Присел перед тем, что раньше называлось С. Bechtein. Положил руку на кусок крышки. Инструмент некоторое время ещё сохранял признаки жизни: сухое дерево чудесным образом продолжало резонировать. Я пошевелил пальцем обвисшую басовую струну. Старый рояль последний раз вздохнул и умер.

Побег из Кунсткамеры

Дядя Гена по прозвищу Светофор решил отделаться от тётки Нади с помощью своего коронного приёма. Все знают, что у каждого яичного мужика имеется излюбленный инструмент прерывания связей с покорённой женщиной.

— А знаешь, зая, — произнес он на утро после ночной кульминации затянувшегося романа, — почему у меня разные глаза: один голубой, а другой зелёный?

— Ну, наверное, потому что твоя мама нагуляла тебя от двух разных мужчин, — грубо пошутила тётка Надя.

— Почти бинго! — невозмутимо ответил дядя Гена. — Но не совсем. Дело в том, что я — химера. Редкое явление. Видишь ли, вместе со мной в материнском чреве развивался ещё один эмбрион. А потом так получилось, что я его там, в утробе, поглотил, растворил в себе. Но как бы не до конца. Какие-то детали другого организма во мне остались. Поэтому я — не совсем я. А нас как бы двое. То есть, в каком-то смысле, я сиамский близнец, вернее, близнецы...

Тётка Надя глубоко задумалась, накручивая на палец чёрный локон.

— А может, наоборот? — меланхолично спросила она.

— Что «наоборот»? — Светофора удивила неожиданно спокойная реакция тёти Нади. У других женщин это признание вызывало оторопь и желание скорее смыться от монстра, место которому в кунсткамере.

— Может, это он, *другой*, тебя поглотил? Может, от тебя настоящего осталось совсем чуть-чуть, а ты думаешь, что ты — это ты, хотя на самом деле то, что ты считаешь самым собой, это — *он*, а подлинный ты — это жалкий рудимент в нём.

Светофор испуганно вскочил с кровати.

— Ты что? С чего ты это взяла? Я — это я и никто другой. Не надо меня стремать!

Тётя Надя лениво зевнула и закрыла глаза:

— Да ладно те... Какая разница... Ты это или не ты... А вообще, с тобой прикольно. У тебя кофе нет случайно?

Нокаутированный Светофор послушно поплёлся на кухню.

Музыкальный момент

По дороге баба Люба неожиданно призналась:

— Когда-то я была балериной, подавала большие надежды, а потом по уши влюбилась в гениального пианиста Владимира и ушла со сцены...

— Почему, бабушка? — спросила внучатая племянница, оторопев от такой неожиданной новости. Ей оказалось не просто осознать, что тучная, бесформенная, похожая на огромную хурму, бабушка Люба когда-то порхала в пушистой пачке.

Баба Люба замедлила шаг, призадумалась и ответила:

— Рано тебе ещё такие вещи знать. Подрасти сначала.

Света на секунду насупилась, а потом выдала:

— Так не честно! Тогда вообще не надо было начинать рассказывать. А если сказала «А», значит, говори и «Б».

— Ну, ладно, — сдалась баба Люба, с радостью отметив, что характер у её двоюродной внучки вырисовывается боевой. — Дело в том, что я с юности страдаю очень неприятным и неизлечимым недугом — роялефобия. То есть при виде рояля, даже при мысли о нём, у меня начинается панический припадок. Вот почему, когда я прихожу к вам в гости, я никогда не захожу в комнату, где стоит это чудовище. То-то...

Баба Люба остановилась, положила ладонь на лоб и вскинула голову.

— О этот полированный, похожий на дорогой гроб, корпус! — драматично завывала она. — О эти толстые слоновьи ножки на колёсиках! О этот хищный оскал клавиш в шели под приоткрытой крышкой! Ужас! Ужас! Ужас!

Баба Люба так убедительно изобразила своё бедствие, что Света чуть не выронила из рук папку с нотами.

— Мы любили друг друга безумно, — продолжила свой рассказ старая роялефобка, — и я, чтобы не ломать блестящую карьеру Владимира, сбежала из театра, из дома, переехала во Францию и прожила там тридцать четыре года. Вот так. Ни семьи, ни детей, никого у меня нет. Только ты, да твои родители и прародители. Нынче мой недуг притупился, но в те годы, даже мимолётная мысль о рояле вызывала у меня приступ паранойи. Иногда дело кончалось обмороком. Понимаешь, я хотела, чтобы Володя потерял всякую надежду найти меня, смирился с моим исчезновением. Его инструмент мог превратить нашу жизнь в ад. А я мечтала, чтобы

он стал великим и... — Баба Люба остановилась и смахнула набрякшую слезу: — Ну всё, беги, Светочка, — сказала она, — а то на занятия опоздаешь!

Обалдевшая Света понеслась в сторону трёхэтажного здания, наполненного музыкальными звуками.

— Представляешь, — выпучив глаза, рассказывала Света своей подруге Маше в ожидании учительницы по сольфеджио, — она бросила всё, чтобы не портить жизнь своему жениху, гениальному пианисту. Просто взяла и сбежала в Париж, пропала, можно сказать, без вести.

— Ничёсе! — ответила Маша, растерянно растопылив руки.

Вдруг из-за двери, обитой ватой и дерматином, донеслось: «Трям-тара-рам-пам! Трям! Трям! Трям-тара-рам-пам! Трям! Трям! Трям-тара-рам-пам! Трям! Трям! Трям! Тара-ра-ра-ра-ра-рам-трям! Трям!»

В кабинете фортепиано кто-то долбил «Музыкальный момент» Франца Шуберта.

— Раз, и два, и три, и четыре, — орала в унисон этой долбёжке учительница. — Ровнее! Ровнее!

— А он, небось, — продолжила Света, — даже не в курсе, на какие жертвы ради него пошла моя двоюродная бабуля в молодости. Играл, поди, в самых престижных концертных залах мира, с лучшими дирижёрами сотрудничает, пластинки записывает...

Света много читала. И больше всего ей нравились романтические книги с приключениями. Поэтому иногда она выражалась не очень просто, а с узорами. Не все дети ещё зависли в смартфонах, не все.

Когда подруг позвали в класс, из хозяйственной каптёрки, пропахшей клеем, старыми инструментами, бумажным тленом, выполз старик в синем рабочем халате. У деда была массивная лысая голова в коричневых пятнах и огромные руки с длинными, как клешни краба, пальцами. В музыкальной школе он служил завхозом с неведомых доисторических времён. В коллективе не осталось ни одного сотрудника из той творческой команды, которая когда-то приняла его на работу: все поменялись. Поговаривали, что в прошлом он считался гениальным музыкантом, но на взлёте карьеры вдруг бросил профессию. По личным причинам.

О своём прошлом дед никому ничего не рассказывал. Он вообще был крайне неразговорчивым, абсолютно одиноким хмурым человеком, но к работе подходил ответственно и с полной самоотдачей. Такое уж поколение...

Старик медленно подошёл к окну и уставился на бабу Любу, что задумчиво растеклась на лавочке в прилегающем к музыкалке садике.

«Неужели и этот человек, — подумала Света, — когда-то любил? Разве такое возможно?»

За ватной дверью опять кто-то начал стучать по клавишам: «Трям-тара-рам-пам! Трям! Трям! Трям-тара-рам-пам! Трям! Трям!»

Старик на табуретке

Дети! Когда я был маленьким, то нередко видел около дома сидящего на табуретке старика-ветерана. Летом он надевал фетровую шляпу, а зимой ушанку из чебурашки. У него из кармана, украшенного орденскими планками, всегда торчал гранёный мутный стакан. Если кто-нибудь из соседей уходил в запой (что случалось нередко) или в загул (что происходило ещё чаще), дедушке всегда перепало в стакан некоторое количество водки, портвейна, пива, вермута или одеколона. Глядя, как дед

Сергей аппетитно принимает топливо, я думал, подтягивая колготки, что, когда стану большим, тоже налью ему выпить. И вот ведь чудо! Это случилось! Я успел налить дедушке на табуретке не только в конце перестройки, но и в начале лихих девяностых. А потом он куда-то исчез... Наречие «куда-то», разумеется, в моём выступлении является фигурой речи. В течение многих лет, если не десятилетий, крепкий одревеневший старик на такой же крепкой табуретке шерился на солнце и ждал щедрот от ближних. Он напоминал ходячий памятник из сказки про Нильса и диких гусей. Как героя того мультфильма звали-то? Розенбом, что ли? Эта хорошо просмолённая долблёнка, сохнущая на солнце, имела консистенцию и цвет лица ороговевшей древесной коры, в которой, словно два бутылочных осколка, торчали бирюзовые сияющие глаза.

В пасмурном настроении старика на табуретке, закопчённого, как дефицитная финская салями, никогда не видели. Он всегда блаженно улыбался и весело сыпал непристойностями. Запах перегара от него не исходил, наверно, потому что принятый алкоголь сразу впитывался в мумифицированные ткани организма, не перевариваясь.

Дети, нам известны хатха-йога, бхакти-йога, агни-йога, а выходит, практикуется ещё и алкоголь-йога с ударением на А.

И всё-таки, несмотря на всю свою концентрированную набальзамированность, дед на табуретке незаметно покинул свой пост у подъезда. И как только он исчез, мир покатился в тартарары. Для начала из нашего двора сгнули дворники, временами плескающие в мутный мухинский стакан деда тройной одеколон; потом снесли незаконные ржавые гаражи, владельцы которых угощали ветерана бормотухой; как-то быстро, один за другим спилили на детской площадке деревянных идолов и грибки, дающие прибежище дворовым пьяницам, — они тоже всегда чего-нибудь накатывали деду на табуретке; в один прекрасный день сторела хоккейная деревянная коробка — любимое место выходного отдыха молодых выпивающих папочек: у досок этого спортивного сооружения всегда валялись разнокалиберные пустые бутылки. Пупок привычной настоящей жизни развязался, и началась жизнь искусственная, поддерживаемая всякими реанимационными аппаратами. Всё стало ненастоящим, пластиковым. Времена дерева, бумаги, металла и кирпича ушли в прошлое безвозвратно. Даже пиво стали разливать в пластиковые бутылки. А раньше, между прочим, покойников накануне похорон держали дома и даже ставили около входных дверей на лестничных площадках крышки гробов. Да и бывшие мертвецы были как-то живее нынешних живых. Так что, дети, к старости, как видите, надо относиться с вниманием и пониманием. Берегите стариков, короче говоря. А то, мало ли что... Кто знает...

Арам Пачян

Потому что он меня ждёт

С армянского. Перевод Лилит Меликсетян

До свидания, Птаха

Фрагменты романа

* * *

Закрываешь свой блокнот, обнимаешь Птицу и, приблизив губы к ее голове, шепчешь: ты не видела Саака Бадаляна, моего друга со щеками юного Дюрера и нежным взглядом? — он любил торт и играть на пианино, спал-просыпался-жил с бабочкой на шее, — я нашел его могилу после трех дней поиска, наше-е-е-л, да, Пичуга, я, Шлиман — Генка Шлиман, — тринадцатилетний Дюрер так владел карандашом, что мог бы позавидовать ему и создатель крыла. Саак, от тебя осталась глубокая нежность изумленного и отдаляющегося взгляда, осталась навеки — до и после тебя — в первом автопортрете Дюрера, я боюсь выглядывать из окна своей комнаты, потому что ты всегда стоишь в глубине улицы, с бабочкой на шее, прижимая к себе кролика, — подарок на день рождения от кого-то из дворовых ребят, — бабочка, умирающая во сне на сундуке, с крылышками цвета тени проявилась несколько мгновений назад и увидела окно, стоящую на подоконнике глиняную вазу и сундук с игрушками, который со дня погребения не открывался ни разу, и пыль — завесу с осязаемыми катышками, светло-серый слой — молча, как снег, тускнеет память, которая каждый раз, когда раскрываются оконные створки, сгущается в сердцевине света — бабочкой, трепещущей в агонии и избывающей силу крыльев — страстное желание жить, мечта вырваться из замкнутого пространства; легкие хотят дышать,

Арам Пачян — прозаик, эссеист. Окончил юридический факультет Ереванского государственного университета, работал в правоохранительных органах. Автор романов, сборников рассказов, лауреат Премии Президента Республики Армения (2010).

Лилит Меликсетян — литературовед, переводчик, зав.кафедрой русской и мировой литературы Российско-Армянского (Славянского) университета. Переводы с армянского на русский публиковались в «Знамени», «Дружбе народов», «Литературной газете», «Литературной Армении», а также издавались отдельными книгами. Награждена медалью им. А.С.Пушкина за вклад в развитие армяно-русских культурных связей.

черный мазут заливает желудочки сердца. Каждый раз, когда я ем куриное сердце, мне кажется — это сердце Саака. Просовываю мизинец в желудочки, вынимаю. Там черная желчь. Со странноватым приятным вкусом. Вызывающим резкое головокружение. Растворилась. Нет ее. От густой черноты игрушки кажутся ярче. А ты хочешь просочиться сквозь щели в оконной раме — очередной детеныш среди других детенышей мира, очередная агония, бьющаяся в пыли. Хотя бы твои светло-синие крылышки не потемнели — твой изумленный взгляд в зеркале. Не удивляйся, тебя никто не помнит. Я всех спрашивал. Стариков и молодежь во дворе. Тебя не было. Ты никогда не играл на пианино и не ел торт в галстук-бабочке.

На опорном пункте, пока я глотал домашнее вино цвета клубники, поглядывая на плывущее по небу облако, и медленно, жалея и смакуя, курил подаренную Кардиналом сигару Montecristo № 4, я думал о тебе, радуясь, что ты рано умер, потому что не случилось тебе умереть, попал бы в армию, и там бы покончил с собой. Был бы рабом, ежедневно наводящим блеск на обувь дедов. Два года ты бы бесконечно жарил для них картошку на кухне, был бы личным секретарем, официантом, опорожнителем пепельниц, мальчиком на побегушках, а из-за своего мягкого зада — еще и объектом в постели.

Командир роты избивал бы тебя по каждому поводу, волочил в свою комнату и часами палкой месил бы твоё пухлое тело. Принуждал бы тебя к содомии, а ты, не выдержав ударов по спине и голове, наполненной аккордами, подвывая, рассказывал бы всё — всю подноготную дедов, выдал бы источники их доходов. Поделился бы их далеко идущими планами и тайными помыслами. А потом ротный плюнул бы тебе в лицо и вышвырнул из комнаты, бросив сидящим за столом дедам, что ты стукач, что все рассказал, что тебя не воспитали как должно, не приучили к побоям, и вот с этой секунды, с этих глумливых слов ротного начался бы твой настоящий ад. За то, что ты проболтался, деды стали бы измываться над тобой самым невероятным образом. Запретили бы питаться в столовке. Ночью, пока ты спал, они бы мочились тебе в лицо обильной струей или приносили с собой мочу в стеклянной таре и выливали на твою постель. Всем запретили бы здороваться с тобой за руку. Стоило бы им увидеть тебя одного на территории части, они бы с улюлюканьем окружали тебя, чтобы тушить зажженные сигареты о твой лоб, твои безволосые руки. Тебе не давали бы мыться в бане. Отнимали бы посылки, присланные из дома. Вытаскивали заложенное между пачками сигарет письмо от матери и сестры и, на глазах разорвав на мелкие кусочки, швыряли бы тебе в лицо. Заставляли бы писать домохозянам ответное письмо, мол, тебе срочно нужны деньги, скажем, сто тысяч драмов. Заставляли бы в душеспитательных подробностях расписывать, что у тебя долги, потому что по пути на опорный пункт ты потратился на разные нужные вещи: теплые носки, анальгин, валерьянку, средство от вшей, диски для плеера, — и если до следующей субботы долг не вернешь, то тебе будет совсем паршиво. Наверное, ты бы вообще перестал есть. Не спал бы по ночам. Напряженно ожидая очередного посещения кого-то из дедов. Несколько раз на дню пытался бы сам себя обнадежить, подбодрить, сравнивая свою жизнь с жизнью в роте тех, кому приходилось хуже тебя, но так и не находя никого, кому было бы хуже, точнее, наличие такого парня было бы твоей неосуществимой мечтой, потому что такой парень — это солдат, человек или бывший человек, чтобы прикоснуться к которому или пожать руку, нужно было бы быть Богом или таким же, как он, чистильщиком сортира. Микки Маус. Самая знаменитая мышь. Мышь мышей.

* * *

Задыхаешься. Пытаешься закричать. Твой рот не открывается. Мазут высох, твои губы склеились. Глаза выпадают из глазниц на плитку пола. Капли черной жидкости с треском взрываются в воздухе. Ты вскакиваешь. В блиндаже равнодушное молчание. Свеча выдувает тени. Засовываешь голову под подушку. Саак приходит за тобой. Посмотри, он безязыкий, но идет. Ты помнишь его? Помню.

От Саака всегда пахло швейной машинкой. Летом каждый день из окна квартиры на первом этаже третьего подъезда нашего дома доносилось дребезжание его неровных и бесталанных фортепьянных аккордов. Впервые в жизни я получил открытку — приглашение на день рождения. Мама подготовила для него подарок. Это была коробка зеленого картона. Через много лет, когда я спросил маму, что было в ней, она сказала: детская расческа из оленьего рога. Крепко прижимая подарок подмышкой, после нескольких неудачных попыток я сумел-таки в стремительном прыжке дотянуться до кнопки звонка у входной двери. Открыла его мама. К ноге ее прислонился Саак. Он встретил меня жалким взглядом и черным жеваным костюмчиком. Под воротником его белой рубашки был завязан галстук-бабочка, загнутые кончики которого упирались в складки его подбородка. Он держал в руках обтянутый кожей, украшенный длинноволосыми головами американских индейцев сундук и, тряся щеками, давал понять, что собирается складывать туда подарки. Мы все по очереди подходили и, поздравляя с днем рождения, клали подарки в сундук. Когда очередь дошла до одного из ребят, державшего на руках кролика, Саак попятился и окаменел. Он переводил взгляд с кролика на сундук и снова — с сундука на кролика. Кончиком языка облизывал края губ. Кролик грыз капустный лист, его усики подрагивали, уши тряслись. Саак, закрыв крышку сундука, мелкими шажками подошел, двумя руками осторожно обнял животное, потом приблизил к нему щеку и с нежностью потерял об усики кролика. Его лицо осветилось счастливой улыбкой. Больше Саак кролика из рук не выпускал. С этой минуты никто не обращал на него внимания. Мы играли в прятки, в солдатики, толкались, ели фрукты; Саак был равнодушен ко всему: он был слишком занят арбузом. Он жадно закладывал за щеки арбузную мякоть и легким усилием челюстей сначала давил ее, а затем, недолго пожевав, сглатывал кусками, не подымая головы на сидевших за столом детей. Потом, когда очередь дошла до торта, он задул свечи и, не вытерпев, пока мать разрежет торт, бросился и начал его пожирать. Он погружал указательный палец в крем, облизывал, смазывал им язык, потом, утрамбовывая, засовывал оторванный от торта кусок в рот, а в конце вытирал измазанные кремом пальцы о брюки. Наверное, Саак думал, что еда позволит ему забыть о нашем присутствии, но мы никуда не девались. Когда он, опухший от еды, встал с места и подошел к пианино «Petrov», мы поняли, что действительно пора сматываться, но было неловко: жалкий взгляд его матери умолял остаться — остаться и покорно выслушать игру ее сына. Недовольные, мы вынуждены были рассестись вокруг пианино. Саак осторожно положил кролика на крышку инструмента, плюхнулся на вертящийся стул и, склонив голову к клавишам, заиграл. Сначала он играл неуверенно и с опаской. Постоянно высовывал и прятал язык, облизывал губы, возможно, еще хранившие сладость крема. Он смотрел то на лежащего на пианино кролика, то на свои пальцы, то на кролика, то на пальцы, но вскоре, осмелев, уловил эмоциональную суть мелодии. Я был поражен: его мясистые, медлительные пальцы ускорились и невероятно удлинились, сливаясь с клавишами и совершенством исполнения. Он играл без нот. В уголках рта скопилась слюна. Рот его не закрывался, а крупная

голова все больше и больше утопала в плечах. Ближе к финалу я видел лишь эластичное порхание его пальцев, наполнявших комнату прекрасной музыкой. Когда отзвучал последний аккорд, Саак нервно встряхнул головой, как обычно делают пианисты в фильмах и на концертах, демонстративно сгибая в воздухе пальцы, которые словно переросли его. Комната взорвалась аплодисментами. Кто-то из детей вытащил гвоздику из вазы на столе и, что-то бурча под нос, торжественно вручил Сааку. Отказавшись от цветка, мальчик повернулся, взял с пианино своего кролика, обнял и снова подошел к праздничному столу. Выбрав полуразвалившийся кусок растерзанного торта, он начал есть, тщательно слизывая крем.

Через три месяца, играя на полуразрушенном заводе, Саак свалится в яму с мазутом и утонет. Его часто видели на безлюдной территории мертвого завода. Завидев нас, Саак подходил, молча становился рядом. Куда бы мы ни направлялись, Саак шел за нами, не произнося ни слова. Разозленные, мы били его, грозились, что, если не отстанет, мы проломим ему голову. Когда мы забирались на шелковицу и часами лакомились ягодами, он становился под деревом, раскрывал ладони и молча ждал. Когда мы играли в футбол и забивали мяч за ворота, всегда появлялся Саак — с мячом в руках, в затянутой вокруг шеи бабочке, в заляпанной грязью рубашке. Он отдавал мяч, становился рядом и не произносил ни слова. Я часто думал о нем, без конца терзая себя вопросами. Когда он тонул, — ждал ли он помощи, надеялся ли, что кто-то увидит и спасет его? Когда тяжелый черный мазут заполнял его легкие, понимал ли он, что его больше не будет? Как он понимал свое небытие? Отличал ли от бытия? Были ли его последние мечты связаны с сундуком, заполненным подарками? Если бы он закричал, — спасся бы? Если бы мы молчали, — он бы спасся? Если бы в тот день он случайно заметил нас и пошел бы за нами, — это спасло бы его? Я много раз пытался вспомнить хотя бы одно произнесенное им слово. Молчание. Саака уложили в коричневый лакированный гроб. Все в том же деньрожденческом костюме. Бабочка грустно прижалась к его воротнику, мясистые пальцы его успокоились, погасли. Гроб был ему к лицу.

* * *

Вечером температура резко подскочила, все тело словно было избито. Ночью его сунули в мешок, поволокли в медпункт, швырнули на койку в палате и ушли. С диагнозом проблем не возникло: начинающаяся ветрянка. Бессменный врач медпункта, тщедушный, с квадратным ртом, с несоразмерными телу паучьими руками и ногами, заполняя журнал медосмотра, ворчал, жалуясь командиру части: этот придурок несколько дней назад пришел, я его не впускал, сказал, нельзя, можно заразиться, но он уперся, хоть тысячу раз ему говори, все равно та же тупая башка. Он остался один в медпункте. Все три пациента выздоровели, выписались, а новеньких почему-то не привозили. Может, я последний больной в мире. Думал он и испытывал странный восторг, что хотя бы в этом для него сработает прецедент исключительности — хотя бы раз. Сначала, после назначения зеленки, витаминов и таблеток разной величины, врач заходил к нему дважды в день, интересовался самочувствием, а потом удалялся по коридору, посвистывая и ковыряя спичкой в зубах. Он крепко, на несколько замков, запирали за собой тяжелую дверь медпункта, снаружи пару раз с силой толкал, стучал по ней и уходил.

Если днем наряд из столовой посылал еду, врач открывал дверь, ставил поднос на пол, снова быстро запирали, не забывая несколько раз толкнуть и постучать по ней. Потом визиты стали реже. Врач появлялся раз в три дня — пьяный, с мятым и

воспаленным лицом новорожденного, постоянно зевающий от неумолимой сонливости, он открывал дверь палаты, повисал на косяке и всегда задавал один и тот же вопрос: хочешь, я тебе зуб выдерну? Он молчал, отворачивался к стене и натягивал одеяло на голову. Ты что, обиделся, что ли, подумашь, не хочешь — не выдерну, для тебя же, говорю. От ветрянки все его тело покрылось сыпью. Измазанная зеленкой кожа ныла от колющих ожогов. Он боялся увидеть собственное отражение в зеркале, хотя и думал, что зеркало взбунтуется и не отразит его отливающее зеленым и наполненное неописуемыми эмоциями лицо. Все имеющиеся у него деньги он на следующий же день отдал врачу, попросив принести пачку «десятиграммовых» шприцев с иглками разных размеров. На следующий день врач принес шприцы, но потребовал увеличить сумму, угрожая, что если не получит денег, то выпишет его из медпункта раньше срока. Он предложил висевшую у него на шее на черном шнурке серебряную кошачью голову, но с условием, что врач в случае надобности, когда он сам захочет, сделает ему укол. Пожав плечами и зевая, врач положил серебряный кулон в карман, согласившись.

От многочисленных читок письмо брата истрепалось. Он начал забывать его, брата, черты и выдумывал их по собственному усмотрению, черкая карандашом по бумаге — губы, нос полумесяцем, — но внезапно получалось лицо деда, а он помнил: брат терпеть не мог, когда его сравнивали с дедом, всегда обижался и уходил. В отличие от него, брат никогда не был мечтателем, всегда действовал решительно, уверенно, при этом не имея какой-либо конкретной цели в жизни. Вечно был занят «очень важными делами»: хотел основать кондитерскую фабрику, потом — фирму по производству сметаны, приют для бродячих собак. Хотел стать первым импортером качественных зарубежных ядохимикатов, лечащих виноградную лозу. Постоянно менял места работы, недовольный, что люди не ценят его преданности и вложенного труда, не ценят его реальных способностей и предпринимательской жилки. Брат был убежден, что все, что он делает, бесспорно талантливо и исключительно. По ночам, лежа в постелях, они подолгу разговаривали. Сначала это был монолог брата — длинный, с прерывистыми мыслями и вкраплениями коротких бессмысленных историй. Потом и он начинал делиться мечтами, — заложив руки за голову, вдохновенно, с особым блеском в глазах. Брат откровенно балдел от серьезности его мечтаний, иронизировал над ним, гримасничая, удобнее устраивался в постели. А он воодушевленно рассказывал, по ходу разговора вставал с кровати, взволнованно шагал по темной комнате, выглядывал из окна, курил, снова ложился, потом обеспокоенно спрашивал, который час. Говорил об особом виде морских свинок, которые могут читать стихи. Он старался максимально подробно и метко описывать суть своей мечты, не упуская ни одной мелочи, детали, мгновения, образа, переживания. Он объяснял внутреннюю и внешнюю структуру своей мечты, показывал легчайший путь ее достижения, беспокоился и унывал от предполагаемых трудностей, но в следующую минуту загорался новыми надеждами, и, если бы его мечта осуществилась, он точно знал свой первый шаг: прямо из парижского аэропорта он отправится в магазин и купит для своей любимой длинный, очень длинный шарф. А если ты туда летом поедешь, спрашивал брат, еле сдерживая фырканье. Ничего, в Париже и летом носят шарфы, я знаю. И что потом? Что ты будешь делать в Париже, продолжал брат. Ну, сначала буду воровать с арабами джинсы, телефоны, буду по дешевке продавать их на черном рынке. Хе-хеее, тебя поймают. Еще лучше: французские тюрьмы — это рай с китайской и тайской кухней, прекрасными условиями, я гуглил, смотрел, там тюремщики без всяких поводов и причин раз в две минуты извиняются перед заключенными. А потом, смеялся брат, а потом что? Потом выйду из тюрьмы,

поступлю на работу, ну, подыщу что-нибудь, без дела не останусь, главное, — буду в Париже, думаю, может, пойду к какой-нибудь старушке, стану ухаживать, присматривать за ней, она меня усыновит, а потом оставит все свое богатство своему попечителю, единственному сыну. Да уж, это ты хорошо придумал, ничего не скажешь — прочертил свой путь, молодец, ты добьешься своей цели, даже не думай, ладно, светает уже, если мама проснется, обоих прикончит, давай спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Но ему не спалось. Он все мечтал и мечтал до самого рассвета. Мысленно повторял сам себе: там все изменится, потому что меня здесь не будет, я буду там, где все иначе. Улицы иные, люди иных цветов, иные языки, вода, иной вкус у еды, иные друзья-приятели, даже сны будут другими. Иными будут счастье и боль, болезни, солнце и луна, рассвет и закат, грубость и стесненность, окна и двери будут иными, любовь и надежда. В этой инакости он будет тем, кем не может быть в здешнем однообразии. И он бы стал иным, точно бы стал, но кем и как — не знал. Брат много думал об их разговорах и общении, убеждался, что его брат из тех мечтателей, чьи помыслы никогда не осуществляются, они никак не связаны с жизнью и реальностью, — это даже не мечты, а проблески юношеского авантюризма, какие-то сверкающие осколки, которые так и не обретают целостности в месиве воображения. Он думал, что жизнь не прощает таких мечтателей, как его брат, вышвыривая их из ограничительных рамок реальности. В глубине души он боялся за будущее брата. Скажем, когда встречал на улице бездомного попрошайку, то на секунду верил, что и брата ждет та же участь, потому что видел в глазах и у попрошайки, и у брата отсветы родственной обреченности, одни и те же сверкающие осколки мечтательности. Мечтать — значит, выбрать кратчайший путь к смерти, думал брат и, отгоняя эти мысли, стремительно переходил улицу. Брат абсолютно ничего не делал, чтобы его мечты сбылись, — только мечтал. Казалось, его внутренняя вера настолько сильна, что рано или поздно заставит мир работать на свою мечту, магнитом притянет, запустит все необходимые действия и таинственные события. И тогда судьба возьмет на себя все остальные обязательства, протащит вперед быт, потому что его дело — лишь мечтать. Он думал, что мечту нужно тренировать, как мышцы, даже выделил специальное время в сутках для мечтаний: с 19:00 до 20:30 он непременно уединялся где-нибудь, в комнате или городском кафе, и принимался мечтать, а потом, когда время истекало, вновь возвращался к обычному ритму жизни. Так он открыл для себя все обаяние кафешной жизни и впервые начал обращать внимание на людей.

Но в Париж поехал его брат. Как-то раз он, запыхавшись, ввалился домой, собрал всех вокруг себя, перецеловал и сказал, что посол Франции дал ему визу. В это же мгновение он пожелал смерти брату, ему захотелось увидеть, как у брата внезапно разрывается сердце, как он падает на пол и умирает в судорогах. Он возненавидел тайно укравшего его мечту лиса, его хладнокровную, мерзкую манеру держаться, а еще возненавидел себя самого за то, что озвучил свою мечту, за то, что отныне его представления о Париже будут непосредственно связаны с жизнью его брата. И чем дальше, тем яснее понимал, что, продолжая мечтать о Париже, он больше не сможет в своем собственном воображении представлять этот город с его улицами, кафе, музеями, пригородами, секс-шопами и лавками букинистов, магазинами вин, шарфов и шоколада, мерцающими неоновыми огнями, но видеть станет только те места, по которым пройдет его брат, заикливаться на действиях, которые будет совершать его брат, общаться с теми людьми, с которыми повстречается его брат, купит тот шарф, который выберет его брат, причем не для его любимой девушки, а для очередной своей французской или хорватской подружки. В аэропорту был слышен его плач.

Съжившимся, время от времени сотрясаемым рыданиями телом он прильнул к брату и плакал как ребенок. Все были взволнованы этой трогательной сценой прощания, всячески пытались его успокоить, утешить и поддержать. Домочадцы были несколько ошеломлены, смущены, они не думали, что он настолько привязан к брату. Ему принесли стакан воды, заставили хотя бы глотнуть. Подняв голову, он печально посмотрел на стакан, потом, закрыв глаза, отказался от воды и снова положил голову на плечо Парижа. Его мать, дед, сестра, даже друзья брата подошли к нему, гладили его по тонким волосам, трепали по спине, шептали на ухо подбадривающие ласковые слова. Не помогло. Он не увидел, как взлетел самолет. Обессиленный, уснул прямо на скамейке аэропорта, и только губы его подрагивали во сне.

Раз в день он обязательно перечитывал письмо брата и снова прятал под подушку: «Здравствуй, родной, как ты? Как проходит служба? Я переехал на улицу рыбаков, ухаживаю за одной старушкой за восемьдесят, живу у нее дома. Брат, уже скоро, потерпи еще немного, год скоро пройдет, приедешь в Париж, я еще до дембеля урегулирую вопросы с твоей визой. С теми делами я уже завязал. Ты, наверное, помнишь о магазине джинсов, я тебе рассказывал. Бабушка-боснийка неплохо платит, мне хватает, я занимаюсь уборкой, стиркой, купаю ее через день. Знаешь, братишка, здесь никто не стесняется своей работы, была бы она, работа. Слушай, давай расскажу тебе интересную историю, подниму тебе настроение. Значит, эта бабуля, Елена Букиджич, лет семь назад купила гуся в качестве пса, то есть держала его так, как держат дома собаку, жила себе со своим гусем, а когда окончательно слегла, то поручила мне заботу о гусе и повысила зарплату, попросив, чтобы и после ее смерти я ухаживал за гусем, и заставила поклясться: что бы ни случилось, я никогда не нарежу гуся и не съем. Гуся зовут Люк, но так как сейчас я за ним присматриваю, то решил прибавить к его кличке еще одну — Вачо. Люк-Вачо. Сначала я и Люк-Вачо не могли притереться друг к другу. Характер у гуся гордый, самолюбивый, он мог внезапно обидеться и полностью отказаться от еды. Я его часами просил-умолял, извинялся перед ним, чтобы он что-нибудь поел и не сдох, чтобы бабка меня не прокляла и не вышвырнула, но постепенно мы начали понимать друг друга, приноровились. Я много рассказывал Люку-Вачо о тебе, показывал твою фотографию, и, когда приедешь в Париж, я перепоручу заботу о нем тебе, будете вместе целыми днями гулять по парижским паркам, все будут удивленно смотреть на вас и улыбаться. Я дважды в день вывожу Люка-Вачо на прогулку, очень люблю его поводок, и ты полюбишь — кожаный, легкий, с красивым узором. Как только издали виднеется Сена, Люк-Вачо ужасно радуется и бежит к ней со всех своих гусиных лап, еле за ним поспеваю. Люк-Вачо — умный гусь, видел бы ты, как осторожно он переходит улицу, внимательно следя за изменением сигнальных цветов на светофоре. Такие дела, брат. Еще раз повторяю: ни о чем не думай, все будет хорошо, если в воинской части есть интернет, напиши на мой мейл, буду ждать с нетерпением, и не забывай следить за собой, одевайся теплее, не простужайся. Несколько дней назад я разговаривал по телефону с нашими, у них все в порядке, все ждут твоего возвращения, а я и Париж — ТЕБЯ. До свидания».

Он берет бумагу и карандаш и пытается ответить на письмо брата:

Я поднял расческу, я не могу приехать в Париж.

Рвет бумагу, берет новый листок.

Когда я зашел в туалет, расческа была у меня в кармане, она упала на пол, я ее и поднял.

Я забылся, поднял расческу с пола, точно помню, что расческа упала далеко от лужи мочи, хотя, наверное, намокла. Забудь, что я могу приехать в Париж.

Новый листок.

Нельзя поднимать упавшее в туалете, не нужно стараться из-за визы.

Новый листок.

Упади расческа бесшумно, присевший над стульчаком в последней кабинке ссученный стукач ничего не заметил бы.

Новый листок.

Это все из-за отсвета зажигалки, ты же тысячу раз говорил мне: не кури.

Листки покрывали койку, как хлопья снега.

Прозрачные бутылки

Рассказ

Зачем люди пьют водку?

пьют, чтобы плакали дети всего мира

пьют, чтобы закусить соленым огурцом

пьют, чтобы помянуть усопших и бога

пьют, чтобы пить

пьют, чтобы убить

пьют, чтобы любить

пьют, чтобы избить

пьют, чтобы забыть

пьют, чтобы жить

Папа пьет, потому что не может не пить.

Мама ложкой крошит таблетку и добавляет в тарелку. Движения руки плавные, быстрые. Сейчас папа, посвистывая, выйдет из туалета и дрожащими от голода руками возьмется за суп с курицей, в котором растворилась наша с мамой тайна. Не могу сглотнуть: хлеб застрял комом в горле. Папа быстро доедает суп, пьет воду со льдом, уходит в свою комнату. А я думаю: вдруг он умрет, таблетка подействует на его кровообращение, сердце остановится. Мне его жалко. Проходят минуты. Папа обеспокоен. Вскрикивает с постели, бежит к окну, ему не хватает воздуха. У него удушье. Не понимает, почему ему плохо. В глазах страх, — такой страх я видел в глазах псины, грызущей кость. Мы с мамой сидим на кухне — с молчаливым терпением убийц. Папа взвыл. Мы бежим на помощь, укладываем в постель — от простыни несет водкой, его сердце вырывается из грудной клетки.

Таблетка действует. Нас предупредили, что у больного начнется головокружение, приступы страха, сердцебиение, ощущение пустоты, отвращение к алкоголю. Мама превратила меня в соучастника, чтобы чувствовать себя спокойнее: ей будет легче, когда она вспомнит, что, когда она подсыпала лекарство в суп, я стоял рядом. На следующий день я не выдерживаю и прошу маму прекратить: в ответ только мерное позвякивание ложки. Выхватываю пустую тарелку и швыряю о стену. Хватит. Хватит!

До Нового года всего несколько дней. Свиной окорок готов. Открываю дверь в квартиру своим ключом. Подаю голос, никто не откликается. Дома никого нет. Захожу в комнату родителей. Отец стоит ко мне спиной. Не слышит, что я рядом. Приладил двадцатилитровую бутылку водки ко рту и пьет. Стою. Когда он, наконец, оборачивается и видит меня, — сразу пьянеет. Плачет. Не говори маме, прошу. Куплю все, что захочешь.

Я перехожу в пятый класс, подворываю книги из дедушкиной библиотеки и жду, когда папа выполнит обещание.

Первого января он приходит с огромным музыкальным центром в руках. Это взятка за молчание. Мне кажется, от музыкального центра несет водкой, чесноком и сжигающей меня изнутри фальшью. Каждый день я тайно даю папе водку, поэтому он любит меня больше всех. В знак благодарности. У нас есть дача. Папа построил. Единственное место, где я чувствую себя человеком, говорит он. По пути останавливаемся напротив деревянного магазинчика, продавщица, не спрашивая, протягивает бутылку колы и водку. Я играю в саду, наслаждаюсь шипучкой и знаю, что на кухне папа раз в десять минут «промачивает горло». Ему кажется, я не догадываюсь, но где-то в глубине души, я уверен, он знает, что я знаю, и использует меня, но ничего, пусть будет так. Я с точностью до секунды выжидаю свои десять минут, пока папа допьет, опустошит бутылку. Возвращаемся домой в обнимку, словно влюбленные, грязные и исцарапанные. Мать набрасывается на отца с кулаками, меня обзывает жадной грязной скотиной, продавшей за бутылку колы. Папа валится на постель. Все выходят из комнаты. Он остается один. Мама ложится спать в комнате сестры. Посреди ночи захожу к нему: воздуха не хватает, стены дышат водкой. Он так и лежит в одежде, в той же позе, свернувшись эмбрионом. Хочу услышать его храп, чтобы убедиться, что он жив. Ни звука. Дрожащими пальцами дотрагиваюсь до его лба — вздувшиеся вены готовы взорваться. Значит, жив, не умер. Мне немного грустно: может, если он умрет, ему станет легче? Приглушенный звук бьющихся водочных бутылок и затуманенные молящие глаза папы. Одну за другой разбиваю его бутылки с водкой. Потом сажусь, вытираю глаза, выхожу из комнаты. Стучусь к соседу. Говорю, что поцарапал ногу о сухую ветку, дай мне рюмку водки — обработаю царапины. Сосед дает медицинский спирт, вату, учтиво желает удачи. Даю папе спирт, не разбавляя, помогаю выпить. В почти бессознательном состоянии он пытается поблагодарить, у него не выходит. Но я чувствую.

У заведующим наркологической клиники постоянно трясется голова. Он старается разжечь красную трубку, держа ее во рту, но она то и дело гаснет. Пытается выслушать меня. Говорю, что папа — известный хирург, хочу спасти его — вылечить, как-то помочь, но не хочу огласки. Он понимает, разделяет мои опасения, снова разжигает трубку, которая упорно не раскуривается. Объясняет, что палаты — платные, режим — строгий. Медсестры непреклонны, пациентам ежедневно дают по рюмке водки, а потом на алкоголь накладывается полный запрет, и, если пациенты не подчиняются, — их смиренными рубашками привязывают к кроватям. А если он умрет, спрашиваю я. У нас часто умирают, мне скрывать нечего, вы сами понимаете, что в конечном итоге это неизлечимо. Не хочу, чтобы папа умер. Я буду скучать.

Стены красные. Папа валяется на полу. Из рассеченного виска хлещет кровь. Красиво. Как фонтан на площади. Мама и сестра дома, в своих комнатах. Прижимаю пальцем рану. Кровь жидкая, как сок местного производства. Обработываю йодом.

Накладываю повязку — он сам научил. Папа, пап, я тебя ненавижу. Врешь. Смеется. Где ты упал? У железнодорожных путей. Тебя никто не видел? Все соседи увидели, сынок. Один ребенок помог мне, довел до дома. Прости.

Папа вытаскивает из трусов мятую тысячедрамовую купюру. Возьми, дорогой, выпьешь кофе с подружкой. Укладываю в постель.

Спи.

Иду к священнику. Советует прийти на службу. Господь все слышит. Но молчит. Да, только молча сочувствует. Мне его милосердие не нужно. Я готов расплакаться. Мне дают одеяние, свечи, ладан. Обряд длится долго. После литургии священник подходит ко мне и дружески хлопывает по плечу. Уповай на Господа, он великосерден, он укажет путь. Не знаю, что бы чувствовал Иисус, будь Бог Отец пьяницей. Говорю священнику, что жалею отца, хочу, чтобы он умер, но лишь бы не попал в ад — он и так в аду. Говорю, что стыжусь. Не стыдись, сын мой, не один ты такой. Он успокаивает меня, доброжелательно прощается.

Мне снятся прозрачные бутылки. Во всех бутылках сидит папа с отупевшим потухшим взглядом. Зовет на помощь. Его голоса не слышно. Читаю по губам. Как сумасшедший, набрасываюсь на бутылки, хватаю папу за волосы, вытягиваю и отрезаю ножницами голову. Лезвия проходят, как сквозь масло. Потом набрасываюсь на другие бутылки, вытягиваю своих отцов, отрезаю ножницами их головы. Молодец, сынок, продолжай, спаси меня. Мне жалко тебя потому, что ты мой папа. Ногами давлю говорящие головы. Крови нет. У моего папы нет крови. Только вода.

Звонят.

Вызывают в больницу.

Оставляю Машу и мчусь туда. Сердце трепыхается, как выброшенная на сушу рыбешка. По всей комнате — разбитые бутылки, их острые края скалятся акульными зубами. Папа совсем голый. Нижняя губа разорвана в нескольких местах. Лицо похоже на кусок вытащенного полчасика назад из холодильника розового мяса. Он не понимает, что я с ним. Изрезанными пальцами он придерживает засунутую в ноздрю зажигалку: вдыхает газ. Пальцы как клещи. Не могу вырвать из руки зажигалку. Кусаю за палец. Не чувствует боли, но рефлекторно разжимает ладонь. Отшвыриваю зажигалку. Закрываю дверь. По-бульдोजьи сжимаю челюсти, но голос находит лазейку в щелочке губ. Взвизгиваю. Мысленно хочется орать. Кажется, получается. Слышно только мне.

Нахожу его трусы под креслом, заботливо надеваю на него, потом и все остальное: носки, брюки, рубашку. Папа готов. Прошу тебя, соберись с силами. Он с трудом дает понять: не хочу, чтобы меня видели. Не увидят. Крепко держу его за талию, закидываю руку себе на плечо. Боязливо открываю дверь и, улучив момент, вывожу в коридор. Папа похож на раненого солдата, я ташу его. Боженька, родненький, ну, пожалуйста, только бы никто не встретился, умоляю. Из рентгеновского кабинета выходит медсестра и направляется к нам. Соскучились друг по другу, — я пытаюсь улыбнуться, но плачу. Коридор бесконечен. Осталось совсем немного, скоро выйдем. Сил больше нет. Падаем. Папа мгновенно засыпает. Я лежу на его мягком теле. Лицом к лицу. Мои слезы заливаются в его глаза, уши, рот. От холода и соленого привкуса он приходит в себя. В коридоре тишина. Поднимаю его, ташу. У коридора нет конца, как и у папиной жизни. Черными буквами написано:

ВЫХОД.

Я припарковал машину у двери. Укладываю папу на соседнее сиденье. Привязываю веревкой, чтобы не свалился. Дома нас никто не встречает. Сажусь на краешек дивана. Хочется спать.

«Ненавижу тебя, мне стыдно, что ты мой отец. Ты меня не любишь, любил бы — бросил пить, в тебе нет любви, ты только пить и любишь, ты и меня проглотил через бутылку. Хочу убить тебя в себе, не хочу носить данное тобой имя, твою фамилию. В каждом есть умершие люди, а во мне — это ты, папа».

«У многих пьющие отцы, ты не один такой. Ты говоришь жестокие вещи, но я-то знаю, ты добрый парень, такой же, как я. Пойми, я больше не могу не пить. Никакое лечение меня не спасет. Смирись. Я болен, я очень и очень болен, и мне тебя жалко из-за того, что я такой. Тебе не убить меня в себе, я тебя хорошо знаю, потом я буду жить в тебе. Что бы я ни сделал, ты меня не бросишь, сынок».

Опустошенный, иду на работу.

Жду телефонного звонка.

Где теперь свалился мой папа — на работе, в комнате, во дворе, в туалете, в кустах?

Папа упал.

Он один.

Дверь заперта, он кровоточит, не может позвать на помощь.

Нужно спешить.

Иду к нему. Он в гараже. Бутылка с бензином, рядом резиновая трубка.

Надышался.

На запястьях следы от укусов.

Ужасно.

Стою на верхотуре бетонных блоков высоченного Каскада. Ветерок. Внизу — темень, наверху — звезды.

Задыхаясь, бежит охранник территории. Ну-ка, быстро спускайся, сдурел, что ли? Голос глухнет в воздухе.

Перехожу улицу Баграмяна.

Прохожу мимо магазина «Чайкофф», где покупаю чай для любимой девушки.

Бегу домой.

Бегу, потому что боюсь.

Бегу, потому что не хочу видеть прозрачные бутылки.

Бегу, потому что со мной бегут дети всего мира.

Бегу, потому что не хочу, чтобы было так.

Бегу, потому что втайне от домочадцев должен дать папе рюмку водки.

Бегу, потому что он меня ждет.

Лидия Григорьева

Термитник

*Роман в штрихах. Книга третья**

Чужой чих

Молодой худощавый англичанин в лёгкой ветровке, явно не по этой промозглой погоде, чихнул ей прямо в лицо, когда она выбирала коробку с яйцами. Магазин был полупустой, и почему он подошёл к ней так близко, объяснить можно было только тем, что ему этого хотелось. Поступил он при этом как заправский ковид-террорист. Английские газеты давно уже пишут об этом. Особенно часто освещала такие истории любимая британцами бесплатная газета Metro, с подробностями описывая подобные случаи в транспорте и магазинах. Да что там! Часто просто в толпе, на улице! Мелкие капли его слюны попали Анне на лоб и щёки, не закрытые спасительной, довольно плотной маской.

И через пару дней, несмотря на две вакцины и маску, она заболела! Слегла. Тест оказался положительным. Её закрыли дома на карантин. Никаких специальных лекарств от ковида тут отродясь не выписывали, врачи по домам не ходили, лишь по телефону советовали пить парацетамол. И прислали с курьером мини-аппаратик для измерения сатурации. Вот если будет уровень кислорода меньше 80-ти, вызывайте «скорую», — сказал «домашний врач». В её стране таких врачей звали участковыми.

Почему она всё же решила, что это был англичанин? Потому что белый? Так, может, он прибалт какой-нибудь или поляк. Нет-нет, поляки всё же католики, в Бога верят в большинстве своём. Они не могут вот так по-хамски чихать, брызгая прямо в лицо людям заразной слюной. Совесть не позволит. Единственная страна в Европе, где ещё Бог живёт, а значит, и совесть там должна водиться. Англичанин, точно. Они и сезонным гриппом пренебрегают, в транспорте кашляют и чихают. И дети у них распускают сопли едва ли не до земли. Сопливые в школу ходят, и это

Григорьева Лидия Николаевна — поэт, эссеист и фотохудожник. Родилась в 1945 году на хуторе Лысый Новосветловского района (ныне село Лысое Краснодарского района Луганской области). Печаталась в журналах «Звезда», «Дружба народов», «Новый мир» и др. Автор многих поэтических книг и романов в стихах, в т.ч. «Небожитель» (2007), «Сновидение в саду» (2010), «Вечная тема» (2013), «Русская жена английского джентльмена» (2017). Живёт в Лондоне и Москве.

Предыдущая публикация глав из романа «Термитник new» в «ДН» — 2021, № 2.

* Журнальный вариант.

не считается тут болезнью. Но заболели ведь не они, а она! Странная страна. Привыкнуть невозможно.

«Не нравится, так и не живи там! А возвращайся обратно в Горловку. Тут тебя быстро вылечат!» — сказала по скайпу близкая подруга. И добавила: «Тут не от чужого чиха, и не от ковида люди погибают. Нет, не от ковида...»

Белый камень

Это ж как... люди раньше на этой земле годами строились. Большие дома, просторные. Бывало, отец начинал, а сын заканчивал. Вокруг по степи всхолмия сплошь из белого камня-известняка. Бери — не хочу. Камень прочный. И дышит. Это вам не кирпич или бетон. И обтесать его легко: мягкий. Ну а на фундамент камень-дикарь шёл. Земли тут ровные, степные. Ни наводнения, ни землетруса, ни весеннего селя. А земля — хоть на хлеб мажь! И бревно воткни — плодоносить начнёт. Вот и расселились. Разрослись. А работать — так на Попасной большой узел, грузовые составы, работы хоть отбавляй. Формировщиком устроился, к примеру, и живи. Огород тебе в помощь! По степи напрямую километров пять, так на то мотоцикл с коляской есть. Если что, там и на шахты недалеко устроиться было можно. И кому это всё мешало! Ну ты скажи, Михалыч. Теперь, глядь, чисто поле кругом — ни дома целого. Головёшки одни чёрные. И камень белый аж почернел. Всё с землёй сравнивали, захватывая негде, если надо. И боец ещё сильнее пригнулся в неглубокой траншее и закурил, прикрывая огонёк заскорузлой ладонью от снайпера, засевшего неподалёку в бывшем совхозном свинарнике.

Камыши

Не-е... под пули он не пойдёт... в камышах отсидится... Когда-нибудь же это кончится... Так подумал...

Но вышел ночью к обильным чужим огородам огурцов нарвать да и остался на постое у вдовы противника. Да и какой он противник: одноклассник бывший! Гришка Михельсон. Нет шоб дураку захватиться як след, так пошёл обороняться — от кого не пойми. Да и полёг почём зря.

Под Одессой дело было. В ту ещё, первую... как её ни назови...

Коза

Небо визжало. Земля плевалась острыми осколками железа. Но нужно было отвязать козу и затащить её в подпол, вырытый ещё дедом. Там их семья хоронилась ещё в немецкую оккупацию. Тогда семеро детишек было, а сейчас всего трое. Дед говорил, тогда коза их от смерти спасла. Козьим молоком кормились, выжили. Глядишь, и сейчас спасутся. Вот только доползти бы до козы, да отвязать, да дотащить упряму до подвала. Вот ведь принесла их нелёгкая из Тюмени на юга, на дедовский хутор в донецкой степи. Отдохнули, называется, всей семьёй, поели овощей и фруктов, что и говорить. Ох... лишь бы до козы добраться, когда обстрел закончится. А там и трава не расти...

Пилот

Как интересно: летит себе военный лётчик по своим военным делам, а под ним на земле огненными спрутами шевелятся, простираются города-миллионники, обильные красивыми домами и людьми. Никакого затемнения! Всё сияет огнями! Словно фильмы наши военные никто не смотрел, правил войны не знают. Поверили, что не война это. А что тогда? Подумал-подумал пилот да и сбросил свой груз в чистом поле.

Так и скажет потом трибуналу: учился, мол, в этом городе, жил. Влюблялся. Может, она и сейчас ещё в этом городе живёт, по этим улицам ходит! Уж лучше он один — так и сказал, — чем они все, хоть убейте...

Крыша

Ага, как раз... как долбанёт, не то сорокопятка, не то гаубица... сразу и не разберёшь, выйдя до ветру... Хотел в отпуске дядьке родному по матери помочь хату перекрыть: крыша сильно прохудилась. Уже было и шифер завезли. Да где уж там та хата...

Голубые банты

Она раздела его взглядом. И он не понравился ей. У него был вид таракана, случайно вместо жирного супа попавшего в компот.

Знакомство не то чтобы не состоялось, а провалилось как проект. Он узнал в интернет-конфидентке девочку, в которую был влюблён в детском саду. У неё и сейчас небесно-голубой взгляд и такого же цвета блузка. А тогда у неё в волосах были большие голубые банты. По случайному или нет совпадению дорогое эскорт агентство, в которое он обратился, так и называлось: «Голубые банты». Взять её на австралийский конгресс сексологии в качестве партнёрши или нет, решил её холодный, циничный, раздевающий взгляд. А могла бы хорошо заработать. Он расплатился за капучино и вышел под морозящий питерский дождь. Да бывает ли тут лето хоть иногда! Жаль, что именно её выбрали в агентстве. Ведь она, и только она могла вспомнить, что известный сексолог и психотерапевт когда-то в детском саду тоже был девочкой. И его мама любила повязывать на её русую головку большие голубые банты.

Папка

Смартфон привычно высветил вопрос: «Имя папки?» А там и нужный файл можно было бы найти.

«Да уж... — ухмыльнулся Илья. — Не так всё просто... ишь... имя папки. Легче вспомнить имя мамки!» Фрося. Ефросинья. Он часто использовал имя матери в кодовых словах, оно довольно редкое. А вот имя отца — не помнил. Вернее, помнил, но не вспоминал. Из мести, наверное.

Что же это взбрело ему в голову именно сегодня? Только ли потому, что Альбина сказала, что беременна? Сказала виновато, неуверенно, не глядя в глаза. Боялась услышать, что сейчас не время иметь детей. Город окружён, стрельба всё ближе. Укрытия от ракетных снарядов вряд ли спасут. Но он неожиданно даже для себя сказал, что очень рад. Ай, да пусть родится, а там видно будет. Он будет хорошим папкой, подумалось ему, нашедшему нужный файл с проектом договора о мирных переговорах со стороны противника. Распечатал — и отнёс в кабинет начальника всех начальников на подпись.

Братская любовь

Сначала он отравил её рыбок в большом аквариуме, на который родители денег не пожалели. А вот на электросамокат для него у них денег якобы не хватило. Потом её гималайскую гадюку засушил насмерть, включив подогрев для этой гадины на всю мощь. Так ей и надо, тварюге. Сестричка-невеличка, видите ли, любит всяких мерзких тварей, а ему собаку не дают завести. А вот хамелеона он пожалел. Нравилось ему, что тот его боится и сразу зелёным становится, как травяная подстилка в своём прозрачном ящике. И Антон вылил тараканий яд, который стащил из кладовки, в игрушечную чашечку, из которой сестра поила своё кукольное семейство. «Не умирай, — попросил он её в больнице. — Ты прикольная. Тебя даже гады гадские любят, затихают у тебя на руках. Я тебе свою черепаху отдам, хочешь? А то родители вместо тебя ещё кого-нибудь родят. И неизвестно ещё, кто это будет. Совсем про меня забудут...» И Антон заревел как маленький, хоть ему скоро семь исполнилось. А вот его сестричке Насте уже никогда не будет даже пяти. Не случилось и не сошлось.

Доброволец

Если рассердиться на весь мир за то, что все или поумирали или погибли... так можно и жить перестать. Да, перестать жить... Ну, в смысле, замкнуться в себе, перестать выходить на люди... И он рассмеялся... придёт же такая чушь в голову. И передёрнул затвор автомата.

Не успел, не успел он ничем особым удивить человечество, а конкретно — собрать персональную выставку. Подумал: а зачем? Вот вернётся с передовой, намалюет свою Гернику. И хватит. Да, иному бы одной такой работы на жизнь хватило. А вот хватило бы самой жизни, это уже вопрос не к самому себе. Не ты сам своей жизни начальник. И он развернул трофейную самоходку стволом в небо и дал залп холостыми. В смысле: слышишь ли Ты — там — нас! Отпустишь или опустишь... Домой пора. Краски сохнут...

Убежище

Вместо того, чтобы лежать с ним на горячем песке у самой кромки морской воды, вместо того, чтобы сминать горячие простыни в неистовом порыве утренней и вечерней страсти, вместо того, чтобы любоваться его достоинствами, вместо всего этого — сидеть с ноутбуком на коленях, и писать, и писать юридически выверенные

бумаги о разделе имущества в количестве, уже давно превышающем дни и часы случившегося некогда счастья. Ночи любви на Гоа и в Таиланде были оправданием их не столь уж и скоропостижного брака. Но всё же оставался открытым вопрос: зачем женился, ведь могли, как и раньше, встречаться без всяких законных на то оснований. Разве любовь — это не закон сам по себе? Но он настоял. Купил ей кольцо от Тиффани. И вот теперь она в берлинском убежище для жертв домашнего насилия, адрес которого этот домашний садист и насильник не должен бы узнать. Но ей недавно показалось, что это его джип тормознул рядом, когда она вышла в магазин за продуктами. Она напряглась и подумала, что он без колебаний её собьёт и переедет для верности туда и обратно. Поняла, что всё ещё его боится. Неужели это теперь на всю жизнь?.. Уже три года тянулись суды. И было ясно, что ни копейки из него не выжать. Так, может, отказаться от притязаний? Дать ему развод и уехать обратно во Львов, пока его никто не обстреливает? Ведь, как говорил её дед: «Голыми пришли в этот мир, голыми и уйдём...»

Кабанья тропа

Как сейчас помню, вышли они из леса. Ну, что твой спецназ! Все увешанные вещмешками и дорогими ружьями, некоторые даже с оптикой. Хотя вроде бы простые охотники, охочие до законного убийства крупного и мелкого зверья. На куньих шапках лисьи да беличьи хвосты, на брелоках медвежьи когти да волчьи клыки. Оказалось, шли они по старой кабаньей тропе. На великана секача разохотились выйти. А мы, дураки, палатки свои разбили на опушке древнего бора и как раз на их пути оказались. Ну, смяли они нас, как яичко, одни скорлупки от лагеря остались. А кто — они? Не... не охотники эти, а кабанье стадо, матки ихние с кабанчиками да секач этот, размером с молодого льва! Долго мы на дубе вековом сидели, ждали, когда уйдут. Нет, не охотники, те до вышки охотничьей добежать успели и забраться на неё. Один только с ободранной ногой потом волочился. А нас молодость спасла да спортивная закалка.

Не зная броду — не суйся в воду, тут вроде не очень подходит. Но это как поглядеть. С охотничьей вышки всякий силача-секача убить может, а вот в прямом бою дорогая оптика бесполезна. Это мы учтём, когда в армию призовут. Может, нас уже дома повестки ждут.

В степи

Ох, какие степи! Необозримые. А молодые травы какие духмяные. Аж задохнулся с непривычки, отвык за годы, проведённые в бетонном бункере московской высотки. Степь да степь кругом... путь далёк лежит... Только путь не так уж и долог: сёл и поселений тут понатыкано, что семечек в подсолнух. Но что делать, когда одно село, если не твоё, то наше, а другое в трёх километрах — вражье. А ведь раньше жители родычались: сплошь сваты да кумовья там жили. Святки да крестины общими были. А как церкви в сёлах порушили, так и началось. Давно это было, ещё в ту гражданскую. А как ушла тогда вера, так, похоже, и не вернулась. Словно Бог обиделся и отвернулся. Даже сады перестали цвести! Вон уж лето скоро, а ветки словно мёртвые. Да и люди не лучше.

Подумал — и пополз дальше, в надежде, что доберётся всё же до укрытия и пересидит до прихода своих. Рана у него лёгкая, артерия не задета, жгут он на ногу наложил, из ремня спроворив. Трава высокая, да и форма на нём под цвет травы. Вот только бы луна из-за туч не вышла.

Родня

«...Скончался от ковида муж двоюродной сестры брата моей жены...»

Вальдемар Зингер написал сообщение на своей странице в сети и вздрогнул. Так и не смог за годы разобраться в этом русском родстве. Этот далёкий родственник был самым контактным из всей воронежской жениной родни и самым активным в мобильных сетях. Теперь он, Вальдемар Зингер, никогда не узнает, сколько на самом деле, а не по сомнительным документам, гектаров плодородной, чернозёмной земли взял в аренду брат жены на его, Вальдемара, деньги. Некому будет проговориться в интернетной болтовне, что прижимистого и рачительного немца провели, как неразумного младенца! Русская жена с большой роднёй досталась ему в наследство от учёбы в воронежском университете. Сначала все эти тёти, дяди, троюродные братья и племянники побывали в гостях у его родителей в маленьком швабском городке и пригнали оттуда стадо-другое дешёвых бэушных машин на перепродажу. А теперь эти раздобревшие латифундисты рассекают по своим земельным угодьям на джипах как минимум! А он, Вальдемар, тут, в Германии, задыхается в тисках кредитов и тщетно ждёт обещанных доходов с этого якобы общесемейного бизнеса. Плохо он, видимо, учился. Иначе всегда держал бы в уме старинную присказку: «Что русскому здорово, то немцу — смерть». Так вроде бы в шутку его новая родня приговаривала, когда он сомлел с непривычки в парилке настоящей русской бани. Вот теперь и приходится париться и крутиться, чтобы погасить кредиты на новые тракторы и комбайны. А по слухам, урожай там невиданные. И золотая пшеница льётся в элеваторы как золотой дождь. Только мимо его, Вальдемара, карманов. А жена-то всё молчком да молчком. И в Воронеж свой всё бочком да бочком.

Задумался он, закручинился. Да и подал заявку в свой немецкий банк на новый кредит, чтобы погасить старые. Эх, где любовь-злодейка, там часто и жизнь-копейка.

Ока-инвест

Вышла она замуж за простого инженера без всяких, казалось бы, карьерных устремлений. Простачок этакий. Да и сама она звёзд с неба не хватала. А оказался не мужичок, а сундучок с секретом. И секрет, как выяснилось, был непростой. Его единственное увлечение — рыбалка на больших реках круглый год — отрывала мужа от семьи. Он, казалось, не заметил, как дети выросли. И никогда не помнил, когда в семье чей день рождения. Ну, не такой уж и большой это грех, если сравнить с другими. И она не устраивала скандалов, ведь не курит и не пьёт, зарплату приносит. И пусть себе едет на рыболовецкую базу на Оке в лесной Мещёре. Уезжал в рыбацкой экипировке, всё как надо: сапоги болотные до паха, брезентовая куртка непромокаемая. Шляпу рыболовецкую — в журнале такую видела — сама ему купила на распродаже. А удочки и спиннинги давно были на базе, не приходилось возить из дома. Последнее

время он совсем там запропал. Говорил, что пристань новую для моторных лодок строили, потом баню-сауну для обогрева в холода после рыбалки.

И вот приехал, усталый и какой-то заторможенный. Сам не свой. Глаза у него были светло-серые, но сейчас они казались чернее ночи, так зрачки были расширены. Молча снял прорезиненные доспехи и пошёл в туалет. И долго не выходил оттуда. Спихватилась она почти через час, когда ужин уже совсем остыл. Постучалась и с нарастающей тревогой открыла дверь. Тот, кто сидел на унитазе, не мог быть её мужем. Это было чёрное, обугленное изваяние с оскаленным лицом, искажённым нечеловеческой мукой. Словно молния прожгла изнутри и обуглила тело здорового и даже, что скрывать, здоровенного мужика. Набрала телефон сына и потеряла сознание. Очнулась в больнице, когда его уже похоронили в закрытом цинковом гробу какие-то специальные службы с его работы, которая оказалась не такой уж и простой. Когда открыли наследственное дело, думали, что наследовать-то и нечего, кроме двушки да гаража с машиной. Но обнаружили вдруг на его имя большие счета в валюте в нескольких банках.

И более того: какая-то непонятная и неизвестная ей госструктура «Ока-инвест» выплатила семье большую денежную компенсацию. За удачную рыбную ловлю, наверное...

Спасение

Возмездие — это всё-таки не месть. Месть — это кипение злости, ненависти. А возмездие — это праведный гнев. Так думал молодой батюшка, готовясь принимать исповедь у матёрых контрактников, ставших на постой в их приграничном селе, постоянно подвергавшемся внезапным обстрелам из недалекой стороны, бывшей когда-то единой административной единицей.

Как врач, заглянувший в разверстое израненное тело, чтобы починить его, собрать воедино, вылечить и зашить, закрыть от враждебной окружающей и разрушительной среды, так и священник видит на исповеди нутро изъязвлённой страстями души. И его задача — как и у хирурга — удалить больные ткани и стянуть края тонкими нитями покаяния. Легко сказать... Как потом самому очистить душу, в которую вошли в пыльных берцах сорок разбойников или тридцать три богатыря и залили её кровавым заревом мести и расплавленным битумом вражды. Одно спасение, что грехи отпускаются Господом, а он только проводник, посредник. Но именно его душа принимает на себя громы и молнии солдатских откровений.

Казалось, что этим вечером почернели и закоптились стены храма, потемнели лики на иконах. И кровавый луч заходящего солнца словно бы не случайно упал на праздничную икону Всех Святых, когда неизвестно откуда прилетевший снаряд обрушил купол опустевшей после службы церкви. «Отпустил их Господь... Очистил. Чудом остались в живых. Потому ли только, что не месть ими правит, а возмездие...» — вознико в угасающем сознании раненого священника.

Спасенного и спасающего.

Наёмники

«От порога до порога смысла нет ходить без прока», — подумал молодой ландскнехт, приученный к поговоркам дедом, ветераном столетней войны, и родной бабкой, старой маркитанткой. Там, в обозе, дед её и встретил, и прикипел к ней всем нутром, всеми потрохами. Пятеро детей у неё уже было, и пятерых она ещё и ему родила. Хорошо жили, дружно. И довольно безбедно, потому что дед за заслуги перед курфюрстом получил налоговый откуп с завоеванного городка. На жизнь хватало. Но это не мешало им хватать с гружёных скарбом чужих воез что ни попадя. А попадалось разное: от парчовых герцогских порток до глиняного горшка, почерневшего от чужого варева. Портки побежденного ими некогда герцога дед носил не снимая, до самой смерти. И вот сейчас настал черёд и молодой семейной поросли добавить мяса в домашний котёл. Только вот хижина на разграбление досталась ему совсем уж нищая. Пришлось с досады поджечь вместе со всем хламом. Чернь местная давно сбежала в плавни. Да ведь и не с ними они воюют, а с такими же наёмниками, как и сами. Даже одежды похожи и доспехи. Только банты разного цвета на пышных буфах рукавов.

А так-то что... все ландскнехты, по сути, хоть и дальняя, но родня. Глядишь, в иной год и в одном войске оказаться могут. «Война накормит и оденет и ещё подкинет денег!» — добродушно ворковал некогда дед, пестуя малых внучат.

Монпансье

Вечерний Нюрнберг. До чего же скучный город. Особенно вечерами. Так и не привык, что, кроме пивнушек, и податься некуда бедному переселенцу. А потому что чужбина. Сам захотел уехать, вот и живи теперь в турецком квартале, там дешевле стоят каморки, в которыеходишь боком, иначе дверь не отворяется, упираясь в кровать. А вернуться — совесть не позволяет. Да и возраст ещё вполне призывной. Кому помирать охота. Не он один такой. «Гарун бежал быстрее лани», — как только полыхнуло в степи и у моря захлопотало. А вот как германцы опомнятся да кормить перестанут... Думать он не любил да и не умел, поэтому перевернулся на другой бок и заснул крепким молодецким сном.

И приснился ему Нюрнбергский процесс над беглецами. Вроде как присудили им всем вернуться на родину. Подарили каждому по вещмешку с пивом и колбасками. А про бронежилеты забыли. И винтовки выдали образца первой мировой, со ржавыми штыками. Вроде как на погибель шлют в наказание за трусость. А всё потому, что Нюрнберг — роковое место. Дед его во время Нюрнбергского процесса в оцеплении стоял. Рассказал кое-что, поведал. Дополнил, так сказать, кинохронику.

Плохой сон, обидный. Да ещё вроде бы открыл он рюкзак, чтобы пиво взять, а там только конфеты-леденцы, монпансье это детсадовское!

Совсем унизили, хоть не живи. Да и не жизнь это, если подумать.

Но думать он не любил.

Интернет лекторий

Этот лектор ей нравился больше других. И она подписалась на него без колебаний, и уже не представляла себе ранний завтрак без его бархатного баритона, когда пила кофе со сливками на веранде с видом на море на своей вилле на Кипре. Или на Капри. Там у них тоже вилла была, но пришлось продать под прессом санкционных обстоятельств. Вот и сегодня он её удивил:

«В маленьких, уютных и безлюдных городках Европы я всегда ловлю себя на мысли: а на что они живут? Работать-то тут негде! В малых российских деревянных и старинных городках для меня ответ ясен: люди "живут огородами" и садами. Берут запасы еды в лесу, в реках, озёрах и даже на болотах. Это мощная подпитка: клюква, брусника, морошка да черника. Секрет русской непобедимости — глубокий картофельный тыл. А русская изба — это вообще подводная лодка в автономном плавании! Выживет всегда на самообеспечении: лесные ягоды, грибы, рыбалка, охота, варенье и закрутки овощей на зиму. Вода из родника, поленья для обогрева из леса. Летом хламида и штанцы из родимого льна, зимой тулуп овечий или медвежий да вечные валенки, а то и плетёнки из лыка. Да сказки бабушкины на ночь на печи... Притрусит лесную избушку зимою снегом по трубу, а там, глядишь, и всплывёт на свет Божий по весне. И экипаж жив. И жизнь продолжается...

А вот в Москве, если электричество (не дай нам всем Бог) отключится, не доберусь я уже до своего двадцать пятого этажа. В Нью-Йорке уже был такой "блек аут" — люди костры на улице жгли. А кое-кто и умер в скоростном застрявшем в невесомости лифте. Вот поэтому, я думаю, Дальний Восток будут постепенно заселять разумные европейцы (русские и немцы, в основном). На землю пора спускаться из бетонированного поднебесья. В леса уходить! В родные пампасы!»

«А ты знаешь, этот твой бородатый чудак уловил носом ветер, — сказал возникший за спинкой её кресла муж. — Может, и правда, пора возвращаться. Охотиться я умею. Рыбалку люблю. И главное, ты меня любишь!»

И неуверенно добавил: «Так ведь?..»

Александр Климов-Южин

Вспоминая лето

* * *

Сухая мышиная листвьев возня,
Как время скукожилось, сжалось,
Как быстро темнеет — в стволах ото дня
Почти ничего не осталось.

И лес, как одёр, и его худоба
Тревожна, рядовки рядочком...
Дух осени поздней с душком от гриба,
И прячется солнце за кочкой.

Пора возвращаться на дачу, сжигать
Отжившие стебли и ветки,
И плети лозы побуревшей сдирать,
Как память о лете, с беседки.

Вспоминая лето

Венера гаснет, спать ложится Вesper —
Бог отгоревших звёзд.
Охотиться летит, чуть утро, vespra
На тлю в питомник роз.
Волк огородов, гладкобрюхий шершень,
Гроза полей,
Завис, как птерозавр, над тлёт обмершей,
О, нет, куда страшней...
Для дачников соседство неприятно
Его на чердаках:
Свирип на вид и жалит беспощадно,
Угроза в двух шагах.

Но мы ему нальём побольше пива
В бутылку горлом внутрь,
Он отхлебнёт и без императива
Захочет утонуть
В хмельном, поскольку пьяница, пропойца,
И хоть свиреп с лица,
Он вылакает жизнь свою до донца,
До самого конца.

* * *

Захотелось быть миленьким, маленьким,
Перевязанным накрест
Оренбургским пуховым платком,
Пятилетним, на санках за маменькой
Ехать свежим, искристым снежком
Новогодним, чтоб щёчки румянились,
Как грудки у снегирей;
Чтоб ладошки озябшие прятались
В рукавички саммаленького из детей.
Как устал я быть взрослым, взрослым,
Как хотел бы я снова побыть
Самым маленьким, воздух морозный
Ртом раскрытым ловить.
Ощуцаю своё одиночество
Безысходнее средь новогодних витрин,
Ни семья и ни творчество
Не спасают, я маленький. Остро —
Мама — женщина номер один.
Разрыдаешься стареньким,
А расскажешь кому, засмеют...
— Надоело быть миленькими, маленькими, —
Неразумные детки поют.

* * *

Человек превращается в глину:
Экономит — не курит, не пьёт,
Что ж, заначку жена на годину
В третьем томе Шекспира найдёт.
Может, где-нибудь в «Тропике рака»
Обнаружилась из забытья
Иль в «Шагреневой коже» Бальзака
Истощилась заначка моя?!
И покуда душа воскресает,
Сбросив тяготы прежних забот,
Воннегута мой внук пролистает,
Может быть, за зелёный прочтёт.

И пока расщепляется атом,
Вещество рассыпается в прах,
Три куска по соседству с Булатом
В Мандельштама отыщут стихах.
Разве можно доверить их было
Сладкоежке, кутилке, живцу...
Вот на утро при жизни и сплыло,
Привалило на полке певцу.

* * *

Случилось, что должно случиться:
Инсульт, кровоизлиянье, тромб, —
И сердце перестало биться,
И до костей прошил озноб,
Но я расстроился не шибко,
Успел подумать на послед,
Что тут какая-то ошибка —
Вся эта тьма, весь этот бред.
Что всё на свете поправимо,
Всё обойдётся как-нибудь,
Что смерть — не смерть, а только схима,
Что можно всё ещё вернуть.
Что я в гробу видал сосновом
Весь этот сюр и постмодерн,
Что мне не нравится обнова —
(Тем более не мой размер).
Что эта жизнь кратка как хайку,
Немногословна, как Басё;
Наивный, я поверил в байку
Бессмертия... а это всё.

Лидия Чистякова

«Мне посчастливилось...»

Эти записки моя бабушка Лидия Петровна Чистякова, урожденная Смирнова (13.02.1890 — 23.03.1963) начала писать незадолго до своей смерти. Последние страницы ее живых воспоминаний написаны детским почерком — бабушке уже было трудно писать: рука не слушалась, а слова на бумаге расплывались, и она диктовала текст Оле, моей младшей, тогда девятилетней, сестре. О существовании этих записок мы (дети Лидии Петровны — Тася и Лёля, и я с братом Виталием) узнали уже после смерти бабушки — и старуха, и ребенок хранили свою тайну.

Бабушка Лида с самого раннего детства имела внутреннюю потребность к писанию и всегда гордилась тем, что ее выделял преподаватель литературы, говоря: «А вам, Смирнова, нужно писать! В вас есть искорка!»

Однако писать не получилось. Вся жизнь она тащила семью, не такую большую, как семья ее родителей или родителей мужа, где было по восемь человек детей, но бабушка жила совсем в другое время: то надо было выживать физически в гражданскую, то спастись от голода и искать работу (выходцам из духовенства в 20-е годы XX века это было не просто, даже «в частном секторе»). Священников расстреливали тысячами, когда о расстрелах гражданской войны уже стали — вернее старались — забывать, а до массовых расстрелов 30-х годов еще оставалось время; то снова война, и бомбежки Москвы, и фронт рядом с городом — и что с детьми, и так — всю жизнь.

А потом, ближе к старости и в старости, навалились еще три внука по очереди: Виталик, потом я, потом Оля. Она успела познакомиться с каждым и с каждым пожить и в деревнях у родных, и в конце жизни — на даче на станции Детская, около подмосковной Ивантеевки. Хотя я помню также ее далеко не старушкой, приходившую в начале 50-х с работы, с Трёхгорки, где она была завучем школы рабочей молодежи, еле живую, усталую, но старавшуюся нас, детей, в своей коммуналке на Нащокинском переулке в доме 12 расшутить, повертеть в хороводе, взявшись за руки, что-то спеть с нами.

Все это делать с детьми она умела и любила еще со времен своей работы в школах и детском доме-интернате для детей-уголовников и беспризорников под Подольском, ещё со времен учебы в Калужском епархиальном училище, выпускавшем учительниц, и на Высших женских курсах в Москве.

Так бабушка и прожила с этой тлевшей в душе «искоркой», пока не почувствовала: или что-то напишет сейчас, или — уже никогда. Ей в то время оставалось жить и вправду всего ничего — несколько месяцев.

Поскольку записки бабушка диктовала и писала в то время, когда люди были вынуждены прятать глубоко внутри себя всякие «опасные» мысли, очень многое, разумеется, выпало из ее рассказа.

Л.Д.

* * *

В глухом месте, на расстоянии сорока километров от ближайшей железной дороги, среди лесов и болот, на высоком пригорке приютилось село, которое все мы называли Кузьминкой¹. Посредине возвышалась деревянная церковка, и полукругом около нее — деревянные домики, крытые дранкой. Здесь разместился церковный причт: молодой священник с женой, вдова умершего священника, диакон со своим многочисленным семейством, дьячок с женой и детьми, просвирия и за оврагом — школа.

Зимой село заносило снегом так, что приходилось церковному сторожу прокапывать дорожку от проезжей дороги к церкви и колодцу. В селе оставались старые и малые, а молодежь разъезжалась на учебу. У диакона двое детей учились в губернском городе: мальчик в семинарии и дочь в епархиальном училище. Свояченица-учительница уезжала в далекую деревню в школу и шурин тоже — учителем.

Так же обстояло и в доме вдовы священника Александры Васильевны Смирновой. У нее было два сына и шесть дочерей. Старший сын, Леонид, был заведующим министерской школой в Тихоновой Пустыни. Второй, Александр, работал земским врачом. Четыре старшие дочери — Варвара, Анастасия, Александра и Мария — были учительницами в разных сельских школах. Лида, то есть я, только что кончила епархиальное училище, и младшая, Наталья, еще училась.

Летом жизнь в селе оживала: съезжались учителя и учащиеся, делалось шумно и весело. Молодежь днем купалась в реке, которая протекала под горой; ходили в лес за грибами, по ягоды. А вечером собирались на крыльце домика Смирновой и устраивали концерты.

Семейство диакона Копьева одарено было прекрасными голосами. И вся семья Смирновых так же принимала живое участие в пении. Пели народные песни и даже водили хороводы, особенно когда присоединялась молодежь из соседних сел. Пели старинные романсы — дуэтом и соло. Особенно отличалась своим красивым контральто Катя — дочь диакона.

Было начало июля. В доме Александры Васильевны все разбрелись. Ждали приезда старшей дочери Варвары с братом Леонидом. Одна компания пошла прогуляться в лес, там была моя сестра Александра с мужем и малолетним сыном. Муж ее, Пётр, был студентом сельскохозяйственной академии. Сестра Маруся, веселая, задорная брюнетка, сидела в саду с Георгием, студентом, братом Петра, они весело болтали. На крыльце осталась мама, Александра Васильевна, она штопала чулки. Здесь же сидела и я — восемнадцатилетняя девушка, светлая блондинка. Я только что окончила епархиальное и с осени должна была поступить учительницей в далекую глухую деревню. Я была особенно грустна и молчалива, несмотря на сидевшего со мной рядом семинариста, который прилагал все усилия, чтобы меня развеселить.

У меня были две причины грустить. Первая — близился отъезд в школу, который пугал своей неизвестностью. Но не это так сильно угнетало меня. Я каждые каникулы проводила у брата-врача Александра в Тарутино и подружилась там со студентом Виктором. Виктор Иванович Чистяков родился на Ивановой Горе, местечке напротив деревни Орехово, недалеко от Тарутина. А мой брат Александр Смирнов, земский

¹ Это прицерковное селцо все именовали Кузьминкой благодаря деревянной церкви св.Козьмы и Дамиана (Медынского уезда Калужской губ., близ деревни Насоново). Сейчас это место, как и церковное кладбище с замечательными памятниками, поросло столетними берёзами. Остались лишь кирпичные столбы от спалённой в 20-е годы церкви, да чудом жив и буйно цветёт огромный куст сирени.

врач, знал и лечил семью Чистяковых. Отец Виктора, как и мой, был священником. Уже три года мы были с Виктором знакомы и между нами шла деятельная переписка. В этом году он окончил институт и поступил в отдаленный окраинный город Белосток учителем реального училища (позже — гимназии).

На эти каникулы брат не позвал меня к себе, видимо, опасаясь, как бы дружба с красивым брюнетом (ему было уже 27 лет) не перешла в более серьезное чувство, так как восемнадцатилетняя девочка, бедная сирота, которая одевалась в обноски старших сестер, не могла, по мнению брата, представлять ничего интересного для блестящего молодого человека, тем более что все знали, что Виктором увлекалась дочь соседа, богатого помещика Зуева.

Надвигались сумерки. Сидя на крыльце, я думала, что теперь уже не увижусь с Виктором никогда, а значит, навеки его потеряю. Погруженная в такие безнадежные мысли, я не заметила отдаленного звона бубенцов. Но вот звон колокольчика стал слышней и слышней. Вскоре из-за поворота на дороге показалась тройка, запряженная в пролетку. В такой глуши звук колокольчика был редкостью. Все решили, что, вероятно, мимо проезжает барин из соседнего имения. Но вот пролетка повернула за околицу и приостановилась у створжки. Сторож вышел и показал на наш домик. Кучер подкатил к самому крыльцу, из пролетки выбежал молодой человек в белом кителе и форменной белой фуражке.

Я не верила своим глазам — это был он, Виктор! Примчался на лошадях за 70 верст! Я растерялась так, что не могла сдвинуться с места. Сестра Настя подтолкнула меня и сказала, чтобы я вышла встретить Виктора, поскольку он ни с кем из наших не был знаком. Тогда только я выбежала к нему и протянула руку.

Вышла мама, Александра Васильевна, Мария моя тут же познакомилась с ним и пригласила в комнату. Ямщику сказали, чтобы он отпряг усталых лошадей, подкосил им травы, а сам зашел в кухню пообедать. Мама, пожилая женщина с молодыми черными глазами, энергичная и веселая, сразу дала понять Виктору, что он свой человек и желанный гость. Она взялась за самовар, и вся семья быстро собралась. Стали расспрашивать, как доехал, как семья брата Александра — с ними он виделся перед отъездом. Вокруг него были веселые молодые лица, и он почувствовал такую теплоту, точно попал в родную семью, тем более что за дорогу много раз думал: «А вдруг встретят холодно, недружелюбно?»

Вскоре мужчины отправились купаться, а женщины — готовить ужин и чай на крыльце. Крыльцо было просторное, с большим столом, и вокруг него — лавки, рассчитано на большую семью.

Виктор привез закусок и дорогих конфет. Настя, большая сластена, поглядывала на стол и причмокивала: «Этот стол не видел такого угощения, — говорила она, — почаще бы к Лиде женихи приезжали».

В тот вечер долго шумели, смеялись на рассказ Виктора, как он при своей застенчивости решился ехать за тридевять земель, не будучи почти ни с кем знаком, кроме меня и Петра с Александрой. Наконец стали все размещаться на ночлег. Места хватало, так как были летние пристройки в доме. Виктору приготовили постель в светелке, так называли комнату, сделанную на втором этаже.

Он остался один и не знал, как бы просить меня, чтобы я зашла к нему повидаться, так как за весь вечер это не удалось. И вдруг, к своей радости, услышал легкие шаги на лестнице. Он отворил дверь, чтобы осветить темную лестницу. Я быстро вбежала к нему и сразу очутилась в его объятиях. Он нежно привлек меня к себе, и белокурые волосы рассыпались по его плечу.

Я забросала его вопросами: как он решился на такую дальнюю дорогу? как родители отнеслись к его отъезду? Он сказал: «Я решил: что бы мне ни пришлось испытать, но я должен взглянуть в эти ясные голубые глаза, бездонные, как небо».

Рассказал про все сомнения, которые пережил за дорогу, не зная моей мамы, Александры Васильевны, и моих сестер.

Так началась счастливая, беззаботная полоса моей жизни.

Утром вставали часам к десяти и всей гурьбой мчались с горы к речке Луже (эта ледяная лесная речка известна в истории войны с Наполеоном: на ней французская армия застопорилась и повернула назад: кто-то из местных спустил запруду, и Лужа разлилась. — Л.Д.). Мужчины останавливались на «портомойке», так называли крутой высокий берег реки, где можно было прыгать в воду и плыть, там был довольно глубокий омут. Женщины шли дальше, где берег становился ниже и отложе, а из-под берега над водой нависал громадный черный дуб метра два-три в обхвате — видимо, с очень давних времен. На этом дубе раздевались и с него бросались в воду и плыли в другую сторону, где был низкий берег, покрытый мелким нежным песочком.

После купанья возвращались спокойней, хотя гору брали приступом наобгонки.

Дома на крыльце ждал накрытый стол: на тарелках — горы сдобных ржаных ватрушек, ведерный самовар шумел и пыхтел, кастрюля ячменного кофе, кастрюля горячего топленого молока с розовой пенкой (у мамы была своя корова).

Все усаживались вокруг стола, и Александра Васильевна едва успевала наливать кому кофе, кому молоко, кому чай. После одинокой зимы ее радовало шумное веселое застолье молодежи.

Ко мне приехала погостить подруга по училищу, и мы вдвоем после купания и завтрака отправлялись через речку на лодке или босиком вброд на другую сторону реки, где прямо от нее тянулся заброшенный парк, тенистый и полный барских причуд с беседками и полусгнившими лавочками.

В парке было безлюдно; в полуразвалившемся, некогда красивом, с колоннами и пристройками господском доме теперь доживала век барыня, дряхлая старушка, со своей еще молодой дочерью, от природы слабоумной. Эта девушка, Варвара Ивановна, иногда встречалась нам, здоровалась, как со старыми знакомыми. У нее был хороший голос, умение петь. Я просила ее поваляться с нами в траве и спеть что-либо. Любимая ее песня была:

Три девицы шли гулять —
Шли гулять — ах!
Шли они лесочком,
Да тёмным лесочком...
Да повстречались со стрелочком,
Да со стрелочком молодым...

Потом она неожиданно вскакивала и мчалась к реке купаться. Нисколько не стесняясь, если на реке встречались мужчины, она раздевалась и бросалась в воду.

Ее редко отпускали, и она, видимо, старалась воспользоваться свободой.

Я, Виктор и Маня Аравийская — подруга моя, собирали землянику, одичавшую клубнику, по опушке парка, и из лопушков угощали друг друга.

Маня любила рассказывать эпизоды из жизни школы и между прочим рассказывала, как я славила среди подруг умом и красноречием, так что меня прозвали «поэт, философ, оратор Демосфен» — у нас принято было давать прозвища. Особенно меня выделял преподаватель русского языка. Мои сочинения он всегда читал вслух как самые лучшие и говорил, что у Смирновой есть писательская искорка.

Рассказала, как архиерей раздавал награды лучшим ученицам и среди библий и евангелий в блестящих переплетах инспектор подал архиерею словарь Павленкова (в то время запрещенная в училище книга), предназначенный в награду мне. Архиерей спросил: «Библия?» Инспектор подтвердил, и архиерей благословил им меня и дал

поцеловать книгу и свою руку. Сколько было смеху среди нас после, но инспектор рисковал многим.

Маня рассказывала, как любили учащиеся уроки физики, которую в школе преподавал Константин Эдуардович Циолковский. Уроки его были праздником: даже самые тупые девочки слушали его затаив дыхание. Если девочка не могла ему ответить и начинала плакать, он вызывал меня и говорил: «Вот вы, беленькая, выйдите, объясните ей, может, она вас скорее поймет!» Тогда как я знала, что девочка — лентяйка и пользуется добротой Константина Эдуардовича.

Все подобные эпизоды из жизни школы интересовали Виктора, и он просил Маню рассказывать побольше.

Так проходили дни. Вечерами уходили гулять, жечь костры на Липовый овраг. Так назывался крутой высокий берег реки, окаймленный лесом. Было очень красиво, когда горел громадный костер и отражался в реке. Молодежь резвилась вокруг костра...

По соседству, километрах в четырех, жил товарищ Виктора, к нему он сходил повидаться и уговорил всей компанией съездить еще к одному товарищу, который был врачом в десяти километрах.

Все охотно согласились и на трех подводах ездили к Ванечке, врачу-практиканту, товарищу Виктора. Там был устроен шикарный ужин. Вернулись под утро. Затем всей компанией у нас провели ночь особенно шумно и весело. Приближалось время Виктору ехать в Белосток, а ему еще нужно было заехать домой к родителям. На вопрос о будущем я говорила, что не оставляю мысли поехать на медицинские курсы в Москву, а пока надо поучительствовать, чтобы накопить денег для продолжения учебы.

Так мы расстались. Но не прошло и двух недель, как я получила письмо от Виктора из Белостока. Он писал, что жизнь скучна и пуста без милых голубых глаз и уговаривал приехать к нему пожить вместе два года, а затем он обещает отпустить меня на курсы, исполнить мою давнюю мечту.

После отъезда Виктора я и сама не находила себе места от тоски. Получив письмо с предложением, я посоветовалась с мамой Александрой Васильевной. Виктор ее обворожил своей скромностью и преданностью мне. Она сказала, что лучшего мужа и желать нельзя, и когда Виктор получил согласие от меня, засыпал меня телеграммами, прося приехать скорей. Но у меня ничего не было из белья и одежды. Маму любили деревенские женщины. Она лечила их ребятишек целебными травами, советом и простыми лекарствами, какие имела. Когда ее подружки узнали, что ее дочь выходит замуж, каждая старалась подарить что-то — «на счастье», как они говорили.

И у меня оказалось 15 полотенец из русского холста с вышивками и прошивками. Кое-что подарили сестры из своего белья. Получила пенсию за отца, которая накопилась к совершеннолетию. Приехала сестра Варвара, у которой я жила до поступления в школу. Она поехала проводить меня в Белосток и устроить свадьбу. В Белостоке Виктор встретил нас на вокзале и привез к себе на квартиру. Там все было приготовлено к моему приезду: и мебель, и белье, и деньги на расходы.

Хозяйка квартиры помогла купить пальто демисезон, темно-зеленое, белую фетровую шляпу с вуалью, лакированные туфельки, лайковые белые перчатки. Когда я глянула в зеркало во всем этом, то засмеялась, припомнив слова детского стишка: «До того я стал хороший, себя не узнаю!» Заказали венчальное платье и все мелочи, которые были нужны к свадьбе. Виктор был в восторге и не мог налюбоваться на свою невесту.

Через три дня венчались в домовоей церкви при гимназии. Свадьбу справили у хозяев с их помощью. Была семья хозяев, моя сестра Варя и четыре холостых учителя, товарищи Виктора.

Варя купила материи на два платья и отдала шить портнихе. Дня через два после свадьбы она уехала.

Молодые наслаждались уединенной жизнью. Нас навещали товарищи Виктора и, уходя, всегда говорили: завидно глядеть на ваше счастье. Я отдалась любимому своему занятию — чтению, так что Виктор не успевал выполнять мои заказы. Возвращаясь с работы, он целовал меня и говорил: «Чего больше хочешь — дорогого шоколада или книгу, о которой давно мечтаешь?» И приносил и книги, и шоколад.

Время быстро мчалось, наступили Рождественские каникулы. Недели две перед этим ходили в магазины, накупали подарки отцу, матери, братьям Виктора.

Узнав о женитьбе Виктора на бедной девушке, мать прислала ему злое письмо, почему без спроса женился. Она мечтала, что он женится на дочери помещика, и уже представляла, как будет разбегаться на рысках, поэтому ехала я к ним в дом в сильном волнении. Но молодой веселый нрав, подарки и товарищеское обращение с сестрами Виктора и его братьями покорили их. Они сразу почувствовали во мне близкого друга и бережно охраняли меня от всех возможных недоразумений.

Матери тоже льстило, что ее невестка — сестра доктора, который пользуется любовью и уважением всех окружающих и ее самой (как я говорила, мой старший брат Александр был врачом в Тарутинской больнице). Я рада была ездить с визитами ко всем близким знакомым. Мой брат устроил вечер у себя и пригласил всех на свадьбу сестры. На свадьбу приехала почти вся семья Виктора. У Александра жила моя сестра Настя, больная скоротечной чахоткой, как тогда называли. Заболела она накануне своей свадьбы. Приехала старшая сестра Варя с мужем. Брат пригласил всю местную интеллигенцию: учителей, провизора с женой, почтмейстера, священника и других. Народу собралось много. Вина и закуски было достаточно. Без конца кричали «горько» и заставляли молодых целоваться.

Но без темных пятен редко празднуются свадьбы. И здесь налетело маленькое облачко.

Настя утомилась сидеть за столом. Было шумно и душно. Все подвыпили. Александр предложил Насте лечь отдохнуть, он и сестра Варя взяли ее под руки и тихонько повели в соседнюю комнату, в которой она жила.

Жена брата, Александра Андреевна, черноглазая красавица, всегда не прочь была посмеяться с Виктором, стараясь этим подразнить мужа, теперь, подвыпившая и веселая, вдруг предложила Виктору: «Давайте выпьем на брудершафт». Виктор счел неудобным отказаться. Встал, обошел вокруг стола, сел рядом с ней на место ушедшего мужа. Налил две рюмки вина себе и ей, и стали пить на брудершафт по всем правилам.

Затем она стала целовать Виктора долгими поцелуями взад-вперед. Священник вскричал: «Полегче, Александра Андреевна! А то молодой жене ничего не останется!» Все захохотали. Александра Андреевна откинулась на стуле и захохотала громче всех. И крикнула Виктору: «Ну, теперь идите поцелуйте жену». Этот фарс показался мне оскорбительным, и за себя, и за брата, я встала и пошла вон из комнаты.

А священник закричал: «Молодая обиделась, и правильно, всякий бы на ее месте обиделся!» Александр услышал гомерический смех, вышел и спрашивает: «В чем дело? А где же молодые?» Виктор выбежал вслед за мной, догнал меня в соседней темной комнате, схватил на руки и, лаская, твердил: «Лидусенька, милая! Ты обиделась!» В это время примчался Александр и стал уговаривать вернуться к гостям. Я попросила, чтобы они с Виктором шли, а я поправлю прическу и выйду. Они ушли, а я упала в кресло и расплакалась. Сделаться посмешищем перед людьми в такой исключительный момент моей жизни... Я услышала шаги, добежала на кухню умыться холодной водой, чтобы скрыть следы слез, а затем прошла коридором к Насте.

Не хотелось выходить к столу: я знала, что все устает да меня, и услышала, как священник предложил выпить за здоровье хозяина. Доктора все очень любили, и тост был встречен восторженно. Александра Андреевна услышала мой разговор с сестрой, вышла к нам и со смехом проговорила: «Ты правда, Лида, обиделась?»

Ведь я же пошутила!» Я сказала, что считаю этот поступок некорректным по отношению к брату, всем нам и гостям. «Я тоже хочу выпить за моего милого брата!» — сказала я и выпила залпом бокал.

Так началась моя замужняя жизнь с человеком, который меня горячо любил, но у которого не было самой элементарной чуткости, благодаря чему в жизни мне пришлось испытать много тяжелых моментов.

* * *

В эти каникулы празднества по случаю нашего брака сменялись одно за другим. И вот мы снова в Белостоке. Снова наша жизнь вошла в обычную спокойную колею.

Но неожиданно телеграммой известили, что брат Виктора, гуляя вдоль полотна железной дороги, был задет поездом и отброшен в сторону. В результате ему пришлось ампутировать руку, молодой и полный сил студент Юрьевского университета, он отказывался от медицинской помощи, не желая жить калекой. Виктор отпросился с работы, и мы поехали в Юрьев увидеться с братом и поддержать в его отчаянии. Александр не ожидал приезда Виктора, был потрясен его сочувствием и после долгих безнадёжных слез успокоился и сказал: «Я был неправ, я думал только о себе, забывая горе родителей и братьев, если бы они потеряли меня совсем!» (Александр не был просто «задет поездом», а пытался окончить с собой; причина — несчастная любовь. Он остался без руки и в тяжелейшей депрессии. Бабушка с дедом действительно вытащили его с того света. — Л.Д.)

Мы с Виктором прожили десять дней в Юрьеве, и когда убедились, что Александр начал поправляться и вполне избавился от своей душевной травмы, уехали в Белосток.

Эти переживания все больше меня сближали с семьей Виктора. Александр писал родителям прочувствованные письма, называл меня ангелом, который своей лаской и уговорами помог ему вернуть душевный покой. От родителей Виктора мы получали письма, полные любви и благодарности за Александра.

Я поняла всю тяжесть, которой придавлен Виктор, — семья в девять человек оказалась на его содержании: старик-отец, мать, две сестры, пять братьев молодых, учащихся в семинарии, а старший, Александр, — в Юрьевском университете.

Я решила, что должна помочь Виктору нести эту тяжесть и поступить на работу.

Виктору хотелось, чтобы я отдохнула от тяжелой жизни, но он понимал, что я не буду спокойной, зная, как ему тяжело. Чтобы мне помочь, он договорился с начальницей частной женской гимназии Лахтиной со следующей осени принять меня учительницей в подготовительный класс гимназии.

На летние каникулы мы поехали прежде к моей маме. Ехали поездом двое суток до станции Мятлевской и от станции 35 километров — еще семь часов. Наняли тройку лошадей с колокольчиком, запряженную в красивую коляску. Подъезжая к Кузьминке, к домику мамы, мы увидели, как со всех сторон бежали обитатели села. Соседи узнали, что приехала я с мужем. Все привыкли видеть, как мы приезжаем на телеге, запряженной деревенской лошадежкой. Привыкли видеть меня в стареньком ситцевом платье, а теперь вышла к ним из экипажа нарядная городская дама.

Собрались родные и соседи. Поцелуям и объятьям не было конца. У мамы гостил мой старший брат — Леонид, который не был еще знаком с Виктором.

От свежего лесного воздуха и от счастья встречи с родными я просто опьянела. Всей компанией отправились на речку купаться. Река огласилась шумом веселых голосов, плеском купающихся, плавали, гонялись друг за другом в воде, топили друг друга. Особенно любила полоскаться в воде сестра Варя: брызгалась, подкрадывалась под водой, хватала за ноги, чем пугала неожиданностью. По дороге домой нарвали целую охапку полевых цветов.

Мама тем временем приготовила на крыльце самовар и закуску. Все были молоды и оживлены, и после купания с богатым аппетитом ели домашние незатейливые блюда. Мама любовалась, глядя на веселые молодые лица.

На следующий день Леонид созвал весь поселок и устроил пир горой. Так что мужчины почти на четвереньках добирались до своих домов.

И так весь день: купанье, катанье на лодке с пением под гармошку, прогулки в лес по ягоды. А вечерами, когда спадала жара, играли в городки с наказанием игравшим возить на закорках победителей, что вызывало гомерический смех. Дни мелькали быстро, и мы не успели оглянуться, как нам с Виктором нужно было уезжать к нему на родину, в Иванову гору¹, где нас ждали его родители.

Леонид купил на лето старую лохматую лошаденку для разездов за продуктами. Нас он уговорил поехать на этой лошади. Мы тащились семьдесят километров с передышками два дня. Дорогой застали нас гроза и ливень, от которого маленькие речушки сделались глубокими и вышли из берегов. В одной такой речушке мы поплыли по течению вместе с лошадей и тарантасом.

Я наслаждалась родной природой и с жадностью нарывала целые охапки полевых и лесных цветов: ландыши, ночные красавицы, ромашки, незабудки и колокольчики.

Иванова гора — необыкновенно красивое место. Село такое же маленькое, как и Кузьминка, моя родина, и деревни близко нет. На высокой горе (отсюда и название) среди вековых липовых аллей стоит живописная церковка, раньше здесь стоял помещичий дом, а затем произошла кровавая драма в семье помещика, усадьба сгорела и была построена большая церковь, а рядом сторожка и школа. За склоном горы, у реки, — зеленый луг, на котором раз в год, 24 июня, на Иванов день, бывала ярмарка.

Деревенская ярмарка: палатки с мятными пряниками, турецкими стручками, леденцами, пастилой, орехами, семечками и прочими лакомствами, на которые ребяташки из ближайших деревень разоряли своих родителей. Палатки с сельскохозяйственными инструментами: косы, грабли, лопаты, вилы и всякие скобяные изделия. Здесь же палатка с жареными горячими пирожками, селедками, копченой рыбой и прочим.

Для ребят продавались свистульки, гармошки, заводные волчки и всякие соблазнительные игрушки. Вся округа съезжалась на ярмарку. Пестрая толпа, шумная, с гармошкой, песнями и плясками, наполняла луг.

Но это один раз в год. А ежедневно — тишина и покой над селом. В отдалении от церкви ютились два домика с усадьбой: дом священника и дом псаломщика, с одной стороны окаймленные лесом, а с другой — крутым склоном горы, под которой течет река Нара.

Нас ждали в Ивановой горе и волновались, что долго задержались в Кузьминке. Тишина и покой царили здесь.

Купание и катанье на лодках, по вечерам — хороводы и пение, так как молодежи было достаточно. Частые поездки в Тарутино, к моему брату Александру, и их приезды к нам оживляли мирное течение жизни. Организовали поездку к сестре Виктора, Анюте, которая в эту весну вышла замуж за почтмейстера Ивана Николаевича Хохлова, добродушного, милого человека. У него умерла жена, оставив троих детей. Анюта была дружна с ними, и он сделал ей предложение — дети ее очень любили, и он считал ее близким человеком.

Поездка за десять-пятнадцать километров на линейке — в многоместном открытом экипаже — оказалась очень приятной.

¹ Иванова гора — прицерковное селцо и большой парк напротив, через реку Нара, деревни Орехово Боровского уезда Калужской губернии. Каменная церковь Иоанна Предтечи в 1950-е годы покосилась из-за забора гравия во время строительства дороги Москва-Обнинск и была взорвана.

По дороге в лесу все слезали и мчались по лесу наобгонки с повозкой. День выдался жаркий, ясный. Воздух чудесный, насыщенный ароматом цветов и деревьев.

Там нас встретили вкусными горячими пирогами. Дальше — гуляли по великолепному, хотя уже и заброшенному парку с гротами, беседками и прочими барскими затеями. Обратная дорога была еще живописнее: тихая летняя лунная ночь. Мы с ребятами почти всю дорогу шли пешком, с пением и присвистами.

Семья Чистяковых замечательно музыкальна. Мать Виктора любила музыку и имела все виды музыкальных инструментов, которые были ей доступны в материальном отношении: гитару, мандолину, балалайку, цимбалы, гармони. Она сама и каждый из детей играли на всех этих инструментах. Частенько мать после хлопотливого трудового дня садилась на большой раkitовый пенёк перед домом. Ребята брали каждый из своих любимых инструментов, и мы слушали струнный оркестр.

Этим летом я пережила тяжелую травму в своих отношениях с мужем.

Юной девочкой (мне было 18 лет), только что переступившей житейский порог, я узнала первую любовь и вышла замуж. Учась в закрытом учебном заведении, жизнь я знала только по книгам. Перед замужеством три года я была знакома с Виктором. 1905 год оставил отпечаток на наших отношениях, в компании мы пели студенческие революционные песни, вели споры на политические темы и далеки были от пошлых ухаживаний и даже танцев, как я уже говорила: все эти годы между нами шла деятельная переписка. Делились событиями из своей жизни, и обращение в письмах было «дорогой друг».

Никаких намеков на более интимные отношения не позволялось. И только приезд Виктора в Кузьминку сблизил нас, но никаких сальностей и в помине не было. Я полюбила его, и он относился ко мне бережно, нежно, так что все эти месяцы замужества я «витала в небесах заоблачного счастья». Верила в чистую любовь и «верность до гроба», а тут вдруг мне пришлось спуститься с неба на землю.

Однажды его мать объявила нам, что у соседнего помещика престольный праздник и что в этот день она со всем семейством ходит к ним с поздравлением. Я в этот день чувствовала себя совсем разбитой и больной — у меня случались в то время ужасные мигрени. День был жаркий, и я боялась, что солнце напечет мне голову, и мне будет еще хуже. Когда я об этом сказала Виктору, он и слышать не хотел, чтобы я осталась дома: «Мама не поверит твоей болезни, да и перед Челищевым¹ будет неудобно, если ты не придешь». Мне пришлось подчиниться.

Когда все были готовы и вышли из дому, мама Виктора еще не оделась, и мы стали на солнышке ее ждать. Виктор подошел к одной девушке, которая шла с нами, и, подхватив ее под ручку, сказал: «Пойдем, они нас догонят». Мы стояли минут пятнадцать, так что Виктор с девицей скрылись из глаз, наконец мы пошли, и мать спросила: «А где Виктор?» — ей объяснили.

Все думали, что мы их догоним. Но мы пришли к Челищевым. Там встретили нас две пожилые барышни: сестры хозяина, и их племянница Лида — моя подруга по школе. Она обрадовалась возможности повидаться со мной. И я рада была, что за разговором с ней могу скрыть свое смущение из-за отсутствия Виктора.

Наконец Виктор вошел за руку с девушкой, отрекомендовал ее хозяйкам, поставил два стула вплотную рядом, и они сели. Затем подали громадный самовар и всех попросили к столу, в таком же порядке все сели, и началось длинное чаепитие, ребята после жаркой дороги — четыре километра — и благодаря пирогам и мёду, пили без конца, разговор вели мать Виктора с хозяйкой. Я продолжала сидеть с Лидой.

¹ Андрей Челищев-младший во время революции эмигрировал во Францию, а позже стал основателем виноградарства в Калифорнии. В конце жизни переписывался с Еленой (Лёлей) Чистяковой, моей матерью.

Наконец встали из-за стола, поблагодарили, и мама сказала, что ей надо спешить домой, уже смеркается, а у нее хозяйство. Барышни изъявили желание проводить нас. Все тронулись к околице. Виктор подхватил девушку под руку и быстро, чуть не бегом, помчался по дороге. Лида спросила у меня: «Ты не в ссоре с супругом?» Я сказала, что нет и что он просто дурачится с девушкой, она наша родственница.

Барышням поведение Виктора не понравилось, они отвели меня в сторонку и, оказывается, высказали матери Виктора, что поступок его бестактный по отношению к молодой жене, по отношению к хозяйкам и плохой пример братьям, и сделали ей замечание, что она как мать должна оборвать сына и удалить из дому девушку. Затем простились, и мы пошли домой, а мать начала ругать Виктора: «Сам оскрамил». Александр, брат Виктора, сказал: «Да уж, Виктор дурака сваял, нашел время и место ухаживать за девицей».

Приближаясь к дому, мать с Валей, сестрой Виктора, пошли быстрее, готовить ужин и убратъся по хозяйству. Ребята разбрелись по лесочку, и я осталась одна на дороге. Измученная и душой и телом, хотела броситься в траву и плакать, плакать. Но побоялась ужей и змей и решила не ходить ужинать, а сразу лечь в постель. Мы ночевали в маленьком домике, который родители строили для жизни после того, как отец пойдет на пенсию. Подхожу к дому, взойшла на крыльцо и увидела Виктора и девушку в такой грубой циничной позе, что меня как обухом по голове ударило, почва под ногами зашаталась, на одно мгновение я думала, что я лишаяюсь сознания.

Они меня увидели оба, не отстранились, девушка захихикала и прижалась к нему еще сильнее. Меня точно подхлестнуло, молча я пробежала мимо них в комнату. В одно мгновение я поняла, кто такой Виктор, и слетела на землю. Что делать, бежать вон из дому, но куда? Как на это посмотрит брат и, главное, невестка. Исчезнуть с лица земли, но размышления мои были прерваны. Пришла Валя звать меня ужинать. Я сказала, что больна и не хочу есть.

Валя пообещала принести мне молока и умчалась, но следом за ней вошел Александр, сказал, что он не стал нас ждать и поужинал с ребятами. Посмотрел на меня, подошел и потрогал мне голову: «Да тебя трясет, у тебя жар, ты вся синяя! Ложись скорее, а я намочу полотенце в холодной воде и приложу к голове!» Мать узнала, что я отказалась ужинать и пришла узнать, в чем дело, они не знали, свидетелем чего я стала, и думали, что меня расстроили Челищевы.

Мать пошла за порошками от головной боли, а Александр, наверное, почуял, какое горе бушует в моем полудетском сердце. Как я его ни уговаривала, что мне лучше, чтобы он шел спать, он упорно сказал, что не уйдет, пока я не засну. Наконец послышались шаги Виктора, Александр поднялся ему навстречу и зашептал, чтобы он держал себя тише, что я больна и, кажется, уснула. Они вышли в сени, и Александр долго ему что-то шептал.

Я так боялась, что Виктор ко мне прикоснется — это было бы для меня прикосновением гадуки. Я сдвинулась на самый краешек постели и обмоталась простыней. Он тихонько разделся, лег и тут же захрапел.

Тогда только кончилось мое напряжение и полились слезы. Я плакала, пока не настал день. Утром ребята зашли за Виктором купаться, я притворилась спящей, завернувшись в простыню с головой.

Так кончилась безоблачная счастливая жизнь.

Но нет худа без добра. Если бы в моих наивных отношениях к Виктору не произошло перемены, я бы не смогла оторваться от него и поехать на курсы, а после этого я твердо решила, что уеду.

С осени я поступила в частную гимназию Лахтиной учительницей подготовительного класса. Но очень скоро началась моя первая беременность. И, несмотря на все старания, мне не удалось сделать аборт — тогда это было еще

не распространено. Я была хрупкого и нежного сложенья, и врачи, и даже профессора, к которым мы обращались, категорически отказывались и не советовали Виктору рисковать.

Беременность была тяжелая. Никакая пища не усваивалась, кроме соленого огурца, так что я таяла с каждым днем. Пришлось отказаться от местной гимназии. Вместо себя мне удалось устроить сестру Марусю, она до этого уже три года была учительницей в глухой калужской деревне. Я помогла ей из деревенской девушки преобразиться в городскую, шикарно одетую даму. У нее в то время уже была связь с Георгием Егоровым, студентом, а позже ее мужем. Так откладывалась поездка на курсы — моя заветная мечта.

Год прошел незаметно в приготовлениях к родам, затем роды — 22 июня 1911 года. Родилась девочка — Тася, тогда как я мечтала и готовилась к сыну. Виктор все это время ухаживал за мной самоотверженно, и ему, видимо, было безразлично, девочка родится или мальчик. Я всецело отдалась материнству. Слушалась врачей, читали мы с Виктором книги «О матери и младенце». Девочка была толстенная, нарядная, все наши ею любовались и в моей семье, и в Викторовой.

Я нашла ей двадцать шесть платков-подгузников, плюшевое одеяло, пододеяльники в кружевах и прошивках, конверты пикейные с дорогим шитьем и тюлевым кружевом. Словом, она у меня утопала в кружевах и неге. Кроватку купили с сеткой. Кормила по часам, и девочка к году пошла, хотя акушер мне предсказывал, что у таких молоденьких матерей не бывает крепких детей.

В заботах о Тасе я прожила еще зиму, а летом объявила мужу и родным, что с осени поступаю на курсы и вместе с девочкой уезжаю в Москву.

Все родные набросились на меня. Брат говорил, что уезжать от молодого мужа, это значит его потерять (ему было 30 лет). Варя называла меня сумасшедшей: ехать ото всех удобств, которыми я пользовалась в Белостоке (пятикомнатная хорошо обставленная квартира, кухарка, нянька, прачка приходила раз в месяц и т.д.) в Москву, где у меня ни кола ни двора. Виктор не отговаривал. И осенью я уехала. Оставила Виктора и Марусю — мою сестру, мне делали двусмысленные намеки относительно этого, но я считала, если осталась чест у человека, то он выдержит это испытание, если нет, то нечего и дорожить таким.

В Москве меня ожидали мытарства. Сестра Наташа с трудом нашла мне квартиру из двух комнат. Никто не соглашался пустить квартирантку с маленьким ребенком.

Не прошло и месяца, как хозяйка отказала. У нее было своих два мальчика, и они заболели корью. Плач, крик не давали спать моей малышке. Только я вошла во вкус учебной жизни, пришлось ломать все сначала.

После долгих поисков посчастливилось очень удобно устроиться. Курсы мои были на Грузинах, а у Зоопарка, во дворе, в двухэтажном флигеле жило семейство чиновника: муж с женой, дочка семи лет и кухарка — в четырех комнатах с кухней и передней. Неожиданно хозяин умер, и вдова осталась без средств, а сдать квартиру мужчинам боялась. И когда мы с Наташей пришли к ней, она обрадовалась нам до слез и рада была ребенку и молодой матери и няньке, которая могла присматривать за нашими детьми, а кухарка на всех нас готовила бы обеды.

Так уладилась моя жизнь, и я могла всецело отдаться занятиям на курсах, тем больше что перед зданием курсов был Георгиевский бульвар, тенистый тихий сад, на котором только и гуляли няни с детьми. В перерывах между лекциями я подбегала к окну и искала глазами свою девочку с няней.

Лекции меня всецело поглощали. Литературу у нас читал тогдашний приват-доцент Московского университета Павел Никитич Сакулин. Все мы боготворили его. На его лекции сходились курсистки со всех отделений. Сидели на окнах в аудитории, стояли вдоль стен, сидели на ступеньках кафедры. Он так увлекал нас своими лекциями, что мы забывали все на свете и несмолкаемыми аплодисментами провожали

его до улицы. Я была так счастлива в толпе курсисток, что забывала о муже (да простит мне бог), и только выходя с курсов единственная забота была — ребенок.

Но недолго длилось счастье. Однажды прихожу с курсов, встречает меня Поля — няня, бросается мне на шею с причитаниями и рыдает. Я подумала, что что-то случилось с Тасей. Но оказалось, что приехал отец Поли, поклонился мне и сказал: «Так что я приехал за дочерью, нашелся хороший жених и сватает ее». Это было для меня большим ударом. Бросать курсы и сидеть дома с ребенком! Но отчаяние было на одно мгновение. Послала телеграмму маме в деревню и с грустью сидела дома и думала, скоро ли маме удастся найти для меня няню и прислать в Москву.

Мне посчастливилось — через три дня отец Георгия Егорова привез мне молоденькую девушку, дочь церковного сторожа в Кузьминке. Я снова ожила. Девушка оказалась умненькая, здоровая и веселая. Дома она голодала и одета была в платье моей мамы. Меня она знала и Наташу, была рада и новым платьям, и мясным блюдам, которых дома никогда не ела, и московскому шуму. Таким образом, снова все вошло в прежнюю колею. Я снова отдавалась курсам до самозабвения.

Так прожила я в Москве до декабря. Когда я готовилась к зачетам и совсем забыла о Белостоке, вдруг получаю телеграмму: «Приезжай немедленно телеграфией выезде». Эта телеграмма ничего не говорила о причине моего вызова. Пришла сестра Наташа, и как ни хорошо наладилась наша жизнь, а приходилось все бросать и ехать в Белосток. Взяла ребенка, няньку и помчалась в Белосток.

Всекие мысли лезли в мою еще наивную по-детски голову, кроме той, которой была вызвана необходимость приезда на самом деле.

Виктор встретил на вокзале, жив и здоров, посадил няньку с вещами на одного извозчика, Тасю взял на руку, а меня под руку и посадил на другого. Дорогой я спрашиваю, что случилось. Он указал на вокзал и сказал, что поговорим дома.

Дом наполнился шумом и гамом. Тася, насидевшись двое суток в вагоне, носилась по просторным светлым комнатам со смехом и болтовней, Саша, няня, за ней вдогонку с не меньшей радостью. Пришла Маруся и очень удивилась нашему приезду. Я у нее спросила: разве она не знала, что Виктор послал телеграмму. Она еще больше удивилась.

Вечером, когда все улеглись спать, Тасенька — в своей кровати, я еле держалась на ногах от двух бессонных ночей. Я не могла доверить девочку такой юной няньке, тем более что поезда ходили не так, как теперь. При остановке всегда был такой толчок, что с полок вещи летели, и то же повторялось, когда поезд трогался. Так что я ни днем ни ночью не могла быть покойна за ребенка.

Все улеглись. Виктор входит в спальню с револьвером в руках. И началась исповедь, подробная до мельчайших деталей, — в ней, как он держал себя без меня по отношению к женскому полу.

«Если не можешь простить — пулю в лоб, и все кончено». Я по своей наивности только тут поняла, и то не вполне, что он пережил в моем отсутствии. Как ни была утомлена, но все же быстро сообразила, что он при своем безумии может выстрелить у постельки ребенка. Я ему категорически заявила, что пока он не разрядит револьвера и не запрет его в стол, разговаривать с ним я не буду. Он покорно разрядил, запер в письменный стол и принес мне ключ. Я попросила его объяснение отложить, пока спит ребенок и наши разговоры могут потревожить его, а Тася за эти двое суток и так плохо спала, да и мне тоже необходимо выспаться.

Он, очевидно, поняв, что ему трагедию разыгрывать, сытому и здоровому человеку, передо мной, измученной и усталой до потери сознания, не к лицу. На этом пока было покончено, но я, откладывая разговор, напряженно думала, как же курсы? Я была с ним ласкова, как будто ничего от него не слыхала. Он и сам, видимо, успокоился и не торопил меня с ответом. Наконец, я ему сказала, что в его поведении и моя есть доля вины, что я от него уехала. Тогда он мне заявил, что он не может

отпустить меня в Москву и остаться снова без меня с Марией. После этого я, как ни ломала голову, ничего не могла придумать. Случай мне помог.

Начались рождественские каникулы. Маруся уехала к маме. Я устроила для Тасеньки елку и пригласила учителей, а так как они в большинстве были холостыми, то в общем получились гости с выпивкой. Наташили целый дом всевозможных игрушек и лакомств. Из шоколадных конфет Тася строила домики, как из кубиков.

Разговорились о том, что квартира большая, а я уезжаю, что Виктору Ивановичу одному скучно, и два учителя стали просить нас, чтобы он пустил их к себе пожить, хотя бы временно, так как у них невозможная комната и невозможная хозяйка. Меня сразу осенило, и я сказала, что мы с мужем подумаем и дадим на днях ответ.

Оставшись одна с Виктором, я стала приводить ему доводы за то, чтобы взять этих учителей. Он говорил, что боится, что они будут пьянствовать или приводить женщин. Я ему охарактеризовала учителей, что они не юноши, и можно потребовать, что если они нарушат наши условия, — тут же им откажем. Привела тот довод, что раз я начала учиться, нужно мне уже закончить, а материально нас это очень устраивает: плата за квартиру и содержание кухарки. Тем более что самая большая учебная треть кончилась, и Виктор сможет часто ко мне ездить. На масленицу, затем на страстную и на Пасху их отпускали, а там я пораньше сдам зачеты и приеду к нему в конце мая совсем. После некоторого колебания он согласился, я скоренько собралась и попросила его поехать со мной в Москву — устроить меня с квартирой и дожить оставшееся время каникул.

В Москве мы быстро нашли две комнаты на нижнем этаже в Конюшковском переулке около зоопарка. Здесь у Маруси произошла драма. Она с Георгием приехала в Москву и тут обнаружила, что у него близкие отношения с девушкой, подругой нашей сестры Наташи. Маруся билась в истерику и говорила, что никому не нужна и ей остается только одно — отравиться. Я предложила ей остаться у меня, но с питанием как-то устроиться, попросить помощи у братьев. Брат ей пообещал высылать на харчи по 10 рублей в месяц. Она осталась, поступила на педагогические курсы и жила у меня. Отношения с Георгием у них быстро наладились, он порвал с той девушкой окончательно.

Таким образом, я снова отдалась занятиям на курсах. Виктор зажил более спокойно с двумя учителями, а потом к ним присоединился еще один холостяк, у которого сгорела квартира. На каникулах Виктор приезжал ко мне, и мы были счастливы, что наладили свою жизнь.

Весной мне трудно было готовиться к экзаменам. Днем девочка не давала, приходилось по ночам заниматься и держать экзамены не так блестяще, как я училась в школе. Это было по моему самолюбию, но приходилось мириться; к тому же надо было спешить, потому что Виктор торопил меня с приездом к нему в Белосток. А здесь еще всякие непредвиденные обстоятельства, например: приготовилась сдавать экзамен по логике. Преподаватель — молодой Рубинштейн. Студентки были запуганы, говорили, что он режет после двух-трех неудовлетворительных ответов. Вдруг в назначенное число вывешивают объявление: «Преподаватель Рубинштейн болен, и экзамен переносится на неопределенный срок». А у меня это последний экзамен, и я уже написала Виктору, чтобы ждал телеграмму о моем приезде. Человек десять студенток, которые записались на этот экзамен, стоят перед объявлением с такими же недоуменными лицами. Тогда я предложила пойти на квартиру преподавателя и узнать у его жены о болезни мужа.

Когда мы толпились в передней его квартиры, горничная на наш вопрос шепнула: «У него запой». Вышла расстроенная жена, и я сразу начала ей объяснять, что я семейная, и за мной должен приехать муж, чтобы перевезти меня с маленькой дочерью домой. Она приняла это, видимо, во внимание и спросила у остальных девушек, может, им не так уже срочно нужно держать экзамен. Некоторые забоялись пьяного преподавателя и решили подождать. Пять человек настаивали как-нибудь

устроить, чтобы сдать экзамен теперь же. И, к нашему удивлению, жена пообещала договориться с мужем на завтрашнее утро.

Когда мы пришли на следующий день, девушки стали препираться, кому идти первому. Или пан, или пропал — я вызвалась. Вхожу в кабинет. На кресле съживший полусидит-полулежит молодой, изможденный, бледный человек и весь дрожит. Ну, думаю, сейчас как шуганет меня с моими знаниями. Перед ним разложены билеты. Он произнес: «Берите билет!» Я вынула билет, который хорошо знала. Прочла, ободрилась и сказала: можно отвечать. Он кивнул головой, я начала говорить, он быстро задал мне пару вопросов и протянул руку за зачетной книжкой. Когда я выходила, девочки в страхе шептались: «Провалил?» — но, глядя на мое сияющее лицо, сразу заулыбались. Я им сказала: «Похвалил».

Вот так, преодолевая всевозможные препятствия, я все-таки выехала в Белосток, как и пообещала Виктору. Там товарищи по квартире ждали меня с некоторым волнением, думали, придет «синий чулок» и наведет свои порядки в доме или даже попросит их освободить комнату. Но оказалось, что никакого синего чулка, а просто «очень молоденькая и веселая девушка», как они меня называли за глаза, да еще с такой милой малышкой. Тасю они все полюбили и забавлялись ее смешным разговором.

Собирали у нас из женатых учителей небольшую компанию или ходили к ним в гости.

Я рада была разрядиться от напряженного учебного года. Бывала и на концертах. Тогда в славе была Надежда Плевицкая, я ею увлекалась. Виктор сначала не ходил на ее концерты, а когда, наконец, я его притащила, он хлопал и бесновался, — понял мое увлечение. Всем нам было весело, и к нам охотно присоединялись. Так мы дожили до окончания учебного года у Виктора и поехали сначала на Иванову гору.

С нами увязался один из жильцов — Смирнов. Он был без рода и без племени. Узнал, что Иванова гора живописна, есть река, можно купаться и ловить рыбу. Виктор к нему привык и взял с собой. На Ивановой горе он сразу завоевал симпатии и матери, и всех ребят. Купались, ловили рыбу и совершали длинные прогулки в лес.

В июле переехали в Кузьминку, там у Маруси гостила подруга из Белостока и жил наш брат Леонид с женой. Получилось таклюдно и весело! Леонид затеял поездку к Сане с Петей, километров за двадцать пять от Кузьминки. Петя там работал агрономом. Для опытного участка дали ему большое имение какого-то прогоревшего помещика. Дом просторный, так что все разместились. По дороге в деревнях, как завидят, что едет с песнями веселая компания в четыре подводы, преграждают нам путь, думают свадьба. А обычай такой: если едет свадебный поезд, преграждают путь и требуют на водку. Смеху и курьезов было сколько угодно.

Так разнообразили деревенскую жизнь и не успели оглянуться, как нужно было учителям разъезжаться на места, а нам, учащимся, в Москву. На этот раз мы, сестры, в Москве поселились на одной квартире. Одну комнату заняли Маруся с Георгием, самую лучшую — я с девочкой и Наташа, а между нашими комнатами Оля, двоюродная сестра. Обеды готовили дома по очереди. Все принялись за учебу, но находили время и для веселья. Так, Георгий однажды ждал к себе товарища-инженера. Уговорил меня, чтобы я заплела косу с лентой, а он отрекомендует меня как свою сестру — ученицу гимназии. Когда сели за стол, гость был моим соседом и вел разговор, как с молоденькой девушкой. Все слушали мои ответы и хохотали от моей наивности. Подобные эпизоды у нас встречались нередко. В них принимал участие иногда отец Георгия, пожилой, но еще совсем не изжившийся человек, Андрей Лукич Егоров, владелец небольшой фабрики в Насонове. Он часто приезжал в Москву по своим делам.

Однажды приехал брат Леонид и повел всю нашу компанию в ресторан, меня в то время не было в Москве, я была в Липецке у Виктора, куда он перевелся

из Белостока. В ресторанчике Леонид всех перепоил вином, а потом вся компания чуть ли не на четвереньках с шумом и смехом взбиралась к нам в квартиру на пятый этаж.

Я часто уезжала в Липецк, так как это стало доступней — езды всего одну ночь. А потом Валя, сестра Виктора, кончила епархиальное училище и на зиму осталась пожить у нас. Поэтому Тасеньку я уже не таскала по дорогам, а оставляла на ее попечение. У меня жила кухарка-вдова с девочкой десяти лет, которая играла с Тасей, чем облегчала жизнь Вале.

В моих занятиях на курсах наступал самый тяжелый, последний год — выпускной. За три года я заканчивала два отделения — историческое и литературное. Приходилось давать пробные уроки, писать рефераты. По педагогике, например, в числе других пособий нужно было прочесть Ушинского, объемистый труд. Для меня, конечно, достаточно было раз прочесть и коротко законспектировать, чтобы знать материал. Мне повезло, что у нас жила Валя и я могла целиком отдать себя занятиям.

Во время выпускных весенних экзаменов Тасю взяли к себе моя старшая сестра Саня с мужем, а у нас жила моя мама. Но девочка безумно скучала, убегала на дорогу и звала меня. Мне, конечно, ничего этого не писали. Но я, сидя над книгами и день и ночь, сердцем чувствовала тревогу за малышку. Приходилось рассчитывать, сколько страниц я должна прочесть за сутки, чтобы успеть преодолеть объемистый труд к экзамену.

В это же время готовился к экзаменам Георгий, и так же напряженно. Маруся варила ночью нам черный кофе, чтобы разгонять сон и поддерживать силы. Утомляемость до того дошла, что однажды я села в трамвай ехать на курсы и сидя заснула. Хорошо, что со мной была Ольга — она разбудила меня на нужной остановке, иначе я бы неизвестно куда заехала. Вот с таким напряжением пришлось мне кончать курсы. И когда, наконец, все было сдано, я почувствовала себя настолько опустошенной, что не могла первое время есть и спать, пока не улеглось нервное напряжение.

Девочку я застала похудевшей и всю в болячках. Лицо ее болело от частых слез, а ручки она нечаянно обожгла — подошла к столу и опрокинула на себя стакан горячего чая. Я целовала ее и плакала, просила у нее прощения за то, что у нее плохая мать. Здесь мне помог случай. Накануне моего приезда к Сانه приходила молоденькая женщина и рыдала — рассказывала, что мужа у нее взяли в солдаты, а свекор так бил ее, беременную женщину, что она скинула и убежала из дома. Я взяла ее в кухарки и увезла с собой в Липецк. Она так полюбила меня и Тасю, что была в доме как родная.

Через два года она со слезами призналась, что полюбила молодого кудрявого сапожника, которому носила чинить нашу обувь, и когда получила извещение, что муж ее убит, решила выйти за сапожника замуж, тот ежедневно с гармошкой и песнями маячил у нашего дома. Мне так жаль было с ней расстаться, но пришлось, и она много лет со мной переписывалась. А когда я снова приезжала потом в Липецк лечиться грязями, она звала меня к себе в гости, угощала пирогами и радовалась мне как близкому, родному человеку.

По окончании курсов в следующую зиму я открыла в Липецке небольшую подготовительную школу к гимназии. Здесь мне пошли навстречу родители детей, которых нужно было готовить для поступления. Мне выдали во временное пользование из земской управы школьное оборудование: парты, столы, шкафы для книг и прочее.

Как только узнали о моей школе, сразу набралось пятнадцать человек детей, но с разными знаниями, и почти все домашние баловни и лентяи. Мамы рады были свалить их со своих плеч. И мамы не ошиблись. Если избалованные сынки ломались над наемными учителями и собственными мамами, то в коллективе, принятые мною с условием, если они плохо будут заниматься, то я их отправлю домой, чтобы они не портили репутации моей школы и не мешали учиться своим товарищам, ребята поразили своих родителей. Все время, вставая по утрам, требовали, чтобы были пришиты чистые воротнички, приводили себя в порядок: а то Лидия Петровна сказала,

что не пустит в класс, если будут уши невытые, не острижены ногти и в портфельчиках тетради и перья не собраны.

Уже забыла, какую плату я назначила в месяц с каждого ученика. Пригласила священника для уроков по Закону Божию. Инспектор народных училищ приходил для контроля и родителям хвалил мои планы, которые были составлены на основании программы приема в гимназию.

Поощрение со стороны инспектора народных училищ, благодарности от родителей — все это давало мне полное удовлетворение в работе и окрыляло на будущее. Дни были заполнены занятиями, а вечера — подготовкой к ним. Но оставалось время и для отдыха. У меня жили моя мама и Евгеша, работница, о которой я уже писала, так что девочка моя расцвела, подросла и выглядела жизнерадостной.

У нас, как это часто в провинции, завелась тесно спаянная небольшая компания из учителей, товарищей Виктора, и особенно дружила со мной жена инспектора реального училища Лариса Михайловна Ектова. До меня она как-то ни с кем так особенно не сближалась. У меня учились два ее сына, и потом она не очень была уверена в своем муже. Она видела наши с Виктором близкие дружеские отношения и то, как мы были неразлучны. Кроме Ектовых, были еще три семьи молодых людей и три холостых учителя. Собирались то у одних, то у других, но больше всего Ектова любила принимать у себя. Она была дочь очень богатых родителей, очевидно, вышла замуж с большим приданым. Мне и моей Тасе она дарила всегда дорогие подарки. Часто одна заходила ко мне попить чаю и поговорить про наши женские дела.

Так прошла зима 1914–1915 годов.

На пасхальные каникулы к нам съехалось много народа: Викторовых три брата — студенты — и мои родственники. Угощение было богатое, в Лицевке в то время, несмотря на начавшуюся войну, было все исключительно: гуси, утки, индюшки, телятина — по пять копеек фунт, фрукты летом за бесценно: клубника разных сортов полкопейки фунт, сливы-ренглоты и желтые, и лиловые по 15 копеек за ведро, яблок в своем садике при квартире (там все дома утопают во фруктовых садах) было так много, что и моченых, и свежих, и маринованных яблок, груш и компотов — всего было много. Куличей я напекла горы. Словом, угостить было чем. У меня была мороженица, и я сама дома взбивала сливочное мороженое — такое, что все обедались.

Только что кончился учебный год, как получаем телеграмму из Москвы от товарища Виктора, Савинского. Он был инспектором в I-й гимназии. Он телеграфировал, что у них в гимназии освободилось место преподавателя русского языка и, если Виктор хочет, то он порекомендует его своему директору. Виктору не нравился директор реального училища в Липецке, и он решил соглашаться и тут же поехал в Москву. Там Савинский познакомил его со своим директором. Виктор тому понравился, и он послал его кандидатуру на утверждение попечителю округа. Так Виктор получил место в московской гимназии. Нужно было ликвидировать все дела в Липецке и переезжать в Москву.

Ирония судьбы: когда я училась на курсах, то должна была колесить за тысячу верст в Белосток и обратно, сколько потрачено мною нервов и молодых сил напрасно, а когда все это превозмогла, то оказалась в Москве, где я могла бы в спокойной семейной обстановке жить и учиться.

Так или иначе, но мы поселились в Москве. Здесь сказалось все пережитое мною — у меня начался туберкулез. Уже шел 16-й год. Обстановка была беспокойная, война затягивалась. Врачи порекомендовали мне ехать на лето в степь на кумыс. Это уже было лето 1917 года. Я поехала в уфимскую губернию, в Белебей, с Тасей, и Маруся с Олей поехали вместе со мной. Степной воздух, кумыс и беззаботная степная жизнь быстро восстановили мои силы, но Тася не давала мне покойно полежать,

что требовалось при кумысе, поэтому если Маруся и Оля прибавили в весе по пуду, то я всего три с половиной кило.

За мое отсутствие в нашу квартиру забрались воры и обчистили нас до нитки. Виктор даже боялся мне об этом написать, думал, что меня это очень расстроит. Но кумыс усыпил мои нервы, и я отнеслась к этому известию вполне равнодушно.

В Москве было беспокойно, и врачи посоветовали поселить меня с Тасей в деревне.

Сестра Наташа получила место в селе Большом Рязанской губернии учительницей в сельскохозяйственной школе. Мы списались с ней, и я, не заезжая в Москву, поехала туда. Она помогла мне устроиться в этой же школе учительницей русского языка и истории.

А кругом полыхали пожары: горели усадьбы помещиков. Крестьяне срывали все свои обиды на помещиков, жгли и тащили все из имений, что можно было унести.

Мы с Наташей и учительницей сельской школы открыли воскресную школу. Наташа, закончившая Тимирязевскую академию, читала лекции-беседы крестьянам по сельскому хозяйству. Она вела эти беседы по предварительному заказу крестьян: «Ну, о чем бы вы хотели, чтобы я вам рассказала в следующий раз?» Они затруднялись, тогда она им предлагала: как прививать яблони? как кормят телят при поносе? как откармливать свиней, чтобы добиваться высокого веса? и т.д. Она обладала даром слова и хорошо знала нужды крестьян, говорила просто, доходчиво, и крестьяне ее полюбили и целыми толпами приходили ее слушать. Я и Люба — учительница школы — занимались с молодежью, ликвидировали неграмотность.

В стенах школы я организовала литературные вечера для учащихся школы с пением революционных песен, декламацией, музыкой. Для ребят это было новостью, с ними никто раньше не занимался этим. Так наладилась наша жизнь. К нам приехала моя мама, и Тася заслушивалась по вечерам бабушкиными сказками. Ей шел седьмой год. Чтению я ее выучила сама, а письму — пригласила ученика старшего класса с хорошим почерком. Тася занималась неохотно, имела плохой аппетит, чем меня очень расстраивала. Осенью Виктор решил перевезти нас в Москву. Мне уже было назначение с 1 августа в школу учительницей, а Тасю — учиться в семилетку, семилетки уже организовывались к осени. Но тут мне пришлось пережить несколько тяжелых моментов.

К Наташе приехал ее любимый, Шура Головин, демобилизованный из армии и уже получивший место землемера в Курской губернии, вблизи своей родной деревни — он был сын крестьянина. Добродушный, милый человек. Он погостил у нас недели две и увез Наташу с собой. Так что в школе я осталась без поддержки. А на меня точил зубы заведующий школой Долин. Он раньше был управляющим этим имением, которое барыня по завещанию подарила под сельскохозяйственную школу и пожизненно заведующим этой школой назначила Долина. Он был черносотенец, жестокий к учащимся, чувствовал себя полновластным хозяином над имением, а учащихся ставил в положение бесплатных рабочих.

Ребят кормили довольно плохо по сравнению с теми суммами, которые приходили от хозяйства. Его никто не контролировал, и он, живя в просторном барском доме, распоряжался всем богатством хозяйства по своему усмотрению. Например, молоко после дойки пропускали через сепаратор, сливки доставлялись в дом управляющему, а снятое молоко шло для поила поросятам, телятам и учащимся. Сбитое масло употреблялось только самим управляющим и шло на продажу. Ребята сухую картошку поливали снятым молоком.

Наташа сразу стала на сторону учащихся из-за питания. Откармливались и продавались громадные свиньи и часть поросят, а ребятам только добавляли в щи свиного сала, было и много другого. Ребята полюбили Наташу, так как она отдавала им все свое время.

В школе преподавала химию дочь управляющего, кривая некрасивая и такая же высокомерная по отношению к ребятам, как ее отец. Видя, как ребята относятся ко мне и к Наташе, она возненавидела нас. И отец ее начал нас травить. Звал не иначе как «проклятые большевички». Грозил, что сотрет нас с лица земли. Ездил в Рязань в земельный отдел со всякого рода кляузами. Вот при таких обстоятельствах я осталась в школе одна. Виктор настаивал, чтобы я уехала в Москву после окончания весенних занятий. Но мне не хотелось перед летом увозить маму и Тасеньку в город, и я уговорила его прожить в Большом селе июнь и июль.

Летом назначено было в земельном отделе в Рязани совещание заведующих школами и представителей от учителей и учащихся. Долин уехал один на совещание, не сказав ни мне, ни учащимся. Из Рязани дали знать в Комитет большевиков и Большое село, почему не явилось никого ни от учителей, ни от учеников. Приходит ко мне коммунист, который знал меня по работе в воскресной школе, и спрашивает, почему я не поехала в Рязань на совещание. Я объяснила, что меня об этом никто не известил. «Бери ученика и поезжай». Я попросила лошадь (до станции было 18 верст). Сын Долина, который замещал отца, сказал, что отец приказал лошадей не давать. Я пошла пешком на станцию с одним из учеников. Приехала измученная и прямо направилась в земельный отдел.

Там уже все были в сборе. Прибывших регистрировал и готовил к выступлению зав. сельхозотделом Пятницкий, узнал причину опоздания и дал ряд вопросов, на которые я должна была ответить в своем выступлении. На совещании выступали с отчетами заведующие школами и потом давали слово преподавателям и учащимся.

Перед собранием я наскоро подготовила свое выступление и подготовила учителей согласно указаниям Пятницкого. Картина работы нашей школы получилась тяжелая, и после совещаний Пятницкий меня вызвал к себе и остался доволен моим, как он выразился, полным и обоснованным выступлением. Я ему тут же заметила, что собираюсь уходить из школы, так как невозможно сработаться с Долиным. Он сказал мне на это: «Чем Долин больше будет писать доносов на тебя, тем больше он себя компрометирует перед Советской властью. Его бы необходимо снять с работы, но пока замечать нечем».

Но этим дело не кончилось. Долин собрал несколько крестьян из дальних деревень, родителей учащихся, священника, врача — все они были задарены Долиным, и на совещании начал поливать «большевицкую смутьянку» помоями. Я пришла на совещание и принесла заявление о моем уходе из школы. Долин был ошарашен, и все присутствующие заявили, что обсуждать доклад Долина обо мне излишне.

Так «проклятая большевичка» покинула школу в конце июля и переехала в Москву, где меня уже ждало назначение на должность заведующей школой-семилеткой в Зачатьевском переулке.

До начала занятий в школе мне дали группу для работы на площадке с ребятами, которым летом некуда было выехать из Москвы. Площадка была отведена во дворе большого дома на Девичьем поле, где теперь построена Военная академия им. Фрунзе. Ребята были разного возраста, мальчики и девочки, 20 человек. Во время дождя мне разрешалось иметь убежище в одной из комнат клуба, там же дети получали скудный обед в виде кашицы или супа с перловой крупой.

В ясную погоду я занялась с ребятами: расчистили площадку в обширном дворе для посадки овощей и цветов. Ребята очень охотно освобождали место для нашего огорода от камней и щебня, затем вскапывали землю детскими лопатками. Посеяли редис, репу, морковь. Ежедневно поливали из маленьких леек, которые с трудом удалось достать с помощью клуба. Клуб вообще отнесся отзывчиво на наши занятия, так как ребята — дети бедноты. Ходили парами с пением по аллеям Девичьего поля.

Ребята меня полюбили и к вечеру неохотно шли по домам. Вскоре на районном собрании меня выбрали в культкомиссию. Я связалась с дрессировщиком Дуровым,

и 26 августа удалось собрать все школы Хамовнического района на спортивной площадке. Рассадили ребят — с руководителями, конечно, — вокруг площадки, а Дуров на двуколке, запряженной верблюдом, объезжал кругом, показывая всякие фокусы с крысами, мышами и дрессированной собакой, которая умела считать. Когда Дуров писал на громадной доске «2х2=», собака лаяла четыре раза, и другие интересные ребятам фокусы показывали. По окончании выступления Дурову кричали «ура» и ребят оделяли гостинцами: кулёчек с яблоком, печеньем и конфетами. Так блестяще закончилась работа на детских площадках.

С первого октября начиналась школа. В школу № 14 Хамовнического района, помещавшуюся в Зачатьевском переулке (он шел от бывшей Остоженки, а теперь Метростроевской), ребят у меня записалось 200 человек, преимущественно дети рабочих трикотажной фабрики. Учителя были импровизированные: один студент медицинского факультета; одна студентка Строгановского художественного училища; две молоденькие учительницы без опыта и только одна учительница со стажем. Это был 1918 год, год последнего дореволюционного учительства.

Ребят распределили соответственно знаниям по классам. Сразу учителя написали родителям пригласительные записки на собрание в школу. На собрание пришло много народу, и на мой призыв помогать школе наладить аккуратное посещение ребятами провели выборы совсода (совета содействия). Председателем его выбрали мастера с трикотажной фабрики, культурного рабочего. Дров выдавали мало, так что в классах часто приходилось разрешать сидеть в пальто, у кого оно было, или в материных кофтах. Так начались занятия.

Учителя поняли, что от них требовалось организовать учащихся, чтобы они полюбили школу, полюбили учителя и для него старались бы соблюдать дисциплину. Не всем это, конечно, удавалось. Вбегают ко мне в класс ребята и просят: «Лидия Петровна, зайдите к нам в 3-б, Надежда Ивановна плачет, в нее Приходин бросил шарик с чернилом». Приходилось просить свою группу тихонько заняться списыванием упражнения с книги, пока я успокою 3-б. Учительницу отпускаю умыться и привести себя в порядок, а у ребят требую назавтра вызвать родителей, чтобы родители приняли меры против хулиганства, иначе группу распушу. Родители помогали, и занятия налаживались.

Кругом свирепствовал сыпной тиф. Ребята спозаранку выходили меня встречать на Метростроевскую улицу. Едва завидев меня, целая орава бросается мне навстречу с криком: «Красные валенки, красные валенки!!!» Мне удалось достать красные валенки, и вот по ним меня ребята издали узнавали. Все хотели за меня ухватиться: кто за руку, кто за портфель, кто хотя бы за пальто. И в таком окружении я появлялась в школе. Причем дорогой ребята наперебой старались рассказать: «у меня мамку увезли в больницу», «у меня брата», «Аксютку Иванову и Машку Суконину» и т.п.

Из районной столовой ежедневно получали завтрак на каждого ученика по 200 граммов хлеба и разливали жидкой пшенной кашицы. Так как ребята заболели и увозились в больницы, то их порции, в виде добавок, раздавали явившимся. В такую голодовку и пшенная каша без масла была лакомством. К раздаче привлекали дежурить родителей, и все-таки обнаруживали у сторожа припрятанные порции.

Из учителей сначала тифом заболела молоденькая учительница. Не успела она выздороветь, заболел студент-медик, с виду богатырь, а не перенес тифа и умер.

Дети ласкались ко мне, особенно девочки из младших классов, и я ждала, что не смогу уберечься от болезни. Врач, сосед по квартире, посоветовал предохранять себя так: как прихожу домой, сразу в ванну. Снимаю все с себя, просматриваю, нет ли паразитов. Моюсь. Приходилось холодной водой, топлива почти не было для чугунной печки, чтобы раз в сутки обогреть одну комнату, в которой ютились и взрослые, и дети, а у меня их было пять человек-сирот от умершей от голода сестры Виктора Анны — трое от первого брака ее мужа и двое общих, и моя Тася. Тут же требовалось вскипятить

чайник для морковного чая, сварить изю ржи кашу без масла. Белье на семью стирала ночью слегка подогретой водой до семи часов утра. В семь часов ополоснулась холодной водицей, выпью чашку морковного чая и бегу в школу, и дети мои тоже расходятся по школам и там завтракают.

Изредка выдавали вяленую воблю или сельди — это был уже праздник. И вот при таких условиях я забеременела вторым ребенком, Лёлей. 16 ноября 1921 года родила Лёлю. Когда кончился декрет, а тогда он был всего шесть недель, пришлось уволиться из школы.

В этот непереносимо трудный момент мою семью поддержали АРАвские¹ посылки. Получаю повестку явиться в «Эрмитаж» за посылкой. Там выдали 20 килограммов пшеничной муки, 10 килограммов шпика, 10 банок сгущенного молока, 10 кило рису, 10 кило сахару. Кажется, не перепутала, но если что забыла, можно простить. Да, еще какао пять банок. Это было такой поддержкой для семьи! К тому же открылись АРАвские столовые для детей. Мои трое детей туда пошли. Там давали хорошие порции риса и какао со сгущенным молоком. Такая помощь подняла мой дух, а тут еще выдали из профсоюза на меня и на мужа по мешку муки. Один мешок ржаной и другой — пшеничной крупного помола. Так что, когда родилась Лёлочка, я подала заявление об уходе из школы и занялась экономным хозяйством.

Шел 1921 год — тяжелый, как и все последующие. Летом поехали в деревню, в Иванову гору, на родину Виктора. Там оставался деревянный домишко, в котором поселился дядюшка. Мы в Виктором вскопали огород — он был хорошо удобрен — и занялись посадкой овощей.

У себя дома я с ранних лет была приучена к уходу за овощами. Лето 1921 года было засушливым, а воду нужно было таскать из-под горы, от Нары. Ежедневно Виктор носил на коромысле по 45—50 ведер. Он таскал, а я поливала; и наши труды не пропали даром. К осени у нас такие были овощи, что крестьяне удивлялись, как мы могли все выходить в такую засуху. У них все сгорело от жары, им некогда было возиться с огородом, да и не придавали они большого значения овощам. «Есть картошка, ну и хорошо».

Всего собранного мы не могли увезти в Москву, и крестьянки с удовольствием меняли нам овощи на баранину, курятину, яйца, молоко. Особенно им нравились красная свекла и громадные черные редьки с человеческую голову, сочные, сладкие. Нарубили капусты двенадцативедерную кадку и свежей тоже повезли, кочнами. Всего поехало два воза картофеля, капусты, свеклы, моркови. Теперь уж мы чувствовали себя богачами и зажили нормальной жизнью. Получили разрешение за 18 километров в лесу напилить сушняку. Здесь нам помог наш земляк-калужанин, он был заведующим пасекой, в его распоряжение дали лошадь с телегой.

Он помог нам перевезти из леса два воза дров. Лошадь, правда, была заморенная и не могла везти большой воз, приходилось по дороге сбрасывать дрова, так как она останавливалась. Один воз я привезла, один — Виктор. Измучили лошадь и сами измучились, но все же получился кое-какой запас дров на зиму.

Этот период был самым мрачным в моей жизни. Я лишилась заработка, а Виктор, как говорится, загулял. Бросил школу и поступил в Наркомзем на 50 рублей в месяц. Но и этих денег он не приносил домой под тем предлогом, что бухгалтерия высчитывала за паек. В то время по учреждениям давали пайки. Но этот паёк был настолько мизерным, что в семье не стал подспорьем.

Каждый день утром я ломала голову, что бы продать из дома, деньги нужны, чтобы купить хлеб, молоко для детей. Я вся обморочилась. Ходила весной по слякоти в рваных прюнелевых туфлях². Кто встречал меня из знакомых на улице — приходили

¹ АРА — американская организация распределения помощи, помогавшая России продовольствием в эти голодные годы.

² Прюнель — плотная ткань для обуви и мебели обивки.

в ужас. А Виктора ничто это не трогало. Он завел в Наркомземе два романа и домой приходил, как гастролер. На все мои разговоры отвечал: «Дворничиха живет на 117 рублей в месяц с пятью человеками детей и не умирает с голоду».

Михаил, брат Виктора, ветеринар, бывал в Наркомземе и все видел, говорил, что Виктору нужно уходить оттуда, так как он себя там безобразно скомпрометировал. И зав. Наркомземом предложил, наконец, ему подать заявление об уходе по собственному желанию, не хотел портить ему послужной список. Так Виктор вылетел на улицу и начал ходить по школам, искать место учителя.

Хмель с него улетучился, когда он очутился без места и без надежды получить работу среди учебного года. Сирот к этому времени удалось устроить, и у нас осталась только Женя, одноклассница Таси. Так и росли они, как двойняшечки.

В конце концов, знакомый наш директор школы дал Виктору замещать заболевшего учителя. Я по вечерам начала преподавать в школе ликбеза, которую мы открыли со студентами в красном уголке в нашем доме. Так дотянули до лета и снова уехали на Иванову гору. Опять занялись огородом и посеяли яровую пшеницу, просо и картофель — землю нам дали крестьяне, выделив из прежней церковной, которую они не успели использовать.

Тем временем Виктор ходил пешком в Москву (95 километров) искать по школам полной нагрузки и просил директоров школ, если будут частные уроки, рекомендовать меня. Летом в Иванову гору приехали Маруся с двумя сыновьями и моя мама. Ходили всем кагалом в лес за грибами, за ягодами. Развели кроликов. За лето три крольчихи наплодили нам 45 крольчат. Так что при своих овощах мы неплохо прожили лето. А зимой Виктор получил полную ставку, и у меня появились частные уроки.

Так мы прожили до следующего лета, а летом Михаил пригласил нас к нему. Он был ветеринаром в Дмитровском районе, ему дали имение — бывшее имение царского министра внутренних дел Н.А.Маклакова. Громадный барский дом с флигелями, лошадь для развозов и чудесную симментальской породы корову, которая давала три больших ведра молока в день. Здесь мы зажили прекрасно. Но вскоре заболела мама, и заболела тяжело, так что пришлось перевезти ее к брату Саше в Подольск, где она и умерла.

Меня утешало только то, что последнее свое лето она прожила в полном довольстве, окруженная любовью и уважением детей и внуков. Брат мужа Михаил, очень гуманный, мягкий по характеру, полюбил мою маму и во всех хозяйственных делах советовался с ней. Например: убирать ли скошенное в усадьбе и сушившееся сено или еще посушить. Приносил маме пучок сена, она мяла его в руках и говорила: «Знаешь, милоч, оно еще волглое. Если погода не испортится, посуши до полдня и убирай». И он слушался, зная, что у нее громадный жизненный опыт, она вела все хозяйство в семье сама, отец был больной-сердечник, она его не тревожила хозяйственными вопросами и распоряжалась единолично.

Мама радовалась и огороду, который мы засадили под ее руководством, и симментальской корове, которая одна давала молока больше, чем две коровы у мамы, но плохой породы. В имении была прекрасно оборудованная плита, на которой под маминым руководством работница пекла такие чудные пирожки и булочки, что вся наша разросшаяся семья, особенно дети, прямо-таки объедались.

Фельдшер-ветеринар у Михаила был прекрасный — средних лет мужчина, он имел жену и троих детей, но еще не перевез их к себе, решил обжиться как следует, и пока они оставались у его тещи на Украине. Столовался он у нас, конечно, и за обедом вел нескончаемые разговоры с мамой о семье и вообще о всяких жизненных вопросах. Он затевал с нашими детьми рыбную ловлю. Например, не имея никаких рыболовных снастей, рыбу, карасей, они пытались ловить в бочагах. Приходили все в глине, мокрые и, конечно, без рыбы. Я сердилась, боялась простудить детей, а мама поощряла и говорила: «Это хорошо, Фёдор Иванович, пусть дети закаляются».

И в самом деле, за лето из шести человек никто не болел. К нам постоянно приезжали из Москвы родные и знакомые. Было шумно и весело. Михаил говорил мне (он только что вернулся из армии по окончании Гражданской войны): «Вот я ехал на работу сюда и думал, как я буду один, как бродячая собака, устраивать свою одинокую жизнь. А теперь не нарадуюсь уюту и веселью, которые ты здесь создала». Приезжал Сергей, другой брат Виктора, с женой, приехал их земляк с сестрой Верочкой, молодой, жизнерадостной, пышущей здоровьем девушкой. Михаил сразу сблизился с ней, точно был много лет знаком. Так все мы за это лето отдохнули душой на лоне природы.

За это время у нас перебивали мои сестры и, когда заболела мама, мы посменно дежурили около нее. И она говорила фельдшеру: «Имей больше детей, видишь, как под старость они берегут свою мать». Не буду описывать ее похороны. Нас всех Александр вызвал телеграммами, когда почувствовал ее близкую кончину, и мы присутствовали на ее похоронах в Подольске. Многие годы ездили мы на ее могилку, убранную цветами и розами. А теперь понемногу и сами сходим с жизненного пути.

Последующие годы после смерти мамы потекли без особых событий. Виктор погрузился в учительскую работу, я давала частные уроки, так проходили первые пять лет жизни моей второй дочки Лёлечки.

На следующее лето Михаила со всей его лабораторией перевели в другое имение, Оболяново¹, где вблизи была больница с тремя штатными врачами. В громадном барском доме, стоящем среди запущенного парка, организовали детский дом. Михаил строил приемный ветеринарный покой, ветеринарную лечебницу и три домика: для врача, для фельдшера и для санитаров. Работы у него было много, и он весь отдавался своему делу, но, приезжая в Москву, на совещания и по другим делам, уговаривал меня снова поехать на лето к нему.

Я уехала, как только у Жени с Тасей настали летние каникулы. Там были свои прелести жизни. С одной стороны от ветеринарного поселка тянулись поля ржи и пшеницы, куда я ходила гулять с детьми, и возвращались мы с венками и букетами васильков. С другой стороны, за барским парком, тянулись дремучие леса на несколько десятков верст.

Среди леса, километра за два от нас, была громадная поляна. Это была когда-то барская усадьба, затем все постройки сгорели, и по этому пепелищу, где был, очевидно, и фруктовый сад, теперь росла малина. Но такая малина, какой я никогда не видела ни до, ни после: гроздья, как виноградные, усеянные крупной, по большому наперстку, сладкой малиной, и в таком количестве, что ее собирать приходили целые толпы деревенских ребятишек с корзинами, приходили они и из нашего поселка.

Мы с Верочкой, которая снова у нас гостила, брали корзины, как для грибов, и отправлялись. Сама дорога к просеке необыкновенно живописная — разнообразие деревьев, то лиственных, то хвойных, сменялось, и ароматы леса, и наша безудержная молодость так гармонировали с природой, что после тяжело пережитых мною лет голодовки с пятью заморенными детьми, измен мужа, все это я забывала здесь, и с пением и смехом мы неслись с Верочкой по лесу.

Был случай, что мы сбились с дороги и заплутали, вышли в другую сторону от нашего дома. Но все это нас только веселило. Однажды нас в лесу застала гроза. Налетел вихрь, деревья закачались, зашумели, и оглушительные раскаты грома и молнии засверкали над нами. Мы, конечно, увлеклись малиной и не заметили приближения грозы. Где спрятаться? Я знала, что под высокими деревьями опасно, но и среди поляны невозможно было находиться с корзинами, полными малины. Все-таки выбрали не слишком высокую приземистую ель и присели. И смеялись потом

¹ Никольское-Оболяново — усадьба XVIII века в Дмитровском районе.

до упаду над мокрыми, облепившими нас платьями. Приносим малину, сыпем на большой круглый стол, все садятся кругом, и едим чуть не до тошноты. Сахару было мало, и мы не знали, что с ней делать. Сушили, варили кисели, смоквы.

У детей были свои развлечения, помощник Михаила Фёдор Иванович выписал свою семью. У него было трое ребятишек разных возрастов, и у нас трое. Так что получилась целая компания. Они затевали всевозможные игры.

Лёлочка была самая маленькая, и они иногда упускали ее из виду, когда я готовила обед. Так, однажды, наслушавшись юмористических рассказов, которые прочел нам Михаил, она разделась догола, взяла под мышку платышко и штанишки и начала бегать по лужам после дождя. Я увидела, бегу к ней и спрашиваю, что она делает. Она вдруг серьезно заявляет: «Надо же ж купаться же ж!» Ребята услышали ее объяснение, вспомнили из рассказа, как пьяный купался посреди улицы в луже и на вопрос милиционера ответил: «Надо же ж купаться же ж!» Все дети и взрослые смеялись ее серьезному объяснению. Все шло как будто хорошо, но и в это лето подстерегала нас беда.

По вечерам к нам на терраску приходил из больницы молодой врач поболтать с Михаилом. В это время была сильная эпидемия скарлатины — и он занес нам заразу. Лёлочка вдруг покрылась сыпью, как мелко-красной крупой. Я все поняла и побежала с ней в больницу. Доктор сразу определил — скарлатина. Но разрешил не класть в больницу, а изолировать ее в отдельную комнату дома с тем, что я с ней буду неотлучно, и пишу нам будут подавать в окно.

Так я изолировалась с Лёлей. Тщательно выполняла все предписания врача по питанию и теплые ванны, словом, все, что требовалось, и очень быстро температура спала и ушла сыпь, а все же болезнь дала осложнение, которое испортило девочке всю жизнь: воспаление желез. У нее стали увеличиваться железы, например, на локотках, — по куриному яйцу.

Я сначала перепугалась, думала, туберкулез костей, такие они были твердые, но потом, когда мне удалось пробиться на прием к знаменитому доктору по детским болезням, он сказал мне: нужно выпить полпуда рыбьего жира и при усиленном питании весь день проводить на воздухе. Если через два месяца у нее не пройдет, приноси, мамаша снова ко мне, но знай — все будет зависеть от тебя! И при этом предупредил, что при ее формировании, перед первыми менструациями может быть температура до 40 градусов.

Через месяц, правда, все железы опали, и девочка росла богатырь — рослая, крепкая, жизнерадостная, умница. В свои два с половиной года она знала сказки в стихотворной форме наизусть по пятнадцать-двадцать страниц, и я забыла о предостережении профессора, была уверена, что все прошло бесследно. Но при ее формировании поднялась температура до 40 градусов, а затем я заметила, как шейка у нее удлинилась и увеличилась щитовидная железа; сначала врачи мне рекомендовали не принимать никаких мер, так как иногда с возрастом это проходит, но эта щитовидка повлияла на состояние ее здоровья на всю жизнь.

Однако не буду забегать слишком вперед. В четыре с половиной года Лёля самоучкой начала читать. Буквы ей девочки показывали иногда, но чтению никто не учил. В 1925 году 1 мая Женья вдруг заболела с сорокаградусной температурой. День был праздничный, и врача вызвать, даже частного, было невозможно. Я страшно перепугалась и, конечно, не отходила от Жени ни на шаг. Лёля клячила, чтобы я пошла с ней смотреть демонстрацию. Виктор был на демонстрации со школой, и Тася тоже.

Лёля хныкала и просила дать ей какую-нибудь книгу с картинками. Я взяла первую попавшуюся под руку и подала ей. Книга оказалась забытая у нас сестрой Наташей, по скотоводству. Лёля начала называть буквы на заглавии и вдруг говорит мне: «Мама, здесь написано “скот”». Я посмотрела и вижу, что написано «скотоводство». Я очень удивилась и говорю: «Правильно. Читай вот эту книжку», — и подала ей сказку

«Репка». Она долго шептала и прочла «дед». Потом начала дальше и уже без труда прочитала всю сказку, я была рада, что базедова болезнь не повлияла на ее умственные способности.

Когда ей исполнилось пять лет, я решила поступить на место, чтобы прекратить вечную нужду в деньгах. Виктор зарабатывал слишком мало для семьи в пять человек. Тогда учителя получали низкие зарплаты, а девочки подрастали, их надо одевать и обувать поприличней.

В то время был момент безработицы, и был такой порядок: кто не работает два года, теряет профсоюз, а я не работала уже четыре года. Не-членов профсоюза на работу не принимали. Нужно было поступать на такую работу, на которую никто не хотел идти. Такой работой для меня стало место воспитательницы в лагере беспризорных.

Сестра Наташа справилась в Подольске в отделе Народного образования, и ей заведующий сказал, что место воспитательницы в таком детском доме есть в Мещерском. Я, недолго думая, отправилась в Подольск, и заведующий по фамилии Бородин сам поехал со мной на лошади в Мещерское.

Это было в марте. Начиналась ростепель, но еще ездили на санях. Когда мы подъезжали к зданию детдома, целая толпа ребят разных возрастов в рваных сапогах, рваных серых пальтишках и таких же кепках облепила наши сани. Из дома навстречу шел мужчина в форме милиционера, как мне показалось, с револьвером у пояса, рыжеватый, с бородой, средних лет. Это, оказалось, заведующий детдомом, как они его называли.

Здание двухэтажное, большое, но стояло оно среди мусора и навоза, хотя еще была ледяная корочка на земле. Мы поднялись на второй этаж и прошли к заведующему в квартиру. Там нас встретила его старушка-теща, жена и двое худых и бледных детей лет семи-восьми.

Бородин потребовал, чтобы Николай Васильевич рассказал без утайки, что случилось у него неделю назад. Я услышала ужасную вещь: молодая учительница была назначена воспитательницей в этот детдом. Ребята ее невзлюбили, стали ей грубить, особенно старшие. Ребят было 75 человек, от 12 до 22 лет. Воспитательница решила их наказывать: лишать кино, в которое их изредка по 10 человек пускали; заставляла в наказание носить по 40 охапок дров на кухню, которая была на втором этаже. Такие наказания использовали и другие воспитатели — их всего было трое.

Но против молодой учительницы ребята были особенно настроены, свалили ее с ног, избili так, что Николай Иванович прибежал на шум и сказал, что будет стрелять, если они сейчас же не разойдутся. В то время, когда одни ее били, другие разграбили ее комнату. Ее увезли, а вещей не смогли найти.

И вот я шла на ее место. Я решила поступить. Для начала потребовала, чтобы ребятам объявили, что я прислана из Москвы и, если они не будут слушаться, то их зашлют на трудработы. Затем я сказала, что неделю не буду дежурить, а только буду знакомиться с ребятами.

Поехала в Москву, взяла Лёлочку и необходимые вещи и привезла в детдом. Комнатку мне дали хорошую, светлую, на втором этаже, с диваном и тремя кроватями: для Лёли, для меня и для Виктора, так как он сказал, что будет приезжать каждую субботу.

Знакомство мое началось с бесед с отдельными группами ребят. Вначале, конечно, подходили знакомиться с новой воспитательницей более взрослые. Лёлочку я брала с собой, я хотела, чтобы ребята сразу привыкли к ней, хотя Николай Васильевич предупредил меня: «Напрасно вы дочку привезли. Вон мои дети два года сидят дома, как выйдут, ребята закидывают их камнями».

Меня это не смутило. Разговоры начинались с того, почему по ним ползают белые вши. Ребята взрослые, а не умеют содержать себя в чистоте, — бани, что ли, нет? Они тут же откровенно сознаются, что баня есть, и очень хорошая, но из мытья

ничего не получается, одно хулиганство: кто первый захватит баню, те и моются, пока не истратят все мыло и не выхлещут всю воду, а остальные остаются немые. Да к тому же что мыться, когда белья всем не хватает.

Второй разговор: почему в школу не ходят. Почти ни у кого нет крепкой обуви. Третий вопрос: любят ли и ходят ли в кино. Порядок такой, в каждый сеанс ребят пускают 10 человек, но половина из них за хулиганство остается без кино, но они любят ходить в кино и всегда просятся, чтобы их побольше пускали.

Каждой группе, с которой я беседую, говорю, что зал у них большой, с электрическим освещением, и что можно бы похлопотать, чтобы кинолекции привозили прямо к ним. Когда со всеми я так приблизительно побеседовала, собрала их в зале и сказала, что все зависит от них. Первым делом они должны привести в порядок себя: перемыться без хулиганства по очереди — сначала младшие группы, затем постарше и наконец взрослые, а после надо привести в порядок баню, чтобы мог помыться и обслуживающий персонал: кухарка, прачка, воспитатели и заведующий с семьями. Чистым бельем и крепкой обувью постараемся их обеспечить.

Затем немедленно необходимо привести в порядок здание. Все панели исписаны скверными словами, в такое помещение не только нельзя пригласить кино, но ни один порядочный человек не пойдет. Необходимо вымерять всю площадь загрязненной панели метром, разделить на всех ребят поровну и начать уборку. Взять в тазах горячей воды, щелочу, мочалки и сухой золы и оттирать все скверные слова.

Старшие должны взять на себя зал, так как у них силы побольше, да и пачкать после этого ребята побоятся. Повесим картины, которые лежат в пыли в кладовой, а картины хороших художников, внесем пианино и по вечерам можно устраивать танцы; наверное, найдутся среди них, кто умеет играть. Оказалось, что в группе девочек есть девушка, которая неплохо играет.

Сейчас же ребята должны начать посещать школу, а в зал проведем радио — по вечерам будем слушать интересные передачи и устроим для начала праздник. Я спросила, чего бы они хотели на угощение. Оказалось, что они мечтали о колбасе, конфетах и белых булочках.

Все наши разговоры я тут же передала Николаю Васильевичу и попросила его ехать в Подольск в отдел народного образования. Там ему ни в чем не отказали в надежде привести развалившуюся дисциплину среди ребят в должный порядок.

И все пошло как по писаному: панели были вымыты, картины развешены, хотя ребята с хитрецей, заглядывая мне в глаза, спрашивали: «А как вы нас будете наказывать, если кто схулиганит?» Я заявила, что наказывать никак не буду, потому что ребята понимают: если они произведут беспорядок, то, значит, они сами себе все портят, и назначила ответственных по каждому участку.

С Николаем Васильевичем мы уговорились устроить под Пасху комсомольскую субботу. Ребята, вымытые, в новых рубашках, в черных шароварах из плотного шелковистого канауса, в новых сапогах, не расставались ни днем ни ночью с новыми кепками. Ввели они себя совсем по-другому: серьезные, спокойные, говорили тихо.

В зал старшие ребята с помощью воспитателя — молодого демобилизованного солдата — и кухарки перенесли из столовой столы во всю длину. Покрыли их чистыми новыми простынями-скатертями. Посредине стола водрузили на громадном подносе трехведерный самовар и кругом поставили кружки.

Пригласили всех садиться вокруг столов на скамейках. Девочки с воспитательницей начали разливать чай и обносить ребят. Появились старшие с подносами, на которых лежали порциями: булочки с вареной колбасой и конфеты. Меня Николай Васильевич затравил: «Ребята набросятся и все разграбят». Но, к его удивлению, ничего не было подобного. Ребята очень скромно забирали свою порцию и еще подсказывали: «Ким, ты не все конфеты взял, вот эти две тоже твои».

В этот день приехал Виктор, по моей просьбе — с фотоаппаратом. Он недурно

снимал. Ребят сначала фотографировал по отдельности, затем всех вместе и с обслуживающим персоналом. Ребята сидели не шелохнувшись, когда Виктор, наведя аппарат, говорил громко: «Спокойно, снимаю».

К тому времени было проведено радио. И когда заиграла музыка, ребята вздрогнули от неожиданности, а потом, взглянув на громкоговоритель, начали улыбаться и перешептываться. Так прошла комсомольская суббота, не зря так нами названная. Ребята проявили такую организованность, что Николай Васильевич сказал мне, что я гипнотизер, что он такого не ожидал.

Через дня два было объявлено, что по радио будут передавать оперу «Евгений Онегин». Накануне я была дежурная, и вдруг во всем здании погас свет. Николай Васильевич увидел в этом злой умысел: «Ребята подрезают провод для того, чтобы устроить кому-нибудь "темную". В спальне распарывают подушки, выпускают пух, берут одеяло накрывают кого-либо и избивают».

Я ничему этому не поверила, и когда ребята ужинали, я им объявила, что приду в спальню и расскажу им содержание оперы «Евгений Онегин», потом сядем в зале на скамейках и будем слушать, как будут петь артисты в Москве, в Большом театре. Когда они выходили из столовой, я подтвердила, чтобы скорее укладывались, я приду им рассказывать. У меня была семилинейная керосиновая лампа, я на ней грела щипцы и поддвигалась.

Я поужинала, зажгла эту лампочку и тихонько пошла вниз. Спальни были в нижнем этаже. Прихожу, все уже улеглись, и тишина. Спальня мальчиков помещалась в двух залах, соединенных аркой, я со своей лампочкой стала под аркой так, что тусклый свет лампы освещал оба зала. И начала рассказывать содержание после маленького вступления: кем написал роман и про жизнь помещиков.

Рассказывать я умею, славилась этим еще в епархиальном училище. Ребята слушали как заворуженные, я думала, что младших не заинтересую, и они заснут. Но вижу, что головы поднимаются, чтобы лучше слышать; особенно дуэли, конечно, их заинтересовали, и тут пришлось отклониться и коснуться вопроса о дуэлях в то время, кстати рассказала и о смерти Пушкина. В общем, я задержалась-таки с рассказом. Потом сказала, чтобы засыпали скорее, а то завтра будем слушать оперу часов до двенадцати.

После этого пошла в спальню девочек. Она была в комнатке через коридорчик от ребячьей. Тихонько стучу в дверь. Слышу топот. Говорю: «Девочки! Это я, Лидия Петровна». Тогда, слышу, началась какая-то возня и наконец мне открыли. Они сознались, что так как в здании темно, они боялись, что ребята придут их грабить, и заставили дверь тумбочками и кроватями — боялись спать, прислушивались. Я их успокоила, что ребята спят — готовятся завтра слушать оперу. Перед каждым действием пообещала рассказывать содержание.

После этого тихонько поднимаюсь по лестнице к себе. Слышу мужские тихие голоса, и электрический фонарик освещает меня. Стоят Николай Васильевич и преподаватель ремесленного дела с пистолетами в руках. «А мы уже решили, что ребята вас убили. Такая тишина, и вас нет!» Я им сказала, почему задержалась, и успокоила, что ребята спят.

На следующий день я попросила кухарку накормить ребят ужином на полчаса раньше и торопила всех скорее занимать места на скамейках, расставленных рядами, как в театре. После ужина каждый день перед моей комнатой выстраивалась очередь. Я лечила им глаза. У большинства были воспаленные, красные веки. Я заставила их показаться врачу. Он назначил каждый день на ночь пускать больным по две капли в каждый глаз, ребята по очереди входили ко мне в комнату, садились на стул, запрокидывали голову, и я пускала им капли. Они чувствовали сильный зуд, а после лекарства глаза пощипывало, и зуд прекращался. Поэтому они сразу поверили

в лечение и аккуратно являлись. В этот вечер я наскоро все-таки всех приняла, и мы отправились в зал.

Перед каждым действием по радио передавали содержание. Поэтому ребятам все было понятно, и мои разъяснения не потребовались. Ребята сидели на лавках, некоторые с ногами, я не запрещала. Слушали с напряженным вниманием. Тем временем Николай Васильевич забыл, что накануне я его предупредила об опере, был поражен тишиной в спальнях и обнаружил, что они пусты. Пошел по зданию и наконец увидел зрелище, которому снова не мог поверить.

Он не представлял, что ребята могут интересоваться музыкой и пением. И сам присоединился к нам и дослушал до конца. Мне он пенял, почему я не пригласила его детей. Так начались наши литературно-музыкальные вечера. Иногда в плохую погоду ребята просили, чтобы Лёлочка почитала им что-нибудь. Я захватила с собой в детдом несколько книг, интересных для ребят. Особенно им понравился «Хаджи-Мурат».

Лёлочку мою они полюбили, особенно с тех пор, как я предложила им послушать ее чтение. Я сделала это им в укор, что они не учатся и что маленькая девочка умеет читать, как взрослая. Они звали ее на своем воровском жаргоне зубовская, что означает «маленькая, хорошенькая». Она была действительно хороша: полненькая, с прекрасным цветом лица, курчавыми черными волосами и темными смышленными глазками.

Когда настала весна, я решила перед домом убрать навозную мусорную кучу и разбить громадную клумбу с цветами. Все ребята воодушевились этой мыслью и деятельно принялись за работу. На носилках убрали мусор, затем вскопали землю, натаскали чернозема. Клумбу окантовали кирпичом, уголками вверх. Все работали от мала до велика, и моя Лёля вместе с девочками подтаскивала кирпичи! На открытом окне нижнего этажа сидел мальчик лет двенадцати. Он был убогим, одна нога была ампутирована. Мальчик редкой тонкой красоты, имел прекрасный звонкий голос и, глядя на работу ребят, пел свою любимую песенку:

Хорошо тому живётся,
У кого одна нога,
Много обуви не рвётся,
И порточина одна.

Вдруг песенка оборвалась, и Афонин (его фамилия) закричал: «Лидия Петровна, что это вы за нами смотрите, а не видите, какие Зубовская кирпичи таскает! Вот уронит на ногу, и будет хромая». Эта забота мальчика так тронула меня, — значит, моя девочка им не чужая.

Такие чувства давали большое удовлетворение в моей тяжелой работе — я отдавала ребятам все свое время и видела, что не напрасно.

Когда клумба была готова, позвали Николая Васильевича и попросили через отдел Народного образования достать нам цветов.

Он ни минуты не задумался и сказал: «Напишите, каких и сколько». За этим дело не стало. Выбрала трех старших ребят. Разметили колом лунки для посадки. Посреди клумбы — куст георгина, а затем кругами табаки, астры, левкои и пр.

Смета была составлена, и на следующий день Николай Васильевич приехал с ящиками высадков. Муравейник снова заработал: кто лунки делал, кто воду в кадку натаскивал, кто подливал в лунки, кто сажал, а потом из лейки сбрызгивал, как дождем, все наши посадки. И все лето цвели и благоухали цветы, ни одного цветка с клумбы не было сорвано — ребята зорко за этим следили.

Около клумбы, в теньке расставлены были столы с лавками, за которыми ежедневно мы со старшими ребятами вели занятия по чтению и письму — готовились к поступлению: кто в ФЗУ, кто в ФЗО (так назывались фабрично-заводские школы), в зависимости от возраста. Но, чтобы поступить учиться чему-либо, необходимо было

пройти в Москве профотбор и, главное, установить возраст. Из ребят никто не знал года своего рождения, и возраст мог установить только врач.

Кому ехать с ними в Москву на комиссию? Николай Васильевич съездил в Москву, там через отдел Народного образования ему назначили день, когда нужно привезти ребят. Николай Васильевич прямо сказал: «Кроме тебя, Лидия Петровна, везти некому. Ты знаешь Москву, и ребята тебя слушаются, а то могут разбежаться».

Так я повезла первую партию в 17 человек, сначала самых взрослых. День был жаркий, душный. Осмотр тянулся медленно. Каждого должен был осмотреть: терапевт, невропатолог, хирург, кожник и т.д.

Ребята измучились, проголодались. Что делать? Звоню по телефону сестре Марусе. У нее отдельная просторная квартира. Объяснила ей, что со мной 17 человек взрослых беспризорников. Прошу ее пустить нас к себе чаю попить и закусить. Она чуть не в обморок: «Да ведь они разгромят всю квартиру». Говорю: «Ручаюсь, что будут держать себя как воспитанные, благонамеренные дети». Смеется. Соглашается вскипятить двухведерный самовар. Ну а хлеба, колбасы, сахару мы по дороге купим. С ребятами договорились, чтобы держали себя, как джентльмены. Дали слово.

Двинулись. Звонимся к Марусе, она открывает дверь и при виде моих молодцов бледнеет, у нее — шок. Но я смело ввожу свою армию. Сразу приглашаю к столу. Маруся предложила умыться после уличной духоты. Ребята очень солидно, не спеша, переумывались и сели за стол.

Окна открыты, прохладно. Здесь уже Маруся оправилась и стала хлебосольной хозяйкой. Нарезали ворох белого мягкого хлеба, колбасы. Подали каждому стакан чая. Я ребятам моргнула, что за чай надо тут же говорить «благодарю».

Вижу, что ребята мои сразу завоевали симпатии Маруси, и расставались они друзьями. Маруся рассказывала после всем родным и знакомым, как она была чуть не до обморока потрясена видом моих воспитанников. Одеты они были в новые розовые рубашки молескиновые¹, черные штаны и новые сапоги. На головах — новенькие кепки.

Когда приехали на станцию, нас уже ждал Николай Васильевич с автобусом. Ребята радовались возможности прокатиться на автобусе и весело расселись по местам, а Николай Васильевич шепнул мне: «Не боялась, что разбегутся?» Говорю: «Ни я, ни ребята и в мыслях этого не держали».

(На этом воспоминания о жизни в первой четверти XX века, записанные Лидией Петровной Чистяковой и ее внучкой Олей, прерываются.)

Публикация Леонида ДУНАЕВСКОГО

¹ Плотная хлопковая ткань, гладкая, как атлас, в народе ее называли «чёртова кожа».

Алексей Буров, Геннадий Прашкевич

О собеседниках

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

Дорогой Алексей,
я уже цитировал Вам юкагирские сказки.

«Тепло становится, идем по реке. В одной чепке рыба есть, в другой — нет. В одну сеть хариус идет, в другую не идет. С каждым летом дыры в сетях все меньше делаем, все на земле мельчает. Дрова кончаются, к берегу моря идем, там сухие стволы лежат, белые, длинные, как реки. У кого много детей — тому дров больше даем. Дождь идет — под дождем ходим. Снег выпал, по следам идем. Подняв тучных олешков, первыми пускаем старушек. Они идут, зверя пугают. Когда силы у старушек заканчиваются, за уставшими олешками охотники идут, молодые идут. У кого много детей — тем мяса даем больше. Сытно поев, у костра сидим. Дикуюем».

Видите, даже у костра собеседник нужен.

Собеседники везде нужны. Человек говорящий — вот самое точное определение нашего вида. Охотник каменного века или аккуратный студент, праздный гуляка или каменщик на стройке, ученый-физик или северный охотник — все, все нуждаются в собеседниках. Даже в толпе, в общем гвалте и шуме, каждый старается что-то свое высказать, выкрикнуть, донести до соседа. Люди постоянно связаны устной речью — чудесной способностью объясниться. Ну, сказывается и прямохождение, оно здорово выделило нас из звериного царства. Правда, не стоит переоценивать эту нашу особенность, на это еще Герберт Уэллс указывал. И добавлю: не стоит преувеличивать нашу способность находить равных себе собеседников. Мы начинаем свой путь в мире с первого громкого (приветственного) вскрика, заканчиваем негромкими (прощальными) словами. Каждый — на своем языке. Но мыслим, думаю, все же на каком-то общем языке, на языке биохимических реакций, каким-то образом выводящих нас на слова. Ведь все начинается все-таки с жеста. Самыми первыми портретами человека были непритворные кривые, оставленные резцом на камне. Вот человек! — кривоватый росчерк. Сразу понятно — именно человек, зверь такого не может. А вот кривая уже ветвится, мы начинаем угадывать смутные контуры, процесс пошел. Понятно, что самые первые художники учились не у мастеров (их еще не было), они учились у природы. Это медленное течение звезд и рек... Ход рыб и оленей... «Тепло становится, идем по реке. В одной чепке рыба есть, в другой — нет...» Отпечаток человеческой ладони в окаменевшей за вечность глине — как привет из другой эпохи.

Неповторимый, вечный привет. Ни один Кандинский, ни один Пит Мондриан, ни один Сальвадор Дали не сумели извратить, низвести великое наскальное искусство к звериному примитиву, потому что жестом для человека дело не заканчивается. За жестом приходит речь, появляется собеседник. Появляются многие собеседники. Мы же не просто наносим кривые линии на камень, мы ищем понимания.

«Перевожу одиночество на латинский».

Это из стихов Крыстьо Станишева об Овидии.

Наша речь не сразу упорядочивается; осторожные по самому факту нашего появления в этом опасном мире, мы очень быстро научаемся скрывать свои «несвоевременные» мысли. И таких (осторожных) людей по мере нашего развития становится все больше и больше, отношения между отдельными особями, между отдельными сообществами постоянно усложняются, потому что не сразу приходит понимание: всего лишь одно случайное неосторожное слово мгновенно приводит к яростному взрыву.

«Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь».

Я так часто прибегаю в нашей переписке к поэзии потому, что она — выразительна, она лучше, чем что бы то ни было, хранит внутреннее напряжение сказанного. Думаю, в сумеречных пещерах каменного века дикующие не только оставляли следы на камне и глине, не только разыгрывали мрачные, только им понятные пантомимы, но еще декламировали некие странные ритмические сочетания слов — может, самое сложное в нашей речи. Причем не обязательно сугубо реалистические сочетания. Мы же инстинктивно понимаем: не прямота успокаивает. Чем цивилизованней, чем «воспитаннее» человек, чем тоньше и глубже он воспринимает сказанное другими, тем чаще сам начинает скрывать то, что знает и чего (он догадывается) не хотят знать собеседники.

Дикующим часто не хватало слов.

У нас их — переизбыток. Мы в них тонем.

Это вредно. Это мешает. Особенно политикам, писателям, ученым, людям конкретного искусства. Ошибки политиков, их смазанные формулировки (пусть и не всегда преднамеренные) не один раз приводили к мировым катастрофам; недоговоренности писателей и ученых, их нежелание соблюдать определенные границы (ими же устанавливаемые), порождало и порождает океаны лжи — неумной, часто вредной. Герой одного из рассказов Станислава Лема (профессор Доньяда) считал информацию вещью сугубо материальной. Эта информация копится, копится, растет, растет, и наконец выходит из-под контроля. Кто-то создает новую физику, кто-то шпигует старые тексты новыми якобы идеями, кто-то лопочет стишки о прелестной даме (именно так, со строчных), а кто-то уже утверждает, что никому (ни поэтам, ни ученым) нельзя верить — по возвышенным, понятно, причинам; вот мир и тонет в дерьме (нас, видите ли, не понимают), тонет в нарастающем невежестве (мы, видите ли, вас не понимаем), нет у нас собеседника, главного, подсказавшего бы... Что подсказавшего бы?.. Не знаю... Уходит папирус, пропадают в песках пустынь глиняные таблички, волшебному продукту Иоганна Гутенберга приходит конец... И вот опять привет от дикующих! — отпечаток ладони на древнем камне...

Было время, мы жаловались на недостаток информации. Пришло время — жалуемся на ее переизбыток, на то, что многого попросту не успеваем осмыслить. Умников все больше и больше, а поговорить не с кем. Ежесекундно низвергаются на нас океаны сложнейшей информации, иногда даже не столько непонятной, сколько лживой, при этом намеренно лживой. С кем это обсудить? Где главный собеседник? Чьим словам можно верить? Кто тебя не обманет в очередной раз по тем или иным (понятно, всегда уважительным) причинам?

Без общения развитие невозможно.

Замолчать? Не видеть? Но пример Маугли (реального) настораживает.

Еще Лев Троцкий в одной из своих статей заметил (как бы мимоходом), что человек, с детства попавший в закрытую (вероятно, тюремную) камеру, никогда не поймет смысла пейзажей, не *увидит* их даже мысленно. А такое с кем обсудить? Где они, главные собеседники? Где они, те, кому можно верить? Может, в интернете, проросшем сквозь все пласты жизни? Но чем эти (из интернета) «собеседники» лучше гоголевского каретника Михеева, который «никаких экипажей и не делал, как только рессорные»? Или чем они лучше Степана Пробики, плотника? Или Милушкина, кирпичника? Или Максима Телятникова, сапожника, который «что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного!».

«Вот лежит атеист, — огорченно писал Марк Твен. — Хорошо одет, а пойти некуда».

Нас мучают тысячи вопросов, а поговорить не с кем. Окружающих мучают те же самые вопросы, что и нас, а они уклоняются от разговора. Вроде сами мы организуем, формируем свою среду, а поговорить не с кем. Люди, испуганные все ускоряющимися необратимыми процессами, катастрофически меняющими мир, теряют собеседников. Когда-то конквистадоры уничтожали целые народы, сегодня так же просто уничтожаются языки. Может, с этим связана проблема собеседников? Их отсутствие ведет к омертвлению униженной непониманием души. В конце концов, чем юкагирская сказка о гусе, так ничего и не понявшем в человеке, проще притчи Борхеса о некоем Пьере Менаре, написавшем *нового* «Дон Кихота»? Да, да, написавшего того самого — классического, всем известного «Дон Кихота», при этом полностью совпадающего с его (Пьера Менара) творением каждой строкой, каждым словом, запятой каждой? Где наши понимающие собеседники? Где наш главный собеседник? Это ведь только в юности мы легко знакомимся с окружающими нас людьми... а прожив далеко не один десяток лет, как верить человеку, ни с того, ни с сего тянущему тебе руку? Выбора ведь все равно нет. «Такова структура текущего момента». И ты все чаще начинаешь ловить себя на желании замкнуться в пусть ограниченной, но твоей, тобою же придуманной культуре.

Может, пора обратиться к внутреннему голосу?

Он же *твой!* Он не обманет. Зачем ему лгать самому себе?

Признаюсь, я пытался. Даже делился с ним (с внутренним голосом) мыслями о будущем. Но этот внутренний голос (как и внешние собеседники) часто врал, впадал в неуверенность. Может, так нам и определено свыше: жить в непонимании, в нежелании понимать, в страхе верить? Помню, как в 1970 году во Вроцлаве пытался (по молодости лет) добиться от польского приятеля-энтомолога, жаловавшегося на квартирную проблему: а кто, собственно, Януш, создал квартирную проблему? Он прямо не отвечал, отводил глаза, видимо, мешал ему отвечать его собственный внутренний голос.

«А может, снова, дорогая, в Томашув на день закатиться?»

Вот с этим внутренним голосом никто никогда и нигде не спорит.

«Там та же вьюга золотая в беззвучности сентябрьской длится...»

Никто не спорит с тем, что внутри тебя, что еще не выражено словами.

«За круглым тем столом донны сидим без жеста и без слова. Кто расколдует нас, кто вывет из рук беспамятства немого?»

Конечно, не каждый еще умеет переводить свое одиночество в слова.

Но прислушиваться (особенно к себе) следует, внимательно прислушиваться, иначе все смазывается. Помню Дубулты (под Ригой), 1990-й год, литературный семинар (я был одним из его руководителей). Странная эйфория уже застилала мозги семинаристам. «Брат! — кричал, обнимая подвыпившего латыша не менее поддавший молдаванин. — Выпьем за нас с тобой! За наши великие страны! Ведь когда-то они граничили!» Я попытался вторгнуться в их счастливое токование. Великие страны, то, се... Они действительно граничили?... Как? Почему?

Они не слышали. Говорили *о своем*.

Но внутренний голос — это ты сам. Это твой опыт, твои сомнения.

Человек сам по себе не может быть непременно хорошим или плохим. Окружающие ему мешают, собственный внутренний голос в поступки вторгается, несвоевременные мысли тревожат. Отсюда опять размазывание смысла. Ведь даже Леонардо не только «Тайную вечерю» написал, он еще изобрел броневой колпак, что-то вроде танка в одну лошадиную силу. Он не только «Мону Лизу» написал, но еще изобрел откидное сидение для нужника. А потом придумал водолазный прибор. А потом удивительные женские прически. А к ним (чтобы никому скучно не показалось) — разрывные снаряды для мортир...

Так с кем же мы разговариваем?

Кто он, наш главный невидимый собеседник?

По Юнгу, беседуют ведь не личности, не мы с вами лично, нет, беседуют наши *персоны*, а сами мы (теневые люди) прячемся, маскируемся. Может, инстинктивно боимся собственного голоса внутреннего? Боимся наткнуться на собеседника, который выше нас. Кто он? И будет он нас мягко корить за *совершенное* нами или сразу жестко ополчится за нами *не совершенное*? Сможем мы ему возразить? Убедит он нас? Ведь что-то важное, чрезвычайно важное возникло в нас (и сохранилось в нас) еще в те эпохи, когда мы только-только готовились стать людьми.

А потом прозвучало: «Esse homo. Вот человек».

Или правильнее все-таки — *опыт человека*?

Алексей Буров

Спасибо за столь пронзительное письмо, дорогой Геннадий Мартович! Слова, слова, слова — как много их летит со всех сторон, а мы продолжаем жаждать настоящего слова.

Вот что мне вспомнилось прежде всего.

В начале девяностых я поработал в Италии, в ускорительной лаборатории Леньяро, рядом с Падуей, примерно с год в общей сложности. Однажды друг и коллега Джованни Бизоффи пригласил меня отметить Пасху в доме его отца в Вероне. Я с радостью согласился, конечно. Когда мы приехали, там уже было великое множество родни и друзей, и я оказался погруженным в радостную атмосферу этих встреч. Эта радость переполняла все и всех, так что и я, не итальянец и даже не католик, чудесным образом оказывался совершенно своим человеком. Потом мы все были в храме; службу проводил падре дон Клаудио Гуджеротти, друг детства Джованни. Когда после пасхальной службы люди выходили из храма, дон Клаудио стоял у дверей, благодаря каждого, кто пришел. И вот что мне запомнилось более всего в той давней истории: слово, что падре сказал мне, когда я поравнялся с ним. Слово было единственным и ожидаемым: *grazie!* (спасибо!), но произнес он его с таким чувством, так просяив всем своим видом, что не знаю, как это и передать. Наверное, в раю так приветствуют и благодарят новоприбывших праведников, как он благодарил тогда каждого.

Одно простое слово — но я помню этот момент до сих пор.

И все же, сколь бы ни было душевным обращенное к нам слово, нам этого мало. Нам надо больше, много больше. Как жить, ради чего, в чем высшая истина? — ведь мы постоянно спрашиваем об этом, даже если мудрость века сего и объявила все

ответы равно ненаучными и произвольными. Нам недостаточно просто мило поговорить о том о сем, нет, нам важно договорить до самого главного, договорить и договориться! А если мы поверим, что о самом главном говорить бессмысленно, что мы о нем в полном неведении, что все наши попытки прорваться туда нелепы и по-детски самонадеянны, то одни из нас смертельно затоскуют и начнут умирать задолго до смерти, а другие ухватятся за то, что сильнее и доказательнее всего, за свое государство, провозгласят его высшим и с азартом футбольных фанатов пойдут убивать тех, кто с этим не согласен. Убийство несогласных, разрушение их домов и городов — разве есть более сильный, более впечатляющий способ доказательства их неправоты?

«Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, — сыскать поскорее то, перед чем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все эти люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично, как и целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и взывали друг к другу: “Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим”. И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно — падут пред идолами».

Так говорил старик инквизитор из «Братьев Карамазовых», обвиняя своего узника, Христа, в жестокосердном даровании людям убийственной для них свободы.

Свободный человек отвергает старые смыслы, а новых нет, и создать он их не в силах. Смысл не сочинить, не придумать по желанию, а можно только открыть; как и всякое открытие — это трудно, чревато ошибками и aberrациями, а бессмысленная жизнь невыносима. Человек чувствует бессмысленность и никчемность существования, тоскует и маялся. Пьянство, наркомания, домашние скандалы, футбольно-хоккейные экстазы, хулиганство — все это есть глотки воздуха замученному бессмысленностью и никчемностью человеку. Это есть, но этого мало, человеку хочется уж заявить так заявить. Ужас в глазах жертвы — что вернее докажет твою значимость, еще вчера маленький, никому не интересный человек? Ну а чтобы дозволить и оправдать такие злодеяния для масс, нужна Великая Государственная Идея. Марксизм, нацизм, фашизм или еще что-нибудь, отворяющее врата ада, легитимирующее все твои художества, затюканный человек — все это пойдет на ура. Иными словами, если человек не находит подлинный, глубокий смысл жизни, то в душе его образуется страшная черная дыра, из которой и вылазят все бесы преисподней. Это и есть тот нигилизм, пришествию которого ужасался Ницше, зарю которого застали Толстой с Достоевским. И я не знаю более адекватного выражения первородного греха, чем вот этот ужас никчемности в душе человека.

Но, может быть, наука будущего найдет способ успокоить человека, снять деструктивную проблему? Машины будут обеспечивать потребности, а человек, от рождения уже, будет в силу их генной инженерии тих, добр и покладист, и план старика инквизитора осуществится силою науки? Например, от отчаяния такое могло бы случиться, после очередной, уже ядерной, мировой войны разувверившееся в себе человечество могло бы проголосовать за такое генно-инженерное или химическое решение, которое бы избавило от будущих катастроф, обеспечив доминирование милейших невозмутимых «последних людей» Ницше.

У меня есть надежда, что такого не случится, Геннадий Мартович, что мы сумеем договориться о самом главном, сохранив при этом свободу и пассионарность. Для этого, однако, нам нужно не блокировать разговоры о предельных вопросах, но учиться вести их в цивилизованном доброжелательном духе, учиться быть хорошими

собеседниками, помогая друг другу в стремлении к истине и отдавая себе отчет в разнообразии путей к вершинам познания.

Однако же до сих пор такого не получалось: чего-то важного, стало быть, не хватало. Из сказанного выше следует необходимость общего содержательного сверхконфессионального мировоззренческого минимума, требуемого антропологией, этикой и политикой, поддержанного данными современной физики и биологии. Кратко обозначу этот минимум, как он мне представляется.

У Вселенной, с ее живыми и мыслящими существами, есть автор, сверхразумный создатель. На это указывает весьма специальный характер физических законов, открытых жизни, мышлению и собственному познанию, антропных и математически элегантных одновременно. Красота космоса, эволюционно разворачивающаяся роскошь жизни и духа, расцвет наук и искусств, все это согласуется с представлением о людях как растущих детях Создателя, своего трансцендентного или «небесного» Отца. Отсюда проистекает и вывод о смысле творения, как создания такого дома, что наилучшим образом содействовал бы духовному росту детей, свободному раскрытию их талантов на радость Отцу и им самим.

Противоречия религиозных традиций и их возможных модификаций указывают на потенциал их взаимного обогащения, а потому заслуживают уважения и взаимного изучения. Религиозное разнообразие внутри обрисованного консенсуса должно рассматриваться как особое благо, следствие разнообразия путей ко Всевышнему. Несогласие с этим минимумом должно служить основанием дискуссий, а не насилия.

На базисе такого согласия уже выстраивается этика, поддерживающая свободу, базовые гражданские права, взаимопомощь, творчество, развитие разнообразных талантов как смысла жизни. Как писал выдающийся физик, философ и эссеист Фримен Дайсон (1923—2020), мы живем в интереснейшем из возможных миров: именно поэтому жизнь трудна и трагична, и мы можем становиться мудрее и благороднее, интереснее нашему Отцу и нам самим.

С таким согласием совместима социальная структура типа федерации религиозных общин с высокой степенью автономии, конкурирующих друг с другом в идейном, культурном, экономическом, но не военном пространстве.

Мне могут сказать, что достижение такого согласия утопично. Но тогда я задам встречный вопрос: а каковы альтернативы? Вечная война вокруг богов и идолов, вечная тирания, поголовная духовная кастрация или что? Ну и потом, я ж ничего не предсказываю, а выражаю надежду и план действий: разворачивать общечеловеческую рациональную дискуссию о картине мира, как постоянный дискурс на универсальной основе типа дедуктивного метода Шерлока Холмса. Мир и человек загадочны — загадки же разрешаются не насилием, а мышлением, содействием раскрытию талантов и хорошо поставленной дискуссией, искусством обсуждения.

«Человек говорящий — вот самое точное определение нашего вида», — верно, Геннадий Мартович, как верно и то, что слишком часто «поговорить не с кем». Мы все говорим с младенчества, сколько себя помним, и все же — мы все должны учиться говорить, вести беседы. Искусство диалога должно составлять предмет, пронизывающий все ступени образования, и быть в фокусе внимания думающего человека на протяжении всей жизни. Только тогда у человечества появится шанс на постепенный выход из безумных культов, из одиночества и его кошмарных пароксизмов, из периодически накрывающих нас волн массовых убийств и самоубийств, из тоталитарной жизни с закрытым ртом и завязанными глазами, а то и с приглушенным сознанием для надежности.

Беседа — понятие многомерное. У нее может быть назначение, стиль, продолжительность, средства; она ведется на одном или нескольких языках, между друзьями, незнакомцами или врагами — всего и не перечислишь, и все эти измерения достойны изучения и осмысления. Разговаривать — это одно, а вот осмысливать

формы разговоров — это несколько иное, это рефлексивная производная разговора, от состояния которой очень зависит не только качество бесед, но и сама возможность избежать самоуничтожения.

Дабы не быть голословным, приведу один знаменитый пример проработки некой особенной формы диалога и мышления, той, что нацелена на продвижение к истине; я имею в виду платонову диалектику (диалог и диалектика — это почти одно и то же слово, «двоесловие», и даже этимологически). Если мы откроем какое-нибудь сочинение Платона, то мы почти наверняка увидим лишь диалог двух или нескольких участников, как будто мы открыли не философский трактат, а пьесу, притом без каких-либо авторских ремарок. Участники разнообразны: это взрослые и дети, свободные и рабы, афиняне и приезжие, жрецы, политики, риторы, люди театра, математики, философы. Это, правда, всегда мужчины, но косвенным образом там однажды появляется исключительной мудрости женщина, Диотима. Диалоги неизменно нацелены на поиск истины в отношении той или иной мировоззренческой проблемы, представляя собой учебные пособия по такому делу. Размышление над ними, а также над собственным опытом дискутирования, открывает возможность сформулировать основные правила рациональной дискуссии — беседы, нацеленной на истину или продвижение к ней. Когда-то я попробовал это сделать, и вот что у меня получилось.

— Дискуссия имеет предмет, относительно которого требуется согласие собеседников. Это условие довольно прозрачно, но следовать ему не так просто: на всем протяжении беседы нужно держать в уме основной фокус, постоянно к нему возвращаться, не теряясь в саду расходящихся тропок и помня об уже проделанном пути.

— Нужно помнить и о цели дискуссии, следуя именно ей, а не тому, что ее так часто вытесняет — личной победе в споре, произведению впечатления на третьих лиц, излиянию каких-либо чувств, самоуспокоению или самолюбованию. Это требование стоит помнить в отношении себя, воздерживаясь, однако, от обличений оппонента в его нарушении, и вообще воздерживаясь от полемики типа «чтения в душе» оппонента.

— Дискуссия предполагает определенное уважение собеседника, признание его способности рационального суждения. Это требование, вообще говоря, не исключает колкостей и насмешек, которые вполне могут содействовать дискуссии, оно не исключает и сколь угодно жесткой критики оппонента, но несовместимо с презрением к его личности, с грубостью и сарказмом.

— У собеседников должно быть разделение ролей, на спрашивающего и критикующего, с одной стороны, и отвечающего на вопросы и критику, с другой. По ходу дискуссии собеседники могут обмениваться этими ролями, но если они возьмут одну и ту же роль, дискуссии не получится, а будет лишь совершенно бесплодное бодание.

— Вопросы должны быть по существу предмета, а критика аргументированной: не абстрактно-декларативной, а с конкретными демонстрациями. Спрашивающий и критикующий не должен игнорировать те ответы, что уже были даны — в разговоре или в обсуждаемом тексте.

— Ответы на вопросы и критику тоже должны быть по существу, не ускользая от сути. Если вопрос неудачен, нуждается в коррекции, или ответ невозможен — об этом следует говорить прямо и ясно.

— Каждый участник имеет высший авторитет в вопросах своих убеждений и касательно смыслов своих утверждений. Если он говорит, что его тезис или вопрос был понят превратно, не следует с этим спорить, но можно попросить пояснить.

— Дискуссия трудна сама по себе, поэтому важно избегать того, что делает ее практически невозможной: риторических уловок, наиболее распространенным из которых, по моим наблюдениям, являются переход на личность (*ad hominem*), подмена тезиса или смысла (*ignoratio elenchi*) и сбивания с толку (*red herring*).

— Следует избегать «ложного проектирования», когда позиция оппонента незаметно и ошибочно отождествляется с чьей-то иной, эмоционально нагруженной и потому постоянно выскакивающей в сознании. Имеются опасности и обратного порядка, ведения дискуссий не с теми людьми и не в тех обстоятельствах, когда это уместно.

— *И, возможно, самое главное правило: прилагать все усилия, чтобы не допускать «аргументов соломенного чучела» (straw-man arguments). Таковыми называются риторические уловки, осознаваемые или нет, состоящие в подмене опровергаемого тезиса его ослабленной, легкой для критики версией. Прежде чем опровергать что-либо, хорошо не только убедиться, что ты правильно понял тезис, но и более того, подумать о наиболее сильной версии того тезиса, чтобы опровергать уже ее. Если коротко: следует бороться не с соломенным аргументом (straw-man), и даже не с предлагаемым, а со стальной его версией (steel-man). Пользуясь шахматной аналогией, можно сказать, что в поисках истины следует хорошо играть за черных, а не только за любимых белых. Именно так, кстати, устроен и научный эксперимент по проверке теории: его целью является не подтверждение, а опровержение теории. Обычно эту установку связывают с именем философа XX века Карла Поппера, но на деле она восходит к диалектике Платона.*

Таков мой свод правил рациональной дискуссии, дорогой Геннадий Мартович. Предлагаю понимать и сам такой свод как особенный предмет рациональной дискуссии; возможно, есть еще и иные, упущенные мною правила или что-то можно уточнить, с чем-то поспорить. Вот я набрал в гугле «в споре рождается истина», и высыпался необъятный ворох возмущенных возражений: нет, она там испаряется, она бежит оттуда, ее там забивают, и прочее в том же духе. И, кажется, не выпало ни единого подтверждения пословицы, дорогой друг. А ведь это диагноз — плохо, стало быть, дело с умением спорить об истине. Ну вот, реагирую конструктивно, вношу свои пять копеек — глядишь, кому-то и помогут.

В своем письме вы затронули еще две острейших и важнейших темы, Геннадий Мартович: тему доверия и тему «невидимого собеседника». Каждая из них заведомо заслуживает отдельного письма: надеюсь, мы к ним еще вернемся. За сим обнимаю! Ваш Алексей.

Сборный пункт

Заочный «круглый стол»

Во времена жестких разрывов, отмены, выстраивания железного занавеса как никогда важно ощущать родство, в том числе эстетическое, вырабатывать и сохранять точки культурной сборки.

Обычно «родословную» авторов (и их героев) пытаются выстроить биографы и рецензенты. Нам было интересно свидетельство из первых рук: самоощущение, самоопределение писателей. Мы предложили прозаикам, поэтам, критикам — старшим и младшим современникам — ответить на три вопроса:

- 1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)*
- 2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*
- 3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?*

В этом номере — размышления Алексея АЛЁХИНА, Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА, Шамиля ИДИАТУЛЛИНА, Алёны КАРИМОВОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Анны КОЗЛОВОЙ, Алексея САЛЬНИКОВА, Дарьи СЕЛЮКОВОЙ, Юрия СЕРЕБРЯНСКОГО, Глеба ШУЛЬПЯКОВА, Ростислава ЯРЦЕВА.

Алексей Алёхин, поэт (г. Москва)

«Писательство — это вся жизнь»

- 1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)*

Если в самом широком смысле, то, наверное, вообще всем. Включая безвестных авторов из какого-нибудь Шумера, от которых не дошло ни имени, ни строчки. Потому что словесное художественное мышление, раз начавшись, не прерывалось никогда, и его прошлое присутствует — когда целыми фразами, когда единичными атомами — во всей последующей поэтической речи. Что мы порой с удивлением обнаруживаем, открыв текст неведомого автора, иногда из давних времен, и найдя в нем переключки со своими собственными опытами. Да до того близкие, что хочется украсть.

Ну, а в узком... Речь, как я понимаю, идет о поэтике. Пожалуй, питательной почвой были ветвь русской модернистской короткой прозы (Олеша, Ильф — только не романов-фельетонов, а записных книжек; отчасти поздний Катаев), Хлебников (не головокружительных рифмованных экспериментов, а верлибрический: «Зверинец», «Ручей с холодной водой...») и русская домонгольская прозапоэзия (вроде «Слова о погибели Русской земли»). А еще в юности впечатлил ранний Вознесенский — подчеркнутой зримостью метафор и образов.

В зарубежной поэзии ближе всех оказались французские модернисты: Аполлинер, Блэз Сандрар... Тут, думаю, многое зависело от случая и от перевода.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

У моих сверстников такие точно имеются, иногда даже не отдающие в том себе отчета. Мне кажется, кое-кто есть и у меня. Но не стану же я их называть — а то произведу кого-то в «наследники», а он в ответ выпучит глаза: «А ты-то кто?»

Вообще-то наследование в литературе, если речь не об эпигонах, идет, как известно, через поколение. Непосредственных предшественников как раз и сбрасывают с парохода, даже если и уверяют, что хотели сбросить Пушкина.

Вот литературные внуки подрастут хорошенько, объявят меня своим литературным дедушкой, тогда я, старенький, и умилюсь.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

При всем разнообразии, наше поколение — впрочем, как и поэтов двух предыдущих — объединяет принадлежность к русской поэзии после великого модернистского перелома, что произошел в ней в начале минувшего века и который по суетливости порой пытаются повторить. Это новая художественная эпоха, как эпоха Возрождения, и она пусть не три века, но довольно долго будет длиться. Мы теперь примерно в кватроченто, и хочется, чтобы впереди оказалось чинквеченто.

Наше поколение, пожалуй, последнее, заставшее литературоцентричную эру. Для каждого из нас литература, поэзия по-прежнему непрерываемо значимое дело, на которое есть смысл потратить жизнь. Я хочу, чтобы те, кто после нас, хотя им и трудней, сохранили эту веру: в то, что писательство — это вся жизнь. А не отхожий промысел и не ролевая игра. Самое удивительное, что таких немало.

Владимир Гандельсман, поэт, переводчик (г. Нью-Йорк)

«Наследование — это вопрос вероисповедания»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Коротко говоря, я наследую «смысловикам». Слово это принадлежит Мандельштаму, потому в кавычках. Так он называл себя и своих собратьев. «Звезда бессмыслицы» (это уже Яков Друскин о Введенском и Хармсе) мне не светит.

Имена избранных? Назову три имени, хотя мог бы двадцать три. Пушкин, Пастернак, Мандельштам. Сказать, что я им наследую, нескромно. Просто любовь предполагает впитывание в себя объекта любви. Это и есть влияние и наследование. Вообще-то мы присваиваем себе то, что в нас уже есть, что заложено генетически, что подлежит росту и идёт в рост, если хватает дарования и религиозного пыла, что почти одно и то же. Наследование — это вопрос вероисповедания.

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

Современники. Опять же я мог бы назвать очень много замечательных имён, но произнесу два. Я выделяю их по той причине, что они для меня новые, и это мое невежество: я открыл, оценил и полюбил их в последние года три-четыре, хотя они в литературе давно.

Это Каринэ Арутюнова и Вадим Жук. Я мгновенно их природнил как сестру и брата, что вовсе не значит, что я приравниваю себя к ним. Не то чтобы я не годился им в подмётки, это не о скромности... Речь о другом.

Феерическое жизнелюбие, дар любви к дому, родителям, в конце концов, к миру (к миру как к тому, что противоположно войне), прикосновение ко всему, что требует прикосновения, и несравненное изящество этого прикосновения, скрупулёзная память и воскрешение прошлого с неведомой для этого прошлого силой, абсолютный слух, неисчерпаемый словарь, природная умная страстность и неистощимая энергия познания, познания себя, потому что познание «окружающей среды» у этого автора никогда не туристическое, оно не направлено на предсказуемые достопримечательности, оно устремлено к явлениям, которые «не предугаданы календарём», и ему, этому познанию, сопутствуют не «поэтовы затмения», но поэтовы просветленья, — всё это Каринэ, поразительный поэт в прозе, и такой, как она, больше нет.

Мне казалось, что театр и лирическая поэзия — «две вещи несовместные»... Казалось до тех пор, пока не появился поэт, который моё мнение опроверг. Поэзия обрела новые черты: особенно пристальную зримость, какое-то заострённое поведение строк, не позволяющих себе быть заурядными, проходными, и это в некотором смысле театральная закуска, в хорошем смысле, при том, что автор не играет в талантливость, он такой по природе: заточенный на остроумие (редкое качество в большой поэзии), сочетающееся удивительным образом с горькой иронией, с открыто трагической гражданской нотой, с замечательным интонационным разнообразием. В этом поэтическом спектакле масса действующих лиц — и предметов, и людей, и состояний, и все они оживают и взаимодействуют в одном-единственном исполнителе. Он обладает великолепным даром перевоплощения, меняя то и дело маски трагедии и комедии (иногда в пределах одного стихотворения, если не строки), — при этом оставаясь собой, точным и пронзительным в деталях и в целом. Всё это Вадим, и такого, как он, больше нет.

3. *Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?*

Что работает на будущее? Что останется? Об этом — выше.

Шамиль Идиатуллин, прозаик (г. Москва)

«Я рабочий на построенной ими фабрике»

1. *Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)*

Безусловно, я воспитывался, живу и, стало быть, пишу под массой влияний, в том числе литературных. Критики то и дело уличают меня в наследовании: то я русский либо татарский Стивен Кинг, Нил Гейман или, внезапно, Артур Хейли, то современный Владислав Крапивин или Владимир Савченко. Я высоко ценю и люблю почти всех названных и многих других авторов, раз за разом повторяю, что да, формировался как

читатель и носитель странных, но четких представлений о прекрасном под определяющим воздействием трех писателей (Крапивин, Виктор Конецкий и единственный автор братья Стругацкие) и одной книги («Момент истины» Владимира Богомолова), но считать себя их наследником было бы с моей стороны наглым и глупым самозванством. Я сравнительно недавно сообразил, что список странноват: его представители не вспоминаются как первый очевидный пример понятия «великий писатель», все они относятся не столько даже к русской, сколько к советской литературе, более того, я был современником каждого из них. Возможно, это многое говорит о моих культурных, интеллектуальных и творческих особенностях, но сам я не готов делать из этого серьезных выводов. Сегодня мой список любимых авторов, естественно, укомплектован разнообразными классиками, от Уильяма Шекспира, Александра Пушкина и Габдуллы Тукая до Михаила Булгакова, Николая Олейникова и Ивлиева. Но мало ли кого я люблю. Как говаривал один генералиссимус, сперва подпрыгнув, потом присев: «Государыня императрица вот какая большая, а я вот какой маленький». В любом случае, я не считаю, что продолжаю дело каких-то конкретных авторов. Я, скорее, рабочий на построенной ими фабрике — хочется надеяться, не сборщик на конвейере, а мастер опытного производства. Но и об этом не мне судить.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Текущая литературная ситуация заставляет меня исходить из презумпции незнакомства. Шестьдесят пять лет назад вольно было героине известного фильма топырить губку на тему: «Странно, что вы не слышали, вообще-то это вся Москва читает». Последние тридцать лет радикально изменили ситуацию: хороших и разных книжек выходит множество, и закладываться на то, что кому-то из читателей не повезло вырасти именно на твоих, и странновато, и противоречит моей теории. Теория гласит, что каждый писатель всерьез пишет для своих ровесников (ну, плюс-минус десять лет), а читателям, что заметно старше или младше, просто неинтересен — как неинтересна нам в 15—20 лет была любимая музыка наших родителей (и наоборот), а нам, соответственно, кажется дичью любимая музыка наших детей (и наоборот). Это правило, как и всякое, знает множество исключений, и каждое из них меня удивляет и радует. Но для того, чтобы узнать в ком-то своего читателя, мне по-прежнему надо, чтобы читатель признался в этом добровольно и недвусмысленно.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Я не фанат поколенческих градаций. Легко и приятно понимать, что Роман Сенчин, который на один день старше меня, Эдуард Веркин или Алексей Сальников, которые на несколько лет моложе, исходят примерно из тех же подходов и принципов, что и я. При этом мне категорически не хочется как-нибудь соотноситься с ровесниками и ребятишками постарше и помладше, призывающими насаждать, побеждать и убивать или с усмешкой, да и просто спокойно, относящимися к убийствам. Но мне нравится, что основное течение литературы постепенно уходит от так называемых главных тем (как бы они ни звучали: «Герой как частица великой силы», «Герой в противостоянии великой силе» или «Герой в поисках великой силы внутри себя») к концепции «Нет идей важнее людей», к копанию в огромном массиве маленьких проблем, бытовых, семейных, интимных, глупых, нелепых, моих, — которые решает не герой, а человек, более-менее я, и путь к решению которых часто начинается с эмпатии, с признания другого человека таким же важным и значимым, как я сам. Мне нравится, что мои сверстники в литературе часто исходят из того же принципа. И особенно мне нравится, что авторы, которые младше меня лет на пятнадцать-двадцать пять, держатся этого принципа массово и жестко. С ними — с молодыми писателями и читателями, — и связана моя надежда.

Алёна Каримова, поэт (г. Казань)

«Главное — искренность»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Вопрос довольно сложный для меня. Есть близкое по духу, а есть по эстетике. Конечно, первое в значительной степени определяет второе, но все же это разные облака. Отечественная литература состоит для меня как минимум из двух частей: русской и татарской. Из русских поэтов это в первую очередь Баратынский, Бродский и Цветков. Из татарских — Дэрэмэнд и Аглямев. И Равиль Бухараев, который воплощал в себе и татарское, и русское, и европейское. Конечно, не только они, но они были, наверное, наиболее важны. Что касается мировой литературы, то это, скорее, прозаики — Маркес, Пруст, Исигуро...

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Мне очень близка позиция уже упомянутого Баратынского, которую он сформулировал без малого двести лет назад: «И как нашел я друга в поколение,/ Читателя найду в потомстве я». Мне кажется, что и друг в поколение, и «свой читатель» это всегда, что называется, «штучный товар». Бог знает, где и когда что-то отзовется.

Что касается молодости, рамки в наше время очень размыты — кто сегодня молодой? Кому пятнадцать, двадцать пять, тридцать пять? Кто-то и в пятьдесят считает себя молодым. Это просто очень разные люди с разной позицией и разными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо и в жизни, и в литературе. Безусловно, сама я — читатель для своих друзей и просто сверстников, и меня, смею надеяться, кто-то читает, а границ свой—не свой для меня не существует. Возможно, потому, что я никогда не входила ни в какие литтусовки и компании, предпочитаю бродить сама по себе.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Думаю, главное одно — искренность. Или, как говорил Равиль Бухараев, подлинность. Когда кто-то настоящий, это всегда видно. Будущее за настоящим (простите за невольный каламбур), которое рано или поздно всегда становится востребованным.

Бахыт Кенжеев, поэт (г. Нью-Йорк)

«Когда читаешь какого-нибудь Овидия...»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Стараюсь наследовать великим, то есть расширявшим горизонты поэзии и языка. В моем списке — Державин, Пушкин, Баратынский, Тютчев: в XX веке — Мандельштам, Заболоцкий, Ходасевич, Даниил Хармс и многие другие. Однако жить на проценты с капитала, доставшегося от классиков, невозможно — каждая эпоха требует обновления языка и мировоззрения. Иногда оно происходит по-настоящему, иногда нам предлагают

корыстные подделки, призванные шекотать нервы неприязнательного читателя. Говорят, что главный смысл жизни — в ней самой; таково и назначение поэзии и иных видов искусства. Мой друг Глеб Смирнов, замечательный искусствовед, написал книгу «Артодоксия», где не без лукавой усмешки уверяет, что изящные искусства представляют собой едва ли не основную цель существования человечества. Когда видишь наскальные рисунки двадцатитысячелетней давности или читаешь какого-нибудь Овидия, возникает соблазн полностью согласиться с этой идеей. Я давно уже не пишу, к сожалению: настали трудные времена. Но бывали и труднее, и пишущая братия к ним привыкала. Ну да, пришлось за последние годы расстаться со многими иллюзиями. Человечество оказалось куда более неисправимым, чем представлялось. Надо привыкать, надо возвращаться к трудам, продолжать бороться, пардон, за добро и красоту. А что еще остается?

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Литература — чрезвычайно живучая штука. Какое бы безумие ни овладевало обществом, обязательно находятся люди, которые ему не поддаются. Тихим сверчком под советским плиттусом прожил свой век Арсений Тарковский — и оставил нам великолепное наследство. Из глубокого литературного подполья появился язвительный гений Владимир Сорокин. До него — Окуджава, Искандер, Трифонов. Так и сейчас. С радостным удивлением наблюдаю за возмужанием молодых поэтов — и читателей — разделяющих мои ценности. Впрочем, наряду с ними существуют и ловкие ребяташки, строчащие вялые верлибры на актуальные «общечеловеческие» темы, и бодрые активисты северокорейского типа, воспевающие идеологическую (а то и военную) борьбу с огородными пугалами, придуманными бессовестными пропагандистами. Как в автопроме, поэзия бывает самая разная. Кто строит автобус, кто инвалидное кресло на колесах, кто всю жизнь пытается собрать «Феррари» из подручных материалов. Все зависит от таланта и амбиций. Кстати, общим местом стали разговоры об упадке поэтического искусства и падении читательского интереса. Но был ли он когда-нибудь велик? Разве что в 60-е годы прошлого века, за недостатком иных развлечений. Так что все не так печально.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Думаю, ответить на этот вопрос может только грамотный читатель, а не сам автор. Признаюсь, впрочем, что одним из двигателей моего собственного, так сказать, творчества, нередко служит белая зависть. Читаешь классика или друга-современника — и начинаешь горевать, типа «ну почему сам я так не могу! Надо попробовать!» Перечислю и некоторые качества, особо ценимые вашим покорным среди поэтов (помимо таланта, разумеется): умение любить, умение чувствовать красоту и ужас мироздания, бескорыстие, душевное веселье и чувство юмора. Хотелось бы строить свою работу именно на таком наборе качеств.

Анна Козлова, прозаик (г. Москва)

«Всегда важно одно — честность»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Я не знаю, как в сорок лет можно на полном серьезе сказать: я наследую Достоевскому или Гюнтеру Грассу, и, главное, что это значит? Я реагирую на меняющуюся реальность, как человек, живший в XIX или XX веке? Я люблю огромное количество русских и зарубежных писателей, но я точно никому не наследую (по крайней мере, сознательно). Мы живем в условиях крайне стремительных событий. 10 лет назад нельзя было представить того, что окружает сегодня, и инструменты осмысления действительности, пригождавшиеся в прошлом, нам не помогут.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Я очень не люблю деления чего бы то ни было на лагеря и кланы, тем более литературы. Мне всегда казалось, люди сбиваются в кучки не от избытка идей, а от их отсутствия. В современной литературе мне интересны Татьяна Замировская, Оксана Васякина, в их прозе есть жизнь. Идеи тоже, безусловно, есть, но всегда приятно, когда книга разговаривает с тобой языком друга, а не политрука. Насколько мы друг с другом ментально связаны, мне сложно судить.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Всегда важно одно — честность. Литература — это вещь, существующая тысячелетия с одним и тем же инструментарием, парадоксальным образом не утрачивающая влияния. Честность рождается из определенной храбрости, которую в человеке иной раз даже сложно заподозрить. Только эта честность, кусок своего собственного мяса, вырванный зубами и поданный под обложкой, может изменить все — и судьбу писателя, и образ.

Алексей Сальников, поэт, прозаик (г. Екатеринбург)

«Мне дорого, когда литература верит в людей, любит людей»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Мне мало кто не нравится из предшественников. Так или иначе, стилистически или еще как-то обвораиваю почти всех без исключения. Но очень полюбил Чехова в последние несколько лет, хотя и знаком с его взглядами. Настоящий его подвиг — поездка на Сахалин с его здоровьем — искупает все, что он наговорил среди близких и друзей. Так мне кажется.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Так получается, что я про людей своего поколения и пишу в основном. На большее таланта не хватает.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Мне дорого, когда литература верит в людей, любит людей, когда эта любовь чувствуется в тексте. И все равно, человек какого поколения пишет про эту любовь, показывает человеческую нежность к другим людям в самых невероятных обстоятельствах.

Дарья Селюкова, прозаик (г. Белгород)

«Нас отличает желание принадлежности, иногда даже неосознанное»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Кому наследую... Мне кажется, что творческую родословную писателя могут в полной мере проследить только критик и читатель. Или придумать. Я, например, считаю, что Маяковский наследует Уолту Уитмену, но согласились бы со мной филологи и сам Маяковский?

Возможно, все мы в той или иной мере наследуем нашим любимым авторам, потому что они впервые открыли для нас новые способы писать и мыслить. Поэтому я могу сказать, лишь кем я хочу стать, когда вырасту. Когда я вырасту, я хочу стать Урсулой Ле Гуин и Рэем Брэдбери. Неважно, буду ли я писать фантастику: главное, чтобы каждая моя строка была наполнена той же любовью к миру и верой в людей, что и у них. Верой в то, что творчество — не транспарант, не инструмент, а огромная живая душа человечества, в которой есть место всем чувствам.

Я жадный человек: в детстве я портила книги, вырезая из них красивые картинки, — мне казалось, что иначе я не смогу присвоить и сохранить эту красоту. И теперь, когда я думаю над вопросом наследования, понимаю, что хочу наследовать всем, кого читаю и люблю, жадно заимствовать у них самое лучшее: красоту их языка, их умение писать экшн-сцены, их обширные знания, их метафоры, их внезапные сюжетные повороты... но всё-таки я давно выросла, и мне мало просто вырезать понравившиеся места. Я не хочу на самом деле быть Рэем Брэдбери и Урсулой Ле Гуин. Я хочу, чтобы читатель, открыв мою книгу, испытал тот же восторг, что испытывала я, открывая «Волшебника Земноморья» или «Марсианские хроники». И только этому читателю решать, получилось ли у меня стать наследницей лучших.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Мне сложно воспринимать современный литературный процесс в целом: я всего лишь его малая часть, пишу в основном жанровую и фанатскую прозу, мало пересекаюсь с «коллегами по цеху». Я очень смутно представляю портрет своего читателя, и уж тем более не думаю, что я достойна оппонентов. Этот вопрос попал мне в самый «синдром самозванца»! Раз у меня нет ни наследников, ни оппонентов среди

молодых писателей, являюсь ли я вообще частью современного литературного процесса? А вдруг я ненастоящий писатель? Когда ты в потоке, как подняться над ним и окинуть его взглядом?

Но потом я вспомнила одну историю. Вряд ли это ответ на поставленный вопрос, а всё-таки расскажу. За весь прошлый и позапрошлый год я не написала ни единого рассказа, потому что работала сценаристом компьютерной игры. Нас в команде было шестеро, и когда наш огромный труд, по количеству слов превышающий «Войну и мир», был закончен, я увидела, как персонажи, которых я создала, пошли «в народ»: кто-то их полюбил, кто-то возненавидел, но нашёлся человек, который захотел продолжения истории: разобрал механизм игры, изучил мой текст и за несколько месяцев собрал продолжение сам. Звучит механически и холодно, но если вдуматься — сколько за этим любви и интереса!

Да, это не то «наследование», про которое мы говорим, это не про литературную преемственность поколений. Но, с другой стороны, для меня эта преемственность так и выглядит: желание разобрать понравившийся текст, понять, как он работает, а может, и улучшить его, потому что он бесит или написанного недостаточно. Вряд ли я узнаю преемника или оппонента, даже если встречу, но если где-то кто-то в эту минуту сражается с моим текстом, разбирая его на запчасти... какая похвала может быть выше этой?

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Я думаю, нас отличает желание принадлежности, иногда даже неосознанное. Вот у Оксимилона есть строчка: «Я так хотел принадлежать чему-то большему, чем я». На мой взгляд, это эпиграф всего нашего литературного поколения (к которому Мирон тоже, кстати, относится).

Я читаю Константина Комарова и вижу, что уникальность его стихов стоит на крепком фундаменте: наследование классикам и «маргиналам» превращается в камертон, позволяющий поэту настроить свой внутренний оркестр на чистое звучание.

Я читаю Елизавету Никифорову и чувствую как весь творческий мир, от современной поп-культуры до Шекспира, — так же Пастернак и Блок переосмыслили себя через Гамлета.

Читаю Дарью Чернышёву и люблю тем, как традиции серьёзной исторической прозы переходят в фэнтези, как автор поднимается над жанром, разворачивая над приключенческой канвой эпическую мысль: «род приходит и род уходит, а земля пребывает вовеки».

Пожалуй, именно это для меня и важно: связь, узнавание, цитата прямая или скрытая даже от самого автора. Кто-то может сказать, что стоять на плечах титанов — дело не почётное, но я вижу это иначе: как ту самую принадлежность к чему-то большему, ощущение себя не одинокой фигурой на сцене, читающей с телефона единственные в мире стихи, а веткой дерева, растущей из единого ствола, но цветущей по-своему, скрипкой в оркестре, играющей партию, которая есть часть единой прекрасной мелодии. Бытие человеком, а не островом.

Юрий Серебрянский, прозаик (г. Алма-Ата)

«Важен “открытый код”»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

Я внимательный читатель, и проще ответить, чьего влияния я точно не испытал — это «закрытая» в советское время литература: Аксёнов, Битов, Саша Соколов, Платонов, Рыбаков. Если говорить о классике, несколько лет назад пригласили на занятие американских студентов в городе Айова, тема была — Фёдор Михайлович, пришлось выступать, и я сказал, что, по сути, мы с ними на одной дистанции до Достоевского находимся, мое преимущество только в языке. Что же касается отечественной литературы — отец у меня геолог, исколесил всю страну, и из каждой командировки привозил казахстанскую литературу, покупал в маленьких, почти невидимых городах и поселках. Ею у нас был набит весь дом. Но сам я уверен, что наследую Фицджеральду, конечно. В Казахстане постоянная «эпоха джаза», а твердокаменную реальность можно только в России потрогать, но нащупать у меня никогда не получалось.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Мои работы оказались созвучны таким же, как я, людям — носителям русского языка, не принадлежащим только русской культуре. Тем, кто в постоянном поиске языковой и культурной идентичности, и до ответов, судя по всему, еще далеко.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Если говорить о литературе, которая выходит сегодня на русском языке по всему миру, — хотелось бы верить, что важен «открытый код», что можно пробовать экспериментировать с темами и жанрами в ногу с миром, а не превращаться в секту. Мне близко недавнее высказывание Ильи Кукулина: «Русскую культуру можно сегодня изучать как часть ансамбля культур, общества которых прежде находились в колониальной зависимости от Российской империи / СССР: украинской, белорусской, казахской и других. И различать в таком исследовании те антропологические возможности в русской культуре, которые позволяют выстраивать не-гегемониальные и не доминирующие отношения с Другим» (журнал ROAR, № 1).

Думаю, «Дружба народов» в этом направлении и работает.

Глеб Шульяков, поэт, прозаик, переводчик (г. Москва)

«Есть вектор, попытка заглянуть “за”»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Думаю, в поэзии не бывает какого-то исключительного наследования. Поэт интуитивно наследует всей поэзии, которая написана до него. На практике это выражается в массе влияний. Поэт испытывает их на протяжении всей творческой жизни. Мои юношеские стихи, например, были написаны под гипнозом поздней

лирики Пастернака и раннего Бродского, какой бы дикой ни казалась эта смесь сегодня. Излечил меня от этой зависимости Лев Лосев — своим антипафосом. В какой-то период музыка слова завораживала меня в стихах поэтов «Московского времени», которые в начале 90-х годов вышли к широкому читателю. Однако постоянным звуковым фоном для меня всегда был Блок периода «Вольных мыслей» и ахматовские «Северные элегии». Вот откуда берётся музыка на самом деле. В какой-то момент пришла поэзия эмиграции с её вечным знаком вопроса («Зачем?») — причем разных волн в разное время: Иванов и Ходасевич, Елагин и Чиннов («Иван Ильич у Льва Толстого/ Увидел свет — об этом речь./ Конец — или начало снова?/ Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч?»). Параллельно всегда присутствовала поэзия англоязычная. От Элиота и его «Бесплодной земли» как бы расходились круги во все стороны — в будущее к Одену, Милошу и Паунду и в прошлое к Шекспиру и Джону Донну. Элиотовский Пруфрок был в юности моим героем. Стихотворение «Марина»? Шедевр, и вместе со «Стихами о неизвестном солдате» Мандельштама — вечный урок верлибра стихотворцу. А на другом конце дуги Фрост и «Письма ко дню рождения» Тёда Хьюза. Они помогли найти форму долгого дыхания для первых моих поэм. Которые в свою очередь немислимы без наследования поэмам Александра Ревича и Евгения Рейна, откуда рукой подать до «Возмездия» Блока. «Поэма о ненаписанном стихотворении» Ревича — когда я перечитал эту вещь спустя много лет, поразился ее современности. Как всякий раз поражает «Возмездие», особенно третья глава. Но у Фета тоже есть образы и звуки потрясающе современные. Вечный экзистенциальный вопрос: зачем? почему? за что? Он звучит у Боратынского, чью «Осень» я знал наизусть. Он есть уже у Батюшкова — возьмите его «Тень друга», одну из лучших элегий в русской поэзии. И как ей «наследовала» Цветаева, например: «Я берег покидал туманный Альбиона".../ Божественная высь! — Божественная грусть!/ Я вижу тусклых вод взволнованное лоно/ И тусклый небосвод, знакомый наизусть»... А ведь здесь присутствует ещё и Байрон! В «Тени друга» слышен и будущий Мандельштам, и Элиот. Но от поэтов рубежа восемнадцатого — девятнадцатого веков один шаг до античности, с оглядкой на которую они писали. И тут мы попадаем в объятия Горация. В свою очередь античные поэты вызывают к жизни античных философов, у которых они, собственно, искали ответы на свои онтологические вопросы. Появляется Эпикур. Или Гераклит, чьё учение о логосе в виде огня вещей — готовый поэтический образ двадцать первого века...

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

Если говорить о молодых читателях/слушателях, то довольно существенная часть тех, кто приходит на мои вечера, — люди, младше меня на поколение, а то и на два. Мне о них ничего, кроме того, как блещут в темноте их глаза, неизвестно. Среди пишущих — да, я иногда слышу... как бы это сказать... серьёзность намерений. Желание увидеть за словами и через слова нечто большее. Философичность, на самом деле. И это мне близко. В разной степени мастерства и таланта — она слышна у многих. У екатеринбургского поэта (ныне обосновавшегося в Липецке. — *прим. ред.*) Константина Комарова, например. У московских Андрея Фамицкого, Даны Курской и Клементины Ширшовой. У Антона Метелькова из Новосибирска. У Евгения Витченко из Тюмени. У пермяков Антона Бахарева и Владимира Кочнева. У поэта из Уфы Марианны Плотниковой. Таких поэтов наверняка больше — я невнимательно слежу, это дело критиков... Но общая нота, отзвук есть. Отличает их от нас отсутствие иронии и самоиронии. А ирония, как известно, признак романтизма. Стало быть, они — такие пост-романтики. Очень серьёзные молодые люди, на самом деле. Из тех, кто постарше, кто идёт прямо след в след за моим поколением, — это Виталий Науменко, увы, покойный уже, это Александр Стесин, житель теперь

бесконечно далёкой Америки, Ганна Шевченко... Но вообще можно просто посмотреть по авторам «Новой Юности». Подсознательно отбор всё равно идёт на уровне глубинного родства. Если говорить об «оппонентах», думаю, это просто та поэзия, которая тебя оставляет равнодушным. Например, поэзия «филологическая» — когда, по выражению Милоша, слова говорят о словах. Или та, что фокусируется на гендерных или даже медицинских проблемах. О патриотичности, пропаганде и прочем мусоре в поэзии и говорить нечего.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Чтобы ответить на этот вопрос, двадцать лет назад я составил антологию «Стихи тридцатилетних». Тех, кому сейчас соответственно по пятьдесят с лишним. Большая часть этих поэтов продолжает писать стихи. Оглядываясь назад, я бы сказал, что эти стихи объединяет их онтологический характер. То есть разговор о бытии, его законах, принципах и категориях — и смысла человека в нём. Философский разговор, хотя и через образы, разумеется. В древней Греции философы не зря считали равными себе только поэтов. Даже если ты говоришь об утюге, не важно. Или о вывесках на улице. Есть вектор, попытка заглянуть «за». Но поскольку все мы начинали в девяностых, в короткий и печальный век русского постмодернизма, в стихах поэтов моего поколения присутствует, наряду с серьёзностью, некое игровое, травестийное начало. Они маркированы иронией и самоиронией, что, как известно, есть признак романтизма... Но об этом я уже говорил, кажется.

Ростислав Ярцев, филолог, поэт (г. Москва)

«Я мыслю в контексте мировой культуры»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов».)

Наследовать можно школам или конкретным авторам. Мне всегда был дорог опыт работы с катастрофой, диалог со смертью и с бессмертием, предельные онтологические переживания человека (словом, весь XX век). Я мыслю не в рамках национальной поэзии, а в контексте мировой культуры. Здесь следует назвать имена близких мне поэтов: Рильке, Целан, Йейтс, Элиот, Фрост, Хлебников, Мандельштам, Цветаева, Блок, Пастернак, Транстрёмер, Айги, Дикинсон, Седакова, Айзенберг, Е.Шварц, Гронас, Степанова, Барскова и многие, многие другие, переводившие и продолжавшие друг друга голоса.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Конечно, узнаю. Я учусь у читателей в той же мере, что у авторов, ведь последние не могут быть собой без опыта чтения и интерпретации ими творчества их предшественников. Близкий мне круг поэтов так или иначе переосмысляет наследие советской неподцензурной поэзии и «второго модерна». Это поэты Софья Дубровская, Владимир Кошелев, Ника Третьяк... Поколение двадцатилетних поэтов изнутри уже представляет собой калейдоскоп оппонентов друг другу. Но все они так или иначе — чьи-то наследники, и в первую очередь — те, кто желает утвердить инновативную поэтику.

На собрание под своим лейблом разнообразных новаторов претендует журнал «Флаги», но чем дальше, тем больше мне кажется, что выбор авторов для публикаций там определяется не провозглашаемым журналом разнообразием, а вкусами хозяев проекта. На фоне «Флагов» деятельность журнала Валерия Шубинского и Богдана Агриса «Кварта» выглядит более честной, открыто артикулирующей собственную оптику и не претендующей на мифическую всеохватность поэтической жатвы.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Ничто так не объединяет, как общее горе, общие утраты. Многого я жду от переосмысления поэтическим сообществом наследия поэта Василия Бородина после его гибели... В сложившихся обстоятельствах важно громко и постоянно говорить о всеобщей гуманитарной трагедии на любых языках. Как бы ни отличались друг от друга разные стратегии письма, поле поиска общих смыслов диктуется мясорубкой истории (а этот кровавый суфлёр подсказывает, что двадцатый век не окончен, и его уроки в России не усвоены).

(Окончание в следующем номере)

Александр Мелихов

Защита Попова

Валерий Попов всегда был, есть и наверняка пребудет Валерием Поповым. Когда полагалось восхвалять советскую власть, он ее не восхвалял. Когда полагалось ее обличать, он ее не обличал. Когда было модно объявлять литературу игрой, не имеющей отношения к реальности, он всегда исходил из обычной реальной жизни. Однако никогда не «отражал» ее, но всегда преображал, творил из будничного «сора» свой блистательный валерийпоповский мир. Годы над ним не властны, он с молодой регулярностью публикует книгу за книгой, ничуть не теряя ни своего знаменитого остроумия, ни зоркости, ни уникального дара творить из будничной белиберды ослепительный гротеск.

На чем же зиждется это поистине кавказское долголетие, на какой такой «диете» сидит писатель? Да на той самой диете, которой его дар потчует и нас, и его самого. Валерий Попов сотворил чрезвычайно полезные для душевного здоровья и собственный прелестный мир, и собственную эпоху, где он и самовластный правитель, и верховный судья. Судья мудрый и снисходительный. Не бывает позорных эпох, считает он, люди всегда делают, что могут, и даже немножко больше.

Застолбив свое мироздание демонстративным слоганом... или мемом?.. в общем, девизом «Жизнь удалась!» еще в 1980 году,

Попов упорно обращает в золото искусства все, что с ним происходит, не обходя и самые мучительные трагедии: гибель дочери, тяжелейшая болезнь жены, угасание отца.

Но ведь нам много лет благородные гуманисты давали понять, что дело литературы оплакивать человеческие страдания? Попов думает иначе: «Задача литературы — приучить людей пить страдания не из лужи, а из драгоценного сосуда».

Так что лозунг «Жизнь удалась!» — не столько констатация факта, сколько декларация о намерениях: не сдаваясь, жизненный успех не в том, чтобы избежать страданий, а в том, чтобы их эстетизировать. И в этом отношении жизнь Валерия Попова действительно удалась!

При всем его насмешливом отношении к звериной серьезности Попов много десятилетий хранит верность своей излюбленной идее. Еще в раннем рассказе «Ювобль» он писал: «Нужно иметь защитный слой, в котором сторали бы, как метеориты, летящие в нас несчастья». Из чего этот слой? Во-первых, фирменный поповский оптимизм, точнее, сопротивление пессимизму. «Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга!» — пусть даже в реальности все далеко не так. Но литература, по Попову, должна улучшать жизнь. Вторая составляющая его защитного слоя — умение перевернуть грозные штампы с ног на голову. Вот диалог двух пассажиров в самолете: «Все-таки страшно, если вдуматься: десять километров под нами!» — «Десять километров? На такси — трэшка!» Страх высмеян и уничтожен.

Однако с годами ворочать такую тяжелую, а часто и тяжкую вещь, как обстоятельства, быть может, все трудней? Или защитный слой Валерия Попова с годами не скудеет и не тускнеет?

Когда ты вынужден долго читать не для удовольствия, а для дела, хотя и в деловом чтении есть своя прелесть, постепенно забываешь, что чтение хорошей книги — занятие не только увлекательное, но еще и исполненное ежеминутных маленьких радостей и открытий. В книге Валерия Попова «Любовь эпохи ковида» радости и открытия начинаются с первого же абзаца. Герой-рассказчик идет по солнцепеку и вдруг замечает, что за ним следует птичка, спасающаяся от жары в его тени.

«Писатель — это тот, под кем земля цветет». А читатели находят отдохновение в рассказываемых им историях.

Жизнь, правда, такая сволочная штука, что самая веселая история, если вовремя не остановиться, рано или поздно доберется до похорон. Первая повесть книги, название которой содержит каламбур — «Незабываёмоё», начинается и длится как увлекательная многоцветная история семейного клана во главе с обаятельнейшим двоюродным братом повествователя Игорьком, стремящимся и без того яркую реальность раскрасить до гротеска. При этом Игорёк — талантливый инженер, он с блеском защитил диссертацию о любимых электрических самолетах, которые должны будут летать не просто в пределах земной атмосферы, — на крыльях солнечных батарей они устремятся прямо к солнцу. Однако Игорьку этого мало, он постоянно ищет романтики за пределами своей, казалось бы, и без того романтической профессии. Подобно мотыльку, он и сам устремляется к солнцу перестройки, а затем и бизнеса и едва не сгорает в этом порой зловонном пламени. Эти страницы книги, по поповскому обыкновению, весьма естественно перерастают в фантасмагорию, которая лучше концентрирует тогдашние бурления, чем точный физиологический очерк.

А время, между тем, не шадит даже таких орлов и красавцев: Игорёк погибает от рядового тромба не таким уж, по нынешним временам, и старым.

И что же остается в утешение? «На меня с фото смотрит веселый Игорёк...»

В чем же его подвиг, чем он так привлекал всех? Обычный записной весельчак? Отнюдь. Главное, чем привлекает он нас, — неизбывной грустью по недостижимому, великому счастью и великому страданию, которых даже самая успешная жизнь «не ухватит». Всем нам знакомы эта печаль по «главному, несостоявшемуся». Но только Игорёк находил всему этому трагически-нелепые клички, веселил народ, произнося их страдальчески. «Чудовищная бедность», «флюоресцирующий социализм», «тотальный зондаж»... Откуда являлись ему эти слова? Но именно он «озвучил» все так, как нравилось его друзьям и близким, разрисовал жизнь, подарил своим ближним и любимым вместо унылой реальности словесный карнавал. Такого никто больше не сможет — поэтому так и грустно рассказчику и всем, кого он оставил. Трагическая история с постоянным отсветом улыбки.

Комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния, — так писал Белинский о повестях «г.Гоголя». Но в повести Валерия Попова грусть и уныние не побеждают, от нее остается чувство светлой печали. Ибо и у Гоголя, и у Попова торжествует не «совершенная истина жизни», от которой искусство и стремится нас защитить, а ее художественное преобразование.

Искусство есть примирение с жизнью, писал Гоголь в письме Жуковскому из Неаполя «10 генваря» 1848 года, и художественные приемы, при помощи которых Попов добивается этого примирения, еще отчетливее выступают во второй части книги — в хрониках «Любовь эпохи ковида», где эти приемы меньше заслонены сверкающей поповской фантазией. По крайней мере, в первых главах. Вот в них и взгляды.

В первой же строке герой-повествователь видит, что пришла весна и солнце наконец-то «свесило ноги» в его двор-колодец. Многие ли из нас замечают такие чудесные мелочи и так оживляют их метафорой? «Вот отраженный луч озарил мой любимый цветок на тумбочке, и я увидел бутоны! Ура!» — и цветок «любимый», и бутоны — повод кричать «ура». А дальше происходит еще одно чудо — цветок погас, а озарена уже книжная полка. «Меня даже качнуло. Как быстро, оказывается, вертится земля...» Столько маленьких праздничков на пятнадцати строчках, изображающих самые обыденные явления.

«И завтрак прелестен, нетороплив». И во время завтрака можно разяснять невнимательной жене, что ложки бывают двух видов: швырялы и крутилы. При помощи швырял сахар сыпается в кипяток «с огромной высоты», чтобы не замочить совок, а крутилами сахар размешивается.

«Чудесный день! Таких, мне кажется, не было никогда раньше».

Потом звонит юная волонтерша из службы психологической поддержки. Поддержка не нужна, зато лодыжки волонтерши прелестны.

«Ну просто прелесть — черт ее принес».

В соответствии с последними веяниями передовой цивилизации волонтерша намеревается жаловаться в соответствующие инстанции на «визуальное домогательство», но под влиянием жизнелюбия героя (хоть и больного ковидом) преображается. По его мнению, «новая чума», как некогда во

Флоренции, должна привести к Ренессансу, небывалой вспышке энергии и таланта, и он пытается продемонстрировать это словом и делом. Воздействует на волонтершу и гениальный «Декамерон», который по его просьбе она приносит герою в больницу. В итоге они вместе с героем и спасшим его врачом отплясывают гопака в уютном «шинке» недалеко от больницы. Жертвы, увы, есть: врач, ставший их другом, умирает в конце повести, как и многие врачи, в очередной раз спасшие цивилизацию. Смерть близко, но мы должны ответить ей Ренессансом, подъемом духа, — героям Попова это удастся. У них что — какая-то особая жизнь? Да нет, все обстоятельства у них такие же, как у всех. Просто у них особая внутренняя «начинка», и «начиняет» их кулинар Попов. Даже когда у героя крадут кошелек, он не огорчается, а восхищается «виртуозностью исполнителя». Да, необычный для пресной нравственности, чисто «декамероновский» подход. Попов высмеивает ханжеские препоны, душа гуляет, как этого хочется автору.

В хрониках, разумеется, находится место и фирменному поповскому гротеску, но это нужно читать, не буду, как сейчас выражаются, спойлерить. Рекомендую только, увлекшись сюжетом, не упускать из виду прелестных подробностей, усвоив которые, вы выйдете из хроник гораздо лучше вооруженными для превращения скучных будней в нескончаемую череду маленьких праздников.

Александр Климов-Южин

Изобретение паруса

Есть поэты, которые, живя в своем времени, пишут не для него (и подразумевают не современность и не повседневность), они просто не берут его в расчет. Разумеется, реалии их жизни не могут не присутствовать в стихах, но они не фиксируются намеренно, они присутствуют естественно, как вдох и выдох. Мода и мейнстрим их не касаются. Галина Нерпина — именно такой поэт.

Стихи, собранные в книге «Остролист», имеют лирико-философскую форму проживания, почти утраченную в нашей литературе. Пересечение границ и пространств в книге не более чем темы, автор на всех широтах остается един в своем стремлении «жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия».

Свершает он эти открытия прежде всего для себя. В Галине Нерпиной меня всегда удивляло стремление жить красиво, красиво и эстетично, как когда-то обмолвилась Цветаева: «Я счастлива жить образцово и просто», она так и живет, но, самое главное, она и пишет так, как живет. В ее стихах присутствует стремление к красоте, нет задачи эпатировать, поставить строку на излом. В наш век разрушения эстетики и цинизма (многие из сегодняшних стихотворцев на этом строят основание своей индивидуальности).

Я бы сказал, что Галина Нерпина — ренессансный поэт. Жизнь пропускается в ее стихах через культурные коды. В книге «Остролист» удивительно то, как, сохраняя

традиции и преемственность русской классической литературы, поэту удается быть вполне современным в рамках несовременного словаря. Это достигается семантическим разнообразием и стилистическим построением фраз, где старые слова получают новое содержание и звучание. Иногда это ренессансное звучание пробивается сквозь поэзию Нерпиной, как обертона из аутентичного времени:

Когда досуг мы страсти подчиним
Столь явно, что смутится добродетель.

Начало «Элегии». Какая четкая формула слова, стремление к шекспировской конкретности, отсюда и смысловая глубина. Но ведь ренессанс не распространяется только на ранний XV и на XVI века. По отношению к нам век Пушкина, Тютчева, Фета — это время развития, расцвета нового поэтического языка, нового слова. Тоской по этому слову, стремлением жить в языковой стихии поэтов-предшественников (прежде всего Мандельштама, Тарковского) пронизана, от корки до корки, буквально вся книга стихов «Остролист». Остролист, как известно, растение колющееся, из этой его особенности, как мне представляется, и произошло название книги. Уже с первого стихотворения взята высокая нота традиции русской философской лирики.

В зеркале водном ели так черны,
так чутко полон парус тишины,
и небеса так страшно догорают —
что лист не сможет с дерева упасть...
Какая мука и какая власть
послушными созвездьями играют?

В подземных тиглях движется огонь,
перетекая в стебли... Только тронь —
и он тотчас же в кровь твою вольётся.
И травы дышат, ночь собой согрев,
и льнёт соцветьями к коленям львиный зев...
И вечность гулко в сердце отдаётся.

Почти инфернальный пейзаж совмещен с пейзажем земным, и где-то в середине автор выдает свое присутствие определениями с существительными — «какая мука и какая власть», и тогда понимаешь, что именно он — demiurge этого пейзажа. Еще Гюстав Флобер писал: «Художник должен присутствовать в своем произведении, как Бог во вселенной: быть вездесущим и невидимым». Вот эти вездесущность и невидимость — основные свойства поэзии Нерпиной.

Уж, казалось бы, кто ни писал о Венеции: и Лермонтов, и Тютчев, и Бунин, да и Мандельштам, конечно, со своим гениальным «Венециейской жизни, мрачной и бесплодной»... «Венецию» Галины Нерпиной можно смело рискнуть поставить в этот ряд безупречных антологических стихотворений.

Здесь часть пейзажа составляет грусть.
Плывущие дворцы, туман и запах,
и лвы печальные на мокрых лапах —
как будто долгой смертью жизнь поправ,
со смертью не кончаются, ты прав».

«Вода есть время; и покуда сны
ещё способны удерживать что-либо,
сквозь сумерки — со стороны залива —
Венеция мерцает красотой.
И Божий дух несётся над водой.

Летучее мирозерцание, гармония в постижении красоты. Все приведено в движение, и это движение из настоящего в прошлое, ибо каждый наш миг проживания на земле — это уже история, а в случае с Венецией — это история, запечатленная в камне великой нетронутой архитектуры, в ритуалах карнавалов, даже в действе зажигания фонарей, и эти фонари из розового муранского стекла на темно-зеленом кованом столбе тоже сама история, как лвы Венеции, как ее гондольеры и звонари. Панорама, достойная Каналетто, уместилась в рамках триптиха вместе с постижением непрерывности

жизни в статике городского пейзажа. Кстати, фонарей, венецианских и прочих, горит достаточно на страницах книги, они — символы, и зажжены как охранители жизни, но ночь неизбежна... А потом?

а потом заходит крошечный мрак
поболтать о вечности
просто так.

Жизнь на свету и думы в темноте —
так и рождается философия.

Удивительна в книге поэтическая череда сужений и расширений, систола и диастола сердечных сокращений:

Когда ты спишь, я никогда не сплю.
Мне кажется — мы под открытым небом,
И я в него забрасываю невод.
Поспи ещё, я так тебя люблю.

Пример полной расслабленности и умиротворенности. А вот пример систолы:

Вобрав весь свет и тень
добра и зла,
взлетает безутешная пчела,
из вечных странствий
возвращаясь в улей...
Густым янтарным смыслом налита,
грабительница летнего куста,
летит жужжащей, полной яда
пулей.
Затем, что жизнь обозначает страсть —
ей нужно долететь или пропасть.
Увидеть опечатанный и жуткий,
свой разорённый,
свой сожжённый дом...
Попасть туда — и умереть потом,
застыть во времени,
в прозрачном промежутке.

И не важно, что я привожу примеры, казалось бы, так далеко отстоящие друг от друга, диаметрально противоположные, внутренняя жизнь сердечных сужений и расширений намного важнее сужений и расширений географических; будь то полет шмеля на шести сотках или приподнимание грудной клетки мирового океана, над всем довлеет человек, его сердце. Задачи, которые ставит перед собой поэт, ответы на вопросы *почему*, или не ответы, никогда не проявляются

сразу, в начале, их нужно искать на страницах и в строках всей книги. Мне всегда в связи с этим был чрезвычайно интересен у авторов параллелизм мысли, не литературный параллелизм, а именно мысли (мало у кого находил), а у Галины Нерпиной нашел. Сейчас поясню.

Слово больше, чем жизнь, —
И расходится с нею.

Эти строки я запомнил у автора в начале книги — в стихотворении «Офелия».

Уже тебя видят не там и не те.
Ты глаз не сомкнёшь до утра в темноте.
Что жизнь затянулась — не в этом беда.
А страшно признаться: сбылась, да не та, —

читаю в конце. Вот она, причинно-следственная связь, одно вытекает из другого: слово больше, чем жизнь, и расходится с нею, потому и страшно признаться: жизнь сбылась, да не та. Философия, в действии которой управляет отнюдь не разум, а провидение и еще, конечно, все те же диастола с ее отливами, и приливы с систолическим наполнением человеческой крови, иначе все мертво. На этой тонкой грани золотого сечения и балансирует поэзия Нерпиной.

Но вернемся все же к теме ренессансного мирозерцания в книге «Остролист».

Тему эту я вижу и в ключевом стихотворении книги «Изобретение паруса»:

Но человека всё ведёт к воде.
В ней, растворяясь, исчезает старость.
И вот однажды, вопреки судьбе,
он просто так изобретает парус.

Ветер времен конкистадоров наполняет эти паруса в предвкушении открытий новых земель. Сколько бы человек ни жил, он будет заново изобретать свой парус. Что можно увидеть с берега? «Холодную пустыню океана».

А что корабль? — такие же дрова...
Но опьяняет запах древесины —
и океан качает острова,
и выгибает гибельную спину.

Конечно, в наш век высоких технологий можно сконструировать и спустить на воду непотопляемый эсминец, как можно слепить из словесных пазлов, казалось бы, стихотворение, вот только поэзию не слепишь. Согласитесь, фрегат выглядит все равно предпочтительней, потому что ручная, штучная работа, и только мастер имеет право отправить его в плавание.

«Красота не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра». Галина Нерпина видит очень многое и зорко, ювелирно обходит рифы безвкусицы, в ее поэзии нет случайных слов и смыслов. Стихи в книге «Остролист» ассоциируются с формулой молодого Мандельштама, потому что созвучны ему в цветке, пчеле, в вызревании и умирании жемчуга.

Елена Севрюгина

В ожидании крупной добычи

Новая книга Александра Евсюкова, включающая цикл из девятнадцати рассказов и эссе, демонстрирует читателю слегка забытый метод художественного высказывания, основанного не на эгоцентрической, а на объективной, реалистичной оценке людей и событий. Несмотря на то, что эссе носят автобиографический характер, подробности личной жизни автора играют здесь скорее вспомогательную роль и могут рассматриваться как один из источников создания сюжетов и образов.

Название книги — «Двенадцать сторон света» — содержит намек на широту художественного замысла. В рассказах охватываются разнообразные географические регионы: от России и Крыма до Болгарии и Финляндии — и большие временные пласты: с конца XIX до начала XXI века; описываются характеры и судьбы, внешне никак не связанные между собой. Но это только на первый взгляд, поскольку в каждой рассказанной автором истории преследуется одна и та же цель: показать человека в решающий, поворотный момент его жизни.

Цикл самостоятельных новелл, собранных в книгу, подчиняется продуманной сюжетной и композиционной логике и фактически перерастает в роман, который вполне может быть назван «Роман о человеке». Каждая из частей повествования — «Моя вдова», «Танцующий лес» и «Письма Горе» — представляет группу историй, объединенных

сквозной авторской мыслью и типом персонажа. В «Моей вдове» читатель нередко сталкивается с исключительными героями в исключительных обстоятельствах или же с такими жизненными ситуациями, которые внезапно высвечивают иную, до времени скрытую сторону человеческой натуры. Не случайно Александр Бушковский определяет художественный метод Евсюкова как «романтический реализм». Но к этой характеристике можно добавить еще и другую: будничность героизма. Согласно авторской логике, поворотными моментами в жизни человека чаще всего становятся экстремальные ситуации, выводящие его из привычной зоны комфорта. В такие минуты экзистенциальных прозрений проще увидеть себя со стороны и осознать тотальное неблагополучие своей или чужой жизни.

Нечто подобное происходит с мальчиком Лней из рассказа «Приступ». Уже многое понимающий о жизни и людях, герой переживает важный этап взросления, когда с его дедом случается инфаркт. Трагедия заставляет ребенка по-новому взглянуть на окружающее, преодолеть страх перед бабушкой — суровой и набожной женщиной, ненавидящей его мать и все время призывающей конец света («Скорей бы Гонец Цвета... Скорей... скорей! Чтобы — всех!!»). Деда увозят в больницу, и за те недолгие часы, которые бабушка и внук проводят вместе, Ленья открывает для себя причину ее необъяснимой прежде суровости — одиночество и страх. Он уже не боится гневно сказанных слов о конце света и понимает,

что внезапно стал сильнее того, от кого ему все время хотелось спрятаться под одеяло: «Он понял, что <...> все это говорила не она сама, а опомный страх внутри. Леня улыбнулся и осторожно провел рукой по ее опущенной седой голове. Он уверился — конца света не будет».

То, как человек ведет себя перед лицом беды или опасности, позволяет многое о нем понять. Центральное — по степени эмоционального накала и концентрации авторской мысли — место в книге занимают рассказы «Караим», «Гранатовое дерево», «Черный Орел», повествующие о непростом нравственном выборе. Самуил, главный герой рассказа «Караим», переживает глубокую личную трагедию. Его жена во время тяжелых родов лишается по вине доктора долгожданного сына. Смыслом жизни Самуила становится месть — осуществиться ей не дает маленький сын врача, сошедший с крыльца в тот момент, когда должно было совершиться убийство: «У сына были огромные светлые глаза. Он был совсем крохой и пролепетал мне что-то радостное и доверчивое. <...> Береги его, как он сегодня сберег тебя, — сказал я на прощание».

Самуил — один из самых ярких и привлекательных героев книги. По словам Александра Евсюкова, для создания этого непростого национального характера ему понадобились три реальных прототипа: «Душа целого народа будто ожила, куда-то двинулась и теперь проходила сквозь меня и говорила, говорила разными голосами».

Рассказ «Гранатовое дерево» — о силе любви, перед которой ничтожен даже страх смерти. Рядовой Всеволод Горошин, уходя на русско-турецкую войну, получает от своей невесты Наденьки подарок — костяной гребень. Этот гребень — символ верности — становится в структуре повествования важной художественной деталью. Во время одного из ожесточенных боев Горошин, спасший целую роту солдат, неожиданно обнаруживает пропажу гребня. Забывая об опасности, юноша бежит к «израненному осколками гранат

дереву», чтобы отыскать выпавший из кармана подарок возлюбленной.

Истинное лицо человека открывается в минуты жизненных испытаний, но, к сожалению, не все могут пройти их достойно. Главный герой рассказа «Черный орел» Мартин, внук чернокожего летчика Вашингтона Линкольна Фаунтлероя, долгое время пребывает в уверенности, что его близкий родственник заслуживает самого глубокого уважения и восхищения. Но однажды он получает письмо из Финляндии — в нем просьба погасить давний долг деда. В поисках истины Мартин летит в Хельсинки, где окончательно развенчивается миф о «личном друге туземного короля и главнокомандующем императорской авиацией Абиссинии». Вчерашний идеал и образец для подражания оказывается заурядным выскочкой и кутилой с замашками аристократа.

Если добро и зло в первой части книги окутаны ореолом исключительности и романтизма, то во второй части они запрятаны глубоко в повседневность. В нашей обыденной жизни нужно быть достаточно зорким для того, чтобы разглядеть предателя в близком человеке, палача — в соседе, исключительную личность — в заурядном пьянице. Именно об этом рассказы «Ведьма», «День палача», «Проводы», «Лодка Саныча» и т.д.

А вот заключительная часть — «Письма Горе» — удивляет неожиданным открытием. Оказывается, автор все же присутствовал в своих рассказах, удачно маскируясь и оставаясь невидимым для читателя. Его саморазоблачение происходит в первом же автобиографическом эссе «Сюжет», где без особого труда угадывается история того самого мальчишки Лени из рассказа «Приступ», на чью долю выпали вполне взрослые испытания. Только теперь события описаны более прямолинейно и с углублением в личную историю каждого персонажа. Из эссе мы узнаем, что прототипом героини является бабушка самого Александра Евсюкова — баба Валя, уроженка шахтерского поселка Нагорный в Тульской области, где провел свои детские годы автор. Муж бабы Вали, потомственный

шахтер, был когда-то сильно влюблен в ее младшую сестру, отказавшуюся от своего счастья по настоянию матери. Поэтому ссоры и недопонимание в семье были нередки. Именно этим обстоятельством отчасти можно объяснить суровость женщины и ее строгость к внуку и его матери.

Невольно возникает вопрос, не опровергает ли это внезапно сделанное открытие первоначальный тезис о том, что автор дает объективную реалистическую оценку людей и событий, отказываясь от мемуаристского подхода к художественному тексту? Думается, что нет. Соединив личную историю с художественным вымыслом, Евсюков реализовал сразу две задачи: поставил себя в один ряд со своими литературными персонажами и продемонстрировал принцип работы прозаика, отбирающего те факты человеческой жизни, своей или чужой, которые могут стать основой для рассказа. Мальчик Ленья — это не собственно автор, а скорее его проекция, воплощение его мыслей и чувств.

История о нем воспринимается вполне органично на фоне других рассказов, где речь идет о духовном взрослении героев путем преодоления собственных страхов, предрассудков, навязчивых идей. При этом реалистичность повествования, его объективность остаются главными чертами художественного метода Александра Евсюкова.

В завершающем книгу интервью, взятом у самого себя, Александр Евсюков утверждает, что быть писателем не так уж трудно — для этого достаточно иметь хорошую память (не только зрительную, но и душевную), не переставать удивляться всему вокруг, а главное — сочетать в себе амбициозность и смирение: «А еще есть такая парадоксальная внутренняя способность: быть и амбициозным, и смиренным одновременно. Вот этому-то канатному равновесию приходится учиться долго и предельно внимательно. С надеждой, а потом и с уверенностью, что я только в пути за своей самой крупной добычей».

Евгений Абдуллаев

Фрагменты речи поэта

Теперь — не о политическом, а о поэтическом. О поэтах, пишущих о поэзии.

Поэты о ней, собственно, и должны писать. Но делают это они не так часто.

Я не имею в виду случай, когда поэт выступает как критик. Критика — другой способ дыхания и мышления. Когда поэт пишет критику, он временно перестает быть поэтом. Он должен отойти немного от себя-поэта и от поэзии. Ради взгляда со стороны, ради какой-то объективности.

Другое дело, когда поэт выступает не в качестве критика-судьи или даже филолога-исследователя (здесь требуется еще большая дистанция от поэзии), а когда он просто размышляет о ней.

Разговор о поэзии, когда его ведет поэт — это стихи, лишь случайным образом записанные прозой. Даже когда в этот разговор вкрапливаются автобиографические, политические, филологические и прочие мотивы. В этой области есть свои вершины — например, «О поэзии» Мандельштама и «Азбука чтения» Паунда.

Нельзя сказать, что последние лет десять-пятнадцать книг поэтов о поэзии было мало. Можно вспомнить сборники Григория Кружкова, Алексея Пурина, Юрия Казарина, Олега Юрьева...

Усилился ли интерес к таким сборникам в последнее время?

Похоже, что нет.

А жаль. Поэзия сегодня переживает драматичную трансформацию, и рефлексия о поэзии нужна как никогда. Особенно — производимая самими поэтами.

В этом «барометре» речь пойдет об эссеистических сборниках трех крупных современных поэтов — Виталия Кальпиди, Максима Амелина и Андрея Таврова¹. Называю в порядке появления сборников: «Густое» Кальпиди вышло в 2020-м, «Книга нестихов» Амелина — в 2021-м, «Короб лучевой» Таврова — буквально недавно, еще краска не просохла.

Начну с «Густого», носящего несколько обманчивый подзаголовок: «Книга поэзии».

Нет, стихи в книге тоже присутствуют, и вроде бы даже являются в ней главным. А поэтическая эссеистика — по замыслу — просто предваряющим пояснением и последующим комментарием к стихам. «Преамбулой и титрами».

Прием для Кальпиди не новый — опробован еще в его «Мерцании», 1995 года. Стихотворение, следом — построчный эссеистический комментарий. Тогда это,

¹ Кальпиди В. Густое: Книга поэзии (М.; Екатеринбург: Кабинетный учёный, 2020); Амелин М. Книга нестихов (М.: Б.С.Г.-Пресс, 2021); Тавров А. Короб лучевой. Интуиции, эссе и заметки о поэзии и культуре (М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. Серия «Письмена времени»).

правда, выглядело свежее и — на фоне кипевших постмодернистских игр — более оправданно. Да и стихи были, на мой вкус, ярче. Нет, в стихах в «Густом» — все то же версификаторское мастерство и узнаваемые приемы...¹ Отдельные яркие, удачные строки. Например, вот эти — переключка с пастернаковскими «Соснами»:

На всём посверкивают блики,
но сверху было видно: лес
от духа тёплой земляники
сам на свои берёзы влез.

Ладони летнего молчанья
так были не напряжены,
что разродились на прощанье
овациями тишины.

Но, повторяюсь, главное в этой книге — не стихи, не несколько нарциссичные «мысли о себе» и не та желчь, которой Кальпиди щедро орошает и современников, и классиков².

Главное — рассуждения о поэзии. Прежде всего, не просто различие *поэзии* и *стихов* (мысль не редкая), но что поэзия *противостоит* стихам.

«Гениальная поэзия не похожа на стихи. Гениальные стихи по сравнению с ней — ничтожны».

Или: «Поэзия же работает на территории, где всё находится под запретом, — под запретом называния. Если она пробует жить в более комфортных локациях, она мгновенно превращается в литературу, в стихи. Это видно даже на некоторых текстах: вот здесь поэзия, а здесь стихи, а здесь слепая зона перехода из одного в другое».

Мне эти рассуждения не близки: для меня альфой и омегой является именно стихотворение — даже когда оно не самодостаточно (например, внутри цикла или сборника). Тем не менее мысль свою Кальпиди проводит настолько изящно и афористически убедительно, что ее принимаешь.

В отличие от «Густого», изначально писавшегося как книга, у Амелина и Таврова — сборники уже написанного-опубликованного. Что не лишает их цельности. Обеспечивается она единством главной темы: поэт, поэзия, время.

«Книга нестихов» — тоже заголовок-обманка: стихи в ней присутствуют. Но не самого Амелина, а других поэтов, переведенных либо «воскрешенных» им. Если Кальпиди пытается сбросить с пьедестала и «зарыть» большую часть классиков, то Амелин — воскресить тех, кто классиками не стали, но этого заслуживают.

«В юности сильнейшее впечатление на меня произвела “Философия общего дела” Николая Фёдорова <...> Мне показалось, что его идеи вполне могут быть применимы <...> и в отношении ко всей предшествующей поэзии, осознаваемой как единый <...> организм, в котором не должно быть победителей и побежденных, любимцев и изгоев, ставших таковыми зачастую лишь в силу <...> недальновидных утверждений современников или избирательной памяти потомков».

Итак, задача поэта — воскрешение.

¹ Вроде столкновения высокого и низкого (на грани, а чаще — далеко за гранью обценной лексики) стиля, метафизического и натуралистически-физиологичного, или любви к словесным играм и каламбурам («Чай, не случайно, выкушавши чая...», «По сути, он её *олигофренд*...», «(Вот хохмачка!) хомячит Хому...» и т.д.)

² Ахматова — «паскудница», Бродский — «обыватель», Маяковский — «всю жизнь <...> вёл себя как полный мудака». И так далее. Отзывы о современниках даже не хочется приводить — всем досталось на орехи.

То, что у Фёдорова заявлено как «общее дело», для Амелина — сугубо личное, свое. Он не призывает к соучастию в этом воскрешении ни других поэтов, ни читателей; лишь делится с ними результатами своих трудов.

Делает эту работу он спокойно, добросовестно и несколько торжественно¹. Временами кажется, что этой классической торжественности даже с перебором: «Поэзию, как область приложения умственных и душевных сил, я не выбирал, она выбрала меня сама и заставила служить себе истово и преданно». Сказано это, впрочем, в премиальной речи (на вручении премии Солженицына), а в этом жанре такой патетический вольтаж вполне допустим.

Тем более что торжественность эта — не внешне-театральной, а скорее религиозной, иератической природы. «Все поэты в мире сочиняют один общий текст, вероятно, пытаясь собрать вместе части тела растерзанного вакханками Орфея».

Пусть сегодня коллективная «сборка Орфея» идет хуже («современные стихотворцы по большей части утратили за невостребованностью не только магический, но и пророческий дар»), не все потеряно.

Амелин — автор с широчайшей, где-то даже непредсказуемой отзывчивостью. Некоторые имена из «Книги нестихов», впрочем, вполне вписываются в привычно-классический круг его штудий: Гомер с Пиндаром или поэт екатерининской эпохи Василий Петров... Другие отстоят от него довольно далеко. Украинско-американский поэт Василь Махно. Забытый классик татарской литературы XIX века Габделъжаббар Кандалый. Южнокорейский поэт Сон Джончхан...

А еще и итальянские поэты, «Ригведа», Маяковский. И уже совсем неожиданные Антонио Вивальди (как поэт) и Компай Сегундо, что выглядит как вторжение в смежные с поэзией пределы музыки.

Но перейдем к третьему автору — Андрею Таврову и его «Коробу лучевому».

Если Кальпиди разбрасывает камни, Амелин — собирает, то Тавров — неторопливо разглядывает.

«Если б только нам удалось дослушать до конца глубинный смысл имен, таких, как “дерево”, “камень”, “вода”, “человек”, — туда, где они почти тишина, почти источник самих себя и всего остального мира, — фатум был бы бессилен, злая история прекратилась бы и катастрофа сменялась бы небывалым, блаженным и творческим статусом бытия, в котором смерть была бы не более чем моментом игры жизненных сил. Вот задача поэзии, как я ее понимаю».

Единица измерения поэзии для Таврова — слово; единица же измерения самого слова — заключенная в нем тишина. Еще фрагмент. «Внутри слова, в его глубине глубин, не может не располагаться тишина. Если бы ее там не было, мы просто не смогли бы его услышать. И как часто мы его не слышим!»

Вообще, особенность всех трех книг — их хочется безостановочно, замороженно цитировать. Неважно, соглашаясь или нет. Взята очень высокая планка для разговора, предельно глубокое и серьезное понимание того, что есть поэзия. Понимание разное: для Кальпиди поэзия — это некая экзистенциальная сила, способная изменять человека, прежде всего — самого поэта². Для Амелина — искомая целостность, цельность бытия. Для Таврова — первозданная тишина, из которой само бытие возникло.

¹ Как сам Амелин пишет о себе: «В своих стихотворных опытах я стараюсь говорить о болях и радостях современного мира языком торжественным и нерабским...»

² Не могу удержаться от еще одной цитаты из Кальпиди: «Кто-то хочет быть услышанным, кто-то понятым, а кто-то — мечтает понравиться. Но поэзия приспособлена только для одного — изменить поэта до ангельского состояния. И свидетели-читатели тут — лишнее звено».

«Суть этого стихотворения, — пишет Тавров о хайку Басё о лягушке, — заметим, направлена не на сам первый всплеск, а на метаморфозу волн — от звука явного до тающего, истончающегося, “беднеющего”, исчезающего, входящего туда, откуда взялся весь мир — в неизреченную тишину».

Или в другом месте, еще более определенно — если можно говорить об определенности в разговоре о таких тонких субстанциях: «Стихотворение <...> целиком располагается в пространстве между вдохом и выдохом — и в этой тишине, в этом мгновенном безмолвии — его дом, место, где творится в том числе жизнь тела, которую, благо, интеллект не способен взять под контроль — остановить дыхание, ибо вместе с дыханием закончится и его собственная деятельность».

Если что-то мешает принять эту мысль о тишине полностью, так это крайне высокая словесная и культурная плотность речи самого автора. Эссеистика Таврова — как и его поэзия — до предела насыщена философскими, религиозными, литературными отсылками и реминисценциями; его речь анти-минималистична, она, скорее, стремится заполнить собой любую тишину, любое пустое пространство...

Однако с чтением «Короба» это барочное многословие словно отходит на второй план. То, что вначале воспринималось излишним словесным и интеллектуальным декором, постепенно теряет отвлекающую вязкость. Речь не столько «говорит», сколько движется, подхватывая своим неторопливым потоком...

Итак, три разговора о поэзии, очень разные. У Кальпиди — словесная дуэль, поединок (зачастую с самим собой). У Амелина — действие. У Таврова — медитация.

В чем-то они сходятся¹, в чем-то разбегаются.

«Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве», — начинал когда-то Ролан Барт свои «Фрагменты речи влюбленного».

Речь поэта сегодня тоже находится в одиночестве. Неважно, в стихах или в прозе. Искренность, торжественность, сакральность — все в ней, как и в речи любовной, кажется опошленным и дискредитированным.

«Речь эта, — продолжает Барт, — быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства)».

Стихи сегодня тоже пишутся и говорят «тысячами субъектов». Не обязательно даже заходить на «массовые гулянья», вроде stihi.ru; достаточно одного «Журнального зала».

Но поэтическая речь — за исключением вдалбливаемой в школе «классики» и песенных текстовок — тоже не поддерживается за пределами поэтического сообщества. Про власть и ее «механизмы» и говорить нечего: они вообще сейчас другим заняты.

Но нет худа без добра.

Возможно, это одиночество и дает поэзии возможность для неторопливого обдумывания своих оснований и целей. Для размышления о том, что она есть сегодня. Три книги, о которых шла речь, по крайней мере, свидетельствуют, насколько это одиночество может быть плодотворным и питательным.

¹ Например: «Поэзия начинается там, где есть непонимание» (Тавров) и «Лучше совсем не понимать текст, чем его “почувствовать”» (Кальпиди).

Борис Минаев

Берегите ваши лица

«Берегите ваши лица» — спектакль Гоголь-центра по стихам Андрея Вознесенского и мемуарам Владислава Мамышева-Монро, персонажа из «нового искусства» 90-х, который умер в 2013 году — относительно молодым еще человеком, ему было всего 43 года.

...Сближение в одной пьесе двух этих авторов и одновременно «главных героев» поначалу кажется странным.

Что общего у признанного советского поэта Вознесенского и эстетического хулигана, «безумца» и ниспровергателя всяческих клише — Владика Мамышева, которого исключили из школы за то, что изображал Гитлера, и чуть не убили в армии за то, что изображал Мэрилин Монро?

Что общего у классика-шестидесятника и молодых, наглых художников из голодных перестроечных лет, которые эпатировали публику, как могли, как умели? В конце 80-х и начале 90-х все они — от Германа Виноградова до Петлюры, от Олега Кулика до Димы Врубеля — вышли из полумрака квартирных выставок, подвалов и чердаков: о них писали газеты, на них ходила публика, привлеченная новизной и яркостью, их продюсировали молодой Марат Гельман, признанный ныне иноагентом, и молодая Айдан Салахова. Именно их выставки, скульптуры, картины, перформансы стали классикой 90-х.

Что, кстати, осталось сейчас от этой молодости и наглости, от этой «бури и натиска»? Многие уехали... Что-то лежит в архиве современного искусства (например, такой архив тщательно создавал до недавнего времени музей «Гараж»). Что-то пропало безвозвратно. Кое-кто продолжает делать выставки и сейчас — порой используя как повод 25-летие или 30-летие «творческой деятельности». Например, в московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре одновременно прошли две такие выставки — творческого дуэта Алексея Политова и Ольги Беловой и группы «Чемпионы мира»: эпатаж и ирония, творческое хулиганство 80-х и фиги в кармане, которые сегодня без умной кураторской экскурсии и не поймешь.

...Увы, Владислав Мамышев-Монро до «юбилейной выставки» и своей академической славы не дожил, что, впрочем, и не удивительно.

Было в его творчестве что-то такое, что ни в какие рамки не вписывалось, никакой «долгой жизни» не предполагало. В конце 80-х он превратил канонические, отретушированные и отлакированные портреты членов тогдашнего Политбюро во главе с Горбачёвым в «произведение искусства»: самому Горбачёву пририсовал индийское пятнышко на лбу (бинди), снабдил его густыми ресницами и прочими атрибутами мистической женственности. Досталось и другим «членам» — толстые губы, подкрашенные глаза, яркий грим. И можно было бы сказать: мол, подумаешь, дождался перестройки, когда все это было уже не опасно... Но сама судьба

Влада Мамышева убеждает в обратном: нет, он всю жизнь делал нечто, что в конце пути предполагало аутодафе. Судилище. Наказание.

...Но при чем же тут Вознесенский?

Я, кстати, тут задумался — а как он сам относился к «концептуальному искусству» 90-х и нулевых, к этим молодым поэтам и художникам, ходил ли он на их выставки, посещал ли их перформансы? Представляется, что если и ходил, то как-то очень осторожно, а может быть, и ревниво, слишком хорошо понимая эту эстетику и эту натуру. Никогда не объявлял «наследником» никого, не коронуя никакими титулами. Хотел быть отдельно от бурного течения тогдашней авангардной тусовки.

Но так уж получилось, что в начале 70-х Вознесенский написал поэтическую пьесу, в которой речь шла как раз о том, что так волновало потом художника Мамышева-Монро: об экзистенциальной природе человеческого лица, о том, что за свое лицо каждый отвечает сам, что нельзя позволить *любому* времени это лицо стереть, исказить, смять.

Пьеса «Берегите ваши лица» была им написана для Таганки, и даже поставлена. «Спустя 50 с лишним лет Леонид Богуславский и Фонд Вознесенского предоставили Гоголь-центру сохранившийся экземпляр этого текста, а режиссер Савва Савельев написал по его мотивам новую инсценировку, добавив к пьесе историю художника Владислава Мамышева-Монро», — честно отвечает на вопрос зрителей театральная программка, но в ней бесполезно искать ответа на следующий вопрос: *алочему* два этих человека объединены в одну историю?

Надо сказать, судьба этой пьесы любопытна чрезвычайно. После успеха «Антимиров» Вознесенский принес в театр новую поэтическую вещь, и театр решился ее поставить. Около двух лет шла тяжба с Минкультом, и наконец разрешение от департамента Фурцевой было получено. Но несмотря на все поправки, дополнения и изменения, внесенные в текст пьесы, — спектакль был показан на сцене Таганки всего три раза — один прогон, один спектакль 7 февраля 1970 года и два — 10 февраля. И его запретили...

Запретили, конечно, не случайно. Достаточно сказать, что в рамках спектакля впервые публично и официально исполнил свою знаменитую «Охоту на волков» Владимир Высоцкий. Что здесь прозвучал знаменитый «Плач по двум нерождённым поэмам» Вознесенского:

...Погибло искусство, незаменимо это,
и это не менее важно,
чем речь
на торжественной дате,

встаньте.

Их гибель — судилище. Мы — арестанты.

Встаньте.

О, как ты хотела, чтоб сын твой шёл чисто и прямо,

встань, мама.

Вы встаньте в Сибири, в Москве, в городишках,

мы столько убили

в себе,

не родивши,

встаньте,

Ландау, погибший в косом лаборанте,

встаньте,

Коперник, погибший в Ландау галантном,

встаньте,

вы, девка в джаз-банде,

вы помните школьные банты?

Встаньте,

геройские мальчики вышли в герои, но в анти...

Вообще многое было впервые — и как бы ни доказывали таганковцы во главе с Любимовым, что в первой части, где битники и стриптизерши, студенты и поэты бьются за свою свободу, плюют в лицо государству и «системе», «расшатывают устои», — речь идет «про капитализм», в Минкульте имени Фурцевой их не поняли. Сошлюсь на научную работу профессора ВШЭ Евгении Абелюк, впервые проанализировавшей текст пьесы Вознесенского.

Вот описание «колонны стриптизерш»:

«Колонна демонстранток, пролетарии кордебалета, идут, перегородив улицу, вышагивая гусиным шагом, строем, как на параде. Лозунги “Стриптиз бастует”, “Не обнажимся”, “Соцстрахование”, “Шансонетки земного шара — в единый фронт”, “Пенсии за вредность производства”, “Надбавки за производственные травмы”, “Эксплуататоры — самообслуживайтесь”. Девушки идут, несмотря на жару, закутанные, одетые в сто шуб, как кочаны капусты, в масках, в противогазах, в паранджах, в черных очках. Кто больше чего на себя наденет. Пантомима “антистриптиза”. Они ловят женщину, более обнаженную, чем надо. Одевают в балахон, забинтовывают. Заклеивают скотчем».

А вот описание «протестующей молодежи Запада»:

«Сцена украшена, как круглыми дорожными знаками, гигантскими значками-афоризмами. Эти значки сейчас популярны у западной молодежи, у студенчества, протестующего против западного образа жизни и искусства, против войны во Вьетнаме. В них как в кристаллах — озорная и бунтующая философия нового поколения. На значках надписи: “Мир — Вьетнаму!”, “Даешь любовь, а не войну!”, “Запретите запрещать!”, “Фрейд — зануда!”, “Я люблю Джона Кеннеди!”, “Я люблю Бобба Кеннеди!”, “Мир — это война!”, “Свобода — это рабство!”. Идет карнавал. Актеры перебрасываются значками, как тарелками, катают их как серсо, ездят на них, как на одноколесном велосипеде».

...Ничего подобного, как мне кажется, советский театр в те годы не знал, Вознесенский на целый круг опередил время.

Но и для самого театра поставить это действо было непросто — недаром Юрий Любимов определял его жанр как «открытую репетицию», подразумевая, что здесь очень много поэтической импровизации, а самого автора упрекал в том, что «драматургии маловато».

И вот на сцене Гоголь-центра Вениамин Смехов, один из актеров той самой первой любимовской Таганки, читает авторские ремарки к пьесе Вознесенского, стихи Андрея Андреевича — то есть он представляет в этой паре, в этой дилемме (Вознесенский и Мамышев-Монро) — сторону шестидесятников, «отцов». Он — своим присутствием — связывает ту и эту реальность.

...И я подумал, глядя на Смехова и вспоминая живого Вознесенского, которого не раз видел в кабинетах журнала «Огонёк» в 90-е годы, что, конечно, очень трудно их ставить на одну доску: экзотического, яркого, эпатажного художника «для немногих» — и поэта, который говорил от имени и по поручению целой эпохи, целой нации. Ведь Вознесенский именно так себя ощущал — поэтом, который говорит с целым народом, не только с интеллигенцией.

Осень
проверяет наши лица.
Свойство
есть у лиц — перемениться.
Осень —
переполнены больницы.
Просим:
берегите ваши лица!

Поиск
наш успехом не увенчан —
Проше
взять живых мужчин и женщин.
После
этой странной репетиции
Просим —
покажите ваши лица!

Вовсе
мы и не подозревали,
Совесть —
ваши лица в этом зале.
Гости
и эпохи очевидцы,
Просим:
покажите Ваши лица!

...Трудно сравнивать автора этих строк с Мамышевым-Монро, который никакого «мы» не признавал — говорил только о себе. Но в том-то и дело, что в нынешней точке исторического времени — две эти линии сошлись в одну.

На сцене Гоголь-центра — мертвенный белый свет операционной, три хирургические койки, три световых пульта для хирургов, фигуры врачей, склонившихся над пациентами, над их лицами, и очевидно собирающихся делать им «пластику». Над сценой — экраны, на них мелькает большая видеоинсталляция с «лицами эпохи», включая, скажем, и лицо Атоса-Смехова, да, и он, наш ментор, тоже отдал дань созданию образов масскульта. Зонги на стихи Вознесенского (и «Охоту на волков» Высоцкого) исполняют замечательные музыканты: группа Shortparis, фронтмен и актер Никита Еленев за фортепиано. Это, собственно говоря, коллаж — жанр, который был выпестован, любовно освоен самим Вознесенским — и в стихах, и в его «видеомах», то есть графических работах.

И все же центральной частью всего театрального коллажа оказывается судьба Влада Мамышева-Монро. Его довольно незамысловатые воспоминания, написанные с максимальной простотой, чтобы, как говорится, «до каждого дошло». О маме — партийном работнике из Ленинграда, которая была в ужасе от его эскапад, но не переставала любить и заботиться. Об армии и о школе, советских институтах, пройдя сквозь которые, многие мальчики 80-х могли абсолютно уверенно сказать о себе: «так закалялась сталь». И действительно, верность своим убеждениям Влад Мамышев сохранил до конца.

Поразительным образом человек, который всю жизнь только тем и занимался, что примерял, натягивал на себя чужие лица, оказался образцом того, как можно не продаться и не потерять свое собственное лицо и душу.

«Притворяясь» то Гитлером, то Чаплиным, то Мэрилин Монро, то Любовью Орловой, — он упрямо и настойчиво показывал, что под каждым ликом массовой культуры, растажиженным и привычным, прячется, в сущности, обычная, дрожащая, живая, способная и к добру, и ко злу человеческая натура, и лишь сама толпа, инстинкты толпы — настойчиво вылепляют из этой натуры маски времени.

...Кстати говоря, эта проблема — как не потерять лицо в тяжелых, сложных исторических обстоятельствах, — сейчас важна как никогда. Многие об этом задумываются, многим приходится делать выбор. Налево пойдешь — лицо потеряешь,

направо пойдешь — потеряешь что-то другое, не менее, в общем, важное: страну, привычную жизнь. А то и свободу.

Делать такой выбор сложно, иногда почти невозможно. Но приходится.

И не случайно в конце спектакля возникает злобещий персонаж — чиновник (актер Андрей Ребенков), который, обращаясь к Мамышеву-Монро (а вот его играют сразу трое — Александр Горчилин, Настя Лебедева, Иван Мулин), призывает его обратиться в новую веру, служить новому государству, новой идеологии: «нам нужна свежая кровь», «нужны такие как ты, молодые, дерзкие...» Понятно, почему нужны: «старая кровь», все эти авторитеты, имена, возникшие еще в 90-е и раньше, — больше не нужны, их «уходят» тем или иным способом, они не способны служить новым целям, обслуживать новые задачи.

Правда, сам Мамышев-Монро на этот призыв уже не откликнется, он давно умер.

А вот для других, «молодых и дерзких», этот вызов весьма актуален. Берегите ваши лица...



Мы открываем новую рубрику «Галерея», которую будет вести Татьяна Назаренко — заслуженный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор



Татьяна Назаренко

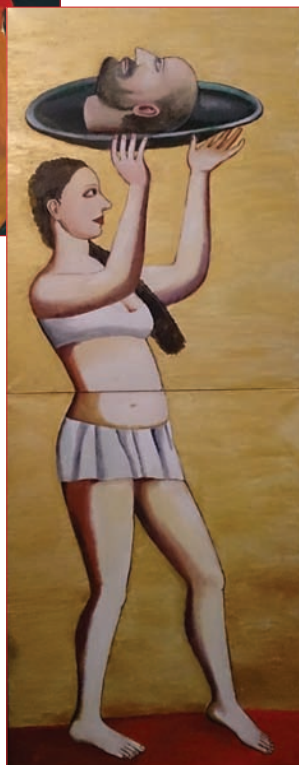
ВОЖДЕЛЕНИЕ. ЛОТ С ДОЧЕРЬМИ. 2012
х.м. 100x200





Татьяна Назаренко

НОЧЬ ТИХА. 2012.
х.м. 100x120



Татьяна Назаренко

ЮДИФЬ И ОЛОФЕРН. 2011.
х.м. 160x120

САЛОМЕЯ. 2013.
х.м. 160x120



Айдан Салахова

БЕЛОЕ № 1. 2012.
мрамор 100 x 80 x 20 см.



Айдан Салахова

ПРЕДСТОЯНИЕ № 1. 2010.
гранит, мрамор 180 x 80 x 80 см.



Айдан Салахова

ПРЕДСТОЯНИЕ № 3. 2012.
гранит, мрамор 180 x 80 x 80 см.



БЕЗ НАЗВАНИЯ. ИЗ СЕРИИ
«ПЕРСИДСКИЕ МИНИАТЮРЫ». 2012.
бумага, тушь, акрил, карандаш 76 x 56 см.



Айдан Салахова

БЕЗ НАЗВАНИЯ. 2012-2014.
холст, акрил, карандаш 200 x 55 см.

Dmitrij ISAKJANOV. Proskynetarion

The story frame of D. Isakjanov's novel embraces a few hours of its protagonist's flight home, from the Arab Emirates to Russia. And this flight turns out to become a flight through the Ocean of Time on the open space of which there are emerging the islands of memory about the childhood and maturation, about the people (mainly the closest: Mother, searching for the Father, the wife's love thinning out in the separations, the little son), about "everything he had seen, everything he had heard, everything he had been inhaling through the lungs and absorbing through the skin".

Poetry

Motherland, its History and fate is the keynote of the lyrical collection by Igor MALYSHEV. And as if taking up this theme Vera KALMIKOVA comes forward with her cycle of poems "1937". Igor KUNITZIN is meditating over "private eternity". And Dmitrij RUMYANTZEV's poems are about the love and the problem of the moral choice.

Lidiya CHISTYAKOVA. "I Was Lucky to"

"In the nook, forty kilometers away from the nearest railway, among the forests and swamps, at the high hillock there was nestled up the village which we all called Kuzminka. The clergy of the parish was situated there: the young priest with his wife, the widow of the deceased priest, the deacon with his large family, the clerk vicar with his wife and children, prosvirnya and over the ravine – the school" Thus begins her memoirs Lidiya Chistyakova, the daughter of that very deceased priest. The pre-revolutionary young years, provincial mode of life, non-simple relations with the husband, studying in Moscow, birth of the daughter, the famine during the Civil War, working in the juvenile colony for homeless children The XX century, just one life.

"Literary Barometer" by Evgenij Abdullaev

"Conversation about the poetry when a poet is doing the talking is verse-making even if it is casually written in prose. Even if autobiographical, political, philological and other motives are imbedded inside. There exist peaks in this genre, for example "About the Poetry" by Mandelshtam or "ABC of Reading" by Ezra Pound. During the last ten-fifteen years quite a lot of books on poetry written by poets were published. We may mention the books of Grigoriy Kruzhkov, Alexej Purin, Yourij Kazarin, Oleg Youryev» This issue of our "Literary Barometer" is based on the books of essays by Vitalij Kalpidi, Maxim Amelin and Andrej Tarasov.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«**Фаланстер**» (Москва, ул. Тверская, 17,

вход с Малого Гнездиковского переулка)

«**Бункер**» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**
в любом городе страны.

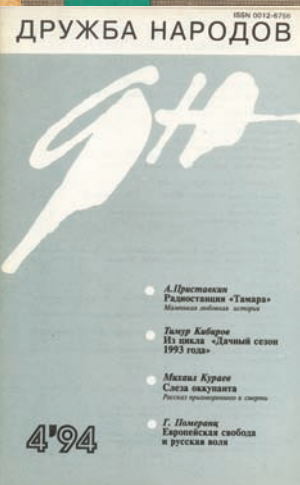
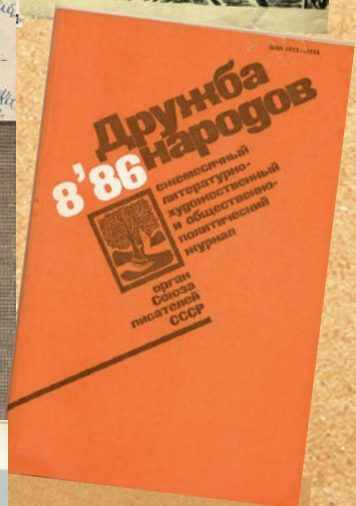
Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



**9/2022**

Читайте:

**Елена Ермолович. «Химера».
Плутовской роман**

*«Палач уже укладывал кавалера на колоду,
и другой палач — примеривался топором;
как половчее ударить.*

*— Ох, Агашка, — вздохнул Рене, — я не могу
смотреть... — Он прежде никогда не видел,
как убивают на плахе.*

— И не надо.

*Агашка, маленький его ангел сострадания,
прикрыла Рене глаза влажной от слез ладошкой.*

*— Мне бы только стрелки твои не смазать,
юнкер... ну, вот и всё.*

*Агашка отняла ладошку — свет ослепил
трусливого юнкера до слез — и соскользнула
на землю. Палач водружал отрубленную голову
на шест — красивую голову с полужакрытыми
синими глазами и белокурой гривой, её терзал
и рвал в клочья завистливый декабрьский ветер.
Другой палач привязывал у столба злосчастную
Балкшу — ей за мздоимство прописали кнута.
Кровь была везде — на плахе, на эшафоте,
на снегу — черный, дымящийся ручей.*

*Августейшая чета поднялась с царских кресел
и двинулась к карете. Екатерина смеялась,
и край ее платья прошелся по черному ручью —
должно быть, затем, чтобы потом можно было
отпороть это кровавое кружево и хранить
под подушкой... Или нет...»*

